

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЯЗЫК
КАК
СРЕДСТВО
ТРАНСЛЯЦИИ
КУЛЬТУРЫ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРА СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. XX в.»
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

ЯЗЫК
КАК СРЕДСТВО
ТРАНСЛЯЦИИ
КУЛЬТУРЫ



МОСКВА
«НАУКА»
2000

УДК 80/81

ББК 81

Я 20

Рецензенты:

доктор филологических наук В.А. ВИНОГРАДОВ

доктор филологических наук А.И. НОВИКОВ

Редколлегия:

М.Б. Енич (отв. редактор), *Я. Корженский, Г.П. Нецименко,*

Л.Б. Никольский, Е.Ф. Тарасов, Ю.Е. Стемковская

Язык как средство трансляции культуры. – М.: Наука, 2000. – 311 с.
ISBN 5-02-011706-4

Монография – результат совместной работы международного авторского коллектива над изучением фундаментальной проблемы взаимосвязи языка, культуры, образования в monoэтнических и полиглоссических государственных общностях. В ней рассмотрен широкий круг актуальных вопросов, объединяемых общей темой: использование языка в качестве средства распространения (трансляции) культуры.

Для лингвистов, культурологов, социологов, философов, этнографов, театроведов, фольклористов.

ТП-99-1-№ 118

ISBN 5-02-011706-4

© Издательство “Наука”, 2000

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Предлагаемая вниманию читателя книга является результатом совместных усилий ученых России и Чешской республики. Она посвящена рассмотрению актуальной научной проблемы роли языка в качестве средства распространения (трансляции) культуры. При этом имеется в виду как межгенерационная (диахроническая) трансляция духовных ценностей, так и трансляция синхронная, осуществляемая как внутри социума, так и за его пределами.

Исследование выполнялось в рамках долгосрочной международной научной программы, целью которой является поэтапное решение комплекса фундаментальных лингвокультурологических проблем, связанных со взаимоотношением феноменов "язык" и "культура" в жизни этноса.

Работа над данной программой ведется при поддержке Научного Совета по истории мировой культуры Российской академии наук (секция "Культура стран Восточной Европы"). Над ее реализацией с конца 80-х годов трудится авторский коллектив, объединяющий ученых России, Чехии, Словакии. Координирующие функции выполняют российские и чешские ученые, представляющие Институт славяноведения РАН, а также Институт чешского языка ЧАН. Активное участие в организации и практической реализации программы принимает Институт языкоznания РАН.

Мы испытываем удовольствие по поводу того, что, невзирая на все сложности и перипетии последних лет, удалось сохранить и развить контакты ученых славянских стран при решении приоритетных научных проблем. В процессе работы над проектом сформировался творческий коллектив ученых, имеющий положительный опыт решения сложнейших исследовательских задач. Этому немало способствовали проводимые в рамках международной программы проблемные Круглые столы, приуроченные к отдельным этапам работы: "Язык – Культура – Этнос", 1991 г.; "Язык как средство трансляции культуры", 1996; "Встречи этнических культур в зеркале языка", 1999 г.

Проблема взаимодействия языковых и социокультурных процессов входит в число первоочередных задач современного развития науки, имеющих большое теоретическое и практическое значение, особенно в условиях возрастающей внутриэтнической и межэтнической интеграции. Проводимое участниками проекта исследование этой комплексной и многоаспектной проблемы выполняется на интердисциплинарной основе. Это означает, с одной стороны, что в осуществлении программы участвуют ученые различной профессиональной специализации (причем не только лингвистической ориентации, т.е. социолингвисты, этнолингвисты, психолингвисты, лингвокультурологи, но и культурологи, социологи, философы, этнологи, театрологи, фольклористы и т.д.); с другой, что в центре внимания находятся "стыковые" проблемы, находящиеся на пересечении смежных научных дисциплин.

Применение интердисциплинарного подхода позволяет плодотворно использовать теоретико-методологические принципы различных научных отраслей (как общие, так и специфические), а также – в силу того, что проект международный – различных национальных научных школ.

Первым этапом исследовательского цикла, предусматриваемого целевой программой, стала книга "Язык – Культура – Этнос" (Москва, 1994 г.). Предлагаемая вниманию читателя коллективная монография "Язык как средство трансляции культуры" сохраняет по отношению к ней теоретико-методологическую преемственность. В настоящее время ведется работа над третьим этапом целевой программы – "Встречи этнических культур в зеркале языка (в сопоставительном лингвокультурном аспекте)", в котором особый акцент будет поставлен на межэтнических культурно-языковых контактах.

Феномен человеческой культуры весьма сложен, а сложившееся представление о нем не только многоаспектно, но порой и расплывчato. Современные культурологи и философы, к сожалению, пока что еще не могут предложить исследователю исчерпывающую и непротиворечивую интерпретацию этого явления, поэтому зачастую приходится либо исходить из эмпирического представления о культуре, либо опираться на одну из существующих, во многом альтернативных концепций (ср., например, такие культурологические концепции как предметно-ценностная; деятельностьная; личностно-атрибутивная; общественно-атрибутивная, информационно-знаковая и пр.). Наибольшее распространение у исследователей-некультурологов получила деятельностьная концепция Э.С. Маркаряна. В культурологических исследованиях, проводимых в свое время в Институте славяноведения РАН под руководством М.Б. Ешича, эффективно использовалась иная концепция, трактовавшая культуру как систему духовного освоения действительности и соответственно как одну из системообразующих подсистем общества.

В состав авторов данного труда входят ученые из Института славяноведения РАН (В.А. Дыбо, А.Ф. Журавлев, Г.П. Нещименко,

Т.М. Николаева, Л.А. Софронова, Ю.Е. Стемковская, С.М. Толстая); из Института языкоznания РАН (М.Л. Соснова, Е.Ф. Тарасов); из Института лингвистических исследований РАН (А.И. Домашнев); из Педагогического университета (В.Г. Гак); из Лингвистического университета (Л.Б. Никольский). Чешскую сторону представляют: Я. Гоффманнова, Я. Корженский (Институт чешского языка ЧАН); К. Камиш, К. Кучера, П. Мареш, А. Мацуррова, Я. Шледрова (Карлов университет в Праге); М. Крчмова, Я. Хлоупек (университет им. Т.Г. Масарика в Брно); Д. Давидова (Остравский университет).

Участие в труде ученых разного научного профиля давало возможность поворачивать исследуемую проблему под разными ракурсами при сохранении тем не менее ее целостного видения. Сказанное в полной мере отражает и структура труда, состоящего из следующих разделов: Язык как средство трансляции культуры; Язык и этническая идентичность; Язык и общение; Функционирование языка внутри этноса; Функционирование языка за пределами метрополии; Язык и искусство.

Вверяя в руки читателя наш труд, мы отнюдь не претендуем на окончательное решение исследуемой проблематики. Нам хотелось бы надеяться на то, что он послужит импульсом для дальнейшего изучения этой чрезвычайно важной темы.

I. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

В.А. Дыбо

(Россия)

ЯЗЫК – ЭТНОС – АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (Несколько мыслей) по поводу индоевропейской проблемы)

II

В первой части этой работы¹ я попытался популярно показать, что предложенная Н.С. Трубецким гипотеза, согласно которой индоевропейская семья языков сложилась из первоначально неродственных языков в результате процессов конвергенции как некая ступень, следующая за состоянием языкового союза, не выдерживает элементарной критики и сохраняет свое положение в науке исключительно благодаря научному авторитету ее автора. В сущности таким же обстоятельствам обязаны сохранением видимости конкурентоспособности и другие подобные концепции².

Итак, индоевропейская проблема – это проблема языкового родаства, а не проблема языкового союза. И подмена этой проблемы проблемой языкового союза никак не способствует решению вопроса об индоевропейской “прадорине”.

Что же заставляет археологов (или некоторых археологов) обращаться к такого рода (мягко говоря) сомнительным лингвистическим концепциям? По-видимому, основную роль здесь играют сложности, которые испытывает археология на пути “генетического выведения археологических культур”. Я имею в виду ретроспективный метод – исследование связей этнически известных культур с более ранними, применяемый археологами при определении этнической принадлежности древних культур. Этот метод довольно хорошо работает, когда исследователь имеет дело с культурами, относительно близкими хронологически к исторически зафиксированным культурам, точнее этно-культурно-географическим комплексам. То есть, если известно, что в определенном регионе в установленное время жил определенный этнос, и археологические раскопки в этом же месте обнаруживают культуру,

¹ См.: Дыбо В.А. Язык – этнос – археологическая культура (Несколько мыслей по поводу индоевропейской проблемы). I // Язык. Культура. Этнос. М., 1994.

² Я не касаюсь здесь идеологических и других экстракомпаративистских причин, способствовавших появлению концепции Н.С. Трубецкого и сходных концепций и способствующих сохранению их в науке в настоящее время.

которая датируется тем же временем, эту культуру, естественно, связывают с данным этносом. Затем при находке более ранних культур их сравнивают с этой или с этими этнически определенными культурами и, если между ними обнаруживается определенное сходство, которое можно интерпретировать как эволюционный ряд, или тождество каких-то важных деталей, эти ранние культуры рассматривают как генетически предшествующие этнически определенным культурам, а этнос, носитель этих ранних культур, рассматривается как предок известного этноса. В исследовании восточнославянских древностей при посредстве этого метода достигнуты значительные результаты: региональные славянские культуры совпали с районами размещения древнерусских племен, установленными исторической географией; эти регионы (в свою очередь) совпадают достаточно точно с лингвогеографическими зонами определенных акцентных систем, а в ряде случаев и с другими важными диалектными особенностями. Двигаясь глубже, археологи устанавливают генетическую связь восточнославянских археологических культур с более ранними зонами пражской и пеньковской керамики; географически эти последние зоны совпадают по размещению с территориями, отводимыми исторической географией для славянских племенных союзов склавинов и антов. Такая локализация довольно хорошо согласуется с двумя акцентуационными группами диалектов, размещенными на этих территориях. Замечательно, что даже загадочное славянское население среднего течения Дона однозначно показывает свой антский характер как по археологическим, так и по лингвистическим данным (см. Николаев 1994, Седов 1994).

Нужно отметить однако, что во всех этих сопоставлениях огромную роль играет историческая география, т.е. в сопоставлении участвуют не два элемента: археологическая культура и лингвистический ареал, – а три: плюс исторически устанавливаемое размещение определенных этнических группировок.

Но как только археология выходит за пределы исторически определенного периода, картина резко меняется. Если археолог достаточно осторожный и не решающийся перекраивать лингвистические выводы в угоду своим представлениям, он, как правило, не пытается этнически определить культуру. Вот, например, как описывается происхождение и этническая принадлежность зарубинецкой культуры, долгое время считавшейся нашими археологами решительно славянской, в последнем томе “Археологии СССР” (М., 1993): “...представляется перспективным при постановке вопроса о генезисе зарубинецкой культуры не пременно учитывать два главных фактора этого процесса – роль культур местного населения и вклад пришлых элементов. ...Наличие локальных особенностей дает веские основания для разделения области зарубинецкой культуры на пять регионов: Среднеднепровский, Припятско-Полесский, Верхнеднепровский, Десинский и Южнобугский. ...Рассмотрев все элементы культуры, следует прийти к заключе-

нию, что местный субстрат – памятники милоградской культуры – играл незначительную роль при формировании Припятского региона зарубинецкой культуры. Напротив, в раннезарубинецких погребениях всех больших припятских могильников ... выступают совершенно отчетливо черты позднепоморской и подклешевой культур (!! – В.Д.) ... Верхнеднепровский регион... данные ... указывают на возможность контактов между милоградским и зарубинецким населением юго-восточной Белоруссии, но возникновение зарубинецкой культуры не может быть связано только с местной основой. ...По-видимому, на рубеже III–II вв. до н.э. происходило не постепенное расселение, а единовременное выселение племен из различных регионов поморской и подклешевой культуры, отличительные особенности которых нам в полной мере неизвестны. Поэтому, если в припятских памятниках элементы подклешевой культуры можно уловить более или менее определенно, то на верхнем Днепре в зарубинецкой культуре их связи с Западом видны в самых общих чертах... Для Среднего Поднепровья ... (Очень много различных западных и юго-западных элементов. Скифский и сколотский субстрат). Можно думать, следовательно, что район миграции был достаточно широк и включал в себя не только позднепоморскую культуру и культуру подклешевых погребений, элементы которых ... известны среди ранних материалов Среднего Поднепровья. ...Поэтому не представляются убедительными предположения о том, что зарубинецкую культуру следует рассматривать как дальнейший этап исторического развития местных сколотской или милоградской культур, или пришедших на эту землю западных групп, связанных с позднепоморской, подклешевой или ясторфской культурами. Зарубинецкая культура представляет собой новообразование, этап в развитии местного и пришлого населения, отразивший историческую обстановку, сложившуюся в конце III в. до н.э. в Центральной и Восточной Европе и, в частности, в Поднепровье" (Археология СССР 1993, 36–38).

В этом подкупдающим своей обстоятельностью описании обращает на себя внимание, что автор не пытается выделить из культурных комплексов элементы традиционной культуры и, как бы мы сказали, реконструировать этот традиционный (в определенной степени духовный) этнически релевантный компонент. Надо сказать, что даже по этому сугубо "объективистскому" описанию кажется очевидным, что итог изучения археологами зарубинецкой культуры явно подтверждает ее происхождение из позднепоморской и подклешевой культур, поддерживает ее пра-славянское этническое определение и, соответственно, поддерживает концепцию висло-одерской прародины славян. Этот вывод явно напрашивается. Но отказ автора от выделения устойчивых "этноспецифичных" элементов культуры и от реконструкции этого устойчивого ее компонента в значительной степени затрудняет экспликацию этого вывода.

Эта боязнь научной реконструкции характеризует большинство (если не все) археологических работ. По-видимому, понятие реконст-

рукции связано у них с представлением о неточности. Точным и объективным с этой позиции представляется лишь описание непосредственно данного факта³. Даже в том случае когда археолог делает реконструкцию, он этого, по-видимому, не осознает. Вот как описывает И.Н. Хлопин, по-видимому, ритуальное помещение южнотуркменистанской культуры:

«...С IV тыс. до н.э. на поселениях Южного Туркменистана, особенно в Геоксюрском оазисе (в древней дельте реки Теджен), неизменны святилища огня двух типов: семейные в каждом многокомнатном доме и родовое – одно на поселение. Такие здания известны также на поселениях эпохи бронзы, например, на Альтын-тепе (II тыс. до н.э.).

Главной принадлежностью святилища был алтарь или жертвенник, на котором возжигали священный огонь. В домашних – он был круглый с невысоким бортиком по краю и небольшим отверстием в центре, которое, как правило, было заполнено плотно слежавшейся однородной белой золой. Над уровнем пола он возвышался на 15–20 см, а его гладкая поверхность была покрыта тонкой прокаленной корочкой. В поселковых родовых святилищах алтари были прямоугольными с соотношением сторон 1:2. Такой алтарь был разделен на две квадратные половины валиком или ступенькой, которая образовалась в результате многократных промазок тонкоотмученной глиной одной из половин. Алтарь был ограничен валиком 10–12 см; в одном случае сохранились угловые глиняные столбики высотой около 20 см. Обмазка одной половины алтаря сохранила обожженное пятно, что позволило предположить одновременное почитание на таком алтаре двух сакральных стихий – огня и воды.

Как можно видеть, алтари в раскопанных святилищах огня полностью соответствуют тем, существование которых у древних иранцев и индийцев было известно из письменных источников задолго до их обнаружения на поселениях IV тыс. до н.э.

Первое же домашнее святилище, раскопанное в 1957–1960 гг. на поселении Геоксюр [сноска: Сарианиди 1962, 48–51], содержало, кроме круглого солнечного алтаря, другие предметы. Здание погибло при пожаре и в его развалинах осталось то, что там находилось ранее и не было впоследствии извлечено из пожарища. В одном из углов комнаты была прямоугольная площадка, вымощенная черепками от крупных сосудов, на которых лежала каменная цилиндрическая ступка с пестиком, а недалеке – расписная чаша с рисунком равноконечного креста. Снаружи, недалеко от дверного проема, найдена розовая каменная ва-

³ Впрочем, осознание ошибочности этого положения уже проникло в археологическую литературу. Так Ж.-К. Гарден пишет: “Позиции такого рода анахроничны. В них проявляется живущее нежелание признать, что путь научной мысли идет точно в обратном направлении: от относительной произвольности непосредственных наблюдений, «*в этом смысле* субъективных, к обоснованной последовательности проверяемых теорий, *в этом смысле* объективных” (Гарден 1983, 65).

за с квадратным резервуаром на конической ножке, закопченная до черноты. Наконец, на полу близ алтаря были расчищены отпечатки обугленной тростниковой циновки, рисунок переплетения которой можно назвать паркетным. Нетрудно понять, что судьба преподнесла исследователям сказочный подарок – весь комплекс ритуальных предметов, зафиксированных в *Авесте*».

В данном описании мы имеем дело явно с археологической реконструкцией. К сожалению, автор не эксплицирует приемы, посредством которых эта реконструкция получена. Во-первых, опущено то, что Ж.-К. Гарден называет типологическим построением⁴: нам ведь не известен ритуальный характер раскопанных объектов: «святилище огня», «родовое», «семейное», «алтарь или жертвенник», – все эти характеристики не основаны на внутренних признаках описываемых объектов, для их установления автором привлекается какая-то внешняя, хотя, возможно, и археологическая, информация и эту информацию было бы полезно изложить⁵. Второе, что мы бы назвали по аналогии с соответствующей операцией в лингвистической реконструкции интерпретацией (предположение о религиозных функциях изучаемых объектов, полученное посредством привлечения не археологической информации) в статье И.Н. Хлопина присутствует: на с. 227–228 он излагает сведения о ритуальных предметах и их функциях в ритуале поклонения огню и воде в религиях древних иранцев и индийцев по *Авесте* и *Ведам*. Опираясь на явную близость этих предметов и предметов, обнаруженных при раскопках, И.Н. Хлопин приписывает раскопанным объектам соответствующие функции. Эта интерпретация И.Н. Хлопина кажется очень убедительной (конечно, при безупречности предшествующей операции, о которой в статье И.Н. Хлопина сведений нет), и я готов ее принять и признать ее большую ценность для исторической науки. Но за исключением одного вывода, на котором почему-то настаивает автор: «Все это позволяет с уверенностью считать, что древние иранцы в эпоху неолита, энеолита и бронзы населяли Туркмено-Хоросанские горы и их северные предгорья. Они ниоткуда не пришли, а на этих землях перешли в свое время к производству пищи» (Хлопин 1994, 231). Дело можно представить следующим образом. Допустим, в Болгарии, ну хотя бы в Софии, раскопано помещение, датируемое IV в. н.э., некоторые данные указывают на его ритуальный характер, обнаружены

⁴ См. Гарден 1983: Глава II. Компиляции и Экспликации; Глава IV. Анализ Экспликаций.

⁵ Может показаться, что это требование крайне избыточно. Действительно, правильно думать, что читатель должен доверять знаниям и интуиции специалистов и не требовать от него изложения элементарных для последнего приемов установления функций изучаемых объектов. Однако, если мы встанем на эту позицию, мы, очевидно, лишим себя возможности выбора между реконструкцией И.Н. Хлопина и «реконструкциями» Ю.А. Шилова, предлагаемыми последним в книге, посвященной той же проблеме, но решаемой существенно иначе (см. Шилов Ю.А. Праордина ариев. Киев, 1995).

некоторые предметы, относительно которых можно предполагать какую-то функцию в ритуале. У меня под рукой сейчас Служебник болгарского патриарха Евфимия (фототипическое издание рукописи XIV в.). Опираясь на этот текст, я могу довольно прилично определить функцию обнаруженных предметов и даже их названия (на среднеболгарском языке). Но значит ли это, что я могу утверждать, что это позволяет с уверенностью считать, что древние славяне уже в IV в. н.э. населяли территорию современной Болгарии, что они ниоткуда не пришли и т.д.? Вряд ли можно согласиться с таким изменением “исторической перспективы”.

Но вернемся к той стороне реконструкции И.Н. Хлопина, которая не нашла отражения в его статье. Правда, автор, по-видимому, относит эту сторону к “истории изучения археологического аспекта проблемы” (Хлопин 1994, 241), но поскольку в археологической литературе не принято приводить систему доказательств такого рода, а опыт лингвистической реконструкции указывает на сугубую важность именно этой первичной процедуры, мы должны обратиться именно к этой “истории”. Вот одно из первых упоминаний в сравнительном плане “алтарей”, связанных с огнепоклонничеством: «...в Невасе ... В этом же нижнем слое энеолитического периода расчищено несколько продолговатых (75×90 см) и овальных (диаметр 84 и 79 см) конструкций, расположенных иногда прямо на полу. Глубина их около 25 см, стены обмазаны глиной и обожжены до красного цвета. В центре неизменно помещался глиняный цилиндр, покрытый плоским камнем, также имевший следы огня. В нем находились белая зола и обожженные комья глины. Аналогичные “очаги” известны и в Чандоли (Deo, Ansari 1965, fig. 8, a, b).

Подобные сооружения под названием “оградки” изучены и в хараппских комплексах Катхиавара. Так, в Лотхале в пяти домах были открыты круглые и продолговатые “оградки” из кирпичей и глины. В Рангпуре они появляются в периоде IIА и продолжают бытовать в постхараппское время в периодах IIС и III. Рангпурские экземпляры – крупные (диаметр от 80 до 100 см), обмазанные глиной. Внутри содержатся зола и черепки сосудов. В Лотхале в “оградках” найдены, кроме золы, обугленные кости животных, терракотовые фигурки быков и украшения. В Калибангане в одном из помещений хараппского периода, у стены, были расположены 3 “оградки”, которые Б.Б. Лал назвал алтарями (Lal 1964d).

Интересно, что похожие конструкции встречаются и в домах энеолитических поселений Южной Туркмении, правда более раннего времени, где они называются очагами или алтарями (Сарианиди 1962; Хлопин 1964a). Они имеют круглую или овальную форму (диаметры их в среднем около 70 см), внутри содержатся зола и обожженная глина. Советские исследователи считают их домашними алтарями-жертвениками. Индийские ученые также связывают их с культом поклонения огню (Rao 1963a; Lal 1964d)» (Щетенко 1968, 32–33). Рассматривая

особенности деканских “алтарей”, А.Я. Щетенко приходит к выводу об их случайном для аборигенной культуры характере, но исконности для харапской культуры: «С затуханием жизни таких городов, как Мохенджо-Даро (с населением в 100 тыс. чел.), ремесленники должны были искать работу. Харапская периферия охотно могла приютить тех из них, которые удовлетворяли ее запросы в массовом изготовлении художественно оформленной керамики. Не принадлежали ли этим пришельцам и оградки-алтари для поклонения огню? Поскольку подобные алтари сейчас признаются характерной чертой харапской культуры и найдены в Лотхале, Рангпуре, Калибангане, то появиться в Центральной Индии они могли лишь вместе с их почитателями. Интересно, что именно Неваса и Чандоли славятся особенно хорошей техникой изготовления керамики. Кроме того, на обоих поселениях оградки-алтари, видимо, принадлежат к одному довольно короткому периоду. Этот период можно определить, так как в Невасе оградки были найдены на полах жилищ самого первого строительного горизонта. Между тем вышележащие полы жилищ, характеризующие шестикратную застройку, не имеют таких алтарей. Не говорит ли это о том, что чуждый деканским поселенцам культ был предан забвению, как только его поклонники отошли в мир иной» (Щетенко 1968, 135).

Это сопоставление центральнодеканских “алтарей” с туркменистанскими “алтарами” интересно во многих отношениях: во-первых, оно показывает нам, что процесс первичного определения функции этих явлений не столь элементарен, как это может показаться по тексту И.Н. Хлопина; во-вторых, отождествление деканских и туркменистанских “алтарей”, проведенное А.Я. Щетенко, принимавшим активное участие в туркменистанских раскопках, по-видимому, основывается не на понятиях “алтарь” – “не алтарь”, а на действительном сходстве сопоставляемых объектов, а это, очевидно, ставит перед историей проблему какого-то, возможно, этнического, единства южнотуркменистанской и, если не деканской (первичность для нее “алтарей” довольно убедительно поставлена под сомнение А.Я. Щетенко), то харапской культур.

Посмотрим, что же думали о “святилищах” и о находимых в них “алтарях” археологи до обсуждаемой работы И.Н. Хлопина. Приведу один “сводный текст”, относящийся к тем же “святилищам”, о которых пишет И.Н. Хлопин⁶: «Но если толосы – характерная черта поселений именно Геоксюрского оазиса и именно в геоксюрский период его существования, то общественные здания на этих поселениях ничем существенным не отличались от таковых же на других поселениях древних земледельцев Южного Туркменистана.

⁶ Автор текста И.Б. Шишkin – не археолог, но участник южнотуркменистанских раскопок, и нет сомнения, что данный текст он обсуждал со своими коллегами-археологами.

В ялангачский период общественные здания известны на Муллали, Ялангаче, Геоксюре-9, Айна и Акча-тепе.

В отличие от обычных жилых домов общественные здания находятся, как правило, в середине поселения; они несколько крупнее жилых домов и имеют стены двойной толщины, покрытые изнутри толстым слоем коричневой или зеленоватой штукатурки; пол представляет собой многослойную глиняную промазку. В течение длительного времени общественные здания существуют на одном и том же месте (по крайней мере в течение трех-четырех строительных периодов); углы зданий довольно строго ориентированы по странам света; внутри нет бытовых очагов, зато имеются сооружения типа алтаря или жертвенника».

Все это, считает И.Н. Хлопин, свидетельствует о том, что перед нами сооружение явно общинного характера: может быть, это родовые святилища, где совершались какие-то жертвоприношения, или известные из этнографии «мужские дома» – своеобразные клубы того времени. «Однако не исключена возможность, что в данном случае мы имеем дело с сооружением, которое совмещало в себе обе названные функции» [Хлопин 1964б, 79].

Общественные здания известны и в последний, геоксюрский период существования оазиса. Они вскрыты и на Геоксюре-1, и на Чонг-депе. Непременный их атрибут – круглый очаг-диск в центре помещения. Такие святилища существовали при каждом многокомнатном доме-массиве, т.е. являлись святилищами большой семьи.

Но на Геоксюре-1 в слоях геоксюрского периода кроме семейных святилищ обнаружено здание, резко отличающееся от всех остальных. Пол в нем плавно понижается к центру помещения, где находится керамический диск с невысоким бортиком и круглым отверстием в середине. Этот диск «вписан» в пол, тщательно заглажен и обожжен до равномерного розового оттенка. Круглое отверстие в середине диска заполнено золой; вокруг диска на полу, найдено несколько фрагментов керамики, кости джейрана, мелкого и крупного рогатого скота. Тут же, недалеко от очага, обнаружены обожженные кости от трех человеческих скелетов, лежащих на слое горелого хвороста.

«Наличие полусожженных костяков, – пишет В.И. Сарианиди, раскопавший это помещение, – видимо, указывает на специальное трупосожжение, а керамический диск в центре комнаты делает это предположение наиболее вероятным» [Сарианиди 1962, 50]. Действительно, такого рода алтари, на которых производились жертвоприношения, известны – для эпохи античности – во многих курганах Крыма, Тамани, Кубани, Дона, в некрополях Греции, в Юго-Западном Иране. «Таким образом, подобные алтари обычно связаны с погребальным обрядом, иногда трупосожжением... Вероятно, и здание святилища с холма Геоксюр-1 предназначалось отчасти и для обряда трупосожжения; на керамическом диске производились жертвоприношения и возжигание жертвенного огня» [Сарианиди 1962, 51].

На Ялангаче в основаниях очагов вместе с целыми костяными изделиями – шилом и лошилом – были найдены фрагменты женских статуэток. И.Н. Хлопин считает, что, возможно, в данном случае женское божество следует рассматривать как охранительницу домашнего очага. И на керамике, и на женских статуэтках часто встречаются солярные символы, из чего можно заключить, что культ огня и солнца также был одним из важнейших у жителей Геоксюрского оазиса (Шишкун 1977, 142–146).

Приведенное описание показывает, что реконструкция И.Н. Хлопина имеет еще тот недостаток, что в самом начале процедуры проведена немотивированная абстракция от некоторых деталей (замечу, что для лингвиста такой прием представляется абсолютно недопустимым)⁷. Эти детали, однако, В.И. Сарианиди использовал для реконструкции какого-то фрагмента ритуала. И в целом эта реконструкция, несмотря на явную незавершенность и предварительность, мне кажется более убедительной, чем реконструкция И.Н. Хлопина. Вероятно, именно о реконструкции такого рода можно сказать словами Н.Л. Сухачева, что “достоверность реконструкции оказывается обратно пропорциональной степени ее детализации” (Сухачев 1994, 191). Действительно, такое представление о “святилищах”, об “алтарях” и т.п., находимых в поселениях южнотуркменистанской культуры, достаточно далеко от того, что мы знаем о ритуалах древних индийцев и древних иранцев, но и временной диапазон также измеряется тысячелетиями. Тем не менее определенное сходство между ритуалами и верованиями этих народов и тем, о чём можно догадываться относительно ритуалов и верований людей южнотуркменистанской культуры, явно имеется, имеется, очевидно, и сходство между южнотуркменистанскими и хараппскими “алтарями”. Это сходство, вероятно, свидетельствует о каком-то, возможно, этническом, единстве. Это единство заслуживает и требует серьезного изучения и объяснения. Один из путей этого объяснения И.Н. Хлопин отвергает, считая его несерьезным: “Предполагается, что до них (до иранских языков. – В.Д.) на юге Средней Азии были распространены дравидийские языки. Однако эта точка зрения не может считаться научно аргументированной. Сравнительно позднее появление здесь (с традиционной точки зрения) иранских языков вступило в противоречие с открытием ранних археологических памятников; их создателей надо было отнести к какой-нибудь языковой группе. Вот так и появились “дравидоидные языки”, действительно примыкающие с юга к индоарийским, но... на Индийском субконтиненте” (Хлопин 1994, 233).

Это крайне упрощенное изложение проблемы. Посмотрим, что же мы знаем о южнотуркменистанских культурах и об их носителях: «Ра-

⁷ Конечно, возможно, замечание И.Н. Хлопина (“здание погибло при пожаре”) призвано объяснить его отвлечение от “полусожженных костяков”, но об этом, по-видимому, надо было прямо написать.

скопками последних десятилетий установлено, что в эпоху новокаменного века (неолита), в VI тысячелетии до н.э., в подгорной полосе Копетдага возникла культура древних земледельцев, существовавшая затем и в медно-каменном веке (энеолите), и в эпоху бронзы – в течение примерно 5 тыс. лет! Назвали эту культуру джейтунской – по имени типичного, тщательно исследованного поселения Джейтун, расположенного недалеко от Ашхабада. Так как памятники предыдущей эпохи – мезолита (среднекаменного века) – здесь не найдены, остается предполагать, что предки джейтунцев пришли откуда-то в эти места» (Шишкун 1977, 8). Правда, по соседству с джейтунской культурой у берегов Каспийского моря А.П. Окладниковым была обнаружена джебельская (по пещере Джебел) мезолитическая культура, прослеживаются связи джейтунской культуры с мезолитическим комплексом Гари-Кумарбанда, одного из южных памятников прикаспийского мезолита, и В.М. Массон отмечает: «В целом кремневый инвентарь Джейтуна и Джебела производит впечатление двух ветвей одного общего корня» (Массон 1971, 63); но каких-либо переходных ступеней к производящему хозяйству, вроде тех, которые наблюдаются в натуфийской культуре (см. Чайлд 1956, 61–65, 339–356) в этом регионе не обнаружено. По-видимому, на этой территории нет и каких-либо свидетельств диффузии элементов производящего хозяйства с запада или с юго-запада. Поэтому приходится предполагать, что какие-то, возможно, родственные джебельцам группы, уже знакомые с элементами производящего хозяйства, мигрировали на эту территорию, вероятно, с юго-запада. «Представляется правомерным видеть этих протоджейтунцев в земледельческо-скотоводческих группах, продвигавшихся на восток по территории Северного Ирана и захватывавших по пути местных охотников и собирателей, передавая им навыки ведения производящего хозяйства. Возможно, что культура непосредственных предшественников джейтунцев представлена на западном тепе Санг-е Чаксамак, где обнаружено близкое по облику поселение, но почти без керамики [Masuda 1974]» (Шнирельман 1980, 74). По-видимому, достаточно убедительно доказано наличие в культуре джейтунцев пшеницы и ячменя, которые были принесены с прежних мест обитания, а не окультурены в данном регионе. «Обнаружение среди древнейших культурных растений джейтунцев мягкой и карликовой пшеницы [Бердыев 1969, 64; Массон 1971, 79] свидетельствует о том, что их земледелие было не так уж примитивно, поскольку оба вида произошли не непосредственно от диких, а от уже культурных растений, эволюция которых наблюдалась в Передней Азии, где они имелись в VIII–VII (VII–VI) тысячелетиях до н.э. [Zohary 1969, 60–63; Renfrew 1973, 47; Лисицына, Прищепенко 1977]» (Шнирельман 1980, 74). Привели ли джейтунцы с собой домашних животных (коз и овец), остается, по-видимому, неясным. Основная аргументация в пользу наличия этих домашних животных основана на преобладании костей молодняка в джейтунских остатках, но это явление может объ-

ясняться специализированной охотой (см. Шнирельман 1980, 38–39). Появление у джейтунцев домашнего скота в поздний период может быть объяснено культурной диффузией и притоком нового, возможно, родственного по языку населения: в поздний период в ряде пунктов джейтунской культуры появляются плоский прямоугольный кирпич (в Чагыллы), врачающиеся двери (“об этом свидетельствуют каменные подпятники, найденные на Чопане, Чагыллы, Монджуклы” [Шишкун 1977, 67]), сосуды с новыми формами (Чопан), крупный рогатый скот (Чагыллы) и т.п. Часть этих явлений может объясняться местной эволюцией, но, например, крупный рогатый скот вряд ли был одомашнен на месте.

Энеолит в данном регионе также начинается с притока нового населения, и именно в самый первый его период (Анау I А) появляются: “médные изделия, свидетельствующие к тому же о достаточно высоком уровне металлургии” [Шишкун 1977, 67] (Монджуклы), каменные мотыги, очень похожие на мотыги из Сиалка и Хассуны (Чакмаклы), поселения периода Анау I А (Монджуклы, Чакмаклы) четко разделены на две части узенькой улочкой (“интересно, что ни до, ни после Анау I А такого четкого деления поселения на две части мы не находим ни на одном из поселений древних земледельцев Южного Туркменистана” [Шишкун 1977, 85]). “По-видимому, такая планировка поселков отражает деление на две фракции... Подобная планировка поселений, не находящая себе аналогий..., возможно, отражает черты этнического и социального своеобразия” (Массон 1972, 8). Керамика Анау I с Чакмаклы и Монджуклы генетически почти не связана с джейтунской керамикой и отличается от керамики последующего периода (Анау I Б), она очень близка расписной керамике раннего Сиалка. На эту близость указал еще Г. Чайлд в тексте, написанном до 1952 г., о керамике Сиалка II он пишет: “Сходство в керамике позволяет прийти к заключению о параллелизме, если не о своего рода связи с первым поселением Анау в Мервском оазисе – единственным из многочисленных теллей Туркмении, где были проведены раскопки” (Чайлд 1956, 292). Это указание на ранний Сиалк, по-видимому, включает южнотуркменистанские культуры в ряд генетически близких культур северо-восточного и восточного Ирана, даже при современном состоянии археологических раскопок в Иране, показывающих довольно обширный регион. Вот несколько высказываний археологов об этих культурах. “Судя по керамике и погребальным обрядам, первое поселение южного холма (Сиалк III, 1) отражает в себе дальнейшее развитие культуры Сиалк II. Но почти полное подобие этой культуры было обнаружено в самых нижних слоях – I А в Тепе Хиссара, расположенного к северо-востоку от Сиалка близ Дамгхана” (Чайлд 1956, 292). “Культура Сиалка III, 1–3 и Хиссара I А отличается от культуры Сиалка II и Чашма Али (близ Райи. – В.Д.) только в отдельных ее проявлениях” (Чайлд 1956, 293). Взгляд на географическую карту показывает, что эти культуры контактируют и, возможно, частично перекрывают культуры прикаспийского мезолита (см. выше: Джебел, Гари-Кумарбанд, Санг-е Чаксамак).

что без явных археологических противопоказаний может говорить об этнически непрерывном развитии этих неолитических и энеолитических культур из данных культур мезолита под влиянием культурной диффузии с запада, захватывающей первоначально лишь отдельные наиболее контактные пункты, а затем постепенно распространявшейся в этнически однородной или близкой среде при переселении также отдельных групп этнически близкого населения.

Важным для нас является также то, что уже с самого начала серьезных археологических раскопок в северной Индии и в Пакистане археологи заметили сходство ряда раскопанных культур с культурами указанной выше зоны. Вот ряд высказываний археологов: “В 4-м тысячелетии до н.э. культура Гиссар-Тепе⁸ в некотором отношении стала провозвестницей культуры *Белуджистана*, а также *Индии*” (Брей, Трамп 1990, 60). “Зхоб (Zhob), долина в Северном *Белуджистане*, давшая название энеолитической культуре. Наиболее важным памятником является *Рана Гхундай* (расположен в соседней долине Лоралаи). Красная ангобированная керамика расписана черной, иногда красной краской. ... Аналогичный материал находился ниже слоя, относящегося к эпохе цивилизации *Инда в Хараппе*, аналогии керамики Тепе-Гиссара в Северном Иране позволяют предположить датировку 4–3-м тысячелетиями до н.э.” (Брей, Трамп 1990, 87). “Раскопки нескольких больших теллей в ныне засушливой горной долине реки Зхоба в северном Белуджистане дали керамику, отличающуюся поистине поразительным сходством по форме, технике и орнаментации с керамикой Хиссара I В. Сосуды изготовлены на гончарном круге. В некоторых случаях они покрыты красной облицовкой, хотя палевый фон встречается на Зхобе чаще, чем в северном Иране. Наконец, они украшены изображениями животных, стилизованных совершенно в стиле Хиссара, хотя здесь предпочтение отдавалось изображению быков, а не пантер и каменных козлов” (Чайлд 1956, 297). “Сравнение материала нижних слоев Рана Гхундай с культурами северного Ирана позволяет говорить об определенном сходстве культур северного Белуджистана и северного Ирана (Гиссар). Последующие периоды поселения указывают на связи не только с Ираном, но и с харапской цивилизацией” (Бонгард-Левин 1963, 76). “Керамика, близкая к керамике второго-третьего периодов в Рана Гхундай, была найдена М. Уилером (1956) под укреплениями в Хараппе. Это позволяет не только говорить о связи расписных культур северного Белуджистана с до- и раннехарапской культурой долины Инда, но и определять по времени третий период Рана Гхундай как дохарапский” (Бонгард-Левин 1963, 76). “Большой интерес представляют также новые раскопки Б. де Карди (1959) в Калате

⁸ Следовало бы, вероятно, писать Хиссар-Тепе, чтобы хотя бы отличать от Гиссара в Таджикистане, но я не хочу вмешиваться в текст и лишь прошу иметь в виду, что и в дальнейшем под Гиссар и Гиссар-Тере, Тепе-Гиссар подразумевается тот же памятник, что и Хиссар.

(к югу от Тогая). ...Комплекс второго периода в Анжере отражает тесную связь с культурами Ирана. Б. де Корди даже ставит вопрос о возможности проникновения сюда гиссарской культуры” (Бонгард-Левин 1963, 76). “В противоположность северному Белуджистану, где исследовались многослойные поселения, последовательное развитие культур в южном Белуджистане и Синде проследить не удалось. Типичная для этих районов так называемая керамика Амри-Наль известна преимущественно по подъемному материалу. ...Сравнение материала поселений культуры Амри-Наль с иранским материалом говорит о сходстве и связи культур Белуджистана и Ирана (общие черты значительны, особенно в ранние фазы)” (Бонгард-Левин 1963, 77). “Исследования советских археологов (Б.А. Куфтина, С.П. Толстова, В.М. Массона и др.) на территории Средней Азии показали значительное сходство среднеазиатских культур расписной керамики с культурами Индии (Белуджистана и Синда)” (Бонгард-Левин 1963, 78).

Итак, археологами были установлены значительные сходства между южнотуркменистанской культурой, северноиранскими культурами и дохарапскими и хараппской культурами северной Индии, и вопрос о дравидийских языках носителей этих культур возник не потому, что “сравнительно позднее появление здесь (т.е. в Средней Азии. – В.Д.) (с традиционной точки зрения) иранских языков вступило в противоречие с открытием ранних археологических памятников”, а потому что пока нет оснований считать дохарапские и хараппскую культуры северной Индии индоевропейскими. Языкprotoиндийских текстов еще не расшифрован, но некоторые результаты в его изучении позволяют предполагать, что он дравидийский: “Весь набор типологических признаков, выявленных при формальном анализе protoиндийских текстов, оказался характерным только для дравидийского языкового строя” (Гуров 1972, 40; подробно см. Гуров 1972). Возможно, родственным дравидийским языкам был эламский язык (сейчас получены определенные результаты в их сравнении [McAlpin 1981]). Влияние Элама на южнотуркменистанскую культуру также обнаружено археологами, имеются даже находки знаков, которые показывают сходство с эламским линейным письмом (Клочков 1995), с протоэламским письмом А и со знаками хараппской письменности (Массон, Сарианиди 1969). Самая северная группа дравидов (Брагуи) живет и сейчас в Белуджистане (запад Пакистана), на юге Афганистана, и крайнем юго-востоке Ирана. “По данным глоттохронологии, распад общедравидийского языка (точнее, разделение северо-западной и центрально-южной ветвей) можно отнести приблизительно к рубежу IV–III тыс. до н.э. (XXX в. до н.э.). Центрально-южные языки распадаются приблизительно на 1000 лет позже, около XX в. до н.э. ...все известные лингвистические данные позволяют говорить о передвижении дравидийских языков в Южную Азию с запада в период с IV по II тыс. до н.э. Сказанному не противоречат и археологические данные, свидетельствующие о распространении неолитических и

энеолитических культур по той же территории и в том же направлении” (Пейрос, Шнирельман 1992, 136, 137).

Из всей статьи И.Н. Хлопина действительно серьезной проблемой мне представляется проблема серо-черной керамики, но об этой проблеме он пишет поразительно мало, она, по-видимому, заслуживает самого глубокого изучения археологами. Но вряд ли она требует от лингвистов отказа от строгой методики компаративных исследований, и тем более от строгой методики исследования отдаленного родства языков.

Примечание. В той же статье И.Н. Хлопин касается вопроса о хаоме (соме): “Применение при богослужении сока хаомы было настолько обязательным, что разбросанные по миру потомки древних зороастрцев – парсы – всегда находили что-либо похожее в местной флоре⁹. В частности, индийские парсы для приготовления дурманищего напитка и поныне употребляют побеги эфедры, безлистного, преимущественно горного кустарника, с реальной хаомой ничего общего не имеющего” (Хлопин 1994, 228). Последнее утверждение излишне смелое и потому ошибочное: с “реальной хаомой” эфедра имеет, по крайней мере, одно общее – это название (эфедры и сомы) в иранских языках.

*haumjá- (для некоторых из приводимых лексем возможна и реконструкция *hauma-) ‘хвойник, эфедра’: афг. *ātā* т. ‘кузьмичёва трава, эфедра, хвойник (*ephedra*)’ (Асл.: 93), согд. (al-Bīrūnī) *hwāt* ‘Pflanzenname’, перс. *hōut* ‘эфедра, хвойник (*ephedra*)’ (ПРСл II, 734), ср. авест. *haomuta-* ‘zum Haoma gehörig’, др.-инд. *somid-* adj. ‘относящийся к соме, содержащий сому, связанный с сомой’ и др.-инд. *sauhyād-* adj. ‘относящийся к соме, имеющий свойства сомы и т.п.’ (f. *sauhā*). От последнего прилагательного в др.-инд. образовывались также названия растений, имеющих отношение к соме, например др.-инд. *sauhyād* f. (см.: Дыбо 1974, Стеблин-Каменский 1974, Стеблин-Каменский 1982, Mayrhofer II).

*haumtāna- ‘хвойник, эфедра’: афг. *ātmān* т. ‘кузьмичёва трава, эфедра, хвойник (*ephedra*)’ (Асл.: 92), мундж. *uytanā* ‘хвойник’, юнга *uytend* ‘хвойник’;

*haumtāka- ‘хвойник, эфедра’: вахан. (y)ītāk ‘эфедра, хвойник’, тадж. диал. *hītā* ‘хвойник, эфедра’;

*haumtāči(+ak) ‘хвойник, эфедра’: шугн. *atōjāk* ‘эфедра, кузьмичева трава, хвойник’ (Карамшоев 1,91)¹⁰, рушан. *atōjāk* ‘хвойник, эфедра’, хуфск. *atōjāk* ‘хвойник, эфедра’ (см. Стеблин-Каменский 1974, Стеблин-Каменский 1982).

То, что “хаомовым” растением в памирских, юнгах, мунджахском, афганском и персидском языках называется эфедра (хвойник), а парсы (как пишет И.Н. Хлопин) “и поныне употребляют побеги эфедры” для изготовления хаомы, по-видимому, достаточно надежное основание, чтобы считать, что по крайней мере со временем Заратушты древние иранцы готовили свой, соответствующий ведической соме, культовый напиток, уже из эфедры.

Показанная выше недостаточная эксплицированность формальной части процедур, при помощи которых получена археологическая реконструкция, как представляется, оказывает вредное влияние и на некоторых лингвистов, в основном на тех, которые занимаются лингвистическим аспектом этнокультурной истории. Это происходит, по-

⁹ Это, по-видимому, должно означать, что парсы обнаружили хвойник (эфедру) во флоре Индии, что неверно: парсы импортируют хвойник из Ирана (см.: Стеблин-Каменский 1974, 139, там же ссылка на соответствующую литературу).

¹⁰ В (Зарубин 1960, 89) значение этого слова представлено еще следующим образом: ‘род кустарникового растения, зола которого употребляется при изготовлении жевательного табака (нас)’.

видимому, потому, что занимаясь относительно небольшим корпусом релевантных в этнокультурном отношении лингвистических фактов, они невольно отвлекаются от всей массы материала, включенного в компаративистскую процедуру для получения лингвистической реконструкции, что приводит к искаженному (вероятно, лишь) теоретическому представлению о лингвистической реконструкции. Вот два высказывания о лингвистической реконструкции, связанные с отношением к ностратическим исследованиям. Авторы их по-разному относятся к ностратике, первый из них (Н.Л. Сухачев) принимает и пытается развить концепцию Н.С. Трубецкого по возникновению индоевропейского единства, второй (Н.В. Гуров), по-видимому, такой позиции не занимает (во всяком случае, в этом плане не высказывается). Их высказывания в определенной степени суммируют то»т комплекс ошибочных представлений о лингвистической реконструкции, который бытует среди гуманитариев и без преодоления которого, по-видимому, невозможно плодотворное сотрудничество лингвистов-компаративистов и археологов. Наиболее важной особенностью этого комплекса представлений является отрицательное отношение к “поэтапной реконструкции” и связанное с ним непонимание того, что реконструкция более содержательна и более информативна, чем отдельный языковой факт.

Вот высказывание Н.Л. Сухачева в его книге “Историческая перспектива в индоевропеистике”. К проблеме “индоевропейских древностей” (СПб., 1994), призванной, по-видимому, по мысли автора, приблизить точку зрения лингвистов-компаративистов к позиции археологов: «Речь идет, таким образом, о реконструкции “праязыков” эпохи позднего палеолита. При такой хронологической глубине соответствующие гипотезы обретают скорее историческую значимость, чем лингвистическую. В качестве реконструкции они оказываются, по меньшей мере, вторичными (если иметь в виду реконструированный характер сравниваемых между собой “праязыков”). Это значительно огрубляет метод. Призывы к большей методической строгости в таких условиях – не более, чем благие намерения» (Сухачев 1994, 188).

«Для индоевропейского прадревноведения (в традиционном “генетическом” смысле этого понятия) глубинная “ностратическая” реконструкция оказывается избыточной и бесполезной, что справедливо и для других прадревноведений.

Формирование и распад индоевропейской общности, скорей всего, связаны с новым хозяйствственно-культурным типом первобытности, а именно – с возникновением земледельческо-скотоводческой экономики (VIII–V тысячелетия до н.э.). Если это так, то хронологическая привязка “макросемьи” к эпохе палеолита говорит о правомерности реконструкции ностратического уровня, несмотря на сомнительность этимологических процедур, крайне обедняющих звуковой состав слова. На этой хронологической глубине кончается лингвистика» (Сухачев 1994, 189–190).

«Более высокий уровень обобщения ностратической реконструк-

ции, проявляющийся на практике как огрубление традиционных этиологических методов, оказывается в итоге более адекватным для целей культурно-исторической реконструкции, чем претензии на филологическую скрупулезность (не всегда реализуемые) традиционной компаративистики. Проблема “словаря и культуры” здесь также принимает особый характер, более упрощенный, если иметь в виду, что объектом исследования ностратистов являются списки слов (то есть изолированные элементы языка) в их принципиальном отрыве от коммуникативной ситуации. Сказанное может показаться парадоксальным и является таковым. Но этот парадокс вызван соответствующим “способом действования”, который, на мой взгляд, приемлем для заданной исторической глубины. Предъявлять к ностратическим моделям те же требования, что и к индоевропейским, если не к реконструкциям уровня “отдельных филологий” (славянской, германской, тюркской), было бы, возможно, менее парадоксально, но и менее логично.

Чтобы довести мысль до конца, добавлю, что достоверность реконструкции оказывается обратно пропорциональной степени ее детализации» (Сухачев 1994, 190–191).

Вот высказывание по тому же поводу Н.В. Гурова в его совместной с Г.М. Бонгардом-Левиным статье “Древнейшая этнокультурная история народов Индостана: итоги, проблемы, задачи исследования” (в кн. “Древний Восток. Этнокультурные связи”, LXXX, М., 1988): «Методическая “шаткость” такого рода попыток проявляется хотя бы в том, что выводы, сделанные на основе столь обширного и крайне неоднородного (в смысле фактической достоверности) материала, практически не поддаются – в отличие от реконструкций на пражском уровне – строгой научной проверке. Сравнительное изучение реконструированных данных требует, по-видимому, качественно иной методики по сравнению с методикой, выработанной на основе компаративистского исследования реально существующих (или существовавших ранее) языков. Если этого нет, исследователь вынужден прибегать к “многоступенчатым реконструкциям”, лингвистическая достоверность которых находится в обратной зависимости от числа “ступеней”. Несовершенство методики “многоступенчатых реконструкций” непосредственно проявляется в системной несовершенности восстанавливаемых в результате исследования фонологических систем (такие системы страдают, как правило, крайней “избыточностью” фонемного инвентаря, включая три и более ряда велярных смычных¹¹, несколько рядов аф-

¹¹ Этот упрек не относится к ностратическому пражскому, в котором реконструируется один ряд велярных смычных (см. Илич-Свитыч I 1971, 147), он может относиться к индоевропейскому пражскому (Brugmann I, 157–178; Мейе 1938), за “избыточность фонемного инвентаря” которого “ностратисты” ответственны, конечно, не несут. Более того, именно ностратическая реконструкция позволила объяснить причину “избыточности” в этой группе фонем индоевропейского пражского, т.е. сделать то, что не удалось сделать некоторым пугливым в этом отношении индоевропеистам (см.: Дыбо 1978).

фрикат¹² и спирантов¹³ и т.д.), во-первых, и полной невозможности сделать сколько-нибудь аргументированные выводы по поводу грамматического строя и морфемного состава искомой языковой общности, во-вторых. По достоинству оценивая усилия по воссозданию языковых "макросемей", предпринятые в последние годы лингвистами разных специальностей, следует помнить, что реконструированные ими "макросемьи" – на нынешнем уровне наших знаний о древнейших этапах "языкового существования" человечества – являются, в строгом смысле слова, лишь исследовательской гипотезой¹⁴ и в силу этого не могут служить надежной основой для комплексных научных разработок в области этнокультурного процесса древнейших эпох» (Бонгард-Левин, Гуров 1988, 91–92).

При всем различии оценочных моментов (Н.Л. Сухачев признает ценность ностратических исследований для культурно-исторической реконструкции, тогда как Н.В. Гуров решительно отвергает ее), имеется одна общая особенность, которая объединяет этих авторов¹⁵, это отношение их к лингвистической реконструкции как к результату последовательного отвлечения (абстракции) от языковой реальности. Дело представляется, по-видимому, следующим образом: поскольку лингвистическая реконструкция – результат абстрагирующей деятельности исследователя, то "праязык" – это некая абстракция¹⁶, при построении

¹² Аффрикат действительно много, столько же, сколько в картвельском (три ряда: девять фонем, см. Климов 1964, 25; Иллич-Свитыч I 1971, 148–149), но меньше, чем в убыхском (четыре ряда: двенадцать фонем, см. Dumézil 1967, 11).

¹³ Спирантов, по-видимому, столько же, сколько в картвельском, но, кажется, меньше, чем в русском, во всяком случае, чем в его южных диалектах.

¹⁴ Это утверждение трудно понять из-за усилившейся в последнее время тенденции словоупотребления рассматривать все научные положения, обладающие системой доказательств (т.е. собственно гипотезы), как непреложные теоретические положения, а название "гипотеза" относить лишь к положениям, которые такой системой доказательств не обладают (т.е., строго говоря, к ненаучным положениям). Такое словоупотребление фактически выбрасывает термин "гипотеза" за пределы научной терминологии. Не проще ли вернуться к старому словоупотреблению и рассматривать все интеллектуальное содержание науки как гипотезы (ср. принцип фальсифицируемости всех научных положений, в отличие от ненаучных, выдвинутый К.Р. Поппером).

¹⁵ Есть, конечно, еще одна общая черта: при чтении приведенных высказываний создается прочное впечатление, что оба автора знакомы с ностратическими исследованиями исключительно по слухам, ни тот, ни другой не читали ностратические исследования и не пытались их проверить (оба автора фактически признаются в этом: Н.Л. Сухачев, заявляя, что ответ на вопрос, «какая реальность могла бы стоять за ностратическими языками,... не требует верификации этимологий (думаю, что такая задача невыполнима, и остается только верить эрудиции и чувству меры "ностратистов")», Н.В. Гуров, делая подобное же оправдательное заявление: «выводы, сделанные на основе столь обширного и крайне неоднородного (в смысле фактической достоверности) материала, практически не поддаются – в отличие от реконструкций на праязыковом уровне – строго научной проверке», но эта черта не имеет отношения к интересующей нас проблеме).

¹⁶ Н.Л. Сухачев, собственно, это утверждает в следующей фразе: «Условность этимологий для вторичных в конечном счете гипотез "лингвистической палеонтологии" обычно игнорируется, поскольку любая научная абстракция (в данном случае "праязык") выступает в качестве единственно реального объекта рефлексии на более высоких уровнях обобщения» (Сухачев 1994, 135).

которой неизбежна определенная потеря информации, от которой исследователь абстрагировался; если исследователь сравнивает между собой “праязыки”, пытаясь реконструировать “праязык” более глубокого хронологически уровня, он, естественно, повторяет процесс абстрагирующей деятельности с естественной новой потерей информации; в этом случае результат деятельности оказывается связанным с такой значительной потерей информации, что такие реконструкции “практически не поддаются – в отличие от реконструкций на праязыковом уровне – строго научной проверке” (Бонгард-Левин, Гуров 1988, 91)¹⁷. Тот момент, что корневой состав ностратического праязыка представлен в фонемном выражении, авторами этих пассажей, видимо, всерьез не принимается: по-видимому, они не верят, что реконструкция фонемного состава является результатом строгой процедуры, а считают ее результатом “домысливания”, т.е. внесения в “реконструкцию” как-то некомпаративистской информации¹⁸, вроде той неархеологической информации, которая вносится в археологическую реконструкцию для ее интерпретации. Это, по-видимому, подтверждается двумя упреками (правда, взаимоисключающими; в сносках я попытался показать их неправомерность): Н.Л. Сухачев считает, что фонемный состав ностратического праязыка крайне обеднен (“сомнительность этимологических процедур, крайне обедняющих звуковой состав слова”), это означает, что в результате реконструкции мы потеряли информацию о каких-то фонологических различиях, характерных для праязыка, и получили фонологическую систему, с значительно меньшим количеством фонем, чем их имеется в реально существующих языках. Н.В. Гуров, на-против, считает, что в реконструированном ностратическом праязыке фонем слишком много, значительно больше, чем их имеется в реально существующих языках («такие системы страдают, как правило, крайней “избыточностью” фонемного инвентаря, включая три и более ряда велярных смычных, несколько рядов аффрикат и спирантов и т.д.»).

¹⁷ Поскольку Н.Л. Сухачев положительно относится к деятельности “ностратистов”, считая, что ее результаты поддерживают его концепцию, построенную на предложенной Н.С. Трубецким гипотезе, согласно которой индоевропейская семья языков сложилась из первоначально неродственных языков в результате процессов конвергенции как некая ступень, следующая за состоянием языкового союза, он формулирует аналогичный вывод следующим образом: «Правомерен все же вопрос: какая реальность могла бы стоять за ностратическими языками? Ответ на него не требует верификации этимологии (думаю, что такая задача невыполнима, и остается только верить эрудиции и чувству меры “ностратистов”)» (Сухачев 1994, 188). Последнее утверждение, очевидно, также отрицает за ностратической реконструкцией какое-либо научное содержание: положение, которое не поддается верификации и остается предметом веры, не является научным положением.

¹⁸ Как я уже писал (см. Дыбо 1994, 43–44), такая некомпаративистская информация в реконструкцию действительно вносится для уточнения возможной фонетической интерпретации полученных фонем, но на количество и распределение этих фонем она не влияет, фактически она не влияет и на включение реконструкций в следующий “виток” компаративистской процедуры (см. еще Дыбо 1993).

Это означает, что в результате реконструкции мы потеряли информацию о каких-то фонетических позициях, характерных для прайзыка, по которым должны были дополнительно распределиться какие-то "фонемы", т.е. быть фактически аллофонами. Оба автора считают, что такое "обеднение" является результатом "многоступенчатой реконструкции". Н.В. Гуров: «исследователь вынужден прибегать к "многоступенчатым реконструкциям", лингвистическая достоверность которых находится в обратной зависимости от числа "ступеней"». Н.Л. Сухачев: «В качестве реконструкции они (прайзыки ностратического уровня. – В.Д.) оказываются, по меньшей мере, вторичными (если иметь в виду реконструированный характер сравниваемых между собой "прайзыков"). Это значительно огрубляет метод. Призывы к большей методической строгости в таких условиях – не более, чем благие намерения».

Такое представление о лингвистической реконструкции совершенно ошибочно. Лингвистическая реконструкция не является результатом абстракции¹⁹. Она является результатом процедуры совсем иного рода и при ней не происходит той потери информации, о которой думают авторы этих пассажей. В тех случаях, когда мы на уровне прайзыка объединяем какие-то фонемы, разделившиеся у языков-потомков, мы это делаем потому, что строгая процедура устанавливает позиции их дополнительного распределения, эти позиции, естественно, отражаются в реконструкции, а сам процесс разделения и фонематизации формулируется в виде "фонетического закона" или "правила"²⁰. Аналогично, если в каком-то языке или группе языков имеется какой-то ряд фонем, противопоставленный другому ряду, и дополнительное распределение между этими рядами не удается установить, а в другом языке (например, в русском или литовском) этого различия нет, мы реконструируем в прайзыке два ряда фонем, а совпадение их в литовском формулируем

¹⁹ Имеется еще один автор-компаративист, который связывает лингвистическую реконструкцию с абстракцией. Это Л.Г. Герценберг. Он пишет: "Лингвистическая реконструкция относится к одной из разновидностей научной абстракции – к идеализации" (Герценберг 1972, 42). К счастью, приводимое им уточнение и дальнейшие объяснения сразу же выявляют его ошибку. Идеализацией называется процесс мыслительного конструирования понятий об объектах, процессах и явлениях, не существующих в действительности, но таких, для которых имеются прообразы в реальном мире (например, "точка", "абсолютно твердое тело", "идеальный газ"). Если при описании языка мы действительно конструируем такие понятия (фонема, аллофон, морфема, морф, глубинная структура и т.д.) и, опираясь на них, проводим описание языка, то при реконструкции прайзыка мы никаких новых понятий не конструируем, а проводим реконструкцию в тех же понятиях, в которых язык описан. Реконструированный прайзык не более абстрактен, чем сравниваемые языки. Он будет не полон, фрагментарен, о каких-то его частях, явлениях, категориях и т.п. мы ничего не знаем, о каких-то явлениях мы знаем очень мало, что-то мы приписали ему ошибочно, о чем-то в нем мы даже не догадываемся, но при всем том он не более абстрактен, чем обычный человеческий язык.

²⁰ При этом все "исключения" из этого "закона" или "правила" объясняются или, во всяком случае, на необходимость их объяснения специально указывается, никакого отвлечения от них не происходит.

в виде “фонетического закона”. Очевидно, что ни в том, ни в другом случае никакой потери информации не происходит. Легко убедиться, что во всех случаях действия компаративистской процедуры вы не обнаружите никакой потери информации. Потеря информации происходит в том случае, если какое-то слово, форма, грамматическая категория или фонологическое явление некоего языка не включено в компаративистскую процедуру. Это бывает тогда, когда в родственных языках указанного феномена нет, или он претерпел такие изменения (фонетические, семантические и под.), что мы на нашем уровне знаний не можем его опознать, или какие-то родственные языки так плохо описаны, что в их описание это явление не попало, хотя в самих языках оно есть. Если у нас есть близкородственные языки, мы можем сравнить это явление с аналогичными явлениями в них и установить его вторичность и тот прототип, из которого оно развилось, у этого прототипа могут обнаружиться соответствия и в дальнородственных языках. Если у нас имеется хорошо описанное языковое окружение, мы можем сравнить это явление (слово, например) с соответствующими явлениями в окружении и обнаружить, что оно является заимствованием. В обоих случаях путем включения указанного явления в компаративистскую процедуру мы восполнляем потерю информации. Отсюда непреложно следует, что лингвистическая реконструкция тем точнее, чем больше “ступеней” может пройти компаративистская процедура. Потеря информации происходит именно тогда, когда этих “ступеней” мало или нет, т.е. когда языки разделились очень давно, а групп более близких по родству среди них нет, или они не установлены. Например, в индоевропеистике трудности с включением албанского языка в компаративистскую процедуру объясняются тем, что из всех иллирийских (или, по другим мнениям, фракийских) языков албанский остался в одиночестве. Если бы у нас была группа языков, близкородственных албанскому, то в результате их сравнения мы получили бы прайзык, который значительно легче было бы ввести в индоевропейскую компаративистскую процедуру и тем восполнить ту потерю информации, которая происходит из-за одиночества албанского языка. То же в определенной степени относится и к армянскому языку (хотя здесь положение в определенной степени облегчается его относительно ранней фиксацией). Взгляд на “многоступенчатые реконструкции” как на какой-то недостаток сравнительно-исторического исследования тем более странен, что представление о “многоступенчатой, или поэтапной реконструкции” не является чем-то новым для сравнительно-исторического языкознания: ведь индоевропейский прайзык теоретически не является результатом сравнения санскрита, древнеперсидского, греческого, латыни, готского, старославянского и т.п. языков, он является результатом сравнения (компаративистской процедуры) прайндоиранского, прагреческого, пракитайского, прагерманского, праславянского и т.п. языков (т.е. результатом сравнения уже реконструкций). Уральский прак-

язык – это результат компаративистской процедуры, проведенной над финно-угорским и самодийским реконструированными пражаязыками, которые сами являются результатом той же процедуры, проведенной над реконструкциями же: над прашибалтийско-финским, прасаамским, прамордовским, прамарийским, прапермским, праугорским и над прасеверносамодийским, праселькупским, прасаяносамодийским. И это относится к любой реконструкции пражаязыка достаточно разветвленной семьи. Эта особенность пражаязыковой реконструкции, однако, недостаточно эксплицирована, и в какой-то степени ее экспликации мешает исторически сложившийся стиль компаративистских работ, когда авторы вместо соответствующей прагерманской или праславянской “формы под звездочкой” предпочитают давать формы нескольких германских или славянских языков (при этом предполагается, что соответствующую прагерманскую или праславянскую форму, “форму под звездочкой”, без труда реконструирует сам читатель на основании приведенных форм). Эта “стилистическая” особенность работ по компаративистике, по-видимому, является одной из основных причин затушевывания, маскировки ряда существенных сторон сравнительно-исторической реконструкции, она явно скрывает ту особенность, о которой я уже сказал, что реконструкция более содержательна и более информативна, чем отдельный языковой факт, что потеря информации в конечной реконструкции в большинстве случаев является “результатом” незавершенности промежуточных реконструкций и что именно прогресс в завершении “промежуточных” реконструкций или даже ясное осознание степени их завершенности приводит к резкому повышению информативности и точности конечной реконструкции. Собственно, вся история сравнительно-исторического языкознания подтверждает сказанное. Так, восстановление прагерманского чередования глухих и звонких фрикативных, т.е. доведение до определенной степени завершенности прагерманской “ступени”, позволило К. Вернеру сравнить это чередование с чередованием места акцента в древнеиндийском и, сформулировав закон Вернера, показать, что древнеиндийская просодия является наследием индоевропейской просодии. Лишь доведение до определенной степени завершенности реконструкций вокалических систем пражаязыков европейских языковых семей позволило осуществить в 70-х годах прошлого века тот переворот в реконструкции индоевропейского пражаязыка, который привел к современному состоянию этой реконструкции. Достаточно внимательно прочитать этимологические словари разных периодов развития индоевропейского языкознания, чтобы увидеть, в какой степени менялась и уточнялась реконструкция праиндоевропейского словаря в зависимости от успехов в словарной реконструкции пражаязыков дочерних индоевропейских семейств (это могут заметить и специалисты по этнокультурным проблемам). Можно привести еще много разного рода примеров на эту тему из индоевропеистики, но ту же историю мы видим и в других компаративистиках. Так,

сравнение вокализма трех финских языковых групп стало фактически возможным лишь после реконструкции прасаамского вокализма и пра-мордовского (пра-эрзя-мокшанского) вокализма, проведенные затем Ф. Итконеном предварительные реконструкции прамарийского и пра-пермского вокализма и еще более точная реконструкция пра-пермского вокализма В.И. Лыткиным позволили включить эти группы в компаративистскую процедуру, завершив в определенной степени реконструкцию финского прайзыка. Завершение реконструкций финноуральской и уральской вокалических прасистем наталкивается на то, что до сих пор нет удовлетворительных реконструкций праугорской и прасамодийской вокалических систем. Не продолжая новых примеров (хотя бы из истории северокавказской реконструкции – о значении “постепенной”, или “поступенчатой”, реконструкции см. Алексеев, Тестелец 1996), замечу, что слабость реконструкции прайзыка проявляется не тогда, когда «исследователь вынужден прибегать к “многоступенчатым реконструкциям”», а когда эти “многоступенчатые реконструкции” не сделаны, это относится, например, к реконструкции фонематического состава дравидийского прайзыка, для которой тамильский играет ту же роль, какую играл санскрит для первоначальной индоевропейской реконструкции.

Л и т е р а т у р а

- Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. IV, и-з. Л., 1989.*
- Алексеев М.Е., Тестелец Я.Г. «Севернокавказский этимологический словарь» и перспективы кавказской компаративистики // Изв. РАН. Сер. лит-ры и языка. Т. LV. № 5. 1996.*
- Антонова Е.В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии: Опыт реконструкции мировосприятия. М., 1984.*
- Археология СССР. Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. – первой половине I тысячелетия н.э. М., 1993.*
- Асланов М.Г. Афганско-русский словарь (пушту). М., 1966.*
- Бердыев О. Новые раскопки на поселениях Песседжик-Депе и Чакмаклы-Депе // Каракумские древности. Вып. II. Ашхабад, 1968.*
- Бердыев О. Древнейшие земледельцы Южного Туркменистана. Ашхабад, 1969.*
- Бонгард-Левин Г.М. Древние культуры (историко-археологический очерк) // Народы Южной Азии. М., 1963.*
- Бонгард-Левин Г.М., Гуров Н.В. Древнейшая этнокультурная история народов Индостана: итоги, проблемы, задачи исследования // Древний Восток. Этнокультурные связи. LXXX. М., 1988.*
- Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М., 1990.*
- Гарден Жан-Клод. Теоретическая археология. М., 1983.*
- Герценберг Л.Г. Морфологическая структура слова в древних индоиранских языках. Л., 1972.*
- Гинзбург В.В., Трофимова Т.А. Палеоантропология Средней Азии. М., 1972.*
- Гуров Н.В. Изучение протоиндийских текстов [краткий обзор] // Сообщение об исследовании протоиндийских текстов. I. М., 1972¹.*
- Гуров Н.В. Именное склонение в дравидийских языках и микропарадигма протоиндийских текстов (опыт сопоставления) // Сообщение об исследовании протоиндийских текстов. I. М., 1972².*

Дьяконов И.М. Восточный Иран до Кира // История Иранского государства и культуры. М., 1971.

Дыбо В.А. Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балто-славянской акцентологии // Балто-славянские исследования. М., 1974.

Дыбо В.А. Ностратическая гипотеза (Итоги и проблемы) // Известия АН СССР. Серия лит. и языка. Т. 37, вып. 5. 1978.

Дыбо В.А. Язык – этнос – археологическая культура (Несколько мыслей по поводу индоевропейской проблемы) [I] // Язык. Культура. Этнос. М., 1994.

Дыбо В.А. Морфонологический анализ, внешнее сравнение и сопоставление в лингвистической реконструкции // Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков. М., 1994.

Жарриж Ж.-Ф. Связь Белуджистана и Средней Азии во второй половине III тыс. до н.э. в свете новых работ в районе Мергара // Древнейшие культуры Бактрии. Тезисы до-кладов на советско-французском симпозиуме. Душанбе, 1982.

Зарубин И.И. Шугнанские тексты и словарь. М.; Л., 1960.

Иванов Вяч. Вс., Гамкрелидзе Т.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыков и протокультур. Тбилиси. 1984. Кн. 1, 2.

Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Введение. Сравнительный словарь (b-K). М., 1971.

Исааков А.И. Каразм. Душанбе. 1991.

Карамшоев Д. Шугнанко-русский словарь в трех томах. Т. 1. М., 1988.

Клейн Л.С. Проблема определения археологической культуры // СА. М., 1970, № 2.

Клейн Л.С. Понятие типа в современной археологии. Типы в культуре. Л., 1979.

Клейн Л.С. Структура археологической теории // Вопросы философии. М., 1980, № 3.

Климов Г.А. Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.

Клочков И.С. Знаки на черепке с Гонура (К вопросу о маргиянской письменности) // ВДИ. 1995. № 2.

Коробкова Г.Ф. Каменная индустрия Песседжик-депе и ее среднеазиатские параллели // Каракумские древности. Вып. III. Ашхабад, 1970.

Лисицына Г.Н., Прищепенко Л.В. Палеоэтноботанические находки Кавказа и Ближнего Востока. М., 1977.

Массон В.М. Древние земледельцы на юге Туркменистана. Ашхабад, 1959.

Массон В.М. Кара-депе у Артыка // Труды ЮТАКЭ. Т. Х. Ашхабад, 1960.

Массон В.М. Джейтунская культура // Труды ЮТАКЭ. Т. Х. Ашхабад, 1960.

Массон В.М. Энеолит южных областей Средней Азии. Ч. II. Памятники развитого энеолита Южной Туркмении. М.; Л., 1962.

Массон В.М. Древнейшее прошлое Средней Азии. Л., 1962.

Массон В.М. Средняя Азия и древний Восток. М.; Л., 1964.

Массон В.М. Развитие теоретических основ советской археологии // Теоретические основы советской археологии. М., 1969.

Массон В.М. Поселение Джейтун. Л., 1971.

Массон В.М. Эволюция первобытных поселений Средней Азии // Успехи среднеазиатской археологии. Вып. I. Л., 1972.

Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. Л., 1976.

Массон В.М. Печатиprotoиндийского типа из Алтын-Дебе (К проблеме этнической атрибуции культур расписной керамики Ближнего Востока) // ВДИ. 1977. № 4.

Массон В.М., Боряз В.Н. Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. Л., 1975.

Массон В.М., Саршаниди В.И. О знаках на среднеазиатских статуэтках эпохи бронзы // ВДИ. 1969. № 1.

Массон В.М., Саршаниди В.И. Каракумы: заря цивилизации. М., 1972.

Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.

- Мерперт Н.Я.* Об этнокультурной ситуации IV–III тысячелетий до н.э. в циркумпонтийской зоне // Древний Восток: Этнокультурные связи. М., 1988.
- Монгайт А.Л.* Археология Западной Европы: Каменный век. М., 1973.
- Николаев С.Л.* Раннее диалектное членение и внешние связи в восточнославянских диалектах // ВЯ. 1994. № 3.
- Пейрос И.И., Шнирельман В.А.* В поисках прародины дравидов (Лингвоархеологический анализ) // ВДИ. 1992. № 1.
- ПРСл II – Персидско-русский словарь. Т. II. М., 1970.
- Сарианиди В.И.* Культовые здания поселений анауской культуры // СА, М., 1962. № 1.
- Сарианиди В.И.* Памятники позднего энеолита юго-восточной Туркмении. М., 1965.
- Сарианиди В.И.* Тайны исчезнувшего искусства Каракумов. М., 1967.
- Сарианиди В.И.* Древние земледельцы Афганистана. М. 1977.
- Сарианиди В.И.* Памятники монументальной архитектуры Бактрии // СА. 1977. № 1.
- Седов А.А.* Восточнославянская этноязыковая общность // ВЯ. 1994. № 4.
- Средняя Азия 1966 – Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. М.; Л., 1966.
- Стеблин-Каменский И.М.* Флора иранской прародины (Этимологические заметки) // Этимология 1972. М., 1974.
- Стеблин-Каменский И.М.* Очерки по истории лексики памирских языков. Названия культурных растений. М., 1982.
- Сухачев Н.Л.* Историческая перспектива в индоевропеистике. К проблеме "индоевропейских древностей". СПб., 1994.
- Трубецкой Н.С.* Мысли об индоевропейской проблеме // Н.С. Трубецкой. Избранные труды по филологии. М., 1987. См. немецкий вариант этой статьи: *Trubetzkoy N.S. Gedanken über das Indogermanenproblem // Acta linguistica. Vol. I, fasc. 2. Copenhagen, 1939.*
- Хлопин И.Н.* Дашлыджи-Депе и энеолитические поселения Южного Туркменистана // ТЮТАКЭ. Т. Х. Ашхабад, 1960.
- Хлопин И.Н.* Энеолит южных областей Средней Азии. Ч. I. М.; Л., 1963а.
- Хлопин И.Н.* Памятники раннего энеолита Южной Туркмении. М.; Л., 1963б.
- Хлопин И.Н.* Модель круглого жертвенника из Ялангач-Депе // КСИА. Вып. 98. М., 1964а.
- Хлопин И.Н.* Геоксюрская группа поселений эпохи энеолита. М.; Л., 1964б.
- Хлопин И.Н.* Проблема происхождения культур степной бронзы // Краткие сообщения ИА АН СССР. Вып. 122. М., 1970.
- Хлопин И.Н.* Мандрагора туркменская в истории народов Востока // Известия АН ТССР. СБН. 1979. № 1.
- Хлопин И.Н.* Юго-западная Туркмения в эпоху поздней бронзы. 1983.
- Хлопин И.Н.* Хаома – священное растение древних иранцев // Природа. 1986, № 11.
- Хлопин И.Н.* Исторические закономерности сложения степных культур Средней азии // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989а.
- Хлопин И.Н.* Открытие Гирканы // Природа. 1989. № 4(6).
- Хлопин И.Н.* Культура "Астрabadского бронзового века" в Хорезме // Известия АН ТССР. СГНю 1991. № 3.
- Хлопин И.Н.* Древнейшие индоиранцы в свете археологии // Сухачев Н.Л. Историческая перспектива в индоевропеистике. К проблеме "индоевропейских древностей". СПб., 1994.
- Чайлд Г.* Древнейший Восток в свете новых раскопок. М., 1956.
- Шишкун И.Б.* У стен великой Намазги. М., 1977.
- Шнирельман В.А.* Происхождение скотоводства (культурно-историческая проблема). М., 1980.
- Щетенко А.Я.* Древнейшие земледельческие культуры Декана. Л., 1968.
- Юсупов Х.Ю.* Хорезмский ренессанс // Памятники Туркменистана. 1989. № 2(48).
- Actes du premier congrès international de linguistes à la Haye du 10–15 avril 1928. Leiden, 1928. P. 17–18.

- Brugmann K.* Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Erste Lieferung: Einleitung und Lautlehre. Strassburg, 1902.
- Contenau G., Ghirshman R.* Fouilles de Tépé Giyan. P., 1942.
- Dales A.* Prehistoric Research in Southern Afghans Seistan // Afghanistan, 1971, 24.
- Deo S.B., Ansari Z.D.* Chalcolithic Chandoli. Poona, 1965.
- Dumézil G.* Documents Anatoliens sur les langues et les traditions du Caucase. V. Études Abkhaz. P., 1967.
- EVP – Morgenstierne G.* An etymological Vocabulary of Pashto. Oslo, 1927.
- Fairservice W.A.* The roots of Ancient India. The archaeology of early Indian civilization. London, 1971.
- Gasol J.-M.* Fouilles de Mundigak // Memoires de la Delegation Française en Afghanistan. T. XVII. Paris, 1961.
- Khlopin I.N.* Mandragora Turkomanica in der Geschichte der Orientalvolker // Orientalia Lovaniensia Periodica. Leuven, 1980. № 11.
- Khlopina L.I.* Zum Ursprung der Swat-Kultur // Orientalia Lovaniensia Periodica. Leuven. 1979. № 10.
- Lal B.B.* Undian Archaeology since Independence. New Delhi, 1964.
- Masuda S.* Tepe Sang-e-Caxamaq // Iran. 1974, vol. 12.
- Mayrhofer M.* Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. I, II. Heidelberg, 1956.
- McAlpin D.W.* Proto-clamo-dravidian: the evidence and its implications. Philadelphia, 1981.
- Pisani V.* Parente linguistique // Lingua. Amsterdam. T. 3. 1952/53. P. 1–14.
- Rao S.R.* Excavations at Rangpur and other Explorations in Gujarat // AI, 1963, № 18–19.
- Renfrew J.M.* Palaeoethnobotany. N.Y., 1973.
- Schmidt E.F.* Excavations at Tepe-Hissar. Philadelphia, 1937.
- Stacul G.* Excavations in a Rock Shelter near Ghelgai (Swat, W. Pakistan) // EW. 1967. Vol 17, № 3, 4.
- Stacul G.* Excavation at Bir-kot-ghundai (Swat, Pakistan) // EW. 1978. Vol. 28.
- Stacul G., Tusa S.* Report on the Excavations at Aligrama (Swat, Pakistan), 1966, 1972 // EW. 1975. Vol. 25.
- Zohary D.* The Progenitors of Wheat and Barley in Relation to Domestication and Agricultural Dispersals in the Old World // DEPA., 1969.

Г.П. Нецименко
(Россия)

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ “ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРЫ”

1. Проблема трансляции, или же распространения духовных ценностей, т.е. доведения их до адресата, является составной частью более общей темы “язык и культура”, в рамках которой она занимает совершенно самостоятельное и притом очень важное место. И это не случайно, так как для освоения, интериоризации человеком артефактов – а именно это и является главным смыслом культурного обмена как внутри социума, так и за его пределами – необходимо, чтобы достижения культуры стали достоянием индивидуума, были до него доведены.

Исследовательское поле данной проблемы весьма широко. Наряду с вопросами, остро дебатируемыми в литературе, оно включает и аспекты, которые еще только ждут своего рассмотрения и для решения которых необходимо использование **комплексных, интердисциплинарных методов**.

Нельзя не отметить, что при рассмотрении названной проблемы мы наталкиваемся на те же трудности, которые встают перед исследователем при изучении взаимоотношений между языком и культурой. Причина их коренится не только в реальной сложности и многогранности самих этих явлений, но и в отсутствии четкого и во всяком случае не-противоречивого определения культуры (последнее, впрочем, характерно для многих фундаментальных научных понятий), в неоднозначности трактовки объема этого понятия (напомним хотя бы полемику о целесообразности / нецелесообразности включения в состав культуры материальных ценностей).

Сразу же оговоримся, что в своем подходе к интересующей нас проблеме мы сохраняли концептуальную и методическую преемственность по отношению к нашей статье, опубликованной в предыдущем труде “Язык – Культура – Этнос” (Нещименко 1994). Так, в своем понимании культуры мы по-прежнему из множества имеющихся определений отдаляем предпочтение обобщенной дефиниции, согласно которой под термином культура имеется в виду **духовное освоение действительности**. Соответственно культурные ценности нами понимаются как результат объективации духовной деятельности человека (Енич 1984).

2. Являясь важнейшим средством объективации культуры, язык активно участвует на всех этапах духовного освоения действительности, а именно: при производстве и хранении духовных ценностей, при их распространении и, наконец, при их восприятии, т.е. потреблении индивидуумом. Из всего этого культурного цикла мы по условию сосредоточиваем свое внимание на **срединной** фазе, т.е. на фазе **трансляции** духовных ценностей. При этом для нас будет существенным:

а) показать специфические особенности языковой знаковой системы, диапазон ее возможностей, позволяющих ей быть оптимальным средством переноса и распространения духовных ценностей;

б) выявить обратное: значимость самого факта использования языка как средства трансляции культуры для раскрытия (а также динамики) онтологических и функциональных закономерностей его системы, а также этнического языка в целом как совокупности форм его существования.

Рассмотрение названных **разнонаправленных** задач нами будет осуществляться на фоне двух проблем: “язык и культура” и “язык и коммуникация” (под коммуникацией, т.е. общением, понимается процесс передачи информации и обмена ею).

3. В основе процесса духовного освоения действительности, равно как и обычного коммуникативного акта, находится, в сущности, иден-

тическая линейная последовательность фаз. Так, в первом случае это: производство духовных ценностей, связанное с личностью, творцом ⇒ их распространение ⇒ потребление; во втором: генератор (коммуникатор), порождающий определенный текст ⇒ каналы коммуникативной связи ⇒ адресат (реципиент).

Нельзя, однако, не учитывать, что при общем сходстве приводимых цепочек они имеют и свои отличительные особенности. Как отмечает чешский исследователь П. Зима, далеко не всякий порождаемый коммуникатором текст является произведением культуры; соответственно далеко не всякое произведение культуры воплощается с помощью языковых средств. “Так, например, литературный или же фольклорный текст представляет собой проявление реализации языковой системы и, соответственно, реализации культуры. Напротив, расписание движения транспорта или же дорожные правила довольно трудно считать формой реализации культуры, хотя они и являются языковыми текстами. Точно также, с другой стороны, музыкальное сочинение, картина или же скульптура являются реализацией культуры, однако прямого отношения к реализации языковой системы они не имеют” (Zima 1978, 338). Впрочем, далее автор делает оговорку: “При определенных контекстных и стилистических условиях и дорожные правила могут служить выражением культуры, равно как, скажем, балет или же музыкальное сочинение могут иметь в своей основе по крайней мере, “мысленный” (хотя и не реализованный) языковой текст” (Zima 1978, 339).

В дополнение к сказанному остановимся еще на некоторых моментах:

а) в обеих цепочках в качестве дополнительного звена может появляться своеобразный “ретранслятор” (в данном случае мы не имеем в виду использование некоего технического устройства, опосредующего общение). Это может быть переводчик или же просто грамотный человек, являющийся посредником при письменной коммуникации с неграмотным человеком. Роль посредника, по сути, выполняет и ученый, занимающийся расшифровкой древних текстов и т.п. Звено ретрансляции имеет особенно большое значение в художественном творчестве; ср. исполнители музыкальных произведений, драматические актеры, чтецы и пр. В этом случае “ретранслятор” обычно не только воспроизводит соответствующий текст, но и как бы предлагает его новую редакцию, привносит в него свое “я”. По-новому “прочитывая” произведение, они расставляют те или иные акценты, отражая свое собственное индивидуальное видение (ср., к примеру, новое прочтение произведений классики). Заметим, что роль исполнителя особенно важна в таких видах искусства как музыкальное творчество, где используются специфические знаковые системы, не доступные непосвященному. Не можем не отметить в этой связи, что в определенных музыкальных жанрах, к примеру, в религиозных песнопениях участие исполнителя намеренно регламентируется, так как по действующим канонам он как

бы олицетворяет собой “глас божий”, являясь всего лишь посредником, а отнюдь не самостоятельной творческой личностью.

б) существенной особенностью является **большая** адресность коммуникативного акта. Так, для успешности верbalного коммуникативного акта (“коммуникативная удача”) необходимо оперативное и без существенных потерь доведение определенной информации до реципиента (при адекватном восприятии ее последним). Важную роль здесь играет установка на **взаимодействие** с коммуникативным партнером, что зачастую приводит к взаимному приспособлению речевого поведения коммуникантов (см. статью Я. Гоффманновой в настоящем труде, в которой убедительно показано, как в интересах сохранения коммуникативного контакта эксплоратор, приспосабливаясь к речевым особенностям собеседника, включает, в частности, элементы обиходно-разговорной речи – *obecná čeština*). Наиболее отчетливо это проявляется при непринужденном повседневном общении, когда любая физическая преграда, пространственная удаленность собеседников, использование технического средства, опосредующего общение (графическая фиксация, использование телефона, телеграфа, факса, автоответчика и т.п.) нарушают непосредственный коммуникативный контакт между партнерами, лишая их возможности наблюдать за невербальной реакцией человека (мимикой, жестикуляцией, выражением глаз и пр.).

Для сферы культуры, напротив, характерна **сниженная** адресность, фактор интеллектуальной интеракции между субъектом духовного производства и реципиентом здесь несколько вторичен. В этом случае преобладает установка на эстетическое **самовыражение** личности, творца, а отнюдь не ориентированность на **конкретного** адресата. В определенном смысле можно даже говорить об индифферентности автора к тому, как его произведение будет воспринято современным массовым потребителем (ср., например, феномен так называемого “абсурдного театра” и т.п.), найдет ли оно в нем своего почитателя, либо, напротив, выпав из культурного контекста данной эпохи, станет достоянием лишь будущих поколений (Нещименко 1994, 80).

По своей сути, культура – мы имеем в виду прежде всего культуру художественную – изначально является феноменом **индивидуальным** и в известной степени **элитарным**, а не массовым (ср. в этой связи отношение к массовой культуре, ориентированной на “усредненного” адресата). См. по этому поводу точку зрения М.М. Бахтина: “Автора, героя и слушателя мы все время берем не вне художественного события, а лишь поскольку они входят в самое восприятие художественного произведения, поскольку они являются необходимыми составными моментами его... Мы берем... только того слушателя, который учитывается самим автором, по отношению к которому ориентируется произведение и который, поэтому, внутренне определяет его структуру, – но отнюдь не ту действительную публику, которая фактически оказалась читательской массой

данного писателя” (В.Н. Волошинов (М.М. Бахтин) 1995, 22). Продолжая далее мысль о слушателе как своеобразном проявлении авторского “я”. ученый пишет: “Здесь не лише еще раз подчеркнуть, что мы все время имеем в виду слушателя – как имманентного участника художественного события, изнутри определяющего форму произведения. Этот слушатель является, наравне с автором и героями, необходимым внутренним (подчеркнуто нами. – Г.Н.) моментом произведения и отнюдь не совпадает с так называемой “публикой”, находящейся вне произведения, художественные требования и вкусы которой можно сознательно учитывать. Такой сознательный учет неспособен непосредственно и глубоко определить художественную форму в процессе ее живого создания. Более того, если этот сознательный учет публики займет сколько-нибудь серьезное место в творчестве поэта, – оно неизбежно утратит свою художественную чистоту и деградирует в низший социальный план” (там же, 6).

4. Трансляция результатов духовного освоения действительности может осуществляться как в **пространственном**, так и **временном** измерениях. В первом случае речь идет о трансляции **синхронной**, обеспечивающей создание **горизонтального** внутриэтнического и межэтнического культурного континуума, объединяющего хронологически существующих членов одного и того же или же различных этносоциальных коллективов; во втором – о трансляции **диахронной**, межгенерационной, обусловливающей историко-культурную преемственность этноса, т.е. создание **культурной вертикали**.

При трансляции достижений культуры приобретает особую значимость проблема **сохранности** духовных ценностей, изначально предназначенных не только для их сиюминутного восприятия (ср. пословицу: “слово не воробей – вылетит, не поймаешь”), но и для длительного осмыслиения, эстетического осознания, наслаждения, т.е. для **повторного** вос требования. В связи с этим состояние, в котором находится звено хранения духовных ценностей (библиотеки, музеи, картинные галереи, фильмотеки, фонотеки, кинотеки, архивы и пр.), является визитной карточкой культурной зрелости этноса, отражает его отношение к своим корням и традициям. Заметим, что при диахронной вербальной трансляции культуры в силу неэффективности, а иногда и невозможности использования биологических средств хранения информации (воспроизведение по памяти) приходится оперировать прежде всего ее графической фиксацией. Именно поэтому столь нежелательным и даже опасным становится волонтерское (в угоду тем или иным политическим доктринам) вторжение во внутриязыковые закономерности (ср., например, смена графики в период этноязыковой суверенизации и пр.).

5. Конкретизируя систему распространения (или же “трансляции”) культурных ценностей, М.Б. Ешич выделяет в ее составе:

а) непосредственную, неинституционную передачу ценностей, осуществляющую на уровне микросреды (семьи, трудового коллектива и любого другого микросоциума);

б) институциональное воспитание и образование: детские дошкольные учреждения, школы всех видов и уровней, просветительские организации и учреждения, включая и системы массовых коммуникаций (Ешич 1984, 36).

Говоря о значимости школы, необходимо отметить, что именно школа приобщает к собственноэтническим и мировым духовным ценностям широкие слои населения и прежде всего молодое поколение, которое уже в начале своего жизненного пути получает возможность освоить общечеловеческий опыт, расширить свое мировоззрение и общекультурную компетенцию путем познания как современных культурных ценностей, так и ценностей, созданных предшествующими поколениями, т.е. осуществляется непрерывность культурного развития социума. Благодаря познаниям, приобретенным в школе, индивидуум становится не только потребителем уже созданных достижений культуры, но и их потенциальным творцом, субъектом как внутриэтнического, так и межэтнического культурного процесса.

Приведенный выше перечень путей распространения культуры может быть дополнен в результате уточнения характера адресата (**интерперсональный – массовый**), а также специфики используемого канала коммуникативной связи (**традиционные – новые** каналы коммуникативной связи).

В первом случае речь идет о противопоставлении общения **межличностного**, в котором чаще всего участвуют два лица (диадическая коммуникация) либо ограниченное количество лиц, и, с другой стороны, общения **массового**, т.е. все виды публичного общения (собрание, театр, лекция и т.п., включая, разумеется, и СМИ). Во втором – учитывается специфика используемого коммуникативного канала. Так, **традиционные** трансляционные каналы применяются при непосредственной, не институциональной передаче духовных ценностей, а также при определенных видах институционального общения как интерперсонального, так и массового (ср., к примеру, школы всех видов и уровней, дошкольные учреждения, просветительские организации, а также прессы, появившаяся у большинства славянских народов в конце XVIII в.). Что касается **нетрадиционных**, или же **новых** трансляционных каналов, то здесь мы имеем в виду прежде всего электронные средства передачи информации, широко используемые в современном обществе и имеющие исключительную значимость для установления единого коммуникативного и культурного пространства как общеэтнического, так и международного (ср., к примеру, проведение “телемостов” и т.п.). В ряду нетрадиционных средств коммуникации особое место занимает Интернет, обеспечивающий оперативный обмен информацией в международном масштабе.

Важно подчеркнуть, что если раньше применение электронных средств, как правило, связывалось с **массовой** публичной коммуникацией (радио, телевидение, видео и пр.), то сейчас они во все большей сте-

пени вторгаются в сферу коммуникации **интерперсональной** (ср. межличностное общение посредством компьютерной связи).

Использование новых каналов коммуникативной связи увеличило и качественно обогатило поток передаваемой информации. Причем возраст не только диапазон ее распространения, но и скорость прохождения по каналам связи. Все это в конечном итоге привело к изменению привычных временных и пространственных измерений в распространении информации.

Говоря о СМИ, следует иметь в виду еще одно немаловажное обстоятельство. В этом случае речь идет не только о массовом адресате. По сути дела, и сам отправитель информации (комментатор, журналист, ведущий, а тем более диктор) олицетворяет собой некоторое обобщенное, **групповое**, мнение лиц, формирующих культурную политику данного печатного органа, радио-, телестанции. Иначе обстоит дело в художественном творчестве, предполагающем индивидуализированную авторскую личность.

6. Проблему использования языка в качестве средства трансляции культуры целесообразно рассматривать под двумя ракурсами: “**язык** ⇒ **культура**” и “**культура** ⇒ **язык**”.

6.1. Ракурс “**язык** ⇒ **культура**” предполагает выявление специфических особенностей языковой знаковой системы, позволяющих ей быть **оптимальным** средством трансляции достижений духовной культуры.

Технические возможности современных каналов коммуникативной связи допускают использование различных семиотических систем и их комбинаций, тем не менее именно языковой знаковой системе отдается несомненное предпочтение (подробнее: Нещименко 1994).

Ниже мы рассмотрим некоторые субстанциональные свойства языка, важные для его использования при трансляции культурных ценностей:

А. Язык представляет собой **универсальную** знаковую систему **открытого** типа, способную к постоянному развитию, совершенствованию. Импульсы, стимулирующие эволюцию языковой системы, зарождаются внутри этносоциального коллектива, использующего язык в качестве средства общения, регулируются его социальным заказом, однако их конечная реализация осуществляется в соответствии с имманентными языковыми закономерностями, “санкционируются” нормой, имеющей конвенциональный характер (а для литературного языка также и кодификацией). Таким образом, каким бы смелым ни было языковое новаторство, оно лимитируется жестким требованием понятности коммуникативности акта, интересами социальной коммуникации.

Б. Использование языка в качестве средства трансляции и хранения культурных ценностей во многом обусловливается характером его эволюции и, в частности, **постепенностью** его развития. Именно “гибкая стабильность” (по определению В. Матезиуса – Матезиус 1967) языковой си-

стемы и делает возможным восприятие результатов духовного освоения действительности самыми различными поколениями данного социума, т.е. обеспечивается историко-культурная преемственность общества.

В. Причина высокой степени эксплицитности вербальной информации во многом коренится в **аналогичности** репродукции языковых схем, способствующей более оперативной “расшифровке” информации, снижению коммуникативных потерь.

Г. Богатство средств выражения языковой системы сочетается с их внутренней **компактностью**, с возможностью насыщения имеющихся знаковых единиц максимально емким содержанием. Это становится возможным, в частности, благодаря так называемому асимметричному дуализму языкового знака (Karcevskij 1964), что особенно важно для СМИ, поскольку позволяет сгустить информацию, компрессировать ее с целью оптимального насыщения каналов коммуникации. Таким образом, при определенном минимуме средств выражения достигается максимум семантической емкости. При сгущении информации важную роль играет и использование деривационных средств.

Д. Существенным представляется и сам принцип строения языковой системы с ее внутренней дифференциацией на **центр** и **периферию**. Это позволяет выделить в имеющемся инвентаре языковых знаков активно востребуемые пласти, а также пласти маргинальные, подключаемые по мере надобности как своего рода “запасники” языковых знаков и репродукционных схем (Нещименко, Гайдукова 1994).

Е. Уникальность языка как средства экстерIORизации и трансляции культуры определяют и следующие факторы:

а) использование графической, а также звуковой фиксации текста обуславливает как визуальное, так и аудитивное восприятие информации, что соответственно используется в различных видах культуры. Генетически первичной, разумеется, является звуковая фиксация, широко используемая в фольклоре при изустной передаче произведений народного творчества.

Появление письменности сделало возможной не только коммуникацию субъектов, разъединенных в пространстве и во времени, но и повлекло за собой “отчуждение” произведения от его творца, расширило круг реальных и потенциальных адресатов, способствовало более глубокому осмыслиению его сущности. Результатом этого явилось усложнение как структуры текста, его выразительных средств, так и его содержания. Данная динамика отчетливо прослеживается, в частности, в древнечешской литературе XIV в. (см.: Нещименко 1989).

В XX в. в связи с появлением электронных средств информации (радио, телевидение) не только письменный, но и устный язык становятся средством общеэтнической, межэтнической и даже международной коммуникативной связи.

б) язык реализуется в виде множества форм его существования, которые могут использоваться в сфере культуры как автономно, так и в

комбинации их выразительных средств друг с другом. Наибольшую функциональную нагрузку здесь, несомненно, несет литературный язык (далее: ЛЯ) с присущими ему функциональными стилями, т.е. идиом, изначально предназначавшийся для языкового обеспечения высших коммуникативных функций. Объем этих функций и их удельный вес исторически изменчивы. На ранних этапах главенствующим было отправление культа, начальные формы административно-правовой деятельности. Затем появились и различные виды общеноародного общения и, в частности, наука, образование, общественное управление, общественно-политическая сфера, художественное творчество, СМИ и т.п.

По своим субстанциональным параметрам ЛЯ представляет собой наиболее развитую, полифункциональную экзистенциальную форму, являющуюся объектом целенаправленного культтивирования и имеющую широкий спектр терминологической номенклатуры.

Следует, однако, учитывать, что в репертуаре языковых идиомов, используемых в сфере высших коммуникативных функций и, в частности, в культуре, помимо ЛЯ, занимающего центральное положение, могут быть также представлены и разговорные идиомы, являющиеся в этом случае, по сути, функциональными субSTITУТАМИ культтивированного идиома. Сказанное может быть обусловлено как преднамеренной стилизацией текста, так и ущербной языковой компетенцией индивидуума, не владеющего ЛЯ.

К числу таких функциональных заместителей могут относиться, например, территориальные диалекты, интердиалекты, городские койне. Не можем не отметить, что, вопреки всем предположениям, функциональный спектр диалектов в современной коммуникации все еще продолжает оставаться достаточно широким: они используются не только как средство бытового и внутрисемейного общения, но и в сфере культуры (ср. художественная стилизация речи персонажей, фольклорные тексты и пр.). У островных лингвостнических групп диалекты нередко являются аналогами ЛЯ метрополии. Так, например, немецкоязычное население России, Казахстана, а также болгароязычное население Бессарабии в основном владеет не ЛЯ, а диалектом (интердиалектом), выполняющим важную культурную функцию. Примечательно также, что Концепция государственной программы по сохранению и развитию языков народов РФ (1992) допускает использование некоторых территориальных диалектов (при отсутствии соответствующего культтивированного идиома) для обучения в школе, а также в СМИ.

В чешской языковой ситуации особой проблемой является инвазия в сферу культуры такого феномена, как *овесná čeština*, элементы которого широко используются в СМИ, в произведениях художественной литературы, кино и т.п., причем не только в речи персонажей, но и автора.

Ситуативная включенность разговорных идиомов в сферу высших коммуникативных функций, на наш взгляд, все же не носит характера конкуренции с ЛЯ, как это обычно утверждается, поскольку они не яв-

ляются **равноценными** ни по своим субстанциональным параметрам, ни по широте функционального спектра. Как правило, они локализуются на периферии, занимая маргинальное положение.

6.2. Противонаправленный ракурс “культура ⇒ язык”.

Рассмотрение под этим ракурсом обоих феноменов, позволяет говорить о наличии между ними обратной связи, т.е. не только язык влияет на культуру, способствуя полноценному распространению духовных ценностей, но и использование языка в качестве средства трансляции культуры влияет на его онтологические и функциональные свойства. Так, в частности, выбор определенного трансляционного канала оказывает воздействие на селекцию языковых средств, обуславливает варьирование используемого выразительного ряда, способствует реализации таких свойств языковой знаковой системы, которые не были “задействованы” в других коммуникативных каналах.

Проиллюстрируем ниже на конкретном материале влияние выбранного канала коммуникативной связи на специфику речевого поведения индивидуума, а также на развитие языковой культуры.

А. Активизация использования **устного ЛЯ**.

ЛЯ является единственным языковым идиомом, совершающим в истории этноса движение по оси “письменность–устность”.

У большинства славянских народов устный ЛЯ формируется к середине XIX в. Его возникновение подготавливается действием ряда факторов как собственно языковых, так и экстралингвистических, к числу которых относится укрепление нормы письменного ЛЯ, увеличение численности его носителей, расширение их социального состава и пр. Важную стимулирующую роль сыграло возрастание коммуникативной потребности в устном **культивированном** изъяснении на родном языке, что было тесно взаимосвязано с появлением национальной интеллигенции, владеющей родным языком либо получившей на нем образование.

Знамением XX в. стала не только активизация устного ЛЯ, но и приобретение им **общеэтнического** статуса. Тем самым по своему социолингвистическому статусу устный ЛЯ впервые сравнялся с письменным.

Решающую роль в этом процессе сыграли электронные СМИ, благодаря которым этот феномен из изначально интерперсонального средства общения стал средством **общеэтнической, притом мгновенной, коммуникативной связи** (ср. организацию “телемостов” или же передачи “прямого эфира” с “секундной” обратной связью с аудиторией с помощью телефона и др.).

Основная и притом важнейшая сфера употребления устного ЛЯ – официальное публичное общение. Это прежде всего преподавание в школах всех ступеней, СМИ. Характерно, что, как показал проведенный опрос среди студентов университета в Брно, шокирующее впечатление на них производит “нелитературность” в публичной речи политиков, на ТВ, РВ (Spisovnost a nespisovnost dnes 1996, 70).

Устный ЛЯ может также использоваться в интерперсональном общении, официальном и полуофициальном (при отсутствии доверительных отношений и, соответственно, при наличии выраженной автоцензуры). Кроме того, некоторые социальные слои применяют его как своего рода профессиональный маркер в непринужденном межличностном общении (учителя-словесники и т.д.). О намечающихся попытках формирования стиля рафинированной конвертации “зажиточных, но при этом образованных слоев” (своего рода “салонный язык” для образованных богатых) упоминает Й. Крауз (Kraus 1996).

Б. Формирование феномена, характеризующегося **секундарной публичностью**.

Применение электронных коммуникативных средств и прежде всего средств компьютерной интерперсональной и массовой коммуникации стимулировало появление такого специфического феномена как дискурсы с **секундарной публичностью**. Конкретно мы имеем в виду тексты **межличностного** общения, т.е. по своей природе не публичные, которые становятся таковыми в результате изменения характера их воспроизведения, т.е. трансляции. Так, например, при аутентичном воспроизведении на РВ и ТВ текстов интервью (отчасти также при их публикации в прессе) они из факта частной межличностной коммуникации становятся достоянием массовой аудитории. То же самое происходит и при использовании в целях индивидуального межличностного общения компьютерной связи (в том числе и Интернета), доступ к которой имеет неограниченное количество потребителей.

В связи с тем, что язык СМИ не обойден вниманием исследователей, остановимся кратко на специфике компьютерного общения.

Данный вид общения отличается значительным жанровым разнообразием; ср., например, выступление на телеконференции, диалоги системных операторов, объявления и т.д. Все эти тексты не подвергаются внешней языковой цензуре, т.е. редактированию (в отличие от СМИ). Значимость автоцензуры в них варьируется в зависимости от жанра общения: в большей степени она характерна для выступлений на телеконференциях, объявлений; в меньшей степени – для компьютерных диалогов системных операторов (“сисопов”, как они себя именуют).

Речевые особенности данного вида профессионального общения, ставшего возможным благодаря достижениям технического прогресса, до сих пор еще мало исследованы. Между тем речь идет о весьма своеобразном языковом феномене – о профессиональном интерперсональном **письменном** общении (с использованием электронных средств), состоящем из обмена репликами, “разведенными” во времени и пространстве, т.е. отсутствует “сиюминутность” реакции, столь характерная для исконной диалогической речи.

Приведем примеры подобных писем (в их аутентичном виде):

– *А что, господам из 5080 закон не писан? Уже скоро 2 недели будет, как эта тема объявлена оффтопиком, но они продолжают писать, как*

ни в чем не бывало, даже в более наглом тоне, пользуясь тем, что им не отвечают. Плюсы идут куда угодно, только не в 5080.

— А что ты хочешь? Это же 5080, а не нормальная сеть. :(Как они сами писали «не надо смешивать абстрактное “ФИДО” и 5080». Каждый из них в отдельности может вести себя как нормальный человек, но когда они вместе — мы видим сеть 2:5080, имеющую с FIDO только общее адресное пространство. Полиси им не указ, на всяких *С они плевали...

— Давно пора понять, что 5080 имеет к FIDO такое отношение, как свинья к апельсинам (пардон за идиому). И незачем их судить по меркам FIDO. У них свои законы — волчьи и (опять пардон за идиому) “дуракам закон не писан...”. Пусть идут своей дорогой, бог им судья.

— Я не буду конечно вспоминать, что к линуксу надо выбрать дискету из 40! Потом сделать еще 2 непонятно зачем, и после этого он встает только с харда, сидюка или локалки. Фря же почему-то гружится с одного флопаря и позволяет мне поставить по PPP...

— Этого не может быть разве что если ты действительно сам полез раскрывать образы и раскрыл 1 диск не с тем образом. Так вот не надо было крутого изображать

— Еще раз повторю — когда я ставил WC с CD, я выбрал правильный образ первого диска — с поддержкой Panasonic CD-ROM. И обломился :-(У меня адрес контроллера был 320, а осевой драйвер по умолчанию ищет этот CD на адресе 230, и поиска контроллера на других адресах не делает. Я, конечно, не буду вспоминать про то, что linux ищет этот контроллер примерно на 10 адресах. И находит :-). В приводимых примерах нами намеренно выделяются специфические условные знаки (см. ниже).

Тексты так называемых компьютерных писем являются типичными образчиками интерперсонального общения системных операторов электронной почты. Анализируя языковые особенности диалогов, мы не можем не заметить, что их текстовую основу составляет разговорная речь, причем во многом в ее просторечной и сленговой манифестации, с широким включением профессионализмов, в том числе англизмов, адаптированных и неадаптированных (а порой и ненормативной лексики). Речь партнеров по диалогу носит неформальный характер, она отражает поток сознания, специфику индивидуальных речевых навыков субъекта, его языковой компетенции, включает она и явные орфографические ошибки; ср.: *сейчас можно купить неюзанный АКМ-74?* (модификация не принципиальна). Примечательно, что если отвлечься от факта хронологической несовмещенности реплик, а также от отсутствия прямого и непосредственного контакта коммуникантов, возникает полная иллюзия доверительного и даже интимного межличностного общения.

Специфика речевых особенностей подобных текстов во многом обусловливается тем, что, как правило, в диалоге участвуют лица, не

только достаточно хорошо знающие друг друга (отсюда отсутствие коммуникативного барьера), но и обладающие в целом адекватной профессиональной компетенцией, т.е. понимающие друг друга с полуслова. Непринужденности общения, возможно, способствует комфортность работы на компьютере, а также столь характерное для программистов одушевление этого механического устройства.

Информационный дефицит, возникающий в результате того, что участники компьютерного диалога не находятся в непосредственном физическом контакте, лишены возможности наблюдать реакцию друг друга, жестикуляцию, выражение глаз и т.п., в какой-то мере восполняется использованием **неверbalных** средств в виде условных значков, несущих вполне определенную смысловую нагрузку; ср.: (визуально-психологическая оценка коммуникативного партнера ~~-~ (“вспыливший; покрасневший человек”); :-* “угрюмый человек”; :-(“хмурая физиономия” ;-& “человек, лишившийся дара речи; смутившийся; косноязычный”; :-> “sarcastic физиономия”; З:] “ласковая улыбка”; (аудитивное восприятие) :@ “орущий человек”; :О “громко говорящий человек”; (визуальная оценка) :-“Ваша основная улыбка”; ;-“улыбка с подмигиванием”; (-:) “большая улыбка”; [:-) “человек в наушниках”; :-) “человек с двойным подбородком”; (психологическая оценка) :-С “лодырь”; :<:(“опечаленный человек”; :x “молчаливый человек, т.е. “рот на замке”; (оценка физического состояния коммуниканта) :~) “замерзший человек”. Приводимые символы заимствованы нами из неофициального словаря операторов – The Unofficial Smiley Dictionary. Набор подобных символов достаточно широк, однако на практике используются лишь некоторые из них.

Потребность в подключении неверbalных средств убедительно свидетельствует о значимости непосредственного и прежде всего визуального (face to face) контакта коммуникантов при непринужденном общении, т.е. в условиях исконного диалога.

Таким образом, приводимые выше тексты по своей изначальной коммуникативной установке хотя и предназначены для **индивидуального** восприятия, однако специфика используемого коммуникативного канала делает их доступными и для достаточно широкой аудитории, т.е., как говорилось выше, они обретают **секундарную** публичность. Учитывая способ трансляции коммуниката (публичность), мы, разумеется, могли бы здесь ожидать **регулируемого** речевого поведения, однако на деле продуцируемые тексты в полной мере отражают специфику диалогического речевого поведения со **сниженной** регулируемостью (подробнее об оппозиции регулируемое – нерегулируемое речевое поведение см. в нашей монографии: Нещименко 1999).

Наличие феномена секундарной публичности в значительной степени усиливает влияние разговорной повседневной, а также разговорной профессиональной речи на речевой этикет публичной официаль-

ной и полуофициальной коммуникации, во многом являющейся прерогативой ЛЯ. Масштабы подобного влияния отнюдь нельзя недооценивать.

Характерный для современного речевого поведения “наплыв” разговорной стихии и в том числе жаргонизмов, экспрессивной лексики, заимствований как адаптированных, так и неадаптированных (ср. хотя бы зафиксированные в речи системных операторов такие образования, как *сидюк*, *фидоиник* и пр.) вряд ли правомерно объяснять лишь негативным действием социальных факторов. На наш взгляд, здесь сказывается и влияние вполне определенной, приобретающей ныне универсальный характер, тенденции пересмотра канонов речевого поведения (в данном конкретном случае – в сфере публичной коммуникации).

7. При всех очевидных преимуществах использования языка в качестве средства трансляции культуры не следует упускать из виду сопутствующую этому скрытую **конфликтность**, становящуюся явной при особым стечении обстоятельств.

Потенциальная возможность возникновения языкового барьера при культурном контакте этносов, применяющих различные языковые системы, является лишь одной стороной этой проблемы. Впрочем, данная трудность может быть преодолена путем соотнесения языковых систем друг с другом – например, с помощью перевода с одного языка на другой. В этом случае на первый план выдвигается проблема максимальной смысловой адекватности исходного текста соответствующему иноязычному аналогу. Культурный обмен, разумеется, облегчается при контакте носителей близкородственных языков, являющихся в зависимости от уровня их языковой компетенции пассивными или же активными билингвами.

Что касается полизтических социумов, то здесь при межэтническом общении обычно какой-то один язык используется в качестве коммуникативного средства – см. по этому поводу статьи А.И. Домашнева “К проблеме языка общения в объединенной Европе” (Домашнев 1994), В.Г. Гака “Языковая ситуация во франкоязычных странах” (Гак 1994). Этот же вопрос затрагивается и в статье Фр. Данеша и Св. Чмейрковой “Экология языка малого народа” (Данеш, Чмейркова 1994). Подобную функцию выполняет, к примеру, русский язык в РФ (а ранее в СССР) или же в значительной степени в странах нынешнего СНГ. Важную (все возрастающую) роль в международном общении, в том числе и научном, играет ныне английский язык. При определенном уровне языковой компетенции это, разумеется, создает немалые трудности (осложнение вносит и неполная соотнесенность терминосистем различных национальных научных школ), однако в целом данная проблема решаема. Во всяком случае она не наталкивается на мощное антагонистическое противодействие, поскольку речь идет о создании единого международного и, соответственно, межэтнического культурного пространства.

Гораздо сложнее, на наш взгляд, обстоит дело при формировании **внутриэтнического** культурного пространства. В этой ситуации приобретает важное значение оппозиция “родной – неродной язык”. При этом родной язык осознается как фактор этнической самоидентификации, как непременное условие самосохранения этноса. Несмотря на то, что ни один этнос не может полноценно существовать в условиях культурной изоляции от окружающего мира, при полной этноязыковой “стерильности”, тем не менее для членов этнической общности отнюдь не безразлично, обслуживается ли внутриэтническое культурное пространство **родным языком** или же в этой функции, наряду с ним, или же, что гораздо хуже, вместо него выступают языки **другого** этноса. Особую остроту эта проблема приобретает в период подъема национально-освободительного движения либо усиления сепаратистских тенденций, сопутствующих национальной суверенизации.

Выраженная этноязыковая диспропорция была характерна, например, для чешского этноса первой половины XIX в., входившего тогда в состав Австрийской империи. Так, в деревнях чешский язык был не только средством повседневного непринужденного общения, но и языком культуры – на нем велось преподавание в так называемых тривиальных школах, где ученики обучались чтению, письму, счету, началим словесности, пению, изучалось краеведение, некоторые ремесла и пр. Все это способствовало развитию национального самосознания крестьянства, являвшегося опорой национально-патриотического движения будительства. В городах, напротив, школы (всех степеней) служили средством германизации, культурной (в том числе и языковой) ассимиляции чехов. Чешский язык по сравнению с немецким был менее престижен, поэтому представители высших сословий, а также мещанства предпочитали изъясняться на немецком даже в повседневном общении, несмотря на то, что зачастую это был карикатурный, макаронский язык.

Понимая значимость школы в подготовке национальных кадров, укреплении культурных связей, языковом воспитании, патриотически настроенная интеллигенция вела упорную и длительную борьбу за расширение сферы использования родного языка в школе, в частности, за то, чтобы именно он служил не только предметом изучения, но и языком обучения.

Оппозиция “родной – неродной язык” приобретает особую остроту и в нынешней России, переживающей период национально-языковой суверенизации, когда все больше активизируется тенденция расширения использования этнических языков в государственно-административной и культурной сфере, в том числе и в образовании. При этом нередко в качестве ближайшей тактической (а отнюдь не стратегической) цели выдвигается задача полного переведения на родной язык всей системы образования, невзирая на отсутствие необходимого языкового обеспечения (прежде всего соответствующей терминологии,

стабильной нормы ЛЯ и т.д.). При форсированном осуществлении подобное намерение может принести не столько пользу, сколько вред культурному развитию этноса, привести его к культурной изоляции.

Л и т е р а т у р а

- Волошинов В.Н. (Бахтин М.М.). Слово в жизни и слово в поэзии: К вопросам социологической поэтики // Риторика. 1995. № 2.*
- Гак В.Г. Языковая ситуация во франкоязычных странах // Язык – Культура – Этнос. М., 1994.*
- Данеш Фр., С. Чмейркова. Экология языка малого народа // Язык – Культура – Этнос. М., 1994.*
- Домашнев А.И. К проблеме языка общения в объединенной Европе // ВЯ. 1994. № 5.*
- Ешич М.Б. Культура в системе общества // Культура в общественной системе социализма. М., 1984.*
- Матезиус В. О потенциальности языковых явлений // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.*
- Матезиус В. О необходимости стабильности литературного языка // Там же.*
- Нещименко Г.П. Языковая ситуация в Чехии в XII–XIV вв. // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989.*
- Нещименко Г.П. Язык и культура в истории этноса // Язык – Культура – Этнос. М., 1994.*
- Нещименко Г.П., Гайдукова Ю.Ю. К проблеме сопоставительного изучения славянского именного словаобразования // Теоретические и методологические вопросы сопоставительного изучения славянских языков. М., 1994.*
- Нещименко Г.П. Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков) // Specimina Philologiae Slavicae. B. 121. München, 1999.*
- Karcevskij S. Du Dualisme Asymétrique du Signe Linguistique // A Prague School Reader in Linguistics (Compiled by Josef Vachek). Bloomington, 1964.*
- Kraus J. Několik poznámek k pocitu jazykového ohrožení // Naše řeč. 79, 1996. seš. 1.*
- Spisovnost a nespisovnost dnes: Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci". Brno, 1996.*
- Zima P. Jazyk a kultura // Slovo a slovesnost, 1978, N 5.*

Е.Ф. Тарасов
(Россия)

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРЫ

Анализ проблемы языка как средства трансляции культуры осуществляется нами в рамках методологических схем, сформированных нами ранее при исследовании проблемы “язык и культура” [Тарасов 1994, 105–112].

Отношения языка и культуры могут быть адекватно поняты только в контексте более широкой проблемы, которую условно можно было бы обозначить как “человек и культура”, ибо эти отношения, очевидно, являются ее частью, еще в большей степени этот вывод отно-

сится к такой проблеме функционирования языка, как средства трансляции культуры.

Представляется, что однозначное понимание функции языка как средства трансляции культуры зависит от ответа на вопрос о роли культуры в жизни человека. Отношения человека и культуры имеют много аспектов, но интересующий нас аспект касается только роли культуры как средства трансляции человеческих способностей от одного человека к другому, очевидно, что это генетический аспект.

Генетический аспект отношения человека и культуры состоит в рассмотрении культуры как аналога генетической программы животных. Способности животных к осуществлению целесообразных для них способов поведения передаются генетически и формируются у каждой особи как инстинкты.

Культура как в филогенезе, так и в онтогенезе человека играет роль генетической программы, позволяя ему прижизненно формировать самостоятельно способности, которыми обладали люди предыдущих поколений, создавшие культуру, ставшую для их потомков аналогом генетической программы.

Самым существенным звеном в этой внегенетической трансляции человеческих способностей являются культурные предметы – объективированная предметная форма человеческих способностей. Кроме этой предметной формы культуры существуют ее альтернативные формы: деятельность, в ходе которой изготовлены эти культурные предметы, а также ментальные (психические) образы культурных предметов.

Наличие этих форм транслируемых человеческих способностей – культурного предмета, деятельности и ментального образа, в первую очередь, естественно, наличие предмета – дает возможность формировать и быстро (по сравнению с генетическим способом) транслировать человеческие способности.

Человек, рождаясь биологическим существом, вступает в контакт с культурными предметами и распредмечивает их, овладевая деятельностями, которые “застыли” в форме этих предметов, и строит те человеческие способности, которые принято транслировать в его обществе. Построенные при распредмечивании культурных предметов человеческие способности превращают человека из существа биологического в существо культурное.

Распредмеченный культурный предмет обеспечивает построение человеческой способности, необходимой для его изготовления – таким образом транслируются способности к деятельности, в которых объектом воздействия является предмет, но не человек. Успешность выполнения усваиваемой деятельности, “контролируется” самим изготавливаемым предметом: степенью его соответствия образцу – распредмечаемому культурному предмету.

Но как же обстоит дело с трансляцией способностей к осуществлению активностей, объектом которых является не предмет, а человек?

Такие активности, где объектом является человек, называются общением и они существенно отличаются от деятельности. В общении объектом воздействия является человек, средством воздействия служит знак, форма человека при таком воздействии не изменяется в отличие от деятельности, где изменение формы предмета происходит непременно и фиксирует способы совершения деятельности.

Следует подчеркнуть, что воздействие на обрабатываемый в деятельности предмет адекватно свойствам субстанции предмета и цели субъекта деятельности. В общении люди поступают аналогично: знаки и речевые высказывания адекватны свойствам человека – объекта речевого высказывания и целям субъекта.

Но при осуществлении учитываются не субстанциональные характеристики собеседника, а его социальные качества: познавательные возможности, потребностно-мотивационная сфера, эмоционально-чувственная сфера и соотношение социальных статусов субъекта и объекта речевого общения [Тарасов 1979].

Поясним эту мысль. Если при изготовлении стола из дерева столяр, воздействуя на обрабатываемый материал, например рубанком, производит строго определенные движения, форма которых детерминирована, во-первых, свойствами материала, а, во-вторых, целью – необходимо получить доски с гладкой поверхностью для столешницы, то при речевом общении коммуниканты действуют друг на друга при помощи знаков, отбор которых детерминирован, во-первых, целью каждого из них, которую в конечном счете можно определить как регуляцию коммуникативного и посткоммуникативного поведения собеседника, а, во-вторых, психическими и социальными качествами партнера, релевантными для достижения цели субъекта воздействия.

Психические качества – это прежде всего познавательные возможности моего партнера по общению, они обусловливают необходимость использования тех языковых знаков, которые ему известны, в противном случае они не могут быть средством речевого воздействия.

Социальные качества моего партнера, которые я вынужден учесть для эффективной регуляции его коммуникативного и посткоммуникативного поведения – это в первую очередь его потребностно-мотивационная сфера, т.е. потребности, которые побуждают его жизнедеятельность, и мотивы – предметы, которые удовлетворяют этим потребностям.

Только знание потребностей и мотивов партнера по общению позволяет воздействовать на него убеждением, т.е. побуждать его к некоторым действиям, которые он будет совершать добровольно. Например, если я знаю, что у мальчика-подростка есть потребность быть принятым в сообщество взрослых, то я могу пытаться побудить его действовать, “как взрослый мужчина”, и велика вероятность того, что я не смогу опереться на такую потребность у мальчика-дошкольника, т.к. она у него еще не сформирована. Знание эмоционально-чувственной сферы партнера помогает мне строить обоснованные ги-

потезы о чувствах и эмоциях, которые могут вызвать мои речевые действия.

Одной из самых существенных социальных характеристик партнера по общению является их так называемый социальный статус, который упрощенно можно понять как место человека в конкретном социуме. Для выбора речевых действий более важную роль играют не сами статусы, а их соотношение.

Эти социальные качества объекта речевого воздействия “определенены” в искусственном “теле” человека: его одежде и прочих знаках, которые размещаются на физическом (природном) теле человека и указывают на пол, профессию, вероисповедание, семейное положение, социальную позицию и социальный статус в целом и т.п.

Но искусственное “тело” человека, имеющее знаковый характер, своими предметными свойствами не может детерминировать выбор адекватных способов речевых воздействий, как это происходит в деятельности: их детерминирует не тело знака (одежда человека), а содержание (значение) знака, которое с телом знака не связано причинной связью и, следовательно, для выбора адекватных социальным характеристикам собеседника речевых воздействий необходимо не знание субстанции одежды собеседника, а знание ее значения как знака.

Таким образом, в деятельности объектом является культурный предмет, который может служить средством внегенетической трансляции способностей (по его изготовлению), в общении объектом воздействия является человек с его искусственным телом, которое не может служить средством трансляции способностей к человеческому общению.

Возникает вопрос, как же транслируются способности к общению? Напомним, что культура кроме предметной формы (культурные предметы) имеет еще деятельностьную форму (фиксируемую обычно в виде операций-способов совершения действий, из которых складывается деятельность), а также ментальную, идеальную форму (визуальные, слуховые, осязательные, вкусовые и т.д. образы сознания). Все эти внегенетические, культурные трансляторы человеческих способностей используются в обществе для окультуривания своих членов, для превращения их в членов общества.

Когда мать обучает свою дочь печь блины, она 1) демонстрирует блин (культурный предмет), 2) формируя тем самым его идеальный образ, 3) показывает ей действия, приводящие к изготовлению блина, и дает возможность самой осуществить их. Сам блин, который был образцом, служит средством контроля, успешности осуществляемых действий.

Когда мать обучает свою дочь, как нужно вести себя в гостях, она может указать ей на эталонные образцы (“поведение гостей”), осуществляемые кем-то. Иначе говоря, она может обучить ее в основном методом показа, средством контроля успешности ее поведения будет не культурный предмет, которого здесь нет, а образ виденной ранее активности человека в роли гостьи.

Поэтому трансляции общения, которая не может контролироваться предметом-продуктом, как это происходит в деятельности, всегда сопровождается социальным контролем в форме одобрения или неодобрения используемых способов речевого и неречевого общения.

Вернемся к рассуждениям о роли культуры как внегенетической программы при трансляции человеческих способностей. Весь процесс трансляции начинается способностями человека одного поколения и заканчивается способностями человека другого поколения, между этими полюсами располагаются культурный предмет (в котором определены транслируемые человеческие свойства), ментальный образ культурного предмета, играющий роль образа результата деятельности (в ходе которой формируется транслируемая способность), деятельность по изготовлению нового культурного предмета (ментальный образ которого был сформирован при восприятии старого культурного предмета) вместе со способами (операциями) ее осуществления (которые существуют неотрывно от этой деятельности).

Этот же процесс несколько в другом аспекте описывается дихотомией “опредмечивание – распредмечивание”: способность человека вначале опредмечивается в культурном предмете, который передается представителю следующего поколения для распредмечивания этой способности, что и происходит в ходе деятельности по изготовлению нового культурного предмета.

Следует заметить, что культурный предмет может просто потребляться и не распредмечиваться – при этом у потребителя не возникает никаких способностей и культура в этом случае не играет роли внегенетической программы трансляции человеческих способностей.

Теперь попытаемся ответить на давно сформировавшийся вопрос о роли языка в этом процессе трансляции человеческих способностей при помощи культуры.

Прежде, чем мы попытаемся ответить на вопрос о роли языка в процессе внегенетической трансляции человеческих способностей, заметим, что представление о деятельности как активности человека, в которой формируется его психика, и о предметах, изготовленных человеком, как о предметном бытии человеческих сущностных сил, является хорошо обоснованным в работах отечественных психологов, особенно у С.Л. Рубинштейна [1933, 1973, 1983] и А.Н. Леонтьева [1975], которые деятельностный объяснительный принцип немецкой классической философии, воспринятый ими в материалистической трактовке К. Маркса, использовали в форме деятельностного подхода к анализу становления психики личности.

Вслед за К. Марксом они полагают, что “лишь благодаря предметно развернутому богатству человеческого существа развивается, а частью и впервые порождается, богатство субъективной человеческой чувственности: музыкальное ухо, чувствующий красоту формы глаз, – короче говоря, такие чувства, которые способны к человеческим наслаждениям и ко-

торые утверждают себя как человеческие сущностные силы. Ибо не только пять внешних чувств, но и так называемые духовные чувства, практические чувства (воля, любовь и т.д.), – одним словом, человеческое чувство, человечность чувств, – возникают лишь благодаря наличию соответствующего предмета, благодаря очеловеченной природе” [1956, 593–594].

Очеловеченная природа, т.е. культура в форме культурных предметов, является предпосылкой возникновения сущностных человеческих сил – эта мысль хорошо освоена в философии и психологии, но пока не получила распространения в лингвистике, хотя только приданье звукам языка статуса культурного предмета объясняет удовлетворительным образом трансляцию речевых умений и навыков от родителей к их детям.

Теперь вернемся к вопросу о роли языка в трансляции культуры, точнее, к вопросу о роли языка в трансляции человеческих способностей (сущностных человеческих сил).

Сразу же стоит отделить проблему трансляции самого языка как языковой способности от роли языка при трансляции других человеческих способностей, отличных от языковой способности. Проблемы трансляции самого языка как одной из сущностных человеческих сил рассмотрены частично в нашей работе [Тарасов, 1994], более подробно они проанализированы в серии работ Шахнаровича А.М.

Вопрос о функциях языка при трансляции человеческих способностей, естественно, требует учитывать различные формы существования языка: языка как системы, языка как процесса, т.е. как речи, языка как языковой способности, т.е. как способности человека производить и воспринимать речевые сообщения в ходе речевого общения.

Функционирование языковой способности у человека предполагает знание 1) определенной совокупности языковых знаков (т.е. знание лексической системы языка), 2) системы грамматических правил.

Эти знания должны обеспечивать

- восприятие звуковой цепи и членение ее на языковые единицы,
- формирование/конструирование содержания высказывания,
- формирование/конструирование смысла речевого высказывания,
- производство речевого высказывания, отображающего необходимую автору высказывания мысль, принимающую определенный смысл для реципиента высказывания.

Очевидно, что для осуществления этих речевых действий, т.е. для восприятия и производства речевых высказываний, недостаточно только языковых знаний: для конструирования, содержания и смысла речевых высказываний необходимо также знания о мире (энциклопедические знания). Знания о языке и мире исчерпывают содержание сознания, это содержание формируется в процессе присвоения культуры и является ментальной формой культуры наряду с ее предметной и деятельностной формами.

Предметная и деятельностная форма культуры являются “овнешнениями” ее ментальной формы, которая по определению является

формой внутренней, не доступной внешнему наблюдению. Эти “овнешнения” внутренней ментальной формы культуры – последняя суть содержания образов сознания – представляют, замещают ее в межсубъективном пространстве жизнедеятельности носителей культуры.

Тела языковых знаков – это также “овнешнение” (внутренних, ментальных) образов сознания. Так как эти образы отображают в сознании личностей культурные предметы, то тела языковых знаков замещают в речевом общении сами эти культурные предметы. Таким образом, язык предоставляет личности, присвоившей культуру и сформировавшей хотя бы начатки своего сознания, новое “овнешнение” этого сознания и чрезвычайно удобное для речевого общения средство замещения культурных предметов.

Наличие в языке не только лексических средств, способных замещать культурные предметы и овнешнять образы даже не существующих культурных предметов, но и грамматических правил, позволяющих производить и воспринимать речевые высказывания, дает возможность человеку путем рекомбинации старых образов сознания порождать практически безграничные объемы новых знаний. Для такой творческой работы личности и необходимы речевые высказывания: при восприятии чужих речевых высказываний новые знания порождаются в процессе конструирования их содержания, при производстве речевых высказываний они для субъекта играют роль средства формирования и формулирования его новых знаний.

Для понимания механизма образования новых знаний в процессах производства и восприятия речевых высказываний целесообразно проанализировать строение образа сознания, который для нашего анализа мы можем представить как совокупность знаний личности о конкретном явлении реального мира [Петровский, Ярошевский 1994, 288–307].

Современная психология сознания в образе определенного явления различает две части: чувственную и умственную. Чувственная часть образа сознания формируется в значительной мере в ходе индивидуального познания при помощи органов чувств, в норме эти перцептивные данные не отделимы в нашем сознании от самого явления.

Умственная часть образа сознания содержит знания, накапливаемые в филогенезе в форме понятий и овладеваемые личностью в онтогенезе. Если чувственная часть образа формируется в процессе индивидуального перцептивного восприятия, то умственный образ принципиально отличается своей психической природой: он формируется в общении с другим человеком, носителем знаний о познаваемом явлении.

Какую роль играет язык при формировании чувственной и умственной частей образа сознания?

На перцептивное восприятие, в ходе которого формируется чувственная часть образа и которое включает этапы обнаружения объекта, опознания, идентификации и понимания, кроме работы собственно рецепторов влияют так называемые нечувственные условия восприятия –

это, в первую очередь, хранящиеся в памяти знания, позволяющие опознать и идентифицировать воспринимаемые объекты.

Опознание и идентификация происходит как отнесение объекта восприятия к более общему классу (группе) на основе какого-либо признака. Как показывают самоотчеты испытуемых, участвующих в экспериментах, по опознанию и группировке предъявляемых объектов, можно полагать, что язык используется как средство оперирования имеющимися знаниями [Фрумкина и др. 1991, 84–109]. Таким образом, при перцептивном восприятии какого-либо объекта чувственная часть его образа формируется при помощи старых представлений о чувственных характеристиках сходных объектов, слова, точнее – тела языковых знаков, очевидно, ничего при этом не транслируют, а только организуют процесс использования знаний.

Как же формируется умственная часть образа сознания?

Она формируется принципиально иначе, чем чувственная часть, содержание умственной части составляют знания, накопленные обществом и представляемые личности для усвоения в онтогенезе; и это усвоение происходит в рамках речевого общения. Донор предлагает реципиенту для восприятия речевые сообщения, описывающие культурные предметы, понимание реципиентом сообщения предполагает конструирование его содержания и имеющихся знаний, т.е. предполагает создание новых знаний из знаний старых. Формирование умственной части образов некоторых культурных предметов сопровождается их распредмечиванием, но все культурные предметы отдельной личностью в современном обществе не могут быть распредмечены, поэтому умственная часть образа большинства культурных предметов формируется при помощи языка.

Но необходимо подчеркнуть, что новые знания при формировании умственной части образа сознания в речевом общении формируются самим реципиентом и только им, а донор может лишь способствовать этому процессу, предоставляя речевые сообщения и тем самым регулируя этот процесс, но очевидно, что тела языковых знаков опять же ничего не транслируют, а только позволяют донору контролировать производство новых знаний у реципиента.

При такой вербальной регуляции процесса формирования умственной части образов сознания реципиентами культуры общество должно располагать специальными письменными текстами (учебники для учебных заведений, справочники и т.п.) или при отсутствии письменно-го языка живыми носителями текстов.

Но наличие таких текстов, восприятие которых ведет к выработке новых знаний, не должно вводить в заблуждение относительно роли языка в трансляции культуры: язык не транслирует культуру, не хранит и не передает никаких знаний: знания и в целом все человеческие существенные силы могут хранить только сами люди в своем теле и только они могут организовать при помощи культурных предметов, образцов общения и языка выработку существенных человеческих сил у нового поколения членов общества.

Анализируя роль языка в трансляции образа сознания, следует иметь в виду, что язык, точнее – тело языкового знака, – отображает его не прямо, превращенно. Чтобы компенсировать искажение, которое тело языкового знака вносит в ход трансляции содержания образа сознания, вербальные знаки, образующие речевое сообщение, дополняются неязыковыми: изобразительными жестами в устной речи и иконическими знаками – изображениями в речи письменной. Такая компенсация возможна в первую очередь относительно чувственной части образа сознания, в меньшей мере эта компенсация при помощи иконических знаков возможна при трансляции умственной части, поэтому, если возникает необходимость в повышении точности понимания умственной части образов сознания, отображаемых языковыми знаками, то такие речевые сообщения дополняются интерпретирующими высказываниями. Тексты крупных философов, поэтов, которые порождают новые уникальные знания, но вынуждены при этом пользоваться телами старых неуникальных языковых знаков и стандартными способами их сочетания в речевой цепи, дополняются текстами интерпретаторов, которые пытаются компенсировать неадекватность косных средств “овнешнения” новых уникальных знаний.

Подведем итог. Даже поверхностный анализ проблемы трансляции человеческих способностей показывает, что эта проблема изучается в разных дисциплинах: в сравнительной психологии, культурологии, лингвистике и философии. При этом почти полностью отсутствуют попытки сформировать определенный интегративный подход, без которого трудно ожидать успехов в анализе такого сложного явления как функционирование культуры в качестве внегенетической программы трансляции человеческих способностей.

Что касается лингвистов, то они, решая свои узкодисциплинарные проблемы, анализируя роль языка как средства формализации, то это зачастую делается без опоры на адекватные общеметодологические схемы. Поэтому ближайшие задачи лингвистики в изучении языка как средства организации процесса трансляции человеческих способностей состоят 1) в использовании методологических схем, которые сформированы в других науках, в частности в философии и психологии, и 2) в создании интегративных междисциплинарных подходов.

1. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1975.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956.
3. Рубинштейн С.Л. Проблемы психологии в трудах Карла Маркса // Советская психотехника. 1934. 1. С. 3–20; Вопросы психологии. 1983. 2. С. 8–24.
4. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1973.
5. Тарасов Е.Ф. Язык и культура: методологические проблемы // Язык, культура, этнос. М., 1994.
6. Фрумкина Р.М. Семантика и категоризация. М., 1991.

II. ЯЗЫК И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

В.Г. Гак

(Россия)

ЯЗЫК КАК ФОРМА САМОВЫРАЖЕНИЯ НАРОДА

В формах языка, в его семантике, лексике, морфологии, синтаксисе отражается в определенной мере глубинная психология народа. Это отражение может иметь двоякий характер: статический и динамический. Статический аспект заключается в значениях слов, грамматических форм и конструкций, динамический – в их употреблении в высказывании. Языки различаются между собой не только тем, что они “имеют”, но и тем, как они используют то, что они имеют. Современная лингвистика широко и углубленно исследует эти факты, особенно в связи с сопоставительным изучением языков. Основное внимание при этом уделяется статическому аспекту, своеобразному членению мира, отражающемуся в рассматриваемых языках. Но не меньшее значение в языковом самовыражении народа имеет отбор языковых элементов в речи, в процессе организации высказывания. Этот отбор показывает, какие элементы действительности, какие их свойства и отношения имеют приоритетное значение в речевом сознании говорящих на данном языке людей.

Построение высказывания начинается с мысленного отбора признаков предметов, которые кладутся в основу наименования этих предметов.

Всякий предмет, всякое действие обладает бесчисленным количеством признаков, которые невозможно, да и незачем упоминать в высказывании, так как для идентификации предмета, признака, действия достаточно одного-двух признаков, на основании которых в речи осуществляется наименование. В каждом языке обнаруживается своя тенденция в отборе таких признаков, в связи с чем даже одинаковые по смыслу слова неодинаково употребляются в речи. Эта тенденция может быть внешне детерминирована, но она может представлять собой и произвольный выбор, который постепенно закрепляется в языке.

Всякое движение может характеризоваться в отношении способа движения (*идти, ехать, бежать, плыть, лететь, течь* и т.п.) и направления движения (*приближаться, удаляться, пересекать, спускаться, подниматься* и т.п.). В русском языке имеется разветвленная система

префиксальных глаголов движения, которые квалифицируют движение одновременно в обоих аспектах, причем префикс указывает на направление, а основа – на способ передвижения. Например, *прибегать*, *убегать*, *выбегать*, *перебегать* и т.п. (общий способ передвижения, разные направления), *выходить*, *выбегать*, *вывезжать*, *выплывать*, *вылетать* и т.п. (общее направление при разных способах передвижения). Во французском языке таких глаголов “двойного значения” сравнительно мало, буквально единицы: *accourir* “прибегать”, *parcourir* “обегать”, *s'envoler* “улетать”, *survoler* “перелетать (над чем-л.)”. Это – системные расхождения статического порядка. Но и в динамическом аспекте, при построении высказывания, при описании одного и того же фрагмента ситуации говорящий на французском языке отмечает прежде всего направление данного движения, тогда как говорящий на русском языке – способ передвижения или же способ передвижения вместе с указанием на его направление (префиксальный глагол). Вследствие этого одно и то же действие может получать различные обозначения даже при наличии в двух языках сходных глаголов. Например (авторские примеры здесь и далее даны в опубликованных переводах):

Он *пошел* по коридору, заметно прихрамывая (*Шолохов*).

Il *s'éloigna* dans le couloir avec un fort boitement.

Листницкий *пошел* на второй этаж (*Шолохов*).

Listnitski *monta* au premier.

В обеих русских фразах отмечается способ передвижения – шагание (в обычном темпе), хотя направление движения совершенно различны (в первом случае – удаление от точки отсчета, во втором – подъем и можно было бы сказать *Он поднялся на второй этаж*). Во французских переводах указывается именно только направление движения (“подниматься”, “удаляться”), тогда как способ передвижения не фиксируется в поверхностной структуре предложения.

Подобного рода избирательность проявляется при формировании новых номинаций. Французский язык чаще, чем русский, использует в переносных значениях цветообозначения, тогда как в русском языке более детально дифференцируются обозначения звуковых ощущений. Франция – это цивилизация цвета. Для различения элементов быта там часто используются цветовые обозначения. Например, многие явления, относящиеся к сельскому хозяйству, к экологии, получают наименования с прилагательным *vert* “зеленый”: *espace vert* “зеленое пространство” (в городе: сквер и т.п.); *rotonde vert d'une ville* “зеленое легкое города” (парк, городской сад), *révolution verte* “зеленая революция” (преобразования в сельском хозяйстве); *Europe verte* “зеленая Европа” (соглашения по вопросам сельского хозяйства стран Общего рынка); *les partis verts* “зеленые (т.е. экологические) партии” (это обозначение заимствовано и русским языком); *l'électorat vert* “зеленый избирательный электорат” (контингент избирателей, голосующих за экологистов). Многие объекты различаются по цвету и получают соответствующие обозначения:

carte orange “оранжевая карточка” (проездной билет); *carte vermeil* “алая карточка” (льготный проездной билет для пенсионеров); *carte grise* “серая карточка” (техпаспорт автомобиля); *zone bleue* “голубая зона” (зона с ограничением стоянки автомобилей) и т.п.

Различны приемы двух языков при описании звуковых впечатлений. Во французской речи звуковые впечатления фиксируются реже, особенно при обозначении движений и действий. В русском языке различаются *удар* и *стук* (“удар со звуком”); во французском им соответствует одно слово *сouper*. Русское слово *базар* в переносном смысле означает “беспорядочный говор, крик, шум”. Французское *bazar* при метафорическом переносе значит “беспорядочное нагромождение предметов”, фиксируя зрительное, а не слуховое впечатление от предмета. При описании ситуации французский язык отдает предпочтение зрительным восприятиям (движения, жесты) перед звуками. Он также сравнительно чаще основываетя в своих номинациях на цветовых представлениях¹.

После отбора признаков, по которым именуются элементы ситуации, вторым этапом построения высказывания является выбор общего типа структуры ситуации. Одна и та же ситуация может, например, интерпретироваться как местонахождение (“В этой библиотеке много ценных книг”) или как обладание (“Эта библиотека имеет много ценных книг”). Каждый язык и здесь может иметь свои предпочтения. Так, говорящий на русском языке сравнительно чаще использует локальные, пространственные отношения, тогда как французский – отношения принадлежности, включения и т.п. Например, *В этой книге десять глав* и *Ce livre a (comprend) dix chapitres*. В целом французскому языку свойственно сравнительно более широкое употребление структур, восходящих к глаголу “иметь”, тогда как русскому – с глаголом “быть”. Французский язык – язык транзитивных глагольных структур, русский – интранзитивных.

Национальная культурная специфика проявляется особенно на глядно в языковом поведении говорящих. Последнее включает два момента: 1) вербальные реакции в конкретных культурных сферах и условиях; 2) общие тенденции (константы) языкового поведения, которые проявляются независимо от культурной сферы и отражают как общие закономерности построения высказывания на данном языке, так и свойственные данному социуму правила речеведения.

Тенденции речевого поведения представляют особый интерес в интеркультурном плане, так как в них могут отражаться особенности национальной общественной жизни и психологии. Из двух отмеченных выше составляющих речевого поведения мы остановимся на второй. Общие закономерности построения высказывания будут рассмотрены преимущественно на материале бытовых реплик – актов речи, которые интересны в том отношении, что, не являясь созданием определенного автора, отражают в конденсированной форме общие тенденции

¹ См. подробнее: Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. М., 1977.

организации высказывания на данных языках, независимо от конкретного содержания акта речи, стилевого уровня и других факторов. Большой интерес представляют в этом плане косвенные акты речи, поскольку косвенные, транспонированные средства выражения (лексические метафоры и другие переносы значений, использование синтаксических структур во вторичных – тоже переносных – функциях) отражают психологию говорящих подчас в большей степени, нежели прямое употребление языковых средств, они позволяют выявить глубинные ассоциации, устанавливаемые говорящими.

Высказывание характеризуется предикативными категориями (их называют нередко ныне категориями высказывания), к которым относятся прежде всего лицо, время, модальность, утверждение/отрицание, коммуникативная интенция (сообщение/вопрос/побуждение). Во всех случаях и французский и русский языки проявляют большую специфику. Следует оговорить заранее, что правила речевого поведения формулируются не в жестких требованиях, а именно как тенденции, определяемые в понятиях *больше/меньше; чаще/реже*.

Лицо. Высказывание может быть ориентировано на различное грамматическое лицо без ущерба для его общего смысла, например:

Mогу я взять вашу ручку? (ориентация на 1 лицо)

Разрешите взять вашу ручку (ориентация на 2 лицо)

Можно взять вашу ручку? (1 и 2 лица не отмечены, в структуре высказывания представлено 3 лицо или безличная форма – 0).

Во французском языке относительная частота использования форм лица: 1–2–0, в русском наблюдается обратная частотность ориентации на лицо: 0–2–1. Вот некоторые обычные реплики:

фр. 1 – рус. 0. *Je donne la parole à M. N.* (слова председательствующего; букв. “я даю слово г-ну Н.”) – *Слово предоставлено г-ну Н.*

Je trouve cela difficile (букв. “я нахожу это трудным”) – *Это трудно.*

Je ne peux pas demander mieux (букв. “я не могу требовать лучшего”) – *Лучше не придумаешь.*

Je regarde vers l'avant et j'aperçois une étroite vallée de ciel (Saint-Exupéry; букв. “...и я вижу...”) – *Всматриваюсь – передо мной неширокий просвет* (здесь 1 лицо выражено, но в отличие от французского текста, не подлежащим, а дополнением).

Et cependant, qu'ai-je aperçu? (букв. “И все же, что я увидел?”) – *Но что это?*

Особенно характерно отмеченное расхождение при выражении модальности. Во французском языке она часто выражается модусным предложением, содержащим глаголы суждения с общим значением “я думаю, я считаю”, тогда как в русском используются безличные вводные слова: *кажется, может быть* и т.п.

Je crois qu'il est parti – *Он, наверное, уехал.*

фр. 1 – рус. 2. *Je vous donne un conseil* (букв. “я даю вам совет”) – *Послушайте моего совета.*

Je te signale que c'est un film très violent (букв. “я уточняю тебе, что...”) – **Учи, это очень жестокий фильм.**

Je cherche le réfectoire (обращение; букв. “я ищу столовую”) – **Вы не скажете, где столовая?**

Je vous arrête (формула полицейского при задержании; букв. “я вас арестовываю”) – **Вы арестованы.**

Фр. 2 – рус. 0. *Vous avez bien compris.* – **Правильно.**

Que voulez-vous, Monsieur! – **Что поделаешь!**

Примеры такого рода можно приводить до бесконечности. Преимущественное по сравнению с русским языком употребление форм, относящихся с первым лицом, наблюдается и в разговорных репликах, и в официальных формулах, и в художественных описаниях.

Итак, во французском языке высказывание сравнительно часто ориентировано на первое лицо, в меньшей степени – на второе, тогда как в русском языке нередко говорящие (особенно первое лицо), представленные, разумеется, в ситуации, не обозначены в поверхностной лексико-грамматической структуре высказывания. Русское высказывания часто принимает форму безличного предложения. Для объяснения этого факта можно выдвинуть две гипотезы. Первая – этнопсихологическая, полагающая, что в данных языковых формах “самовыражаются” народы. Во Франции исторически больше развился индивидуализм, обособленность людей друг от друга. Отсюда и тенденция начинать свою речь с “Я”. Даже в магазине рядовая продавщица в ответ на вопрос, имеется ли такой-то товар, скажет не “Этого нет”, как ответила бы ее русская коллега, но “Я этого не имею”, хотя она не является владелицей магазина. Известный психолог Ж. Пиаже отмечал повышенный эгоцентризм детской речи. Может быть, на эту мысль его дополнительно навело то обстоятельство, что французские дети почти каждую фразу начинают с *je, moi, et moi*. Русский человек, напротив, старается не выделять себя, он как бы отходит на задний план, предпочитая употреблять безличные обороты или конструкции, в которых семантический субъект выражен косвенным падежом: *Мне кажется; Наверное; Может быть, а не Я считаю; Придется уйти, а не Мы должны будем уйти; Что же теперь делать, а не Что мы будем теперь делать?* и т.п. А это связывают с известными особенностями русской истории и социальной организации в России, духом коллективизма, относительно слабым развитием индивидуализма и др. К этому можно еще добавить, что в русской речи косвенный способ выражения (без местоимений 1 и 2 лица) служит средством выражения вежливости, подчиненности (вместо *Я прошу вас сделать то-то – Нельзя ли сделать так, чтобы...*).

Однако возможно и другое объяснение, чисто лингвистическое. Можно привести ряд факторов, морфологических и синтаксических, способствующих появлению во французской фразе указания на участников акта речи и отсутствию такого указания в русской фразе.

Что касается морфологии, то во французском языке личная форма глагола (кроме инфинитива) обязательно требует подлежащего: причем, в первом и втором лицах это обычно служебные местоимения, которые без глагола не употребляются. В русском языке личная глагольная форма может употребляться без местоимения, даже в прошедшем времени, где глагольная форма не различает лиц. Отсюда и создается впечатление, что французский язык в большей степени фиксирует 1 и 2 лица речи, чем русский. Например, обмен репликами между двумя людьми: — *Понял?* — *Да, понял.* Формально реплики не ориентированы на форму лица, хотя, конечно, из ситуации легко выводятся конкретные лица. Эти лица обязательно отмечаются в соответствующем французском диалоге в силу обязательного употребления местоимений: — *As-tu compris?* — *Oui, j'ai compris.*

Еще более существенны синтаксические факторы. Во французском языке твердый порядок слов ограничивает возможность инверсии подлежащего, выводимого в рему. Например, если необходимо сказать *Отсюда видна река*, то по-французски аналогичное предложение не может быть сконструировано. Слово обозначающее реку, рема предложения, должно оформляться как дополнение (желательно прямое). Но тогда встает вопрос о подлежащем, необходимо ввести в функции подлежащего новое слово, которое, однако, не должно искажать смысла предложения и передаваемой им информации. Самым удобным способом в этом случае является оформление в качестве подлежащего слова, указывающего на элемент ситуации, который входит в пресуппозицию данного высказывания, так что его обозначение оказывается избыточным, не вносящим ничего нового в семантику высказывания. Поскольку в данном предложении речь идет о ситуации восприятия, то таким избыточным, само собой подразумеваемым элементом ситуации, отражаемым в высказывании, является указание на воспринимающее лицо, поскольку ситуация восприятия невозможна без реального или возможного одушевленного лица, способного в данном случае увидеть то, о чем идет речь. Таким воспринимающим лицом в данном случае может быть сам говорящий, если он констатирует факт для себя, либо слушающий, если ему дается объяснение, либо, наконец, обобщенное лицо, охватывающее любое конкретное и выражаемое во французском языке специальным местоимением *on*. Таким образом, можно построить фразу типа: *D'ici, je vois (tu vois, nous voyons, on voit) la rivière.* Факторами грамматического порядка можно объяснить и употребление лично отмеченных конструкций при выражении модуса во французском языке. В русском языке вообще безличные конструкции употребляются в среднем в четыре раза чаще, чем во французском. С другой стороны, французскому языку свойственна тенденция к употреблению прямопереходных синтаксических структур. Соответствия типа *Je pense* — (*Мне*) кажется вполне вписываются в эти тенденции. Во французском языке обороты вроде “я думаю”, “я нахожу” выступают

как очень удобный способ начать предложение. Поэтому русскому *Это неудобно* соответствует французское “*Я нахожу это неудобным*”. Характеристика ситуации или какого-либо объекта выражается по-русски без указания на оценивающее лицо (хотя оно, конечно, присутствует в ситуации), в то время как по-французски это указание представлено в самой структуре предложения.

В тридцатые годы известный ученый В.И. Абаев опубликовал две статьи на тему: “*Язык как идеология и как техника*”, в которых он подчеркивал, что явление, возникающее в языке “*как идеология*”, то есть выражающее определенный смысл, определенное отношение соответствующего коллектива к явлениям объективной действительности, отражающее его сознание и психологию, может в дальнейшем “*технизоваться*”, превращаться в простую языковую форму. Возможно, что в древние времена безличные формы русского языка отражали определенное видение мира, указывали на непонятную силу, производящую данное действие, в отличие от одушевленного лица, но в современном языке их употребление “*технизовалось*”, они стали формой, используемой при описании определенных ситуаций, отличаясь от синонимичных им личных форм некоторыми оттенками значений, и ушли уже довольно далеко от своих первоначальных смыслов. Можно считать, что французские личные конструкции претерпели сходную эволюцию: они “*технизовались*”, превратившись в стандартный способ формирования высказывания.

Вообще следует с осторожностью подходить к попыткам прямо связывать языковые формы с самосознанием, с мышлением говорящего на нем народа. На это указывал, в частности, Ш. Балли: “*Один английский путешественник поставил в упрек языку какого-то “нецивилизованного” народа, что в нем употребляется одно и то же слово в значении “любить”, и когда речь идет о друге, и когда речь идет о съедобной вещи. Этот англичанин смотрит на вещи сквозь свой собственный язык, в котором различаются to love и to like. Но тогда французы дики, потому что они говорят одинаково “любить женщину” и “любить тушеную говядину”!*

В некоторых нецивилизованных языках женщины в отношении категории рода поставлены на уровень неодушевленных предметов. Это чудовищно. Но есть вещи почище. Нам известен язык, в котором при переходном глаголе, таком как *убивать, любить*, прямое дополнение ставится в генитиве, если речь идет об одушевленных существах, и в аккузативе для неодушевленных предметов. Человека, быка, коня убивают в генитиве; разрушают дом, посыпают стрелу, бросают грязь в аккузативе. Самое забавное в этой истории – то, что женщина отнесена к неодушевленным предметам: ее нельзя убить, как быка – в генитиве; она имеет право только на аккузатив, как грязь. Женщины могут иметь право на генитив, только если их много: количество компенсирует качество. И если какому-нибудь животному придет вдруг в голову странная идея получить женский род, например, собаке, то оно

сразу попадает на один уровень с женщинами: оно приговаривается к аккузативу. Вы скажете: – Какой примитивный язык! А ведь это язык Тургенева и Толстого. И если феминистки в царской империи верят в прогресс языка, они должны будут немедленно потребовать права на генитив для русских женщин. Я не искал здесь грамматической доказательности; я лишь изложил факты так, как это сделали бы, если бы речь шла о каком-нибудь полинезийском языке. Этот урок следует запомнить”².

Время. Во французских актах речи, в описаниях и даже в художественной и исторической литературе настоящее время используется значительно чаще, чем в русском языке. Особенно это касается таких актов речи как просьба, совет, вопрос, предупреждение и др. Например:

Tu m'arrête si je te trompe (букв. “ты меня останавливаешь, если я ошибаюсь”). – Ты меня остановишь, если я ошибусь. Во французской фразе оба глагола в настоящем времени. Второе настоящее – требование грамматической нормы (после союза *si* вместо будущего должно употребляться настоящее), однако первое – результат свободного выбора говорящим.

Un de ces jours je t'appelle (букв. “… звоню”) – Я тебе на днях позвоню; Je viens vous dire que... (букв. “прихожу”) – Я пришел вам сказать, что...; On fait encore une partie, d'accord? (букв. “играем”) – Сыграем еще одну партию, хорошо?

Мы видим, что настоящее время во французском высказывании может соответствовать русскому будущему или прошедшему. В некоторых случаях настоящее время может быть употреблено и по-русски, но оно менее узуально, чем его французский аналог. В наши дни во французском языке настоящее время широко используется в исторических трудах, в художественных произведениях, вытесняя простое прошедшее. Оно остается самым употребительным временем в языке прессы. Так же как и в отношении лица, здесь возможно двоякое объяснение причин.

Можно связать склонность французов к употреблению формы настоящего времени с психологией народа. Писатель И. Эренбург, хорошо знавший Францию и ее народ, пишет в посвященной Франции статье “О свойствах умеренного климата”: “Я преклоняюсь перед [французской]… преданностью каждому часу, каждой минуте, которую можно определить и как беспечность и как настоящую мудрость”³. И из двух обычно упоминаемых “русских вопросов” *Кто виноват?* и *Что делать?* один относится к прошлому, другой – к будущему. Можно заключить, что француз живет психологически преимущественно в настоящем. В России же люди больше думают о прошлом или о будущем.

² Bally C. Le langage et la vie. Paris. 1926. P. 90–91.

³ Эренбург И. Затянувшаяся развязка. М., 1934. С. 221.

Но можно отмеченные расхождения в употребительности временных планов объяснить чисто грамматически. В этих различиях можно усматривать воздействие двух факторов, один из которых принадлежит русскому языку, другой – французскому.

В русском языке глаголы совершенного вида не имеют особой формы для настоящего времени, оно заменяется будущим. Ввиду этого в речи будущее или прошедшее время часто употребляются вместо настоящего. Это создает привычку неупотребления настоящего и в тех случаях, когда оно может быть использовано. Например, в функции абсолютного настоящего в русском языке часто можно видеть будущее или прошедшее время, что невозможно или менее нормативно во французском языке: *Три и пять (будет) восемь*. Во французском языке здесь будущее время глагола невозможно.

В свою очередь французскому языку свойственна тенденция к употреблению слов и форм более широкого значения, когда контекст или ситуация достаточно определяют предмет или действие. Например, при повторе видовой термин заменяется родовым. Настоящее время – самая широкая по значению форма среди французских времен, оно является нулевым, немаркированным элементом временной парадигмы и легко заменяет времена прошедшего или будущего плана при ясности ситуации, придавая вместе с тем высказыванию оттенок актуальности.

Коммуникативная целеустановка. В этой категории говорящий имеет выбор между повествовательными, вопросительными и побудительными предложениями. Побудительные акты речи могут включать глаголы в императиве, в будущем времени, в условном наклонении (часто в вопросительно-отрицательной форме). Во французском языке чаще, чем в русском, используется повествовательная форма предложения, которая является исходной и наименее маркированной в данной парадигме.

Le robinet coule, tu pourras voir ce qu'il y a (букв. “...ты сможешь посмотреть...”) – Кран течет, посмотри, пожалуйста (не мог бы ты посмотреть), в чем дело.

Tu seras prudent, il y a du verglas (букв. “ты будешь осторожен...”) – Будь осторожен, на улице гололедица. Чтобы употребить будущее время, в русское высказывание нужно включить вопросительную частицу: Ты будешь осторожен, да?

Tu ne vas par répéter ces bêtises! (букв. “ты не станешь повторять...”) – Не вздумай повторять эти глупости! Больше не повторяй этих глупостей!

Французское повествовательное утвердительное предложение часто используется в высказываниях побудительного характера, выражавших просьбу, вопрос:

Excusez-moi, je suis désolé, je cherche l'arrêt du 28 – Простите, не можете ли вы сказать, где находится остановка автобуса 28. Здесь также

повествовательное предложение используется в функции побудительного и представляет собой, следовательно, косвенное высказывание.

Подобно тому, как в категории времени немаркированная форма (настоящее время) употребляется вместо маркированных (прошедшего и будущего), так и в категории целеустановки немаркированная форма (повествовательное предложение) выполняет функцию маркированных (вопросительного, побудительного).

Вопросительная форма во французских высказываниях сравнительно чаще используется в побудительных актах речи как дополнительный элемент выражения вежливости:

Voulez-vous signer ici, s'il vous plaît? (букв. “вы желаете...”) – *Подпишитесь, пожалуйста, здесь.*

Категория ассертивности. Эта категория включает две формы: утвердительную и отрицательную, между которыми говорящий в ряде случаев может делать выбор. Французский язык нередко использует утвердительную форму вопроса для выражения смягченной просьбы. Это смягчение иллоктивной силы высказывания по-русски передается вопросительно-отрицательной формой или формулой вежливости *пожалуйста*.

Tu me donnes le journal? (букв. “ты мне даешь газету?”) – *Ты мне не даешь газету? Дай мне, пожалуйста, газету.*

Tu veux bien me prêter ta voiture? (букв. “ты согласен / не возражешь/одолжить мне твою машину?”) – *Ты не одолжишь (не мог бы ты одолжить) мне твою машину?*

Dis, papa, tu m'achètes un chien? (букв. “...ты мне покупаешь собаку?”) – *Папа, а пана, ты мне не купишь собаку?*

Это высказывание – также косвенное, поскольку повествовательная форма во французском и вопросительная форма в русском вариантах используются вне своей основной функции – для выражения побуждения.

И в сфере категории ассертивности французский язык шире использует в косвенных высказываниях немаркированную утвердительную форму, которой в русском функционально соответствует маркированная отрицательная.

В русском языке весьма часто используются разные типы предложений без глагола. Один зарубежный лингвист в шутку назвал это явление “языковой обломовщиной”, видя в нем нежелание говорящих утруждать себя подбором глагола с соответствующими грамматическими показателями, когда смысл и так ясен (например: *Ты куда?* – *Я в институт* – вместо – *Ты куда идешь?* – *Я иду в институт*; во французском языке, например, пропуск глагола в этих случаях невозможен). Но проблема здесь заключается в языковой экономии, которая имеет место во всех языках, но проявляется по-разному и на разных уровнях. Языковая экономия может быть двоякого типа: структурной, когда опускается целое слово, как в приведенных выше русских фразах, и се-

мантической, когда употребляется языковая форма с более простой семантической структурой, без дополнительных дифференцирующих сем. Использование слова или грамматической категории более широкого, родового значения вместо слова или категории более узкого, видового значения представляет собой семантическую экономию. В рассмотренных выше случаях французский язык проявляет тенденцию к употреблению немаркированных, более широких по значению форм: настоящего времени вместо прошедшего или будущего, повествовательного предложения вместо вопросительного или побудительного, утвердительного вместо отрицательного. Русский язык относительно чаще в тех же случаях прибегает к маркированным формам. Отбор маркированных форм с их дополнительными семами требует, по-видимому, большего мыслительного усилия, чем немаркированных. Поэтому, следуя метафоре зарубежного ученого, можно сказать, что в этих случаях французский язык проявляет “языковую обломовщину”, пользуясь в разных ситуациях одними и теми же языковыми формами максимально простого семантического состава.

Модальность. Эта категория может быть выражена тремя основными способами: модусным предложением с предикатом модуса: *Я думаю, что он ушел*; модальным словом: *Он, должно быть, ушел*; глагольной формой в диктуме высказывания: фр. *Il sera parti* (будущее предшествующее в плане прошедшего времени претерпевает модальную транспозицию, выражая предположение). Если французский язык использует относительно шире первый и третий способ, то русский – второй. В этом случае высказывание деперсонализуется, о чём речь шла выше. С выражением модальности тесно связано использование категорий асертивности и коммуникативной направленности. Уже выше приводились примеры, когда при переходе от одного языка к другому изменялось сразу несколько категорий. Мы рассмотрим здесь использование в двух языках глаголов *мочь – pouvoir* и *хотеть – vouloir*. Первая пара выражает алетическую модальность (независимую от желания человека возможность действия), вторая – волитивную модальность (зависящую от желания человека возможность действия). Первый тип модальности носит объективный характер, второй – субъективный. Особый интерес представляет рассмотрение этих модальностей в косвенных актах речи. В косвенных высказываниях собственное значение языковых форм отходит на второй план, формы могут синонимизироваться, употребляясь в одних и тех же ситуациях и преимущественное их использование в сравниваемых языках свидетельствует о том, какое их значений является приоритетным в сознании людей, говорящих на данном языке. В выражении модальности косвенных высказываний участвуют наряду с модальными глаголами различные языковые средства: будущее время, условное наклонение, отрицание, вопрос, интонация. Что касается употребления интересующих нас глаголов “мочь” и “хотеть” в двух язы-

ках, то можно констатировать следующие общие типы соотношения между ними:

франц. язык	русский язык
-------------	--------------

- | | | |
|----|----------|-----------------|
| 1) | "мочь" | "мочь" или ноль |
| 2) | "хотеть" | "мочь" |
| 3) | "хотеть" | ноль |
| 4) | ноль | "хотеть" |

Расхождение в использовании глаголов часто сопровождается употреблением перечисленных выше языковых средств. Приведем примеры к этим соответствиям.

1) Pouvez-vous me passer le sel? – а) *Не могли бы вы передать мне соль?*; б) *Вы мне не передадите соль?* Во всех случаях выражения просьбы по-русски, так же как и по-французски можно использовать императив со словом *пожалуйста*, подчеркивающим вежливость. Но нас интересует здесь соответствие глаголов "мочь" и "хотеть" в двух языках.

Дистрибуция языковых форм такова:

	"мочь"	вопрос.	утв. / отриц.	наст. / буд. / услов.
франц. язык	+	+	+	+
русс. язык	а) +	+	+	+
	б)	+	+	+

Это соответствие возможно и при предложении помощи:

Puis-je (pourrais-je) vous aider? (букв. "могу [мог бы] я вам помочь"?") – *Не мог бы я вам помочь? Разрешите вам помочь.*

По-французски в этом случае можно употребить и самую общую немаркированную форму: Je vous aide? букв. "я вам помогаю?"

2) Это соответствие обнаруживается нередко в директивных косвенных актах, выражающих просьбу или приказ:

Veux-tu fermer la fenêtre? (букв. "хочешь ты закрыть окно"?") *Не мог бы ты закрыть окно?*

Voudriez-vous me passer le cendrier? (букв. "не хотели бы вы передать мне пепельницу"?") – *Не могли бы вы передать мне пепельницу?*

Voudriez-vous nous laisser seuls? (букв. "вы бы хотели оставить нас одних"?") – *Не могли бы вы нас оставить одних?*

В этом случае расхождение еще более существенно, чем в 1):

	"хотеть/мочь"	вопрос.	утв./отриц.	наст./услов.
франц. язык	+	+	+	+ или +
русс. язык	+	+	+	+

Различия касаются трех компонентов из четырех. В русском высказывании и здесь можно употребить императив с формулой вежливости (*пожалуйста*), но глагол *хотеть* в этом контексте нежелателен, если только говорящий не хочет вызвать смех. Он тем более невозможен в высказываниях более высокого стилистического уровня, например:

Voudriez-vous avoir l'amabilité de passer ce livre à M.N.? (букв. “не хотели бы вы иметь любезность передать эту книгу г-ну Н”?)

Указанное соотношение типично для вопросительных фраз:

Comment voulez-vous que je le découvre? (букв. “как вы хотите, чтобы я это нашел”?) – *Как я могу это найти?*

3) В конце высказывания *veux-tu*, *voulez-vous* усиливают императив. Глагол *хотеть* в этих случаях по-русски невозможен:

Tais-toi, veux-tu! (букв. “замолчи, хочешь ты”) – *Замолчи же!*

4) Вместо глагола “хотеть” во французском высказывании могут быть употреблены глаголы и выражения, обозначающие согласие. Им в русском тексте обычно соответствует *хотеть* в вопросительно-отрицательной форме:

Vous seriez d'accord pour venir à Marseille? (букв. “вы были бы согласны приехать в Марсель?”) – *Не хотели бы вы приехать в Марсель?*

Итак, во французском и русском языках в косвенных высказываниях одинакового содержания предпочтительно употребляются разные модальные глаголы: во французском – “хотеть”, в русском – “мочь”.

Глагол “хотеть” выражает волитивную модальность; употребляя его, выясняют чье-либо желание выполнить предлагаемое или требуемое действие, причем предполагается психическая реакция адресата, который может сказать: *я хочу* или *я не хочу*; *мне это нравится* или нет. Глагол “мочь” в своем первичном значении выражает, как отмечалось выше, алетическую модальность, объективную возможность, которая зависит не от воли данного субъекта, но от его физических способностей и условий данной ситуации (у адресата спрашивают, способен ли он осуществить данное действие). Разумеется, в косвенных высказываниях первоначальное значение глаголов стирается, как во всех метафорических употреблениях слов и форм. Но сравнивая фразы: *Veux-tu (ça t'ennuie de) descendre la pouille?* (букв. “ты хочешь [тебе не-приятно] вынести мусор?”) и *Не мог бы ты вынести мусор?* можно сделать вывод, что в основе многих конвенциональных актов речи во французском языке лежит интерперсональный момент: согласие одного человека положительно реагировать на обращение другого, тогда в русском языке просматривается интраперсональный момент: способность самого лица выполнить такое-то действие.

Эта особенность французского языка в совокупности с субъектинацией, о которой шла речь выше, приводит к тому, что в нижеследующих фразах совет или пожелание представлены как психологическое

состояние говорящего, тогда как в русских высказываниях они выступают как объективная необходимость:

J'aimerais que tu partes maintenant (букв. “я предпочел бы, чтобы ты уехал сейчас”).

Эту фразу, исходя из норм русского языка, можно было бы истолковать так, что говорящий хочет, чтобы адресат немедленно уехал, в то время, как он желает сказать, что, по его мнению, для самого адресата лучше, чтобы он уехал сейчас же; фраза значит: *Было бы лучше для тебя уехать сейчас*.

Ментальные и психологические процессы, происходящие у собеседников, более явно и прямыми средствами выражаются во французских высказываниях:

Cela m'étonnerait s'il réussissait (букв. “мсня удивило бы, если бы он добился успеха) – *Вряд ли он добьется успеха*.

Voyez-vous un inconvénient à ce que je m'absente cet après-midi (букв. “видите ли вы какое-либо неудобство в том, что меня не будет во второй половине дня”) – *Позвольте (можно) мне отсутствовать во второй половине дня (?)*. Хотя французский оборот такого рода принадлежит к несколько церемонному стилю, в русском языке такой способ выражения вообще мало вероятен.

Разумеется, в настоящее время многие из рассмотренных типов косвенных высказываний стали “языковой техникой”, но все же в косвенных высказываниях русского языка актуализируется способность говорящих выполнить данное действие, в то время как во французских высказываниях с аналогичной прагматической функцией актуализируется субъективное отношение – положительное или отрицательное – говорящих к факту, о котором идет речь. Таким образом, выявляются некоторые глубинные закономерности этнокультурного плана: если русские формулы восходят к модальности “я могу”, то французские – к модальности “я хочу, я предпочитаю, мне удобно”. Французский способ выражения более “социален”: он отражает отношения между людьми.

Еще один вывод можно сделать из приведенных выше примеров. Во французском языке распространены вопросительные формулы без вопроса. Они включают формулы вежливости: *Rue Racine, s'il vous plaît?* (букв. “улица Расина, пожалуйста”) – *Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу Расина?* Но могут употребляться и без них: *Je cherche la bibliothèque; La station Les Sablons?* (в метро). В русском языке в таких случаях предпочтительно и даже иногда необходимо использовать прямой вопрос (*скажите, пожалуйста, где...?*) или соответствующий глагол (*простите, где находится...*)

В теории диалога разрабатывается проблема проксемики, изучающей дистанцию, на котором находятся собеседники и которая зависит от языка и этнической принадлежности. Последние рассмотренные факты позволяют, наряду с такой физической проксемикой, различать психологическую проксемику – степень психологической дистанции.

различающей говорящих. Эта дистанция больше для французского языка, чем для русского. Прямой вопрос (*скажите, пожалуйста...*) больше вводит адресата в заботы говорящего, сильнее затрагивает его, чем сообщение типа: *Я ищу столовую.* Говорящий при этом как бы меньше навязывает себя со своими проблемами собеседнику. Одновременно в употреблении подобных формул проявляется отмеченная тенденция французского языка к использованию немаркированных структур.

A.Ф. Журавлев

(Россия)

**НАИВНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ
И “КАБИНЕТНАЯ МИФОЛОГИЯ”
(Из наблюдений над мифологизмом
А.Н. Афанасьева)**

Изучение словарного состава языка в диахроническом аспекте – словообразование, историческая семантика, этимология и т.д. – является одним из важнейших путей реконструкции прошлых состояний культуры, в частности, духовной культуры и мифологии как существенной ее составляющей. Тема настоящей работы предполагает рассмотрение проблемы связи между познанием языка и познанием культуры в направлении от первого (реконструкция языка) ко второму (реконструкция культуры): выявление мотивированности, внутренней формы того или иного слова ведет к постулированию тех или иных черт древнего миропонимания, тех или иных этнокультурных моментов. Неверная этимологизация может приводить к приписыванию исследуемой древней культуре особенностей, ей не свойственных.

Однако не следует забывать, что этимолог, историк лексической семантики при выборе этимологической версии руководствуется определенными предсказаниями о характере культуры, в границах которой функционирует исследуемый язык, этимологизируемое слово, реконструируемое этимологическое гнездо. Замечательно в этом отношении формально-смысловое устройство самого слова *представление*. Действительно, что такое *пред-став-ление* как не ‘предвзятая установка’? Впрочем, предвзятый – это, конечно, ограничивающий, сковывающий, но не всегда непременно ошибочный.

Поиск этимологии, выбор этимологической версии, сознает это этимолог или нет, осуществляется под давлением знаний, которыми располагает историк семантики, о той или иной культуре в тот или иной период ее существования. Этимолог ограничен в своем поиске в

том смысле, что искомая этимология должна гармонично, непротиворечиво вписываться в реконструированную (пусть фрагментарно) систему культурных постулатов, мифологических связей, уже достоверно известных семантических зависимостей. Этимолог слишком “смелый”, с необузданным воображением, как бы это его свойство ни ценилось иной раз коллегами-профессионалами, сталкивается с риском безграничного умножения виртуальных культурных миров. Его же задача – не конструирование новых мыслимых вселенных (в том числе вселенных духа), но поиск – в идеале – единственно оправданного, реального соответствия.

Таким образом, сама проблема отношений между научным поиском этимологии и реконструкцией мифологических представлений демонстрирует обоюдонаправленность их связей. Как ложная этимологизация может приводить к сложению “кабинетной мифологии”, так и неоправданные, предвзятые мифологические построения могут влечь за собою неверную этимологизацию при явном существовании иных возможностей этимологического истолкования слов.

Помня об этой взаимообусловленности, об обоюдонаправленности векторов, мы обратимся за иллюстрациями к известному труду А.Н. Афанасьева “Поэтические воззрения славян на природу” (1865–1869).

Следует заметить, что А.Н. Афанасьев, не будучи лингвистом и тем паче этимологом, в своих суждениях о принадлежности того или иного славянского слова тому или иному индоевропейскому корню опирается главным образом на известные ему этимологии, почерпнутые в разысканиях Я. Гrimма, А. Пикте, А. Куна, М. Мицлера, Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни и др., на этиологии, ныне во многом устаревшие. Но Афанасьев нередко обнаруживает склонность к самостоятельному этимологизированию, в особенности если дело касается внутриславянских лексических и семантических корреспонденций; эти его собственные этимологические соображения обличают одновременно и тонкое языковое чутье и иной раз удивительную слепоту и предвзятость, весьма ощутимые уже в его время.

А.Н. Афанасьев продолжает, но, надо сказать, уже в существенно измененном виде, со значительным смещением акцентов, мифо-этимологическую концепцию оксфордского профессора индолога Макса Мицлера, согласно которой миф рождается как следствие своеобразной “болезни языка” (*disease of language*): с развитием языка конкретный признак, положенный в основание описательного обозначения понятия, может стираться, мотивировка названия затемняется или забывается, вызываемые этим семантические сдвиги влекут за собою возникновение метафоры и мифа. Квинтэссенция такого подхода афористично выражена Гugo Шухардтом: “Вся мифология основывается в сущности на неправильном понимании тех или иных выражений языка” (Шухардт 1950, 239).

Краткую и умную характеристику теории М. Мюллера дал Эдуард Тэйлор в своей знаменитой книге “Первобытная культура”: «Язык, без сомнения, играл значительную роль в образовании мифа. Уже самый факт индивидуализирования словами таких понятий, как зима и лето, холод и жар, война и мир, добродетель и порок, давал составителю мифов возможность представлять себе эти идеи в виде личных существ. Язык действует не только в полном согласии с воображением, продукты которого он выражает, но он творит и сам по себе, так что рядом с мифическими идеями, в которых речь следовала за воображением, есть и такие, в которых речь шла впереди, а воображение следовало по предложенному ею пути. Оба эти действия совпадают слишком близко в своих результатах, чтобы можно было вполне отделить их, но тем не менее их следует различать, насколько это возможно.

Я, со своей стороны, склонен думать (в чем несколько расхожусь с мнением проф. Макса Мюллера об этом предмете), что мифология примитивных обществ опирается по преимуществу на основу реальной и осознательной аналогии и что развертывание словесной метафоры в миф относится к более поздним периодам культуры. Одним словом, я считаю материальный миф первичным, а словесный миф вторичным образованием.

Справедливо ли это мнение в историческом отношении или нет, существенное различие между мифом, основанным на факте, и мифом, основанным на слове, остается тем не менее достаточно очевидным. Недостаток реальности в словесной метафоре в действительности не может укрыться даже при наибольшем усилии воображения оживить ее. Но, несмотря на это, привычка придавать реальность всему, что только может быть выражено словами, всегда крепла и процветала в мире. Описательные имена становятся именами лиц, понятие о личности простирается до того, что вмещает в себе самые абстрактные понятия, к которым только приложимо какое-либо имя, а представляемые как реальность имена, эпитеты и метафоры развертываются в миф посредством процесса, который так метко охарактеризован Максом Мюллером словами: “болезнь языка”» (Тэйлор 1939, 214–215).

Теория М. Мюллера, разделяемая в общих чертах А.Н. Афанасьевым, противостоит другой концепции – И.Г. Гердера и Ф.В. Шеллинга, предшественником которых в данном моменте является Дж. Вико (см.: Мелетинский 1995, 15, 23), – концепции, исходящей из первичности мифа по отношению к метафоре, настаивающей на том, что, по выражению Эрнста Кассирера, “именно метафоричность слов считается лишь наследием, которое язык получил от мифа и которое он дает ему как бы в долг” (Кассирер 1990, 33–34).

“Поэтические воззрения...” А.Н. Афанасьева предоставляют немало возможностей проследить за тем, как излишнее доверие исследователя к языку при поливалентности лингвистических показаний влечет за собою “выявление” несуществовавших мифологических представлений и искажение реальных черт древнеславянского миросозерцания, а тем самым духовной культуры вообще.

* * *

Опасность ложных мифологических реконструкций кроется прежде всего в неверной трактовке семантической мотивированности иного слова – при том, что идентификация составляющих самой словообразовательной конструкции затруднений не вызывает. Объективной причиной превратного мифологизирования в подобных случаях становится относительная изолированность лексического факта, недостаточность параллельного языкового материала, который, будучи организованным на тех же ономасиологических посылках, позволил бы скорректировать поверхностное понимание мотивированности данного конкретного слова.

Так, глагол *замолодеть*, *замолаживать*, с которого, согласно известному преданию, начался интерес к диалектному русскому слову у В.И. Даля, послужил Афанасьеву основой для констатации мифологометеорологического мотива “омоложения солнца”: “С весенним солнцем нераздельно понятие молодости; народные сказания изображают его в грозовой обстановке: оно купается в живой воде дождевых потоков, очищаясь в блеске молний, и просветленное несет мир дары плодородия. Когда солнце закрывается белыми = летними облаками, оно, по народному выражению, замолодело” (ПВСП I, 188–189).

Восточно- и западнославянские параллельные лексические данные позволяют считать, что в глаголе (*за)молодеть* ‘покры(ва)ться тучей’ (СРНГ 10, 253; 18, 222) реализуется не мотив ‘омоложения, обновления’ (солнца), как то усматривается Афанасьевым, а иной семантический комплекс. В славянской метеорологической лексике весьма заметна связь понятий ‘пасмурный’, ‘туча’, ‘перемена погоды к ненастью’ с представлениями о скисании, брожении (молока, пива, теста). К затронутому случаю ср.: *замолаживать* курск., костром. ‘начинать бродить (о квасе, пиве и т.д.)’, ворон. ‘бурлить (о молодом квасе)’, яросл. ‘загнивать’, новгор. *молодбина* ‘простокваша’, польск. диал. *młodzie* ‘дрожжи’, *pomłodziny* ‘облака’, ниж.-луж. *rozmłoda* ‘закваска’. Ж.Ж. Варбот объясняет, что «значения ‘становиться сладким (о квасе); заволакиваться тучами; делаться пасмурным (о небе)’ являются производными от первичной семантики прилаг. **moldъ(j)* ‘незрелый, слабый’» (ЭССЯ 19, 157). Интереснейшую подборку диалектного лексического и фразеологического материала, относящегося к этой теме, см. в работе: Горячева 1986, 43–49 (рус. *кваситься* ‘покрываться облаками’, *кислиться* ‘портиться (о погоде)’, польск. *kwaśne mleko*, *siadłe* (‘севшее’) *mleko* ‘облака’, владим. *тварь* ‘непогода, буря с громом и грозой’ при *творить* ‘растворять или разводить в жиже, замешивать (например, тесто)’, псков. *твóрево* ‘квашня’ и др.; к этому ср. еще: рус. диал. *мозгнуть* ‘портиться, тухнуть, киснуть (о продуктах)’: ‘делаться пасмурною, сырою (о погоде)’ – СРНГ 18, 202). На уровне языковых ма-

нифестаций усмотрение сходства между метеорологическими и ферментационными явлениями выражается, кроме того, в славянском обозначении *туча*, праслав. **tōča*, которое обнаруживает этимологическое родство с др.-инд. *tanákti* 'стягивает, заставляет сгуститься, свернуться', ирл. *técht* 'загустевший, свернувшийся' (Фасмер IV, 129).

Естественно ожидать, что семантическая связь 'пасмурный; заволакиваться облаками' (<'скисать, бродить') – 'молодой, незрелый' пропорционально повторяется в коррелятивной смысловой паре, одним из компонентов которой является значение старости, дряхления. Сам Афанасьев (в другом месте и вне всякой связи с разбираемой здесь проблемой) приводит цитату из одного сборника XVIII в., в которой привлекающее нас редкое употребление глагола остается ему непонятным и помечается вопросительным знаком: "...небо дряхлует(?) – вёдро будет..." (ПВСП I, 31). В словарях древнерусского языка глагол *дряхловати* объясняется как 'печалиться, скорбеть', 'слабеть' (СлРЯ XI–XVII вв., 4, 367), 'печалиться, огорчаться', 'быть унылым, мрачным', (...чем-л.) 'сокрушаться, сожалеть (о чем-л.)' (ДРС III, 96). Отсюда для цитируемого Афанасьевым места как будто напрашивается значение 'хмуриться, пасмурнеть' (находящее аналоги в других славянских языках: продолжения праслав. **drex(ъ)lъ(jь)/dręsъlъ(jь)/dręselъ(jь)*, **dręsъkъjь* помимо прочего несут семантику 'пасмурный, печальный, подавленный', 'тусклый, сумеречный' – см.: ЭССЯ 5, 112–113). Но такое толкование противоречит приводимой Афанасьевым метеорологической примете: из контекста скорее ожидается значение 'разъясняться, освобождаться от облаков'. Случай не безупречно ясный, однако можно предположить, что глагол *дряхловать* как метеорологическое обозначение действительно значит 'проясняться (небу), распогоживаться' и составляет антонимическую пару с диалектным *замолодёть* 'затянутся тучей', *замолаживать* 'пасмурнеть, клониться к ненастю' (см.: Даль₂ I, 604; СРНГ 10, 252; см. также ПВСП I, 370), которое имеет отчетливые ассоциации с обозначениями процессов брожения.

"Кабинетное" мифологизирование обычно сопряжено с неполнотой фактического материала, на который оно опирается; в частности, в разбираемых нами примерах – с ограниченностью наличествующих сведений о семантике диалектных слов. Однако, будучи увлеченным какою-либо мифологической ассоциацией, Афанасьев нередко склонен игнорировать имеющиеся уже и в его время данные диалектной лексической семантики.

Очаровавшись мифосемантической связью 'гром грозы' – 'грехот кузнечного молота', он с легкостью проецирует идею небесной кузницы (или гумна) и на ясное звездное небо: "Однаковое впечатление, производимое на слух *раскатами* грома, стуком кузнечных молотов, мельничной толчей и молотильных цепов, и мысль о наносимых ударах, соединяемая со всеми этими представлениями, сблизили их между собою и породи-

ли целый ряд баснословных сказаний. ...Русские поселяне видят небесный молотильный цеп в созвездии Плеяд или Ориона, как свидетельствует придаваемое им областное название К и ч и г а, означающее: ц е п и в а л ё к” (ПВСП I, 28).

Значения рус. диал. *кичига* (*кичиги*) слишком многообразны ('вид цепа', 'валек для выколачивания белья', 'ограничивающая жердь по краю телеги для перевозки сена', 'телега без дна, дороги', 'отвальная доска сохи', 'соха', 'клюка, кочерга' и др. – СРНГ 13, 245–246), чтобы усматривать в наименовании созвездия реализацию идеи именно “небесной” молотьбы, обмолота, как то обстоит у Афанасьева. Созвездия Ориона и Большой Медведицы носят также наименования рус. диал. *Коромы́сло*, *Коромы́с*, *Коромы́сел*, *Коромы́сли*, *Коромы́слица* – при богатом спектре значений у продолжений данного корня в русских говорах: 'рычаг', 'дышло плуга', 'жердь для скрепления снопов', 'приспособление для перевозки сена', 'двухколесная тележка для навоза' и др. (см.: СРНГ 14, 363–364). Во всяком случае название *Кичига*, *Кичиги* 'созвездие Большая Медведица' (сев.-рус., урал., сиб.) скорее мотивировано значением 'телега', ср. рус. диал. *Воз*, *Колесница*, *Колясочка*, *Арба* 'созвездие Большой Медведицы' (СРНГ 1, 269; 5, 14; 14, 128, 224; донск. *Арба*, несомненно, представляет результат тюркского влияния, ср. гагауз. *араба* 'созвездие Большой Медведицы' – Севорян 1974, 164). Ср. также иные наименования созвездия Ориона: рус. диал. *Грабли*, *Грабельцы*, *Коря́га*, *Костыль* (СРНГ 7, 105, 107; 15, 41, 85), мотивационно перекликающиеся с некоторыми упомянутыми значениями слова *кичига*, отличными от тех, которые привлекли внимание Афанасьева, демонстрирующего известную предвзятость в интерпретации диалектных лексических данных.

Вероятно, сходные причины (недостаточное внимание к фактам) нужно видеть и в этимологизации Афанасьевым метеорологического термина *калинники*: "...в Вологодской губ. морозы называются к а - л и н н и к и (от *калить*, *раскалять* – делать красным си-лою огня, *каленая стрела*...)" (ПВСП I, 583). Название *калинники* в русских говорах (северных, тверских, воронежских и др.)дается не любым морозам, а лишь ранним предосенним заморозкам; оно объясняется устойчивым связыванием таких заморозков с днем поминовения св. муч. *Каллиника*, 29 июля (11 августа нов. ст.) (СРНГ 12, 357; Ермолов 1901, 393). "Пронеси, Господи, Калиники, мороком (туманом), а не морозом". Ассоциация с *калить* является вторичной, народноэтимологической (Фасмер, II, 168).

Ложные мифологические построения могут иметь причиной простое непонимание реальности параллельной словообразовательной мотивации.

Например: "В числе других метафорических обозначений дождя стародавние предки наши уподобляли его и м о ч е, испускаемой Перуном..." (ПВСП I, 640). Ср. др.-русск. *моча* 'дождь, влага; дождливая по-

года' (СлРЯ XI–XVII вв. 9, 280), русск. диал. (псков., твер., тульск., рязан.) *мочá* 'ненастная, сырая погода, дождь' (СРНГ 18, 314), белор. диал. *мόча* 'дождливая погода', сербохорв. *тоča* 'сырая, дождливая погода', словен. *toča*, словин. *točob* 'грязная лужа после дождя; снег с дождем' и под. (иные примеры у Афанасьева см. в ПВСП I, 670). Однако в подобных примерах, конечно, не нужно видеть никакой метафоры: и 'моча, *чріпа*', и 'дождь, дождливая погода' в своих названиях получают одинаковую, параллельную мотивацию признаком 'мокрый; влага' (корень **tok-*, распространяемый суф. *-j(a)), ср. ряд других значений, реализующихся рефлексами того же праслав. **тоča* ('вода, влага', 'сырость', 'сырец, влажное место', 'болотистая низменность', 'кусок хлеба, смоченный в соусе', 'молоко', 'переваренная еда' – ЭССЯ 19, 69–70). Чреватое "мифогенностью" уразумение дождя как грандиозного мочеиспускания ("Перуном") в славянских обстоятельствах скорее подталкивается уже существующей словообразовательной омонимией, и в этом смысле рассматриваемый случай является прекрасной иллюстрацией к тезису М. Мюллера о языковых, "патолого-семантических" истоках мифологии (правда, здесь – мифологии чисто кабинетной): Афанасьев собственным примером демонстрирует срабатывание механизмов, описываемых облюбованно им мюллеровой теорией "disease of language".

В связи с тонкостями словообразовательно-мотивационных отношений заслуживает анализа следующий пассаж: "Согласно с указанными лингвистическими данными, облака представлялись небесными одеждами..." (ПВСП I, 681). Это одно из слишком "далеких", прекрасно-душных мифопоэтических утверждений, коими так богато исследование Афанасьева. В пересечении значений 'облако' и 'одежда, о б л а - ч е н и е' и их лексических манифестаций вовсе не непременно нужно видеть проявление ("обломки") древней метафорики, на чем в многочисленных аналогичных случаях неизменно настаивает автор "Поэтических воззрений...". В конце концов, метафорическое осмысление может быть и в т о р и ч н ы м, когда одно из имеющихся близайшеродственных и словообразовательно п а р а л л е л ы м обозначений начинает в о с п р и н и м а ть с я как семантически и с х о д н о е, первичное по отношению к остальным, не будучи таковым. И значение 'облако', и значение 'одежда, покров' в разбираемом случае (слав. **obvolkati*, **obvolko*, **obvolčenje*) параллельно выводимы из глагольной семантики 'тянуть, натягивать' (> 'закрывать, покрывать') (ср. *на небо натянуло облака*, ср. также упоминавшуюся выше этимологию слова *туча*), тогда как Афанасьев, вольно или невольно, подталкивает к мысли о том, что слово, у ж е обозначающее 'одежду' и само как бы утратившее внутреннюю форму, потерявшее обязательную "прочитываемость" словообразовательной мотивировки, было использовано в производной семантической функции – применительно к облачному слою, как то случилось (существенно позднее!) со словами вроде *покров*, *пелена* 'облака, туман; мрак', "поэтичность", метафорическая

вторичность которых, однако, не устранена в нашем языковом сознании даже довольно долгим уже их употреблением.

Тем не менее некоторые диалектные факты, правда, требующие иного понимания, дают возможность судить о косвенном пересечении семантических сфер ‘облака, тучи’ и ‘одежда’, точнее, ‘рваница, лоскутъя, лохмотъя, отрепья, клочья’ (см.: Горячева 1993, 39–40 – русск. дил. на территории Мордовии *лухмáнить* ‘заволакиваться тучами, облачками (о небе)’ при гипотетическом значении *‘лохмотъя’ у слова *лухмáн*), то есть все-таки близость, но при существенно иной образной перспективе.

К наиболее обычным у Афанасьева нужно отнести тот тип порождения необоснованных мифологических мотивов при отталкивании от языковых фактов, который имеет своей причиной неверные формальные отождествления, возможные благодаря недостаточной осведомленности автора в закономерностях фонетического развития славянских языков.

Например: «...наше с о л о в е й = с л а в і ѹ происходит от с л о - в о = с л а в а, почему “вещий” Боян (певец) называется в Слове о полку “соловьем старого времени”...» (ПВСП I, 301). Сближение этих слов основано лишь на фонетическом подобии и не оправдывается их этимологическим анализом. Праслав. **solvъjъ* ‘соловей’ производно от служащего цветообразованием прилагательного **solvъ(jь)*,ср. рус. *соловый* ‘желтовато-серый’, *соловеть* ‘мутнеть’ (откуда далее ‘впадать в сонное состояние’) (см.: Фасмер III, 711, 712). Южнославянский рефлекс корня **solv-* (слав-;ср. *slow-* в западнославянских лехитских языках, *солов-* в восточнославянских) случайно совпал с продолжениями отличного от него праслав. **slav-* (> *слава* и др.), которое этимологически связано с **sluti*, *слить* (*слыву*, *слову*). Характеристика соловья как “вещей птицы”, находимая у Афанасьева, Буслаева (Буслаев 1871, 231) и др., оправдывается, пожалуй, лишь этимологическим уравниванием лексем *соловей* – *слово* (*слава*) и явно избыточна: в средневековой символической системе, как и сейчас, соловей был скорее образом искусенного певца, сладкопевца (см.: Энциклопедия СПИ 5, 27). В обширном и тщательнейшем компендиуме А.В. Гуры “Символика животных в славянской народной традиции” нет никаких упоминаний о “вещем” характере соловья, если, конечно, не включать в их число календарные приметы стандартного склада (соловыиное пение до появления зелени грозит неурожаем).

Подобный же случай: “...солнце... представлялось... п р я д у щ и м и з с е б я з о л о т ы е н и т и , – какое представление отозвалось и в языке: п р я ж а и п р я ж и т и – поджаривать на сковороде...” (ПВСП I, 222). ‘Отождествление этих слов этимологически совершенно не оправдано и выступает наглядным образчиком кабинетного мифостроительства, когда “устанавливаются” эффектные семантические связи и “реконструируются” мифопоэтические образы, не находящие

соответствий в реальном фольклорном материале, – потому лишь, что их автор не слишком искушен в процедурах идентификационного анализа лингвистических данных. Уже сопоставление глагольных форм *пряду* (к *пряжа*) и *прягу* (к *пряжить*) показывает этимологическую несвязанность приводимых Афанасьевым лексем (что, впрочем, с доброволевностью признается самим автором ПВСП в позднейших поправках: см. III, 782). В праславянской реконструкции корень первой из них выглядит как **pręd-*, второй – **prag-/*praž-* (ср. церк.-слав. *пражити* ‘поджаривать, сушить’, далее, с семантическим переносом, укр. *прагнути* ‘жаждать’; в восточнославянском слово испытalo гиперкорректное смягчение *r > r'*, видимо, не без влияния со стороны *прячь*, *запрягать*, *напрягать* < праслав. *(-)pręg(a)tī>.

Фонетические натяжки имеются и в следующем афанасьевском объяснении: “В Слове о полку сказано: “и скочи б осы мъ в лъ к о мъ”...; б осы й, вместо постоянного эпитета с е ры й (волк), вероятно, фонетически измененная форма слова б у сы й (сравни: с у - хой и со х н у ть и мн. др.) – серый...” (ПВСП I, 739, сноска).

Истолкование выражения *босой волк* встречает определенные трудности. С одной стороны, для него привлекаются древнерусские и диалектные формы с -у- в корне: *бусъ* ‘пыль, чернота’, *бусъти* ‘темнеть, чернеть’ (СлРЯ XI–XVII вв. 1, 358–359; прилагательное *босувъ* в выражении *босуви врани* ‘серые (?) вороны’ “Слова о полку Игореве” может быть, в конце концов, результатом описки с перестановкой гласных в соседних слогах), северорусск., сибирск. *бусый*, *бусо́й* ‘серый, пепельный, дымчатый’, *бусо́вёть* ‘синеть, сереть; темнеть, чернеть’, арханг. ‘менять рыжеватый цвет на серо-голубой (о белке)’, *бусовой* ‘серо-синеватый’, ‘седой’, ‘грязный’ и др. (СРНГ 3, 302–307; прилагательное *бусый* ‘босой’ иллюстрируется лишь диалектным выражением *на бусу ногу* и, несомненно, возникло благодаря ассимиляции соседствующих гласных). Эти слова имеют старое, хотя и не слишком надежное, объяснение заимствованием из тюркских языков: тюрк. *buz*, *büz* и др. ‘серый’, ‘пепельный’, ‘бледный’ и т.д. (Севортян 1978: 171–173); допускается также развитие цветовой семантики из значений ‘плесень’, ‘налет’, ‘пыль’, ‘туман, морось’ (примеры на эти значения см. в указ. вып. СРНГ), слова с которыми относят к тому же источнику (Фасмер, I, 251). В таком случае *босой* (волк) – ‘серый’.

С другой стороны, *босым зверем*, *босым мужиком* в охотничьем промысловом арго зовут медведя (например, в прозе Юрия Коволя), и эти выражения являются шутливо-эвфемистическими описательными обозначениями животного, прямое название которого табуируется по суеверным причинам. Указания на манеру ходить, на “походку” обычны в эвфемистических названиях медведя (*косолапый*, *топтыгин* и др., ср. мотив хромоты в сюжете сказки “Медведь на липовой ноге”), волка (*хромой*, болг. диал. *куцалан* ‘хромоногий’; об увечности волка как мифологическом мотиве у славян см.: Гура 1995, 411; с другой сто-

роны, волк, хватая ч е р т а, пытающегося спастись на дереве, делает его б е с п я т ы м, ср. наименование нечистой силы *анчутка беспящий*). Прилагательное *босой* является также производящим для кличек собаки (популярное в северных и северо-западных русских говорах собачье прозвище *Боско*, в некоторых местах употребляемое и как нарицательное название собаки, специально кобеля – Архангельский словарь 2, 88; ср. еще олонецк. и псков. *боскоеды* – насмешливое прозвище жителей тех или иных мест, о которых рассказывают анекдот про то, что они по недоумию вместо зайца съели собственную собаку – СРНГ 3, 124), кошки (псков. *Босый* кличка кота – Псковский словарь 2, 131); ср. еще: новгор. *Босьиня* кличка животного (какого?) (Новгородский словарь 1, 79). Правда, можно подозревать, что большинство наименований (кличек) животных *босыми* относится к особям с отличным окрасом лап ('белоногий' и под.).

Усматривать, как то делает Афанасьев, фонетическую параллель в сопрягаемых им словах *бусый* – *босый* апофонической паре *сухой*: *сохнуть* нельзя. Это ложная аналогия. Если в последних словах наблюдается славянская апофonia *i : u* : *ъ* (*ъ* > *o*; *ъ* > *Ø*) (*сухой*: *засыхать*: *сохнуть* : чеш. *schnouti*; ср. аналогичное соотношение *дух* : *дыхание* : *дохнуть*: др.-рус. *дхнути* или, в том же корне, но с другим его оформителем, *дума* : *дым* : *домна* : *надменный*), то прилагательное *босой* и *бусый* между собою, как можно наблюдать, исторически не связаны.

Афанасьев, воззрения которого подвержены значительному влиянию фактов древнеиндийской мифopoэтической картины, воспринятых им от А. Куна, М. Мюллера и др., излишне склонен распространять ее даже мелкие, но характерные особенности на все отдельные индоевропейские этнокультурные традиции и делать из этого чересчур далекие выводы. Представление туч небесными коровами и дождя молоком составляет очень яркую черту древнеиндийской мифологической картины мира. Славянские данные свидетельствуют о том, что и у славян существовали сходные представления, что показано в работах Н.И. Толстого; он оценил эти суждения Афанасьева, в распоряжении которого еще не было тех фольклорных данных, которыми мы располагаем сейчас, "прозорливыми" (Толстой 1994, 3). Однако при очевидной нехватке собственно славянских фактов, имевшихся у Афанасьева, он склонен искать аргументацию в этимологиях, которые в настоящее время представляются ошибочными: "Слово *дождь*... имеет корнем санскр. *d u h* ... *д о и т ь*..." (ПВСП I, 665).

В поддержку этимологии, возводящей слов. **dъždъžь* 'дождь' к индоевропейскому корню **dheugh-* со значением 'доить', в последние сорок лет высказывался, пожалуй, один лишь В.И. Абаев (Абаев ИЭСОЯ I, 372: «по-видимому... связано с мифологическими представлениями о дожде как "молоке" небесных "коров"»). Слово это, не имеющее несомненных индоевропейских соответствий, до сих пор удовлетворительно не объяснено.

Этимология А. Вайана и Н.С. Трубецкого (повторяемая в: Machek 1971, 116; Мартынов 1981, 20; SP V, 195–196; Гамкелидзе / Иванов 1984, 680, 780), которая выводит слав. **dъždъzь* из индоевроп. ***dus-dи-* ‘плохое небо, плохой день’, признается не обладающей достаточной убедительностью прежде всего по семантико-типологическим причинам: восприятие дождя как п л о х о й погоды присуще современному, н а ш е м у мировидению, тогда как других, кроме предполагаемого в славянском, д р е в н и х названий дождя, мотивированных негативной его оценкой, в общем, не известно; архаическому земледельческому сознанию скорее свойственно оценивать дождь как благодатное природное явление (ср. как контрпример др.-инд. *dur-dina* ‘дождь; ненастье, буря’ – буквально ‘плохой день’; стоит, однако, обратить внимание на то, что слово обозначает не просто дождь как таковой, но скорее одновременно сырью и в е т р е н у ю погоду, бурю).

О.Н. Трубачев, не реконструируя производящего для **dъždъzь* слова, считает название дождя девербативом – дериватом от глагола со значением ‘лить (определенным образом: моросить или под.)’, не исключая звукоподражательных моментов в его возникновении, ср. литов. *duzgēti*, *duzgēnti* ‘шуметь, гудеть; жужжать; стучать’ (ЭССЯ 5, 195–197 – вслед за: Brückner 1970, 88; ср. еще: Kořinek 1934, 132–133, Аникин 1994, 323–325, где констатируется “практически полное отсутствие отрицательных коннотаций в семантике **d[ъždъzь]*” и находится целесообразным соотнести анализируемое славянское слово с мифопетической сферой, – в частности, с ритуалами вызывания дождя, в вербальном компоненте которых отчетливы звукоподражательные мотивы, ср. южнослав. **dodola*: литов. *dundūlis* ‘гром’ и проч.).

Лексика других индоевропейских языков, сопоставляемая Афанасьевым (I, 665) со славянским словом, не обнаруживает этимологического единства. Германские слова (др.-исл. *dagg*, др.-англ. *dēaw*, др.-в.-нем. *tou* ‘роса’ и др.) в конечном счете восходят к индоевроп. **dheu-*/ **dhou-* ‘дуть; испаряться, дымиться, клубиться’ (к различным суффиксальным вариантам которого, помимо прочего, относятся и слав. **duti* ‘дуть’, **duxъ* ‘дух, запах’, **dyxati* ‘дышать’, **dymъ* ‘дым’ и мн. др.). Древнеиндийские же слова *dóha* ‘доение’, ‘молоко’, *dugdhá* ‘молоко’ и др. продолжают отличную основу – индоевроп. **dheugh-* ‘давать молоко’ (см.: Гамкелидзе / Иванов 1984, 569).

Во времена Афанасьева неразработанность семантической типологии и даже основ теории лексико-семантической мотивированности привела к появлению этимологий красивых, благородно-привлекательных, подкупающих лестным для нас содержанием и “открывающих” восхитительные мифологические глубины, но типологически совершенно не оправданных: «Д е в а (от санскр. *d i v*, по закону поднятия звука *i* в долгое *e* или *ъ*) означает: светлая, блестящая, чистая, а позднее непорочная = девственная; в санскрите *D ēw a* (= Д и в а наших старинных памятников) – небесное божество. Древнейшее значение этого слова, за-

темнившееся с течением времени, было подновлено постоянным эпитетом: *к р а с н а я*. Согласно женскому олицетворению Зори и ее чистейшему блеску, она называется в заговорах “красною девицей”, нередко даже без указания на ее нарицательное имя. Нетленная пелена девы-Солнца (= утренней или вечерней зори), спасающая от всяких бед и недугов, в понятиях двоеверного народа отождествилась с *покровом пресв. Богородицы* и т.д. (ПВСП I, 225).

При всей “возвышенности” и притягательности реферируемой Афанасьевым этимологией слова *дева*, связывающей его с обозначением ‘божества’ (др.-инд. *dēvī* ‘богиня’, литов. *diēvas* ‘бог’ и т.д.), она давно уже признана несостоятельной (хотя повторялась и позже, например, Я. Розводовским, см. у Фасмера). Праслав. **dēva* (< **doj-v-ā*) соотносится с глаголом **dojiti* (< ‘доить’), к индоевроп. **dhē-/dhej-* ‘кормить грудью’, и мотивируется медиальным значением ‘способная (назначенная природой) к вскармливанию ребенка грудью’ (смещение значения слова *дева* к акцентированному семантическому моменту ‘непорочности, нетронутости, девственности’, то есть собственно формирование понятия ‘дева, девушка’, – явление более позднее, вторичное, что подтверждается отсутствием не только единого, но охватывающего хотя бы несколько языковых групп, индоевропейского обозначения девственницы как социально отмеченной фигуры; см.: Фасмер I, 491; ЭССЯ 5, 18; Трубачев 1959, 114–116). К тому же индоевропейскому этимологическому гнезду принадлежит праслав. **dētē* ‘дитя’ (изначально – пассивная отглагольная форма со значением ‘кормимое грудью’, см.: Трубачев 1959, 37).

По-видимому, к разновидности “облагораживающих” наивноэтимологических сопоставлений, чреватых бездонной мифологичностью, следует отнести и усмотрение родства обозначений ‘огня’ и ‘бога’ в следующем контексте: “...в малорос. языке огонь обозначается словом *б о г а ч*, в котором г. Буслаев подозревает отечественную форму (сын бога)...” (ПВСП I, 193).

Кроме украинского (*багáття* ‘костер; жар’, *диал. бгачье, багáч, бгачь* ‘огонь’), слово известно русскому (донск. *багáтье* ‘огонь’: “более уптр. об огне еще не вырубленом или тлеющем под пеплом” – Даль₂ I, 35) и белорусскому (*багáцце* ‘огонь’). Связь с *богатый* (и, далее, с *бог*; А.А. Потебня, развивающий эту этимологию, полагает в ее основе представление о превращении жара в золото) не исключается с безусловностью (хотя довольно затруднительно видеть в слове *богач* “с и на б о г а”, ср. в противоположность ему *божич*, *сербохорв. Божић* ‘Рождество’, патронимичность которых выражена притяжательным суффиксом *-*iťj*), однако с большим основанием ищется родство этого слова с праслав. **bagati*, **bažati* ‘жаждать, сильно желать’, а дальше – с греч. φύω ‘жарить, поджаривать’, др.-в.-нем. *bahhan*, др.-англ. *bacan* ‘печь, жарить’ (с предполагаемой семантической эволюцией ‘жарить, жечь’ > ‘горячо желать, жаждать’, ср. *гореть желанием, пылать*.

вспыхнуло желание, зажечься желанием, жаждать, сохнуть по ком-л. и под.) (см.: ЭССЯ 1, 124). А.В. Десницкая непосредственный источник рус. *бога́тье*, укр. *багаття* видит в балкано-романской форме **focacia*, **focacea* ‘огонь’ > ‘лепешка, испеченная на открытом огне’ (< лат. *focus* ‘очаг’), к значению ‘лепешка’ср. рус. диал. *бога́тье* ‘свежий хлеб (из зерна нового урожая)’ (Десницкая 1984, 336–338); однако *бога́тье* ‘хлеб’ М. Фасмер отделяет от *багаття*, *багацце* ‘огонь’ и склонен связывать с **sъbožje*, укр. *збіжжя* ‘хлеб, урожай’ далее, естественно, к **bog-*, **bogat-* (Фасмер I, 183), с чем скорее, пожалуй, следует согласиться, поскольку семантического признака “огненности” в слав. **sъbožje* все-таки не ощущается.

Завершая этот краткий обзор случаев выведения Афанасьевым фрагментов древнеславянской мифологической картины из ложноэтиологических посылок, коснемся его этимологии одного из наиболее трудных славянских теонимов – *Волос/Велес*: “...обе формы В о л о с и В е л е с легко могут быть объяснены... санскр. корнем *vṛ*, *vṛ* а г ... и буквально означают бога-облачителя, который покрывает небо дождевыми тучами...” (ПВСП I, 694–695).

Об усмотрении у Афанасьева в имени Волоса той же индоевропейской базы, которая лежит в конце концов в основе славянского названия облака, тучи (**obvolko*; < ‘тянуть, натягивать’), см. ПВСП I, 680–681 (см. также у нас выше, пример с афанасьевской параллелизацией ‘облако’ – ‘одежда’).

Афанасьев весьма последователен в своих пристрастиях к “метеорологическим” объяснениям. Однако в случае с теонимом *Велес/Veles* они недостаточно убедительны: атмосферные функции у Велеса отмечаются весьма редко (если, конечно, не принимать во внимание вторичные и очень далекие моменты, вроде замены у сербов языческого Велеса в функции покровителя домашнего скота христианским святым Савой, который, по народным представлениям, одновременно является предводителем градоносных туч, или параллелизм имен Волоса и громовержца Ильи в русских названиях пожинальной бороды, по существу, единственное и не очень надежное свидетельство о наличии у Волоса/Велеса атмосферической функции – “Сказание о построении града Ярославля” в записках ярославского епископа Самуила от 1781 г.: “неверни сии человеки моли слезно своего *Волоса*, да низведет дождь на землю”, см.: Иванов/Топоров 1974, 61). Скорее наоборот: в современных трактовках Велес/Волос противостоит (в сюжете так называемого “основного мифа”) Перуну, метеорологическими функциями как раз отягощенному.

Можно констатировать, что происхождение теонима *Волос/Velес* до сих пор окончательно не выяснено, более того, похоже, что его поиски, в последние десятилетия весьма интенсивные, с точки зрения традиционных путей и приемов этимологизации в известном смысле заходят в тупик. Причин сложившейся ситуации множество. Этимология

имен собственных, и в особенности сакральных, сплошь и рядом сталкивается с тем, что в этой языковой области стандартные, находимые сравнительно-исторической лингвистикой законы языкового развития не действуют или действуют со значительными ограничениями и отклонениями. Реконструкция мифологического образа Волоса, начальной семантики его имени и даже праславянской формы последнего исключительно непроста. Вот лишь некоторые важные проблемы, которые нужно иметь в виду при этимологизации этого теонима: (1) дублетность имен *Велес* и *Волос* и – при этом – ощутимо различный характер контекстов, в которых они употребляются (например, эпитет *скотий бог* сопровождает только второе); (2) “полногласность” чешской параллели *veles* ‘нечистый дух, дьявол, черт’, южнославянских топонимов с основой *Велес-* (*Велес, Велесница, Велестово*), которые не могут восходить к обычно восстанавливаемой прайформе **velsъ*, объясняющей, строго говоря, только восточнославянские формы; (3) множественность трудно совместимых в одном носителе вскрываемых современным анализом функций языческого божества: для его “компетенций” характерны не только патронаж над домашними животными, но и покровительство имущественно-торговым отношениям (что делает Волоса, в противопоставлении Перуну греко-русских договоров, богу – покровителю княжеской дружины, демократическим богом всей остальной Руси); связь с потусторонним миром, пастищем душ предков (ср. литов. *vélénias* ‘черт, дьявол, бес’, латыш. *Vels* и др. – литов. *velionis* ‘покойник’, *vélinės*, латыш. *Velu laiks* ‘день поминовения мертвых’ и др.); влияние на плодородие (ср. его имя в терминологии ритуалов урожайного цикла – *Волосова борода* и проч.); возможная связь с духовной деятельностью, поэтическим творчеством (“внучатость” вещего Бояна по отношению к Велесу; слав. **vel-* – сближается Р.О. Якобсоном с др.-ирл. *file* ‘поэт’ < ‘жрец, гадатель’); ср. еще глухую связь Волоса с культом медведя, что дало В. Живанчевичу основание утверждать о первоначально зверином облике Волоса, представления о Волосе как змее, драконе, его предполагаемую связь с годовым циклом, новогодним ритуалом и др. Все это наталкивает на мысль о *полигенезе* образа Волоса/Велеса, как, возможно, и его имени, а не о позднейших локальных вариациях единого в своих истоках мифологического персонажа, подобно тому как позже фактически полигенетичными оказываются в народных представлениях локальных традиций образы важнейших христианских святых – Георгия, Николы, Ильи и др. В этом случае *скотий бог* – это функция лишь одной из “предыпостастей” контаминированного Волоса/Велеса.

В сущности, о том же могут свидетельствовать множественные и нередко удивительным образом фактически сосуществующие у одних и тех же авторов обращения к *разным* (но в их числе и омонимичным!) индоевропейским корневым реконструкциям при этимологическом объяснении самого теонима: **uelk-* ‘волос’ (*волос...*); **uolt-* ‘расти-

тельность' (волоть 'колос, метелка, растительный пучок', нем. *Wald* 'лес...'); **uel-* 'видеть' (ср. др.-ирл. *fili* 'прорицатель, поэт...'); **uel-* 'желать' (ср. русск. *велеть, воля; володеть, власть...*); **uel-* 'губить' (ср. литов. *vėlēs* 'души умерших', др.-англ. *wæl* 'поле битвы', др.-исл. *Valhǫll* 'Валгалла, обиталище мертвых воинов...') и т.д. О *Волосе/Велесе* см. еще (из огромной литературы): Аничков 1914; Иванов / Топоров 1965; Jakobson 1969; Живанчевич 1970; Иванов / Топоров 1973; Иванов / Топоров 1974, гл. 2; Успенский 1982; Moszyński 1993, 105–106; Топоров 1995, 210–211; Топоров 1998.

Возможности этимологического поиска в данном случае исключительно велики, и по причинам чрезвычайной широты открывающихся возможностей интерпретации от любого сделанного в этом направлении допущения просто жалко отказываться. По-видимому, именно такие случаи и способствовали становлению приобретающего "права гражданства" в современной этимологической науке постулата о допустимости множественной этимологии. Слово в данной концепции, разрабатываемой на славянском и индоевропейском материале прежде всего В.Н. Топоровым, рассматривается как аналог культурным фактам или концептам, для реконструкции которых возможность полигенеза вовсе не представляет чего-то невероятного (ср.: Топоров 1986).

Но как бы то ни было, поиски Афанасьевым "метеорологических" истоков образа Волоса/Велеса кажутся неосновательными.

* * *

Менее всего в настоящей работе мы преследовали цель выставления наружу каких-либо ошибок или разоблачения "непригодности" методов мифологической и культурной реконструкции через язык, которыми пользовался А.Н. Афанасьев в своем знаменитом труде. Скорее напротив: Афанасьев был одним из первых в русской науке, кто по достоинству оценил показательность лингвистических данных в подобных разысканиях и заложил основы комплексного анализа этнографического, фольклорного и языкового материала для восстановления целостной (насколько это возможно) системы миросозерцания древнего человека. И если не все конкретные суждения Афанасьева о мотивированности того или иного имени, о мифологических источках того или иного языкового образа, о языковых причинах того или иного мифологического мотива сохраняют свою объяснительную силу до сих пор, то в этом не столько недостатки научного подхода, исповедовавшегося Афанасьевым, его учителями и современниками, сколько заслуга следующих поколений историков языка и культуры, обладающих несравненно большими возможностями (хотя бы по части полноты источников) и извлекающих необходимые уроки из опыта предшественников.

Настоящие заметки вызваны желанием показать те значительные сложности, которые встают перед исследователем, обращающимся к данным языка (лексики и лексической семантики, этимологии, семан-

тической типологии) в целях постижения разных сторон традиционной культуры, в том числе древнейших мифологических воззрений.

Вместе с тем наивная (ложная) этимология и сама по себе, как феномен расхожего или же исследовательского сознания, представляет научный интерес, в том числе специально лингвистический. Дело в том, что в явлениях ложной этимологии срабатывают определенные воззренческие и культурные стереотипы, и как их действие, так и круг непосредственных ложноэтимологических ассоциаций заслуживают особого анализа. Что же касается “кабинетной мифологии”, то ее тоже можно и должно рассматривать как факт культуры, правда, культуры поздней, изощренной, “испорченной” и очевидно периферийной.

Л и т е р а т у р а

- Абаев В.И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I–IV. Л. (т. I. – М.; Л.), 1958–1989.
- Аникин А.Е.* Этимология и балто-славянское лексическое сравнение в праславянской лексикографии. Материалы для Балто-славянского словаря. Вып. I (Пробный). А–Ё. Новосибирск, 1994.
- Аничков Е.В.* Язычество и древняя Русь. СПб., 1914.
- Архангельский областной словарь. Вып. I – . М., 1980 – .
- Ф.И. Буслаев.* [Рец. на:] *О.Ф. Миллер.* Сравнительно-критические наблюдения над слоевым составом народного русского эпоса. Илья Муромец и богатырство Киевское. СПб., 1870 // ЖМНП, 1871, апрель.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Кн. I, II. Тбилиси, 1984.
- Горячева Т.В.* К изучению славянской метеорологической терминологии // Этимология. 1984. М., 1986.
- Горячева Т.В.* К семантике и этимологии славянских метеорологических и астрономических терминов // Этимология. 1988–1990. М., 1993.
- Гура А.В.* Волк // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. I. М., 1995.
- Гура А.В.* Символика животных в славянской народной традиции. М., 1977.
- Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. 2-е изд. СПб.: М., 1880–1882 (перепечатка – М., 1955).
- Десницкая А.В.* О балканских элементах в русской народно-обрядовой лексике (К вопросу о раннеисторических связях восточных славян с балканским ареалом) // *А.В. Десницкая.* Сравнительное языкознание и история языков. М., 1984.
- ДРС – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I– . М. 1988 – .
- Ермолов А.* Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах. I. Всенародный месяцеслов. СПб., 1901.
- Живанчевич В.* “Волос–Велес” – славянское божество териоморфного происхождения // VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. VIII. М., 1970.
- Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период). М. 1965.
- Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* К проблеме достоверности поздних вторичных источников в связи с исследованиями в области мифологии. (Данные о Велесе в традициях Северной Руси и вопросы критики письменных текстов) // Труды по знаковым системам. VI. Тарту, 1973.

- Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* Исследования в области славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974.
- Кассирер Э.* Сила метафоры // Теория метафоры. М., 1990.
- Мартынов В.В.* Балто-ирано-славянские языковые отношения и глоттогенез славян // Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981.
- Мелетинский Е.М.* Поэтика мифа. М., 1995.
- Новгородский словарь – Новгородский областной словарь. Вып. I–12. Новгород, 1992–1995.
- ПВСП – Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. Т. I–III. М., 1994. [Репринтное воспроизведение издания: М., 1865–1869].
- Псковский словарь – Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. I – Л., 1967 –.
- Севортын Э.В.* Этимологический словарь тюркских языков. (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М., 1974.
- Севортын Э.В.* Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на букву "Б". М., 1978.
- СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–25–. М., 1975–1999–.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1, 2. М.; Л., 1965–1966; вып. 3–. Л. (СПб.), 1968–.
- Толстой Н.И.* Еще раз о теме "тучи – говядя, дождь – молоко" // Славянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал. М., 1994.
- Топоров В.Н.* О некоторых теоретических аспектах этимологии // Этимология. 1984. М., 1986.
- Топоров В.Н.* Боги // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. I. М., 1995.
- Топоров В.Н.* Предистория литературы у славян (Введение к курсу истории славянских литератур). М., 1998.
- Трубачев О.Н.* История славянских терминов родаства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
- Тейлор Э.* Первобытная культура. М., 1939.
- Успенский Б.А.* Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мириликийского). М., 1982.
- Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. М., 1964–1973.
- Шухардт Г.* Заметки о языке, мышлении и общем языкознании // Г. Шухардт. Избранные статьи по языкознанию. М., 1950.
- Энциклопедия СПИ – Энциклопедия "Слова о полку Игореве". Т. 1–5. СПб., 1995.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Прославянский лексический фонд. Вып. 1–. М., 1974–.
- Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1970.
- Jakobson R.* The Slavic god Veles and his Indo-European cognates // Studi linguistici in onore di Vittore Pisani. Torino, 1969.
- Kořinek J.M.* Studie z oblasti onomatopoeie. Praha, 1934.
- Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971.
- Moszyński L.* Kierunki zmian semantycznych prasłowiańskich apelatywów określających przedzheścijańskich czarowników // Philologia slavica. К 70-летию академика Н.И. Толстого. М., 1993.
- SP – Słownik prasłowiański. Т. I–. Wrocław etc. 1974–.

Ю.Е. Стемковская

(Россия)

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕШСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Очень часто, а может быть и всегда, когда мы встречаемся с прекрасными произведениями искусства – памятниками архитектуры, предметами культа, бытовыми предметами, музыкой, поэзией, мифологией, литературой, живописью, – восхищение данными конкретными предметами материальной и духовной культуры обращает наш интерес к их творцу – индивидуальному или коллективному, конкретному человеку или этносу. Иными словами, соприкасаясь с объективированной формой культуры – миром опредмеченной культуры, ее ценностями, – мы всегда обращаем свой взгляд к ее субъективной форме – способностям человека, которые развиваются и актуализируются в процессе его деятельности. Вообще сам человек, как личность, неповторимая индивидуальность, или как часть целого – этноса, его творческие способности, мастерство, нравственные ценности, эстетические вкусы и идеалы, был и остается самым интересным предметом познания. Человек и этнос в культуре, таким образом, способны выступать и как субъекты, и как объекты деятельности.

Как объект познавательной деятельности человек и этнос рассматриваются в разных научных системах – психологии, социологии, этнологии, культурологии, социальной и культурной антропологии. Кроме своих собственных специфических методик, эти дисциплины привлекают в качестве инструмента исследования такие продукты духовной деятельности человека, как фольклор, литература, язык.

Язык (как и фольклор, и литература), созданный человеком, “является бесценным хранилищем древней культуры и истории людей”, он “отражает все колебания и особенности нравов, обычая, верований, способов мышления; в нем, как в зеркале, непосредственно отражаются различные модели “видения мира”, характерные для отдельных человеческих коллективов на протяжении их истории” [Маковский 1996, 16]. Именно в языке – знаковой, символической системе, получают свое выражение как временные, сиюминутные ценности и идеалы, так и базовые духовные ценности народа, поддерживающие непрерывность и преемственность его культурной традиции. Последние могут быть определены как “стереотип”, “норма”, “схема”, “стабильные элементы культуры”.

Изучение языка, его словарного состава важно, впрочем, не только для понимания человека или этноса как субъектов культуры, но и для понимания всей культуры в целом, поскольку инструментами культуры, как отмечает Моль, являются в первую очередь слова – “атомы мысли” – и лишь потом идеи [Моль 1973].

Образ человека как объекта познавательной деятельности может быть отображен средствами языка. Он может выступать перед исследо-

дователем как текст, т.е. нечто уже “готовое”, сложившееся и зафиксированное в слове, лексической системе, формульных клише. Ср. высказывания В.В. Налимова: “... человек выступает перед нами как текст или, лучше, как слово – элементарная составляющая текста. Это – его структура – оказывается смысловой: лингвистической. (...) Сам человек по своей сути оказывается языком, так же, как языком оказываются все человеческие взаимоотношения, так как через язык они раскрываются, в языке – носителе смыслов – они созревают” [Налимов 1989, 168].

Представления о человеке, таким образом, могут складываться на основе анализа представляющих его текстов. Особый интерес для исследователей культуры представляют тексты, отражающие фактор устойчивости, преемственности культурной традиции. Такими в языке являются языковые стереотипы – слова в своих прямых (*рабочий, интеллигент, бюрократ* и др.) и метафорических (о человеке: *варвар, змея, индюк, дуб* и др.) значениях; словосочетания (*немецкая аккуратность; барская спесь; знайная женщина; новый русский*); фразеологизмы (*кисейная барышня; белая ворона; продувная bestия*); высказывания (*здоров как бык; все бабы дуры*); пословицы (*рыбак рыбака видит издалека; в тихом омуте черти водятся*), жестко закрепляющие в определенных звуковых комплексах смыслы, социальная ценность которых подтверждена и воспроизведена в речевом опыте многих поколений людей.

Еще одним языковым инструментом, позволяющим понять, по каким “исторически заданным основаниям” [Культурология 1995, 91] в культуре происходит “воспроизведение деятельности” не только человека, но и этноса, могут быть личные имена, рассматриваемые как система образующих “норму” лексико-семантических классов и групп слов со значением “лица”. В данном случае мы имеем в виду не языковую, лексическую норму, а культурно-языковую норму, в которой языковыми средствами эксплицированы стабильные элементы культуры.

Поскольку культура – категория историческая, поскольку “она всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества” [Лотман 1994, 8], поскольку в ней могут быть выделены стабильные элементы. Стабильные элементы культуры рассматриваемой этнической области, эксплицированные в языке, могут быть выявлены на основе изучения языка в его исторической перспективе – от древнего периода развития до современности.

Вместе с тем нельзя забывать и о том, что культура является открытой системой. “Схемы деятельности, полагаемые как глубинное существенное выражение культуры (в нашем случае это деятельность человека, этноса по развитию и актуализации своих существенных сил, отраженная в языке. – Ю.С.), содержат в себе открытый спектр возможностей, являются собой противоречивое единство порожденной и по-

рождающей деятельности... Культура, взятая в своем динамическом аспекте, невозможна без творчества, то есть формирующей деятельности, порождающей новое, созиательной (креативной) активности” [Культурология 1995, 92]. В культуре, таким образом, возникают элементы, выходящие за пределы “нормы”, или ее варианты.

Культурно-языковая норма, представленная лексико-семантическими классами и группами слов со значением “лица”, как мы полагаем, должна отражать эту динамику развития культуры. Поэтому мы будем рассматривать ее в единстве и взаимодействии составляющих норму стабильных и вариативных элементов. Под *стабильными элементами культурно-языковой нормы* мы понимаем лексико-семантические классы и группы слов, которые: а) выделены на основе анализа лексической системы языка в ее исторической перспективе, б) актуальны для всех исторических периодов развития языка, в) вошли в данную систему на одном из этапов развития языка, но нашли свое подтверждение и на последующих ступенях его истории¹.

Вариативными элементами культурно-языковой нормы мы будем называть такие лексико-семантические классы и группы слов, которые выделяются на основе анализа какого-либо одного или нескольких срезов в развитии языка (проявляются в системе пунктирно или последовательно), но не находят своего подтверждения на последующих ступенях его развития.

Языковой материал получен в результате сплошной выборки букв А, В, С из “Древнечешского словаря” Я. Гебауэра [Gebauer 1970], “Малого древнечешского словаря” Я. Белича, А. Калиша, К. Кучеры [Bělič, Kamiš, Kučera 1978], “Чешско-немецкого словаря” Й. Юнгмана [Jungmann 1835], “Словаря литературного чешского языка” [Slovník... 1960].

Итак, культурно-языковая норма, отражающая стабильные элементы *образа человека* в чешской культуре, рассматривается нами на основе анализа имён существительных со значением “лица” в трех временных плоскостях: чешский литературный язык древнего периода (XIV–XVI вв.), отражающий культурные периоды средневековья и начала реформации, язык начала эпохи национального возрождения (конец XVIII в. – начало XIX в.) и язык современного периода (середина XX в.). В процессе работы при изучении лексических систем каждого из названных периодов развития языка выстраивалась самостоятельная семантическая классификация лексико-семантических разрядов, классов и групп слов указанной семантики.

На первом уровне анализа были разделены имена, характеризующие человека как индивидуальность, и имена, характеризующие человека как члена социума. В силу того, что во взаимоотношениях внутри данных разрядов вступают не слова целиком, а слова в своих отдельных лексических значениях, многие из рассмотренных многозначных слов со значением “лица” вошли в оба названных разряда – “Человек как индивидуальность” и “Человек как член социума”. Внутри каждо-

го из них различные лексико-семантические варианты многозначного слова могут встречаться в различных рубриках семантической классификации. В статье рассматривается разряд слов “Человек как индивидуальность”.

В количественном отношении однозначные слова и лексико-семантические варианты многозначных слов, сформировавшие разряд “Человек как личность” составили: для древнечешского периода (далее ДЧП) – корпус из 54 единиц; для возрожденческого периода (далее ЭВ) – корпус из 244 единиц; для современного периода (далее СП) – корпус из 273 единиц.

В процессе разбиений единого массива слов (в рамках каждого из указанных временных периодов) было выделено десять лексикосемантических классов, общих для всех временных пластов лексики. Все они, в рамках нашего корпуса примеров, являются стабильными элементами культурно-языковой нормы и характеризуют человека по следующим параметрам: 1) возраст; 2) тембр голоса и особенности речи; 3) внешность; 4) состояние здоровья; 5) наличие / отсутствие потребностей и пристрастий; 6) интеллект; 7) темперамент; 8) черты характера; 9) поведение; 10) общая оценка личностных качеств человека другими людьми.

Семантическая структура каждого из названных классов слов не элементарна и включает в себя определенное количество переменных – лексико-семантических групп, число и лексическое наполнение которых варьируется в зависимости от хронологического среза рассматриваемой лексики. Таким образом, среди лексико-семантических групп слов можно выделить стабильные и вариативные элементы культурно-языковой нормы, что и будет сделано в дальнейшем изложении.

Основу классифицируемого материала составляют имена существительные, называющие лицо мужского пола. В одном случае, однако, в классе “возрастная характеристика человека” мы привлекаем к рассмотрению наименования лиц женского пола, которые как бы “замещают” соответствующие наименования лиц мужского пола. Это связано с тем, что исследуемый материал ограничен первыми четырьмя буквами словаря, и интересующие нас наименования по чисто техническим причинам оставались за пределами выборки.

1) *Возрастная характеристика человека* представлена стабильными лексико-семантическими группами слов, называющими человека:

а) детского возраста (ДЧП: čad, čáda ‘мальчик, подросток, юноша’, čada, čáda ‘девочка или девушка’; ЭВ: bžupě ‘маленький ребенок’, bosy (субстантив. сущ.) ‘о детях, которые, как правило, ходят босиком’, cucák ‘маленький ребенок, младенец’ babenec ‘мальчик’, čad ‘ребенок, сын, дочь’, čáda ‘ребенок’; СП: babátko ‘ребенок’ batole ‘маленький ребенок, начинающий ходить’, bobek ‘маленький ребенок’, bosý (как правило во мн.ч. bosi), ‘ребёнок (дети)’, boubelátko ‘младенец’, brouk ‘3. ребёнок’, brouček ‘2. маленький ребенок, младенец’, sápart ‘маленький

ребенок', *ca partě* 'маленький ребенок', *cicák* 'младенец', *červík* '2. маленький ребенок', *červíček* '2. маленький ребенок');

б) подросткового или юношеского возраста (ДЧП: *čad*, *čád* 'подросток, юноша', *čada*, *čáda* 'девушка'; ЭВ: *bábě* 'девушка, девчушка'; СП: *bakfiš* 'девушка, девчушка-подросток');

в) пожилого возраста (ЭВ: *bába* '1. старуха', *babaus* 'старушка', *babičkář* 'бабушка, старая женщина', *čáda* 'впавший в детство пожилой человек'; СП: *bába* 'старуха', *babčenka* 'старая женщина', *babec* 'старуха, старая карга', *babička* 'старушка', *babisko*, *babiště* 'старуха').

К вариативным элементам системы можно отнести наименования лиц среднего возраста, представленные в языке современного периода (*čtyřicatník* 40-летний человек или в возрасте от 40 до 50). Все вариативные элементы системы и в данном, и во всех последующих случаях могут быть названы таковыми только условно, до тех пор, пока языковой материал не изучен в полном объеме.

2) В классе слов наименования лиц по *тэмбру голоса и особенностям речи* к стабильным элементам системы можно отнести группы слов, характеризующие человека как:

а) говорящего нечленораздельно (ДЧП: *bebtavec* 'заика, бормотун', *brebtavec* 'тараторка, трещетка', *bíkal* ' тот, кто мычит, рычит, бурчит в речи'; ЭВ: *brepta*, *breptač*, *breptawec*, *breptaun*, *breptal*, *brepton* 'человек, говорящий быстро и нечленораздельно', *cupla* ' тот, у которого язык заплется', *blbotač* 'бормотун, заика', *bebtawec* 'заика'; СП: *brbla* 'нечленораздельно, бессмысленно говорящий человек', *brebentil* 'тараторка', *brepta*, *brepta*, *breptal*, *brebtal* ' тот, кто тараторит, лопочет, много и бессмысленно говорит', *bručouš* ' тот, кто издает ворчливые звуки');

б) говорящего эмоционально (ЭВ: *bouřil* 'крикун', *buchač* 'крикун, человек, говорящий слишком громко и шумно'; СП: *bafal* ' тот, кто говорит зло, нервно, тявкает').

К вариативным элементам системы можно отнести наименования лиц, имеющих определенный тембр голоса – эта группа слов отмечена только для современного периода: например, *basista* 'мужчина (не певец) с глубоким низким голосом'.

3) *Внешний облик* отражен в следующих стабильных элементах системы – лексико-семантических группах слов, называющих человека по:

а) росту (ЭВ: *cwrk* 'человек низкого роста', *čahán*, *čahoun* 'верзила, каланча'; СП: *bobek* '3. мелкий человек', *cívok* 'человек маленького роста', *čahoun* 'верзила');

б) комплекции (ДЧП: *břicháč* 'брюхач'; ЭВ: *báchač* 'толстяк', *břichál*, *břichon* 'толстопузый человек', *bachoráč*, *bachráč* 'пузатый человек', *bachoř* 'чрезвычайно толстый, пузатый человек', *bucek*, *bucljk* 'пухлый, толстый человек', *bisko* 'толстый, тучный пухлый человек', *bžoch* 'чрезвычайно толстый человек', *čamrdák* 'человек, имеющий тепло округлых форм', *cifrownec*, *cíffičkář* 'стройный человек'; СП: *baculáč* 'толстяк', *bagoun* 'толстяк, обрюзгший человек', *bachoráč* 'толстяк',

bachor ‘толстяк, пузан, брюхач’, bachráč ‘толстяк, брюхач’, bachratec ‘толстый, пузатый человек’, bakchus ‘2. толстяк’, bakula, bakule ‘3. обрюзгший, толстый человек’, boubeláček ‘человек (особенно ребенок) округлых форм’, břicháč ‘толстяк, пузан’, břichatec ‘брюхач, толстяк’, bubřina ‘толстяк, брюхач’, bucek ‘толстый, пухлый человек’, cvalík ‘толстяк’);

в) цвету кожи, волос, зубов (ДЧП: bronec ‘блондин, альбинос’; ЭВ: bělák ‘альбинос’, béloch ‘альбинос’, blafard ‘белый негр’, belauš ‘тот, который является белым’, bělohlawek ‘белоголовый человек’, bělozub ‘белозубый человек’, čertnauš ‘черный, темный человек’, černowaus ‘чернобородый человек’; СП: bělohlávek, bělohlavec ‘блондин’, bělovous ‘мужчина с белой бородой и усами’, bledáček, bled’áček ‘бледный человек’, bled’och ‘бледный человек’, bledule ‘3. бледный человек’, blond’ák ‘блондин’, blondýn ‘светловолосый, блондин’, brunet ‘брюнет’, černohlávek ‘черноволосый человек’, černovlásek ‘брюнет’, černovousáč ‘человек с черной бородой и усами’, čepoušek ‘черноволосый мужчина’);

г) наличию / отсутствию растительности на лице (ДЧП: braduš ‘длиннобородый’, bradac ‘тот, кто носит длинную бороду’, bradal ‘тот, кто носит длинную бороду’; ЭВ: balausáč ‘тот, кто носит бакенбарды’ – данное существительное является признаком для языка эпохи возрождения, так как бакенбарды стали атрибутом мужской моды в XVIII–XIX вв., bradáč, bradál ‘тот, кто носит длинную бороду, усы’, bezbradec ‘безбородый человек’; СП: bradáč ‘бородач’);

д) наличию / отсутствию частей и органов тела, а также их размеру (ДЧП: bezhlav ‘безголовый человек’, bezhlavec ‘безголовый человек’, beznoha ‘безногий человек’, bezručes ‘безрукий человек’, bezrúčka ‘безрукий человек’, bezzubec ‘беззубый человек’, čaroposec ‘тот, у кого нос, как у аиста’, čtyřočes ‘четырехглазый’; ЭВ: bradáč, bradál ‘тот, у кого развитый подбородок’, čár ‘длинноногий человек’; СП: bezhlavec ‘существо без головы’, bezručka ‘безрукий человек’, bezzubec ‘беззубый человек’, brachykefal ‘брахицефал’);

е) наличию / отсутствию одежды, обуви (ДЧП: bosák ‘босой’; ЭВ: botař ‘тот, кто ходит в сапогах’, bezkalhotka ‘тот, кто ходит без брюк’, bosochod ‘тот, кто ходит босиком’; СП: bosák ‘тот, кто ходит босиком’);

ж) общему эстетическому впечатлению, получаемому от внешности человека (ЭВ: cumploch, šumploch ‘лохматый, грязный человек’, cunda, cundra ‘грязнуля’; СП: cumploch ‘неряха’).

Вариативным элементом структуры может быть лексико-семантическая группа “характеристика внешности человека по длине, цвету и опрятности одежды”, которая в нашем материале отмечена только для языка эпохи возрождения: čepes ‘тот, кто носит черную одежду’, cund’ák ‘мужчина в волочащемся по земле платье’, cundra ‘человек в грязной одежде, рушище’. В языке современного периода наименования, называющие человека по типу его одежды, выполняют иную функцию. Они отражают не столько личностные качества человека,

сколько его социальный статус, систему взглядов: bezkalhotník ‘санкюлот’, čertokabatník ‘священник’, čertokošiláč ‘фашист, чернорубашечник’.

4) Характеристика человека по состоянию его здоровья представлена стабильными лексико-семантическими группами слов, выражающими:

а) заболевание в явной форме (ДЧП: běsovník, běsník ‘одержимый дьяволом’, blíkavec ‘тот, у кого плохое зрение’, bezdětek ‘бесплодный, стерильный мужчина’; ЭВ: běsník ‘бесноватый’, breyl ‘очкиарик’, breylač ‘ко-сой’, bezdětek, bezdjtek ‘бесплодный, стерильный мужчина’, blazen, blázn ‘сумасшедший’, blaznivec ‘сумасшедший’, belhač ‘хромой’; СП: afatík ‘афатик’, agravant ‘симулянт’, apoplektík ‘больной апоплексией’, asteník ‘астеник’, astigmatík ‘человек, больной астигматизмом’, astmatík ‘астматик’, barvoslepec ‘дальтоник’, blázen ‘сумасшедший’, blaznivec ‘сумасшедший’, blb, blbec ‘идиот’, brejlač ‘очкиарик’, brejlátec, brýlatec ‘очкиарик’, brejlovec ‘2. очкиарик’, bronchítik ‘больной бронхитом’, cukrár ‘диабетик’, cukrovkár ‘диабетик’, svok ‘2. псих., ненормальный, помешанный’);

б) уровень личной гигиены (ЭВ: blecháč ‘тот, у кого завелись блохи’, blechanda ‘тот, у кого много блох’; СП: blecháč ‘тот, у кого много блох’);

в) физические возможности и состояние человека (ЭВ: serák ‘3. сильный парень’; СП: atlet ‘силач’, berserk, berserkr ‘силач’, červík ‘слабое существо’).

Вариативной может стать лексико-семантическая группа слов, называющая “инфицированного человека, т.е. человека, который имеет заболевание в скрытой форме”. В настоящий момент в наших материалах она представлена в языке современного периода одиночным наименованием: bacilonosíč, bacilonoš ‘бациллоноситель’.

5) Лексико-семантический класс *характеристика человека по его потребностям и пристрастиям* может быть представлен следующими стабильными группами слов:

а) чрезмерное проявление гастрономических потребностей и пристрастий (ДЧП: břichoplúče ‘обжора’; ЭВ: bachomník ‘слуга желудка’, bezedeník ‘ненасытный обжора’, břichopas ‘обжора’, pásti ‘пузо, пасти’, břichosluha ‘обжора’, sluha ‘пузо, слуга’, břichoslužebník ‘обжора’, bibál ‘пьяница’, bibát ‘пьяница’, břichopluc ‘пьяница’; СП: alkoholík, bumbal ‘пьяница’, buchtař ‘2. гурман, лакомка’);

б) нормальное проявление гастрономических потребностей и пристрастий (ЭВ: babář ‘тот, кто любит бабовку’, bandorák ‘тот, кто любит картофель’, beranogedec, beranogejde ‘тот, кто любит баарину’, buchtár ‘тот, кто любит сладкие пирожки’, čtverák ‘тот, кто пьет четыре напитка: вино, пиво, воду и водку’; СП: buchtař ‘1. любитель сладких пирожков’);

в) чрезмерное проявление других потребностей и пристрастий (ЭВ: běhaun ‘бабник’, čtisuchař ‘бабник, юбочник’, cizomil ‘тот, кто любит иностранное, особенно товары’; СП: břichopas, břichopasek, břichopases ‘сибарит’, cigaretář ‘курильщик’).

Вариативной может быть названа группа слов, отражающая (*само*)ограничение человека в потребностях и пристрастиях. Она представлена в языке современного периода словами asketa ‘аскет’, beduín ‘человек с незначительными жизненными потребностями’.

6) В лексико-семантическом классе слов *характеристика человека в связи с его интеллектуальными возможностями* стабильной является группа слов, называющаяся такое качество интеллекта, как глупость (ДЧП: blázn, blázen ‘глупец, дурак’, bláznoch ‘дурак’; ЭВ: arciblázen ‘самый большой дурак’, bartek ‘дурак’, bát'a ‘дурак, болван, недотепа’, bezrozumec ‘дурак’, bezumec ‘безумный’, bezmyslník ‘глупец’, bláha ‘глупец’, blahaut ‘глупец’, blaud ‘болван, глупец’, blazen, blázn ‘человек, не имеющий истинной мудрости, веры в Бога, не заботящийся о своей душе’, blb ‘идиот, болван’, calaun ‘болван, олух’, сер ‘дурак, глупец’, cuscák ‘простак, простофиля’, čketa ‘дурак, глупец’; СП: bezhlavec ‘безрассудный, опрометчивый человек’, bláhovec ‘дурачок, малоразвитый человек’, blázen ‘сумасброд, чудак, безумец’, bláznevka ‘неразумный человек’, blb ‘идиот, болван’, blboun ‘болван, олух’, bloud ‘дурачок’, bloudílek ‘тот, кто ошибается’, božídar, božídárek ‘глупый человек без чувства юмора’, bulík ‘дурак’, buvol ‘большой дурак’, cvok ‘2. бестолочь, придурок’).

Вариативными могут быть названы группы слов, отмеченные в языке современного периода, и характеризующие человека по его: а) кругозору (abderita ‘ограниченный человек’); б) способности к творческому мышлению (blouznil ‘мечтатель, фантазер’).

7) Лексико-семантический класс *характеристика человека по его темпераменту* может быть представлен такими стабильными группами слов, как:

а) человек холерического темперамента (ДЧП: bujník ‘горячий, вспыльчивый человек’, buřič ‘напористый человек’; ЭВ: bauřliwec ‘вспыльчивый, воинственно отстаивающий свои взгляды человек’, brogitel ‘тот, кто бегает туда сюда, ведет себя беспокойно’, buchač ‘буян’, bugnjk ‘буйный человек’, buřič ‘беспокойный человек’, buřiwog ‘неугомонный, горячий человек’, buryan ‘неспокойный, воинственный человек’, buřisvět ‘неспокойный человек’; СП: ašant ‘2. буйный, необузданый человек’, bouřil ‘бунтарь, мятежник’, bouřlivák ‘вспыльчивый человек’, bujan ‘буян’);

б) человек сангвинического темперамента (ЭВ: bystrák ‘непоседа’, čípera ‘шустрый, бойкий человек’, bzec ‘непоседа’; СП: čamrda ‘шустрый человек’, čertisko ‘живое, веселое существо’, číman ‘ловкий, шустрый человек’, čírtě ‘непоседа, озорник’, brogitel ‘тот, кто бегает туда сюда, ведёт себя беспокойно’, bystrák ‘быстрый человек’, čípera ‘шустрый, бойкий человек’, čírtě ‘непоседа, озорник’);

в) меланхолического темперамента (ЭВ: citliwústkař ‘чувствительный человек’; СП: bolestín ‘чрезмерно чувствительный человек’, bručidlo ‘2. плакса, нытик’, brečoun ‘плакса, рева’, bubák ‘2. нервный или

застенчивый человек', citlivec 'чрезмерно чувствительный человек', citlivín 'чрезмерно чувствительный человек, ребёнок', citlivústkař 'мимоза, чрезмерно чувствительный человек', citlivústka 'мимоза', citlivka 'чрезмерно чувствительный человек', četnohlíd 'пессимист').

Вариативной можно считать группу слов в языке современного периода, в которой представлены наименования лиц: а) флегматичного темперамента (babovka 'малоэнергичный человек', bačkorář 'незнергичный человек, слабак', blouma 'копуша').

8) Лексико-семантический класс *наименования человека по его характеру* представлен в наших материалах семью группами слов, стабильность которых обеспечивается, в большинстве случаев, за счет лексики эпохи возрождения и современного периода развития языка. Лексико-семантические группы слов, в которых представлены слова трех периодов истории языка, выделяют в характере человека черты, отражающие:

а) агрессивное отношение человека к другим людям (ДЧП: běbta 'болтун'², blekotník 'болтун'; ЭВ: balaka 'пустопеля', balamut 'болтун, пустомеля', blaznomluwec 'болтун', blblač 'болтун', blekotnjk 'болтун, пустослов', blentář 'болтун', buchač 'болтун', adwokát 'хитрый человек, который с лёгкостью говорит о предмете, как за, так и против него', cwik '2. хитрец', arab, arabčan 'тиран, изверг', arcizlosyn 'злодей', argaláš 'изверг', bezbožnjk '2. злодей', bazilišek 'злой человек, способный "убить взглядом"', Benešek 'завистник', braukač, braukal, braukawec 'ворчун', bubla, bublač, bublák, bublaun 'ворчун, брюзга', burda 'неспокойный, сварливый человек', serák 'грубиян'; СП: antichrist 'человек, устрашающий других', arcid'ábel '2. очень злой человек', autoritář 'авторитарный человек', balbous 'брюзга', bestie 'безжалостный, злой человек, изверг', bezcita 'бессердечный человек', blaſal 'болтун, пустомеля', blaſka '2. пустобрех', blager 'насмешник, хвастун, болтун', blepta, blebta 'болтун', boucharop 'крикун, болтун, пустомеля', brepta, brebta 'болтун, пустомеля', breptoun, brebtoun 'болтун, пустобрех', brojitel 'тот, кто против кого-либо, чего-либо выступает, противодействует, борется' brumbál, brundibár 'брюзга', brouk '2. ворчун, брюзга', broukal 'брюзга, ворчун', bručák 'ворчун, брюзга', bručavec 'ворчун, брюзга', bručidlo 'ворчун, брюзга', bručil 'ворчун', bručivo 'ворчун', bručoun 'брюзга, нервный человек', brumla 'ворчун, брюзга', brumlal 'брюзга', brumloun 'ворчун', bublák 'брюзга, нервный человек', camral, camra 'болтун, пустомеля', candal 'болтун, пустомеля', čvaňha, čvaňhal 'пустобрех').

б) альтруистичное отношение человека к другим людям (ДЧП: čstitel, citel 'почитатель, поклонник', branič '1. защитник'; ЭВ: člowěkolibec 'альtruist', blahodětel 'тот, кто делает добро', blahoradnjk 'тот, кто даёт добрые советы', blahowec 'добрый чудак', bezelstnjk 'бесхитростный человек', citel 'почитатель', stíč 'почитатель'; СП: altruista 'альtruist', apologet, apologet 'защитник', beroušek 'мирный, тихий, добрый человек', bonhomme 'добряк', citel 'тот, кто ценит, уважает, любит кого-либо, что-либо (обожатель, ценитель)');

в) пренебрежение морально-нравственными нормами (ДЧП: antikrist, antičrist 'антихрист (о человеке)', bezdušec 'бессовестный человек'; ЭВ: andjlek 'лицемер, фарисей', arcihřjšnjk 'архигрешник', bezčelnjк 'бесстыдник', bezčestnjk 'бесчестный человек', bezčestnjk 'бесчестный человек', bezociwec 'бесстыдник', bezstaudnjk 'бесстыдник, на-глец', bezstydnjk 'бесстыдник', cuchta '2. бесстыдный, безнравственный человек', čuhagda, čuhejda 'бесчестный человек', andjlek 'лицемер, фарисей', arcipokrytec 'архилицемер, архиподлец', bág, bágař, bágeč, bágek, bágkář 'интриган', arcilotr 'мерзавец, негодяй', arcipadauch 'архиподлец', arcíselma 'архинегодяй', běstiák, bestyák, best'ák 'подлец, скотина', bestie bestye 'подлец, негодяй', bříic '2. холуй, мерзавец, негодяй', bliwoň 'негодяй, безнравственный человек', cimpljk 'негодяй, мошенник', čtverák 'негодяй, мерзавец', arcipodvodnjk 'главный обманщик'; СП: amoralista 'аморальный человек', augur 'авгур', báchorkář 'автор небылиц', bajkář '2. лгун', balamuta, balamut'a, balamutic, balamutil 'тот, кто морочит голову, дурачит', bandita '2. коварный, бесцеремонный лгун', best'ak 'прохвост, сволочь', bezbožník '2. дурной человек, грешник', bezpáteřník 'приспособленец', bídák '1. подлец, негодяй, мерзавец', bídník '1. подлый, бессовестный человек', bigodista 'ханжа, святоша, лицемер', bramarbas 'сплетник, хвастун', byzantinec '2. подлиз', cynik 'циник').

г) отношение человека к базовым ценностям – к жизни, делу, труду (ДЧП: čincě 'деятель', činěnjk 'деятель', činitel 'деятель', činodějce 'деятельный человек, деятель'; ЭВ: činnjk, činitel 'деятель', arlekyn 'ветренник, ветрогон', bezpečnjk 'беспечный человек', břidil, břiditel 'халтурщик, портач', budižkníčetu 'никчемный человек, портач', culjk 'путаник, портач', časomorce 'тот, кто попусту теряет время', čuhák, čuhaun 'ротозей, зевака'; СП: avanturista 'авантюрист', bakchant '2. беспутник, гуляка', bitec 'борец за ч.-л.', blatošlap 'лоботряс', bojovník '2. тот, кто борется, болеет за ч.-л.', bordelář 'тот, кто создает или имеет в чем-либо беспорядок', budovatel 'созидатель, творец', bulač 'прогульщик', budižkníčetu 'бездельник, шалопай, лентяй', čumil 'зевака');

В языке эпохи возрождения и современного периода в характере человека выделяются также такие черты, которые отражают:

д) следование морально-нравственным нормам – ЭВ: blahoslawenec '3. спасенный', 4. провозглашенный святым 5. святым', blaholibec 'порядочный человек, тот, кто любит добро, честь', bezemzdnjк 'неподкупный человек'; СП: blaženec 'спасенный', blahoslavenec '2. спасенный'.

е) отношение человека к себе (ЭВ: baron '2. своевольный, самовластный человек'; СП: arivist 'высокомерный, заносчивый человек, карьерист', autokritik 'тот, кто критикует сам себя');

ж) отношение человека к ресурсам, деньгам, вещам (ЭВ: bzd'och 'скупец', ctitel 'щедрый человек'; СП: bouril 'кутила, мот', bumbrlíček 'жадуга').

з) волевые качества человека (ЭВ: bába '6. баба (о мужчине)', bázliwec 'боязливый человек', bogák 'трус', bzd'och 'трус' и bohatýr, bohatér 'герой,

воин, мужественный рыцарь'; СП: bába '6. баба (о мужчине) – слабовольный, слaboхарактерный, малодушный человек', bázlivec 'трус', beran '2. упрямец', borec '3. борец', bzdurak 'упрямец, строптивец').

Вариативным элементом культурно-языковой нормы может быть названа группа слов в языке современного периода (потенциальная, так как в наших материалах она представлена одним словом), отражающая равнодушное отношение человека к другим людям: blaseovanec 'равнодушный человек'.

9) Стабильными также являются лексико-семантические группы слов, характеризующие человека по его *поведению*:

а) поведение, определяемое стилем жизни (ДЧП: běhun 'бродяга, скиталец', bujař, bújař ' тот, кто ведет себя буйно, ведет распутный образ жизни', čtverák 'бродяга'; ЭВ: běhaup 'бродяга', bludař '2. тот, который бродит, бродяга', břichopas '2. прихлебатель, приживальщик', břichopas, břichopásek '2. прихлебатель, приживальщик', cizopásek 'паразит, прихлебатель'; СП: běhouň 'бродяга', cloudilec '1. скиталец, бродяга', bohěm 'человек, живущий богемной жизнью', bosák '3. босяк, бродяга', bouřil '2. кутила').

б) поведение, определяемое отношением человека к другим людям (ЭВ: čtverák 'шалун, озорник'; СП, blazen, blázn 'шут, весельчак, озорник', čtverák 'шалун, озорник', Amerikán ' тот, кто аффектированно перенимает манеры американцев', bašibozuk '2. дикарь, драчун, забияка', bavitel (редк.) ' тот, кто забавляет, развлекает других разговором или другими действиями', bijan 'драчун', bijce, bijec 'забияка', blazen 'шут');

в) поведение, определяемое уровнем культуры (ДЧП: behúnec 'невежда, неуч'; ЭВ. arcinezdwořák 'невежа, грубиян', brtník '2. неотесанный парень'; СП: analfabet 'невежда, неуч', aristokrat '2. аристократ, человек изысканных манер', balda 'невежа', balík 'деревенщина', civilizovanec, civilizovanec 'цивилизованный человек');

г) поведение, связанное со специфичной для данного человека координацией движений (ДЧП: čufidlo 'распята'; ЭВ: brkač ' тот, кто спотыкается', caban 'неуклюжий человек', čapták ' тот, кто плохо ходит'; СП: babra, babrák, babral 'неловкий, неуклюжий человек', balvan 'неповоротливый, неуклюжий человек', batoláč ' тот, кто ходит неуверенно, впереди впереди', čvančara 'неловкий человек, недотёпа');

д) поведение, связанное с неумением или нежеланием контролировать состояние и работу органов и функциональных систем организма (ЭВ: bljkač ' тот, кто мигает', blíkeš ' тот, кто мигает', bliwoň ' тот, кого часто рвет', braul 'человек с выпущенными глазами', bzděc 'пердун', bzdinawec 'пердун'; СП: blič ' тот, кого рвёт', bzd'och 'пердун').

10) *Общая оценка личностных качеств человека другими людьми* представлена в стабильных лексико-семантических группах слов, выделяемых преимущественно в языке эпохи возрождения и современного периода: а) сочувственный, положительное восприятие человека другими лицами; б) отрицательное восприятие человека другими лицами; в) комплексное восприятие личности.

а) сочувственное, положительное восприятие (ДЧП: *biedník* ‘бедняга, горемыка’; ЭВ: *angel*, *anděl* ‘4. ангел’, *babuchna* ‘добрая бабушка’, *bažatko* ‘любимчик’, *běditel* ‘горемыка’, *bjdák* ‘бедняжка’; СП: *bědák* ‘бедняга, горемыка’, *bídník* ‘бедняга, горемыка’, *bobek* ‘ласкательное наименование милого существа’, *bobeček* ‘любимая, как правило, претикуемая молодая сотрудница, секретарша’, *borák* ‘бедняга, горемыка’, *cukrouš* ‘дорогуша, любимчик’);

б) негативное восприятие (ЭВ: *cucák* ‘сосунок’, *břídál* ‘противный человек’, *břidnjk* ‘скверный человек’, *čuřidlo*, *čeřidlo* ‘мерзкая личность’; СП: *čert* ‘ничтожная личность’, *čuňák* ‘ругательство в адрес человека грязного и безнравственного’).

в) В лексико-семантическую группу “комплексного восприятия личности” мы включаем имена существительные, называющие человека одновременно по ряду присущих ему свойств или качеств, например: *bandur* ‘толстый и неуклюзий человек’ [Slovník... 1960], *bukac* ‘толстый и спесивый человек’ [Slovník... 1960], *barbar* ‘дикий, необразованный, иногда и жестокий, немилосердный человек’ [Jungmann 1835]. В одном слове объединяются несколько характеристик личности – семантических переменных или дифференциальных сем [Скляревская 1993] – раскрывающих различные аспекты личностной реализации человека: внешний облик человека, его интеллект, характер, поведение, материальное состояние и др. В данном случае речь идет о частном случае языковой метафоры, называющей не одно конкретное свойство личности, а отражающей “общее, часто не поддающееся точному определению впечатление (которое только в словаре расчленяется на частные признаки и ассоциации)” [Скляревская 1993, 46].

Комплексная характеристика личности представлена группами слов, называющими человека по:

– поведению и характеру (ЭВ: *barbar* ‘дикий, необузданный, жестокий человек’, *cikán*, *cigán*, *cingán* ‘бродяга, гадальщик, лгун и мошенник’; СП: *asiat* ‘варвар, дикарь, тиран, жестокий человек’, *bastant* ‘человек, который живет и ведет себя как господин, спесивый и упрямый’, *barbar* ‘невежественный, грубый, жестокий тиран’, *bet’ar* ‘2. бродяга, мерзавец, негодяй, подлец’, *čtverák* ‘2. подлец, негодяй, бродяга, скиталец’),

– интеллекту и поведению (ЭВ: *blazen* ‘глупый, грубый, пошлый человек’, *balwan* ‘глупец, увалень, недотёпа’; СП: *balšán* ‘глупый, неотёсанный человек’, *bambula* ‘дурак, недотёпа, неуклюзий и неловкий человек’),

– внешности, характеру и поведению (ЭВ: *bzd’och* ‘противный, малоподвижный, безнравственный, смердящий коротышка’; СП: *baloun* ‘невежественный, грубый, невзрачный, неказистый человек’, *čune* ‘аморальный человек, грязнуля, который что-либо измазал’),

– интеллекту и характеру (ЭВ: *bliwoň* ‘2. бесчестный, безнравственный дурак’),

– внешности и характеру (СП: *anděl* ‘2. благородный, добрый, красивый, совершенный человек’, *bukač* ‘толстый, спесивый человек’),

– внешности и поведению человека (СП: *bandur* ‘толстый, неповоротливый неуклюжий человек’, *bařaba* ‘ оборванец, голодранец, бродяга, праздношатающийся’, *čunče* ‘поросянок, человек, вымазанный сам и пачкающий всё вокруг’), *čuník* ‘человек, вымазанный сам и пачкающий всё вокруг’ и др. группы слов, в семантике которых по-разному комбинируются названные параметры.

Перечисленные выше лексико-семантические классы и группы слов показывают, какие параметры личности являются релевантными для отражения ее в чешской лексической системе. Они показывают, какие значения в системе личных имен чешского языка имеют обязательные средства выражения. Однако, для того, чтобы проникнуть в суть любого явления – природного ли, культурного ли, – недостаточно отметить и воспринять видимые, лежащие на поверхности данные. Для того, чтобы понять человека (этнос), недостаточно строить умозаключения, основываясь только на внешних формах его проявления. Важно знать также, что человек скрывает, как он оценивает явления действительности, к чему он равнодушен.

В образе человека, отраженном лексической системой языка, поэтому, как мы полагаем, важно отметить не только то, что выражено, но и определить, в какой мере, как полно это выражено, какая дана этому оценка. Очень важным является также установить, что осталось не выраженным, не эксплицированным и почему.

Эта информация может быть получена в результате: 1) распределения слов внутри лексико-семантических групп по смысловым двух- и трехчленным оппозиционным рядам; 2) учета объема и состава каждого из выделенных оппозиционных рядов слов; 3) выявления крайних, маркированных и нейтральных элементов в рассматриваемых оппозиционных рядах; 4) выявления нулевых, невыраженных элементов оппозиций. Данные процедуры могут быть осуществлены как в отношении лексики каждого из выделенных временных периодов развития языка, так и в отношении всей лексики в целом без учета ее временной дистрибуции.

Конечно, для того чтобы делать окончательные и обоснованные заключения о выраженности или невыраженности какого-либо значения в языке, необходимо исследование всего корпуса слов рассматриваемой семантики. Поэтому наши последующие выводы имеют характер предварительных наблюдений, нуждающихся в дальнейшем изучении и подтверждении.

1) Общая тенденция развития культурно-языковой нормы, отражающей образ человека в совокупности его индивидуальных черт, в чешском языке связана с переключением внимания от внешних проявлений человека к его внутреннему миру.

По количественному составу лексико-семантические группы слов, отражающие возраст, внешность человека, особенности его речи, поведения в связи с состоянием интеллекта, здоровья, удовлетворением

потребностей и пристрастий, проявлением особенностей темперамента, уровня культуры, стиля жизни, в древнечешском языке превосходят соответствующие группы слов, отображающие внутренний мир человека, его характер, душевые качества. Соотношение 42 против 12 (в 3,5 раз меньше). Но и те слова, которые раскрывают свойства характера человека, часто называют качества, открыто проявляющиеся в поведении, например, болтливость (*bebta, blekotník*).

В современном языке количественный состав групп слов, отражающих явные и скрытые качества и свойства индивидуума, имеет следующие соотносительные величины: 172 против 79 (в 2 раза меньше), т.е. группа слов, отображающая внутренний мир человека, увеличилась.

Если же сравнивать глубину отражения характерологических черт индивидуума в языке разных временных периодов, то она увеличивается в языке эпохи возрождения и в современном языке по сравнению с языком древнечешского периода. Так, например, кроме таких качеств характера, как *отсутствие совести* (*bezdušec*), греховность (*antikřist*), болтливость (*bebta*), способность оценить достоинства другого человека (*ctitel*), трудолюбие (*činodějčě*), которые отмечены в языке древнечешского периода, в языке эпохи возрождения отмечаются такие свойства характера человека, как бесхитростность (*bezestnijk*), хитрость (*cwik*), жестокость (*arabčan*), завистливость (*Venešek*), злобность (*bazilišek*), грубость (*serápk*), сварливость (*bublák*), доброта (*blahodětel*), ленность (*časomorce*), жадность (*bzd'och*), щедрость (*ctitel*), совестливость, честность (*blaholibec*), бесчестность (*bezčestnjk*), лицемерность (*arcipokrytec*), интриганство (*bag, bagec*), подлость (*arcidaaudch*), лживость (*arcipodvodnjk*), бескорыстие (*bezemzdnjk*), трусость (*bogak*); а в языке современного периода к этим качествам добавляются также склонность к авантюризму (*avanturista*), равнодушие (*blaseovanec*), беспринципность (*amoralista, bezpráteňník*), упрямство (*bzdurak*), настойчивость (*bogec*), авторитарность (*autoritář*), высокомерие (*arivista*), самокритичность (*autokritik*), способность к защите близкого (*advokát*).

Можно, конечно, сомневаться в объективности этих наблюдений в силу того, что материал, лежащий в их основе, неполон. Однако отмеченная нами тенденция лежит в русле основного вектора развития культуры, которое характеризует “постепенное, но неуклонное преодоление одностороннего, “монохроматического” видения человека и мира, переход от механического к органическому, т.е. целостному, многокачественному восприятию действительности” [Культурология 1995, 260]. Эта тенденция подтверждается в наших материалах также и таким фактом: большая часть выделенных нами вариативных элементов культурно-языковой нормы представлена в языке современного периода.

Объективными закономерностями развития культурного процесса, в какой-то степени, очевидно, можно объяснить и причину того, что

определенные значения, смыслы остаются на конкретном этапе развития языка невыраженными или имеют ограниченные средства своего выражения (например, *bacilonoš, blaseovanec*).

2) В языке фиксируются прежде всего такие качества и свойства человека, которые выходят за рамки существующей нормы, стандарта. Эти наименования в чешском языке, как правило, отражают отрицательные, агрессивные стороны характера или поведения человека. Причины этого явления достаточно сложны, имеют не только языковую природу. Она может заключаться в особенностях человеческой природы (несет ли в себе человек начала добра или зла, их сочетания или является нейтральным по отношению к ним)³, в модальности человеческих отношений. Рассмотренный нами разряд слов “человек как индивидуальность” отражает ориентацию на соперничество в межличностных отношениях, для которой свойственны высокая напряженность отношений, высокая вероятность агрессивных импульсов и их проявлений [Орлова 1994]. Данная ориентация, как показывают наши наблюдения, не свойственна взаимоотношениям людей в социальной сфере (производственной, деловой, официальной и проч.), в рамках которой человек устанавливает ролевые и функциональные связи, имеющие нейтральный характер. Это подтверждает лексика, объединенная нами в разряд “человек как член социума”, которая является, как правило, нейтрально окрашенной.

Можно предположить, что кроме своей основной функции – отображения явлений действительности – слово, выражающее то или иное негативное свойство человеческой натуры, может служить также и средством снижения или сублимации внешней или внутренней агрессивности человека. Ср., например, Э.А. Орлова пишет: “Социобиологи полагают, что агрессивность свойственна человеку и является одним из важных конституирующих факторов человеческой культуры; она удерживает общую приспособленность человека к окружению. Считается, что определенные агрессивные эмоции, стереотипы поведения выполняют роль своеобразных клапанов, снижающих избытки энергии, не находящей функционального выхода. Сообществам людей даже удается находить культурные, социально приемлемые формы связывания агрессивности посредством катарсиса (очищения), как например, в эстетике трагического, или сублимации (перенесения в приемлемую область социального действия), например, в спорте” [Орлова 1994, 31].

С другой стороны, отображение в языке негативных черт человеческой личности, обличение, критика, пристрастное, требовательное, субъективное отношение к человеку, выраженное в слове, может являться тем необходимым средством развития и изменения человека, средством стимуляции его творчески-преобразующей и креативной (созидательной) активности, без которой невозможно и развитие всей культуры в целом.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Понятие *стабильный элемент культурно-языковой нормы*, как нам представляется, может иметь частичное (как частное с общим) пересечение с понятием *культурная универсальность*, которое в свою очередь связано с *универсальностью человеческих потребностей*. Шкала универсальных человеческих потребностей разработана А. Маслоу и включает в себя следующие факторы:

I. “*Физиологические потребности* (курсив здесь и далее наш. – Ю.С.), обусловленные метаболическими процессами (обмен организма со средой веществами и энергией): пища, воздух, выделения организма, температурный баланс, размножение”.

II. “*Потребность в безопасности*, связанная с защитой индивидом своей жизненной среды в физическом (жизненное пространство) и социокультурном (защита от посягательств на личность, ее семью, положение в обществе и т.п.) смысле. Она соответствует выделенному этологами у всех животных, включая человека, так называемому инстинкту территориальности. У человека он проявляется как стремление к освоению пространства, закреплению на нем, его ограждению и защите в присущих человеку предметно-пространственных знаковых формах”.

III. “*Потребность в социальных связях*, то есть в отношениях с другими людьми, межличностной привязанности и любви; она выражается в стремлении принадлежать к какой-либо общности, которую индивид воспринимает как “свою”».

IV. “*Потребность в признании, уважении*, которая имеет два аспекта: самоуважение и признание со стороны других; в первом случае речь идет о соответствии поведения личности ее принципам, об уверенности в себе, в своей компетентности, о личной независимости; во втором – о проявлении знаков уважения со стороны окружающих, о стремлении занять высокое положение в обществе, обеспечивающее определенные социокультурные привилегии”.

V. “*Потребность в самореализации*, связанная с проявлением индивидуальных способностей, склонностей, свойств” [Орлова 1994, 44–45].

Множественность своеобразных проявлений культуры, как отмечают исследователи [Орлова 1994], может быть сведена к первичным, универсальным человеческим потребностям. Способы, приоритетность их удовлетворения в каждом отдельно взятом обществе, составляющие социокультурную специфику данного общества, и сопровождающие их представления и оценки, которые в первую очередь выражаются языковыми средствами (на уровне лексической семантики, стилистической характеристики слов, словообразовательными средствами, синтаксическими структурами и т.д.), могут быть показаны как отдельные “темы” в культуре и рассмотрены на уровне лексико-семантических классов и групп слов.

² Человеку, как уже отмечалось, свойственен инстинкт территориальности, который может иметь не только пространственную форму, выражающуюся в стремлении к освоению, захвату пространства и закреплению на нем, но и психическую форму, которая заключается в захвате, овладении вниманием собеседника, сосредоточении его на своих собственных проблемах. Одной из черт характера, которая позволяет осуществить подобный акт агрессии – захват внимания собеседника, является, на наш взгляд, склонность человека к болтливости.

³ Так, например, по мысли А. Вежбицкой, большое количество отрицательных имен в русских диалектах и литературном языке свидетельствует о том, что моральные оценки в русском языке гиперболизированы, что является следствием моральной и эмоциональной ориентации русской души [Вежбицкая 1996]. Т.И. Вендина, в свою очередь, полагает, что “прирожденным типом русской натуры является тип доброго и отзывчивого человека” [Вендина 1997], поскольку словообразовательно маркируются аномальные в человеческих отношениях явления.

Л и т е р а т у р а

- Вежбицкая А.* Язык, культура, познавание. М., 1996.
- Вендина Т.А.* Семантика оценки и ее манифестация средствами словообразования // Славяноведение. 1997. № 4.
- Культурология. М., 1995.
- Лотман Ю.М.* Беседы о русской культуре. СПб., 1994.
- Маковский М.М.* Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. М., 1996.
- Моль А.* Социодинамика культуры. М., 1973.
- Налимов В.В.* Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности. М., 1989.
- Орлова Э.А.* Введение в социальную и культурную антропологию. М., 1994.
- Скляревская Г.Н.* Метафора в системе языка. СПб., 1993.
- Bělič J., Kamiš A., Kučera K.* Malý staročeský slovník. Praha, 1978.
- Gebauer J.* Slovník staročeský. Díl I. Praha. 1970.
- Jungmann J.* Slovník česko-německý. Díl I. Praha, 1835.
- Slovník spisovného jazyka českého. Díl I. Praha, 1960.

С.М. Толстая

(Россия)

СЛОВО В КОНТЕКСТЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Проблема “язык и культура” очевидным образом имеет две стороны и может быть предметом как лингвистики, так и культурологии. Лингвиста интересует то, как язык отражает стоящую за ним культуру, наивный образ мира, а еще больше то, что в самом языке (в семантике, сочетаемости, в синтаксисе, в лексической системе и т.п.) обусловлено культурой и мотивировано картиной мира. А культуролога интересует язык как один из культурных кодов, как одна из форм выражения культуры (наряду с другими кодами и формами: ритуалом, искусством, фольклором и т.д.). Идя навстречу друг другу, лингвистика и культурология уже во многом прояснили характер отношений между языком и культурой и частично заполнили существующие лакуны в том научном пространстве, которое применительно к народной культуре и диалектному языку теперь часто называют этнолингвистикой. Кроме несомненного практического прогресса, т.е. накопления и введения в научный оборот большого массива новых фактов (особенно в области изучения обрядовой терминологии и вообще “культурной” лексики), в последние годы появились и новые опыты теоретического осмысливания принципов, задач и методов этнолингвистики. Появились пособия А.С. Герда “Введение в этнолингвистику” (СПб., 1995), М.М. Копыленко “Основы этнолингвистики” (Алматы, 1995), вышла интересная книга польского автора Януша Анусевича “Культурологическая лингвистика. Обзор проблематики”, в которой рассматриваются главным

образом проблемы культурной семантики и прагматики (Anusiewicz 1994); заслуживает внимания также вроцлавская серия “Язык и культура” (*Język a kultura*, Wrocław), в которой уже издано свыше десяти сборников по разным проблемам и аспектам этой большой темы (последний мне известный, 12-ый выпуск, озаглавленный “Стереотип как предмет лингвистики”, вышел в 1994 г.). Авторами всех названных работ являются лингвисты. С другой стороны, интересные попытки подхода к языку как к источнику сведений по народной духовной культуре предпринимают фольклористы и этнографы. Один из последних томов известного словенского этнографического ежегодника “Traditiones” (т. 23, Ljubljana, 1994) целиком посвящен проблемам языка и его роли в народной культуре (том приурочен к столетию слова-ря Плетеरшника).

Специально мне хотелось бы сказать о книге, вышедшей в 1996 году в Белграде. Это монография ученицы акад. Павла Ивича Биляны Сикимич “Этимология и малые фольклорные формы” (Sikimić 1996). Впервые в славистике на материале одного языка (сербскохорватского) систематически рассмотрены малые фольклорные жанры (загадки, паремии, заговоры, считалки, проклятия и т.д.) как источник для этимологии, причем речь идет не только о множестве содержащихся в этих текстах неучченных этимологий лексем, но и об особой семантике и прагматике слова в такого рода сакральных, магических текстах, а также о неизученных механизмах мифопоэтических трансформаций слова, этимологической магии и т.д. Этот по существу новый для лингвистики материал выдвигает и множество теоретических вопросов, связанных с отношением между знаком и денотатом, между словом и контекстом, между смыслом, функцией и структурой текста.

Неслучайно, что этимологи оказались столь отзывчивы на импульсы, идущие от этнолингвистики. Уже не раз экстралингвистическая информация и, в частности, данные народных верований и обрядов, фольклорные тексты оказывались тем спасительным источником, откуда черпались недостающие мотивировки для принятия или отклонения той или иной этимологической версии. Совсем свежий пример. В “Этимологическом словаре славянских языков” для слав. **detelina* ‘клевер’ предлагается этимология, связывающая это слово с названием дятла (ЭССЯ, вып. 5). Безупречная с формальной точки зрения, эта этимология, однако, вызывала у прежних этимологов сомнение со стороны семантики и заставляла выдвигать другие, гораздо менее убедительные версии. Авторы словаря также не смогли указать каких бы то ни было подтверждений подобной семантической связи. Между тем, как показала О.В. Белова, такие подтверждения может дать фольклорный материал: существуют этиологические легенды, рассказывающие о волшебной траве (в том числе о клевере), приносимой обычно черепахой и обладающей разнообразными магическими свойствами. Такие легенды известны всем славянам, но лишь в некоторых из них вместо черепахи фигурирует дятел, приносящий

клевер в своем клюве (Белова 1997). Можно привести множество примеров, когда этимология опирается именно на культурные основания; такова хорошо известная этимология слова *бадњак*, данная В.Н. Топоровым (Этимология 1974. М., 1976) и базирующаяся на этнографическом материале рождественских обрядов, и многие др.

Хорошо известно и обратное явление, когда на основании языковой номинации оказывается возможным восстановить круг верований, мифологических представлений, культурных стереотипов. Таков, например, славянский номинационный ряд божьей коровки, такова лексика и фразеология, относящаяся к смерти (см. статьи “Божья коровка” и “Агония” в словаре Славянские древности. М., 1995. Т. 1), таков обширный ряд названий, относящихся к ряженым, в книге Л.М. Ивлевой (Ивлева 1994) и многие другие.

Неудивительно, что исследователей проблемы “язык и культура” в первую очередь привлекает так называемая культурная лексика, т.е. имена “культурных” реалий – специальных обрядовых предметов (таких, как коровай, свадебная *красота*, обрядовое деревце *май*), названия обрядов и праздников (*Семик*, *Купала*, *Радуница* и т.д.), имена мифологических персонажей (*русалка*, *богинка*, *упырь* и т.п.), культурные концепты (святость, судьба, грех и т.п.; см. сборник КК 1991). Понятно также внимание к специальной обрядовой терминологии, например, свадебной, погребальной, календарной.

Другое и гораздо более трудное дело – изучение культурной семантики и функции “обычных” слов, слов общеупотребительных. Ее труднее вскрыть, и она далеко не всегда фиксируется словарями. В свое время нам с Н.И. Толстым приходилось заниматься культурной семантикой слав. *vesel- (Толстой, Толстая 1993). Привлечение фольклорных контекстов, материала верований позволило углубить семантическое представление этого слова, реконструировать культурный концепт, знаком которого является это слово. Это уже не просто ряд значений, а некая семантическая “сфера”, внутренне организованная, со своей структурой и иерархией значений и своей pragmatикой.

Остановлюсь еще на двух примерах, демонстрирующих культурную семантику “обычных” слов. Первый – это глагол *найти*, *найтись*, *находиться*.

На Черниговщине отмечен глагол *найтись*, *находиться* в значении ‘родиться, рождаться’: “У шапочках *находятся* дети, то говорили – *шчасливає*”; “*найшовся* и дитеначек” (ПА, с. Ст. Яриловичи Репкинск. р-на). У Гринченко при глаголе *знаходити* приводится выражение *знайти дитину* со значением ‘родить ребенка’: “А її уже й не турбую, моєї бідної Катруся, щоб уже благополучно *знайшла*” (Гринченко П., 171), а для глагола *находити*, *находитися* дается значение (одно из значений) ‘родиться’: “Хлопчиц *найшовся* в них” (там же, 531).

В русских говорах аналогичное выражение с глаголами *найтись* и *найтиаться* отмечается лишь спорадически, причем главным образом в

периферийных регионах вне России. По данным СРНГ, оно известно русским говорам в Эстонии, Латвии, Литве (т.е., вероятно, говорам старообрядцев), а также в Азербайджане, а из собственно русских территорий отмечено лишь в Тульской обл. Ср. “Давней не записывались, пока ребятенок *найдется*, тогда его запишут и сами запишутся” (Латвия – СРНГ 19, 301–302); “У ей скоро ребенок должен *найтиться*, опять работать не сможет” (Литва – там же); “Как Петьке *найтиться*, мине видения были” (Азербайджан – там же). В ряде говоров у глагола *найти* отмечается значение ‘родить’: “Марютка троих детей *нашла*” (Латвия, Эстония, Кубань, Ростовская обл.) или ‘родить вне брака’ (СРНГ 19, 301). [Однако примеры, якобы подтверждающие второе значение, вызывают сомнение. Ср. “Ена в девках пятерых детей *нашла*, всех сама вырастила; Сидориха *нашла* мальчика, покуль муж был в солдатах”. Очевидно, что нет оснований включать сему “вне брака” в значение глагола *нашла*, тем более, что она имеет отдельное от глагола воплощение в компонентах “в девках” и “покуль муж был в солдатах”].

Эта же семантическая модель представлена в диалекте так называемых сербов-границар (северо-запад Сербии, область Војна Граница): “*Нашло се дјетешице* мушко или женско (вēћ како буде), дошао сам по зламење”, – с такими словами обращался отец новорожденного ребенка к священнику с просьбой о наречении именем (Беговић 1887, 195). Согласно словарю Сербской Академии наук, выражение *нашло се дете* известно также в Боснии, оно встречается в произведениях многих сербских писателей – И. Андрича, Л. Лазаровича, Д. Джукича и др. (РСКНЈ 14, 562). Кроме того, оно употребительно в сербских народных песнях: “У Јеле се мушко чедо нашло” и т.п. (RHSJ 7, 247).

То, что речь идет именно о семантической модели, а не просто о “филиации” значения глагола *находить(ся)*, следует из болгарских диалектных форм, в которых используется синонимичный глагол *намеря*, *намирам се*. Выражение с внутренней формой “нашлось дитя” отмечено в нескольких районах центрально-балканской зоны: *ихтиман. намерили се* ‘родил се’ – Оште се не беше намерило; *наряду с намера са* ‘родя се’ – Детето са намери по Коледа (БД 4, 122); *панагюр. намери се* – Като се намери [роди] детето, умясат турта, та да пукнат света Бугуродица да иде на друго място (Вакарелски 1961, 58); *карлов. намира се* ‘раждда се’ – Пак и съ намери мумичи, пък т’ а млогу и съ искъши дъ ѹ мумче (БД 8, 150); *елен. нъмер’ съ* ‘раждам се’ – Детину ни съ нъмери пу Питкодин’ (БД 7, 199). В словаре болгарского литературного языка у глагола *намирам се*, *намеря се* также отмечено значение ‘родиться’: “Намери ни се момченце” (РСБКЕ 2, 168).

Любопытную параллель к рассматриваемым формам находим в кашубском. Словарик А. Лябуды 1960 г. содержит глагол *nalezc się* ‘*urodzić się*’ (Labuda 1960, 39; к сожалению, без иллюстраций). В семитомном кашубском словаре Б. Сыхты этот глагол снабжен только толкованием ‘найтись, оказаться’ (‘*znać się*’), однако приводимые при-

меры подтверждают наличие у него значения ‘родиться’: “Po ȝesac latax nalazlo sã u níx zecko” (Sychta SGK 2, 365). Заслуживает внимания также кашуб. *nålàzk* ‘внебрачный ребенок; подкидыш, найденыш’ (Sychta SGK 3, 184) и кочевское *znalazek* (там же), *znajdek* (Sychta SK 3, 134) с тем же значением. Ср. польск. литер. *znajda*, *znajdek* ‘подкидыш’, белор. *знайдыш*, *знайдзен*, укр. *знайда*, *знайдей*, *знайденя*, *знайдух* и т.п.

Приведенный материал, который, конечно, не исчерпывает всех манифестаций семантической модели “нашелся ребенок”, позволяет все же сделать вывод, что, во-первых, подобный тип номинации известен в разных славянских диалектных зонах, но представлен в них не сплошь, а достаточно рассеянными или периферийными ареалами; что, во-вторых, даже на этих примерах можно наблюдать разные стадии лексикализации и семантизации значений ‘родить, родиться’ у глаголов с основным значением ‘найти(сь), находить(ся)’: если в некоторых примерах можно усмотреть определенную метафоричность употребления, особенно в случаях, когда эти глаголы функционируют наряду с “нейтральными” глаголами **roditi* (*sę*) или **dobyti*, то в таких примерах, как черниговские или русские, подозрение в метафоричности отпадает, там выражение “нашелся ребенок” вполне нейтрально.

Данная семантическая модель “поддерживается” значениями антонимического глагола *терять* и *теряться*, употребительного в лексическом поле смерти и мотивированного характерным для народной культуры представлением о “зеркальности” прихода человека на этот свет и ухода его на тот свет (найтись – потеряться). Имеется в виду значение, представленное в общеупотребительных выражениях типа *терять близких* или *большие потери в войне* и т.п., а также в рус. диалектном *потеряться* ‘умереть’ (новгор. “...бабки, они состарились, все потерялись и в земле сгнили”; “Овца у нас болела, болела, потом и потерялась” – Черепанова 1996, 89; а также *потерять* ‘сгубить, погубить, убить, лишить жизни’: Чем терять, так лучше б не рожать – Даль 4, 757), и др.-рус. *тєряті* ‘губить, разорять’, *потеряті* ‘убить, казнить’. Ср. также общеслав. глагол **gubiti*, совмещающий в себе в разных славянских языках значения ‘губить, уничтожать’ и ‘терять’ (ЭССЯ 5, 166). Подобную семантическую связь обнаруживает и другая антонимичная пара: *найти(сь)* – *пропасть*, ср. *скотина пропала*, т.е. ‘погибла, сдохла’. Наконец, со значением ‘найти’ коррелирует семена ‘прятать’, манифестируемая в славянских языках тремя основными глаголами – **chorniti*, **chovati*, **prętati*, которые также относятся к семантическому полю смерти, обозначая акт похорон, погребения. Первые два глагола в этом значении широко распространены и хорошо известны, третий же представлен в украинском: *прятати* 1) ‘прибирать, убирать’, 2) ‘погребать, хоронить’. А коли брата прятали? (Гринченко 3, 495). Ср. еще укр. карпатск. Сяшченик у білым, як пряче молодого (с. Синевир Межгорск. р-на; Карпатский архив Института славяноведения РАН). Единичная фиксация этого глагола относится к белорусской

диалектной территории: гродненск. *пратаць* ‘хоронить, погребать’ (ЛАБНГ 3, карта 292).

Еще одной областью лексики, где мотив “найденного” ребенка получает достаточно репрезентативное воплощение, является антропонимия. Во всех славянских языках известны (или были известны в прошлом и сохраняют свои следы в фамилиях) личные имена или прозвища с внутренней формой “найденный”: др.-рус. *Найда, Найдун, Найденка* (Тупиков, 266); ср. также распространенную русскую фамилию *Найденов*; белор. *Найда, Найдзён, Найдзёнак, Найдзёнік* и т.п. (Бірыла 1969, 296); укр. *Найда, Найдюк* (Vincenz 1970, 486); польск. *Nalezionałek, Naleziony* (SSPNO 4/1, 10–11); ср. также др.-рус. *Налѣзникъ* (Тупиков, 266); болг. *Найда, Найден, Найдена, Найденчо, Найдо* и т.п. (Илчев 1969, 353; Заимов 1988, 162); серб. *Нађен, Нађо, Најдан, Најден, Најдин*, а также *Наход и Налѣжа* (Грковић 1977, 143; 1986, 133); хорв. *Najdek, Najden, Najdenac* (Leksik, 453).

Наконец, рассматриваемая здесь семантическая модель “поддерживается” фразеологией, посредством которой детям отвечают на вопрос, откуда берутся дети: *нашли в крапиве, нашли за углом* (СРНГ 19, 301), *нашли в капусте, в лесу, под деревом* и т.п. (см. Виноградова 1995; Гаврилюк 1993; 1994). Эта фразеология, безусловно, отражает народные верования и, вместе с рассмотренными апеллятивными и ономастическими данными, свидетельствует о несомненной значимости мотива “находки ребенка”.

Если обратиться к этнографическим свидетельствам, то наиболее ярким и прямым подтверждением этой значимости оказываются южнославянские обычаи ритуального разыгрывания ситуации обнаружения (находки) ребенка случайным прохожим. Этот обряд совершался в семьях, где “не держались” дети, и должен был обмануть судьбу, переломить роковую непреложность и уберечь новорожденного от предписанной ему смерти. Как только ребенок появлялся на свет, повивальная бабка или даже сама мать относила его на дорогу, на распутье или перекресток и, спрятавшись, ждала, пока какой-нибудь прохожий не обнаруживал и не поднимал ребенка. Тогда женщина выходила из укрытия и просила прохожего стать кумом ребенка. От этой роли нельзя было отказаться. Особенно благоприятным для ребенка был кум-иноверец или инородец (турок, цыган, еврей и т.п.), т.е. “как можно более чужой”. У восточных славян и, в частности, в Полесье широко применялось в подобных случаях приглашение в кумовья первого встреченного прохожего, однако подбрасывания и нахождения ребенка при этом не инсценировали. И в южнославянском, и в восточнославянском ритуале магия обмана судьбы основывалась на сакральности случайного (случайно найденного ребенка или случайно встреченного кума), которых воспринимали как пришельцев из иного мира, божественных посланцев, над которыми не властна злая судьба (см. Толстая 1992). Отметим, что семантический компонент “случайность, непредвиден-

ность” входит в одно из основных значений глагола *находить* (а именно то, которое не связано с оппозицией *искать – находить*).

Таким образом, мотив найденного ребенка, лежащий в основе разных языковых и культурных знаков (апеллятивной лексики, антропонимии, фразеологии, ритуала, верований) имеет во всех случаях единую исходную функцию оберега, магической защиты новорожденного от грозящей ему опасности. Вместе с тем он включен в собственно языковую номинационную модель, по которой для обозначения рождения и смерти используется глагольная лексика с исходным значением “находки–потери”, а для обозначения родов – похорон, погребения – со значением “прятать – находить”. Мы имеем здесь дело со сложной системной языковой метафорой, уходящей корнями в древние мифопоэтические представления о зеркальности прихода на этот свет и ухода из него, что находит отражение и в ритуальном оформлении соответствующих событий (родов и кончины). См. Толстая 1990.

Второй пример – слово или лексическое гнездо **trud*.

В современном русском литературном языке *труд* и *трудиться* относятся к семантическому полю деятельности и коррелируют с такими словами, как *работа*, *работать* и *дело*, *делать*. Во многих употреблениях эти слова и их дериваты выступают как синонимы: *ежедневный труд* и *ежедневная работа*, *умственный труд* и *умственная работа*, *опубликованные труды* и *работы*, *заниматься работой* и *делом*, *приступить к делу* и *присесть к работе*, *работник* и *труженик*, *устроиться на работу* и *трудоустройство*, *трудяга* и *работяга* и т.д. Однако во многих других случаях они не синонимичны: *строительные, земляные* и т.д. *работы*, но не *труды* и не *дела*; *орудия труда*, но не *работы* и не *дела*; *много дел, работы*, но не *труда*; *телефон работает*, но не *трудится* и т.д. *Труд* и *трудиться* по сравнению с *работа*, *работать* и *дело*, *делать* имеют более абстрактную семантику и не столь свободно сочетаются с обстоятельствами места, времени и инструментальным дополнением, делая акцент на субъекте труда, его усилиях и его состоянии. Здесь нет возможности рассматривать это подробнее, важно лишь отметить, что дериват *трудный* (в отличие от *трудовой*) целиком выпадает из данного семантического поля и актуализирует и усиливает те значения, которые для *труд* и *трудиться* являются периферийными, а именно значения усилий, напряжения, утомления, муки, изнурительности, препятствий и т.п., т.е. значения, сопряженные с отрицательной оценкой деятельности и не характерные для слов *работа* и *дело*. В современном узусе синонимами *трудный* оказываются *тяжелый* и *сложный*. Подобное значение для слова *труд* трактуется в словарях как устаревшее: Сулит мне *труд* и горе / Грядущего волнуемое море (Пушкин); Ребенка пленного он вез / Тот занемог. Не перенес / *Трудов* далекого пути (Лермонтов).

В таком языке, как польский, где основные значения, передаваемые рус. *трудиться* и *работать*, обозначаются одним глаголом – *pracować*.

этому глаголу приписываются два разных языковых стереотипа: первый, в котором труд, работа имеют определенный сакральный ореол (ключевыми словами этого стереотипа оказываются имена Бога, Богородицы, святых как покровителей труда и прототипов тружеников, а также слова *хозяин, поле, плуг, урожай, хлеб* и т.п.), и второй, в котором эти же концепты воспринимаются скорее в категориях профанного и ассоциируются в первую очередь с такими словами, как *служить, работать на кого-л., господин, слуга, раб* и т.п. (Mazurkiewicz 1989).

В славянской народной традиции лексическое гнездо **trud* входит в семантическое поле, основными значениями которого являются понятия боли, муки, усталости, слабости, а синонимическими лексемами оказываются **strada(ti), *tqka, *teg-* (*тяжесть, тяготы, туга* ‘печаль’). Первая из них, *страдать*, обнаруживает то же сочетание значений ‘страдать’, ‘мучиться’ и ‘работать’, что и *труд*, ср. *летняя страда* и т.п.

В церк.-слав. языке основным значением слова *тρѹдъ* является ‘страдание, мучение, болезнь; беспокойство, горе; трудность, тяжесть, тяжкое положение’ (Дьяченко, 736–737). Именно в этом значении это слово употребляется в псалтыри и др. богослужебных текстах. По сравнению со старославянским, где это слово, согласно Старославянскому словарю (СС), имеет два основных значения: 1. усилие (также плоды труда, усилий, аскетическая жизнь, мученический подвиг) и 2. затруднение, трудность, в церковнославянском усилено значение страдания, боли, мучений, хотя это различие может быть следствием разных толкований, принадлежащих авторам словарей. В ст.-слав. *страдати* мы находим то же сочетание концептов труда и мучения, что и в *тρѹдъ*: 1. трудиться, работать (тяжело, до изнеможения), 2. страдать, мучиться, 3. быть лишенным чего-л., а *страдание* кроме значения ‘мучение’ имеет значение ‘подвиг, мученичество’.

Именно в этом значении, соединяющем понятие физического страдания и мучений с высшей моральной оценкой этого состояния как духовного подвига, употребляется слово *тρѹдъ* в средневековой славянской книжности и ориентированных на книжную традицию фольклорных жанрах (прежде всего в духовных стихах). Концепт и тема труда в древнерусской литературе занимают исключительное место и для некоторых текстов (например, для Жития Феодосия Печерского) оказываются, по выражению В.Н. Топорова, смысловой доминантой, а слова с корнем *труд-* (*труд, трудиться, трудный, труженик, труженичество, тружение* и др.) образуют обширную лексическую группу и как бы пронизывают весь текст, составляют его лексическую канву. «Труд в русском языковом сознании не просто работа, некое занятие, выполнение определенной задачи, предполагающее субъект, цель, средства ее достижения. Труд прежде всего *труден* и мучителен (время его – страда – своим обозначением отсылает к теме страдания), он понимается как нечто вынужденное, принудительное (нужда, нудить), и в этом смысле он, конечно, не просто бремя, но и проклятие человеческой

жизни. Происхождение этого слова обнаруживает именно эти мотивы ... в конечном счете от и.-евр. **ter-*, огрубленно и сугубо профанично – “тереть” (ср. “жизнь потеряла его”, “тертый человек”, “тертый калач” о человеке же и т.п.)» (Топоров 1995, 704).

На этом сакральном полюсе семантического спектра корня **trud-* в качестве абсолютного, идеального образца труда-мучения для средневекового культурного сознания возвышается, конечно, подвиг Христа, по отношению к которому именно это слово оказывается самым точным. В польских духовных стихах (“модлитеvках”) многократно употребляется формула “*Cierpiał On gorzki trud za chrześcijański lud*” (Kotula 1976, 119, 131, 293). Отблеск этого смысла лежит на всех употреблениях этого слова в самых разных контекстах книжной, христианской культуры. Ср., например, выражение *трудная земля* в духовном стихе “Плач Адама”: “...Не велит Господь Бог / Земным в раю жити. / Послал нас Господь Бог / На трудную землю. / Велел нам Господь Бог / Трудами кормиться...” (Стихи духовные. М., 1991. С. 42).

На противоположном полюсе шкалы сакральности размещаются такие значения слова *труд*, которые связаны уже с чисто физическим понятием боли, болезни, мучений. В русских вологодских и псковских диалектах *трудиться* означает ‘быть долго больным, страдать тяжкой болезнью’, симбир. *трудноватый* ‘больной’ (Опыт); смоленск. *трудиться* ‘мучиться’: Купчиха трудилась родами цельную няделю; *труд* ‘болезнь, боль’; *тружденье* ‘болезнь, муки родов’: Па рождэнью, па труждэнью ты нам родная мать (Добропольский). В белорусском *трудование* 1. ‘усилие’, 2. ‘муки болезни’; *трудовацца* ‘тяжело болеть’: Давно бедненъкий трудеуцца; струдовався сусим неборака (Носович); *труднота* 1. ‘бедность, нужда’, 2. ‘тяжелая работа’ (ССЗБ); *трудносць* то же: Така трудносць була после войны – бяднота, голота (ТС). Особенно часто это слово употребляется по отношению к родовым и смертным мукам: Як першага сына мела, то трудавала, а дачку лёганька радзіла; Тата сільна труdnіўся, пакуль умёр; Трудзіца чалавек, мучаіца, а не ўміраіць (ССЗБ 5, 129–130). “Як памірае, галасіць нільзя, ён тады трудзіца большы, еслі піраб’еш яму смерць, то ета дужа ён доўга трудзіцца” (Сысоў 1995, 135). У русских Вологодской губ. “есть поверье, что младенец *трудится*, т.е. долго не умирает, за грехи родителей” (Иваницкий 1890, 114).

В сербскохорватском *трудити* (*се*) значение ‘рожать’ уже является основным: Ту подлогу да уметне у свою обућу, па и њу да носи до порођаја кад се буде трудила, да то све повади (PCXKJ); “Kada se žena trudi da ne more roditi, reci trikrat na uho: “Hodi, detiću, Isus te zove, sveti Ivan karstit te oće, kako je karstil Isukarsta!” Ove reci trikrat na uhu desnom” (R. Strohal // ZNŽO 15/1, 159; из глаголич. рукописи XVII в. с острова Крк); “Trudila se Jurjevica mlada / letni danak po sunašcu žarku / trudeć je ji želja dodijala / koj jí poda vinca al vodice, / će mu ona sinka poroditi...” (HNP, 300). Отсюда основное для сербскохорватского языка название беременной женщины *трудна жена*, а беременности – *трудноћа*, болг.

трудна жена, чemu в восточно- и западнославянских языках соответствуют образования с синонимическим корнем **tēg-*: белор. *цяжарная* ‘беременная’, укр. *тяж*, польск. *ciąża* ‘беременность’ и т.п.

В чешском и словацком, где дериваты с корнем **trud-* вытеснены на периферию лексической системы, в них преобладают значения эмоциональной сферы: ‘грусть, тоска, печаль, досада’, известные и южнославянским языкам (ср. также русское выражение *тяжело на сердце* и т.п.).

Таким образом, в основе как сакрального, так и профанного концепта труда в народном языковом сознании лежит одна и та же семантика боли (физической и душевной), муки, тяготы, мучительных усилий, но в первом случае она возвышается до подвига и подвижничества, а во втором – остается земным ощущением человека.

Оба приведенных примера демонстрируют зависимость языковых номинационных и семантических моделей от народных верований: в первом случае для обозначения полярных концептов рождения и смерти используются антонимические лексические средства (*найтись – пропасть, /no/терять – найти/находить*); во втором – одна и та же лексема обслуживает обе сферы, еще раз закрепляя их коррелятивность и взаимность, причем в обоих случаях семантическая связь (рождение – находка, смерть – потеря; труд – страдание) прослеживается более чем на одной лексеме, т.е. представляя собой не индивидуальную, а системную семантическую модель.

Л и т е р а т у р а

БД – Българска диалектология. София. Т. 3, 1967; Т. 4, 1968; Т. 7, 1974; Т. 8, 1977.
Беговић Н. Живот и обичаји Срба Граничара. Загреб, 1887.

Белова О.В. Легенда о дятле и разрыв-траве в книжной и устной традициях // Живая старина. 1997. № 1. С. 34.

Бірыла М.В. Беларуская антрапанімія. 2. Прозвішчы, утвораныя ад апелятыўнай лексікі. Мінск, 1969.

Вакарелски Х. Принос към проучване на семейните обичаи на Панагюрско в миналото // Панагюрище и Панагюрският край в миналото. София, 1961.

Виноградова Л.Н. Откуда берутся дети? Полесские формулы о происхождении детей // Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья. М., 1995. С. 173–187.

Гаврилюк Н.К. Міфологічні формулі на тему “походження дітей” (досвід систематизації українських текстів та інослов’янські паралелі) // Мистецтво, фольклор та етнографія слов’янських народів. Київ, 1993.

Гаврилюк Н.К. Формули-міфи про народження дітей (До ареальної характеристики на українському Поліссі і суміжних територіях) // Проблеми сучасної ареалогії. Київ, 1994. С. 332–339.

Герд А.С. Введение в этнолингвистику. СПб., 1995.

Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка. Т. 1–4. Киев, 1907–1909.

Грковић М. Речник личных имена код Срба. Београд, 1977.

Грковић М. Речник имена Бањског, Дечанског и Призренског властелинства у XIV в. Београд, 1986.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 4-е. Т. 4. СПб.; М., 1912.

- Добровольский В.Н.* Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.
- Прот. Дьяченко Г.* Полный церковно-славянский словарь. М., 1899.
- Зашмов Й.* Български именик. София, 1988.
- Иванецкий Н.А.* Материалы по этнографии Вологодской губернии. М., 1890.
- КК – Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.
- Ивлева Л.* Ряжене в русской традиционной культуре. СПб., 1994.
- Илчев Ст.* Речник на личните и фамилни имена у Българите. София, 1969.
- Копыленко М.М.* Основы этнолингвистики. Алматы, 1995.
- ЛАБНГ – Лексічний атлас беларуських народных гаворак. Т. 3. Чалавек. Мінск, 1996.
- Носович И.И.* Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.
- Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852.
- ПА – Полесский архив Института славяноведения РАН. Москва.
- РСБКЕ – Речник на съвременния български книжовен език. Т. 1–3. София, 1951–1959.
- РСКНЈ – Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. I–. Београд, 1959–.
- СПЗБ – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходній Беларусі і яе пагранічча. Т. 1–5. Мінск, 1979–1986.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 19. Л., 1983.
- СС – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.
- Сысоў У.М.* Беларуская пахавальня абрааднасць. Мінск, 1995.
- Толстая С.М.* Общие элементы в ритуальном оформлении родов и кончины (на материале балканославянских традиций) // Балканские чтения – 1. Симпозиум по структуре текста. М., 1990. С. 99–101.
- Толстая С.М.* Магия против смерти // Балканские чтения. 2. Симпозиум по структуре текста. М., 1992.
- Толстой Н.И., Толстая С.М.* Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слов. *vesel-) // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993. С. 162–186.
- Топоров В.Н.* Святость и святыне в русской духовной культуре. Т. I. М., 1995.
- ТС – Тураўскі слоўнік. Т. 1–5. Мінск, 1982–1987.
- Тупиков Н.М.* Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб., 1903.
- Черепанова О.А.* Глубина памяти: некоторые наблюдения в области семиотики и языка северорусских быличек // Язык: история и современность. Сб. научных статей. СПб., 1996. С. 88–93.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Прославянский лексический фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. Вып. 5. М., 1978; Вып. 7. М., 1980.
- Anusiewicz J.* Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wrocław, 1994.
- HNП – Hrvatske narodne pjesme kajkavske. Uredio i komentirao Žganec V. Zagreb, 1950.
- Kotula F.* Znaki przeszłości. Warszawa, 1976.
- Labuda A.* Słowniczek kaszubski. Warszawa, 1960.
- Leksik – Leksik prezimena SR Hrvatske. Zagreb, 1976.
- Mazurkiewicz M.* Praca i sacram w polszczyźnie ludowej // Etnolingwistyka. T. 2. Lublin, 1989. S. 7–28.
- RHSJ – Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. D. I–23. Zagreb, 1880–1976.
- Sikimić B.* Etimologija i male folklorne forme. Beograd, 1996.
- Sychta SGK – Sychta B.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. 1–7. Wrocław etc., 1967–1976.
- SSPNO – Słownik staropolskich nazw osobowych / Pod red. W. Taszyckiego. T. 1–7. Wrocław etc., 1965–1987.
- Sychta SK – Sychta B.* Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej. T. 1–3. Ossolineum, 1980–1985.
- Vincenz A.de.* Traité d'anthroponymie houtzoule. München, 1970.
- ZNŽO – Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Knj. I–. Zagreb, 1896–.

III. ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ

Т.М. Николаева

(Россия)

РЕЧЕВЫЕ, КОММУНИКАТИВНЫЕ И МЕНТАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ: СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ*

I

Статья представляет собой первую попытку автора найти ответ на очень сложный вопрос теории речевого поведения – как социального, так и индивидуального. Несмотря на то, что авторские работы в этом направлении ведутся уже около пятнадцати лет¹, ощущение чудовищной сложности мало поддающегося таксономии и функциональному анализу коммуникативно-речевого механизма остается почти прежним.

Ниже речь пойдет о так называемых стереотипах. Однако очевидно, что этот термин неудачен, расплывчат. Существуют и другие терминологические концепты, квази-сионимичные: идиомы, фразеологизмы, клише, групповые шаблоны² (Л.П. Крысин), излюбленные обороты (Л. Кнорина)³, стереотипизированные обороты, штампы и т.д. Все эти речевые явления составляют некое понятийное поле, к которому уже приближаются паремии, крылатые слова, цитаты, афоризмы, максимы.

Мы совсем не ставим перед собой задачу их **различить**, задача другая – понять, *почему и зачем их употребляют*.

* Более краткий вариант см. в сб.: “Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сборник к 70-летию В.В. Иванова” (М., 1999).

¹ Из более поздних – см.: Загадка и пословица: социальные функции и грамматика // Загадка как текст. М.: “Индрик”. 1994; Клишированные речения в современном русском языке // Традиции и новые тенденции в развитии славянских литературных языков. Тезисы докладов Международной научной конференции. М., 1994; (в соавторстве с И.А. Седаковой). Определенное – неопределенное – конкретное в пословице и загадке // Малые формы фольклора. М., 1994; Ценностная ориентация клише и штампов в современной русской речи // Revue des études slaves. LXVI | 3. 1995; (в соавторстве с И.А. Седаковой). Срединная проза и парадигма социализированной оппозиции // “Вторая проза”: русская литература 20–30-х годов. Пиза, 1995; Модель мира в грамматике паремий // Филологический сборник. К 100-летию В.В. Виноградова. 1996.

² “Подобно тому, как в процессе совместной деятельности у людей вырабатываются определенные стереотипы поведения, регулярность коммуникативных контактов между членами группы ведет к выработке определенных речевых шаблонов” (Крысин 1989, 83).

³ “Относительно устойчивой и поддающейся сравнению характеристикой идиостиля, связанной с частотой конкретных лексических единиц, представляются индивидуальные наборы излюбленных слов и оборотов, т.е. единиц, повторно применяющихся в аналогичных ситуациях” (Кнорина 1989, 116).

Поэтому в первую очередь нужно говорить о парадигматическом и синтагматическом аспектах изучения так называемых стереотипов.

О парадигматическом аспекте речь идет, например, при сопоставлении этнических стереотипов поведения, обрядовых формул, речевых шаблонов какой-либо социальной (возрастной) группы, фразеологизмов, объединенных какой-то темой и под. Этот этап мы считаем первичным. На таком этапе ответ бывает получен на вопросы: ЧТО? и КАКИЕ?

Синтагматический аспект – изучение второго этапа: ПОЧЕМУ? и ЗАЧЕМ? Почему, например, возникают диалоги типа: *Ну, ты говорила с ним? – Да. – Ну, и как? – Ни тпру, ни ну.*

Итак, на синтагматическом уровне возникает инкорпорирование стереотипа в “свободную речь”, высказывание получается “склеенным”.

Легко заметить, что комплекс возникающих при таком подходе проблем, которые могут считаться собственно лингвистическими, на самом деле аналогичен комплексу проблем семиотико-литературоведческих, связанных с направлением, именуемым **деконструктивистским**. Не останавливаясь на презентации этого направления, скажем только, что его последователи как бы аннигилируют цельность и уникальность литературного текста, демонстрируя переклички тех или иных фрагментов с иными текстами и иными авторами. И в этом случае возникает та же проблема – как отличить собственно литературные заимствования от фрагментов, хоть и встречающихся у многих авторов, но продиктованных универсальными законами самой жизни.

Именно такие возражения могут быть сделаны и для лингвистического аспекта анализируемого филологически значимого феномена. Собственно говоря, речь наша в принципе никогда не бывает “свободной”. Мы знаем, что *Он не подал мне... руки*, что *Она потупила... взор*, что *С ума... сойти*, что *Разрешите с Вами не... согласиться* и т.д. Даже простая фраза *Сегодня, по-моему, холодно* может быть обнаружена во многих текстах, устных высказываниях, диалогах – быть может, она встречается чаще, чем *Собаку съесть* или *До лампочки!*

Итак, как выделить объект нашего интереса, изучая его в синтагматике? Считаем, что ответ на этот вопрос можно получить, лишь после того, как мы введем некую классификацию стереотипов, более подробно объясняемую далее, с одной стороны, и эксплицируем исходные теоретические посылки автора – с другой стороны.

А. Классификация предлагается следующая: стереотипы делятся на речевые, коммуникативные и ментальные.

Б. Основные посылки работы:

1) и в языке, и в сознании старые модели не всегда исчезают, заменяясь более новыми; они существуют с ними или “всплывают”, более или менее очевидным образом;

2) распространенная несколько десятилетий назад “привычка” объяснять, называть и интерпретировать через собственно лингвистические термины и феномены факты иных гуманитарных областей не

изжила себя, поскольку лингвистика до сих пор остается наиболее виртуозно разработанной таксономически гуманитарной наукой; более того, такой метод позволяет приблизиться к общей интерпретации явлений, связанных с человеком;

3) извлекаемый пласт “случайных” фактов речеупотребления желательно в исследовании минимизировать, предполагая, что зона случайного очень мала – просто велик диапазон от сознательного до бессознательного в речеговорении;

4) в настоящее время лингвистам необходим опыт социальной психологии, в особенности – социально ориентированного поведения.

II

Под речевыми стереотипами мы понимаем отрезок высказывания (или целое высказывание), включенное в контекст, представленный “свободными” компонентами высказывания (высказываниями).

Еще раз возвращаясь к вопросу о том, где граница между свободой/несвободой в селекции речевых фрагментов при речеговорении, мы предлагаем обратиться к самому простому, но, на наш взгляд, доказательному критерию – критерию оценки по перцептивной и продуктивной маркированности. А именно – говорящий употребляет этот фрагмент как *чужую речь* и сам это ощущает, и это же ощущает слушающий. Поэтому и *Счастливые часов не наблюдают, и Командовать парадом буду я, и Знаешь что, Давай подробности!* равно производятся как кусочки чужого текста. Как правило, адресат воспринимает это адекватным образом. (Хотя при этом возможны два типа исключений: 1) реципиент воспринимает текст, отдаленный по времени, или текст, переведенный с другого языка, и не может “распознать” введенные чужие блоки; 2) реципиент принадлежит к иной социальной группе и тем самым функции чужого текста не выполняются.) Именно такой критерий применялся в наших работах о фонологизации словесного ударения – когда ударение квалифицировалось прежде всего как перцептивный, распознаваемый факт, то есть ударение есть то, что воспринимается как ударение. Как будет видно далее, речевые стереотипы и их функции в тексте вообще могут быть сопоставлены с функционированием суперсегментных интонационных моделей, и это далеко неслучайно.

Итак, речевые стереотипы вполне соответствуют более крупным или менее точно переданным фрагментам “чужого текста” в литературном произведении; именно этими компонентами так интересуются в последние десятилетия исследователи “интертекста” и деконструктивисты.

В нашей совместной работе с И.А. Седаковой (Nikolaeva, Sedakova 1994) было предложено четыре модели употребления подобных стереотипов в высказывании, построенных в соответствии с отношением к оппозиции СВОЙ–ЧУЖОЙ. То есть: свое для чужого, свое для сво-

его, чужое для своего, чужое для чужого. Там же представлены примеры подобных употреблений.

Не отказываясь сейчас от подобной модели, скажем несколько иначе. Чужой текст-стереотип возникает либо в знак **согласия**, либо в знак **протеста**. Именно для понимания того, с чем мы имеем дело в каждом случае, и необходима социолингвистическая ориентация.

А именно – одно и то же клише, вроде *Согласно пожеланиям трудащихся*, в речи, скажем, номенклатурных функционеров, могло быть позитивно-нейтральным компонентом, а в речи демократической интеллигенции – стереотипом отталкивания, протеста.

По нашей концепции, стереотип всегда создает дополнительную смысловую строку в высказывании. То есть он в широком смысле суперсегментен.

В случае, когда стереотип употребляется по принципу **согласия**, он выполняет функцию указания на то, что говорящий принадлежит к некоей социальной группе. “Я – ваш!” или “Я – из такой-то группы!”. См. у С.Е. Никитиной о народной культуре: “Главное – это невыделенность личности из социума, обусловленная прежде всего традиционным образом жизни” (Никитина 1989, 35).

Именно поэтому так много общих стереотипов находят в языке молодежи (во всех странах обнаруживают так называемое “молодежное арго”), так как молодежь, до социального распада конкретных молодежных “стай”, максимально конформна, особенно “тинэйджерская” ее часть. (Как представляется, о бунтарстве можно говорить только в том случае, если человек выступает против *своей* возрастной или социальной среды.)

По нашей гипотезе, одна из причин возникновения паремий – в том, чтобы не только объяснить мир, но и избавить человека от ощущения неплотно вокруг него сформированной социальной среды. См. у современного философа Э. Канетти: “...человеку страшнее всего прикоснение неизвестного. И только в массе человек может освободиться от страха перед прикосновением” (Канетти 1997, 18–19). Именно эту функцию в широком смысле выполняют паремии, в особенности, конечно, пословицы. Пословицы направлены на человека и на его социализацию, в отличие от архаических загадок, направленных на объяснение мира. Но эту же функцию выполняют и так называемые “автонимические” загадки типа *От чего утка плавает?*; *Что находится в середине Парижа?* и под. Они возникают поздно и, как правило, загадываются в среде детей и подростков. Именно подобные загадки, маскирующиеся под шутки, часто служат средством унижения “непосвященных” детей и подростков. См. о сходном функционировании в коммуникации шуток вообще: “Следует особо отметить, что шутка подчиняется закону, который всегда направляет наше рассмотрение душевной жизни, а именно, связь с чувством общности. И здесь мы видим стремление понизить ценность других” (Адлер 1997, 234).

В этом смысле, по нашему мнению, нельзя полностью согласиться с О.Д. Добровольским и Ю.Н. Карауловым, утверждающими, что фразеологизмы направлены прежде всего на интерпретацию внешнего мира, воспринимаемого человеком эмоционально: “Идиоматика, как известно, принципиально обращена не столько в мир, сколько на самого субъекта, т.е. идиомы первоначально создаются не для того, чтобы описывать мир, а для того, чтобы его интерпретировать, чтобы выражать субъективное и, как правило, эмоционально окрашенное отношение говорящего к миру” (Добровольский, Караулов 1993, 6). На наш взгляд, они прежде всего ориентированы социальными.

Однако пословицы и вообще паремии довольно скоро как бы “стираются”, утрачивают функцию социализации.

Более ярко сейчас эта функция выявляется при употреблении клише-цитат, стереотипов современных средств массовой информации, названий популярных фильмов, рефренов шлягеров и т.д. В этом случае говорящий может: а) демонстрировать свою включенность в массовую культуру именно сегодняшнего дня (поэтому, например, уже исчезло из употребления столь распространенное несколько лет назад: *Ждем-с*), или включенность в некую элитарную, эзотерическую или неофициальную культуру. В последнем случае употребление клише может быть и средством проверки малознакомого собеседника на “нашество”. Например, я познакомилась в Париже в 1993 г. с семьей уехавших русских, которые, сообщили мне сразу, что они живут в Медоне – “*и от Цезаря далеко*” – “*И от выюги...*” продолжила я, понимая, что это проверка. С другой стороны, сопоставив проверку “на Бродского” и то, что сейчас 1993 год, я спросила, не зная точно, где они раньше жили и когда уехали: “Вы из Ленинграда, наверное, в конце 70-х уехали?” – “Совершенно верно”, – получила я в ответ. Вообще в настоящее время относительно недавно “уехавшие” представители интеллигенции уже представляют бесценный материал для изучения коммуникативных клише, которые у многих имеют отчетливую печать “их” времени.

Случаи употребления речевых стереотипов в функции неприятия, отталкивания, **культурного протеста** также классифицируются на несколько подвидов. Так, во-первых, говорящий употребляет клише буквально, но часто с некоторой особой “цитатной” интонацией, давая понять, что для него это ЧУЖОЕ.

Во-вторых, клише может быть трансформировано и тем самым модернизировано. Именно этот прием используется в современных рекламах и особенно в заголовках газет. Например, *Тень Грозного меня остановила* (“Московский комсомолец”); аллюзий, как видно, здесь множество: это и монолог **Бориса** Годунова, довольно мрачный, если можно так сказать, это и отношение к чеченской войне, так как Грозный – столица чеченцев, это и сообщение о прекращении огня).

Именно такая модернизация может служить средством более или менее мягкого протеста, иронии; собственно, именно на этом приеме строятся тексты телевизионной передачи “Куклы”.

Итак, дополнительная семантика речевых стереотипов возникает, по нашему мнению, лишь на фоне синтагматического контраста с нестереотипизированной тканью текста. На особую семантику таких контрастирующих по стереотипизированности сочетаний обращал внимание Л. Витгенштейн: “Можно было бы представить себе, что некоторые работы, имеющие форму эмпирических предложений, затвердили бы и функционировали как каналы для незастывших, текущих эмпирических предложений; и что это отношение со временем менялось бы, то есть текущие предложения затвердевали бы, а застывшие становились текучими” (Витгенштейн 1994, 335).

Именно поэтому так убога была речь Элочки Щукиной, которая не только была лексически бедна, но состояла из одних стереотипов, ничему не противопоставленных; “вторая жизнь” этих стереотипов началась много позднее, когда цитировать “Ильфа и Петрова” стало на какой-то период тоже средством, социализирующим определенную группу.

Именно пример Элочки подводит к второй группе стереотипов, по нашей классификации, – к **коммуникативным** стереотипам.

Разумеется, это название условное, его можно считать рабочим. Под употреблением коммуникативного стереотипа мы понимаем те случаи речеговорения, когда в одних и тех же ситуациях говорящий употребляет одни и те же обороты – клише. Сразу нужно сказать, что сюда относятся и так называемые “этикетные модели” – формулы вежливости, формулы поведения в разных социализированных ситуациях и под. Сюда же относятся и формулы делового языка, формульные клише конференций, заседаний, этикетных встреч и т.д. Однако, как кажется, они не так интересны для социолингвистического анализа, хотя и много изучаются в последнее время. Более интересны те случаи, когда коммуникативные стереотипы индивидуальны (конечно, теперь уже трудно сказать, спустя пятьдесят лет, пользовалась ли Элочка расхожими клише или это был ее собственный отбор). См. у Э. Канетти: “Человека можно опознать по частоте им употребляемым определенным словосочетаниям” (Канетти 1997, 396).

Например, одна просторечно говорящая женщина на любой вопрос о состоянии дел всегда отвечает: *Дела у прокурора, а у нас делишки* (выражение это общеизвестное, но важна его индивидуальная повторяемость). Точно так же индивидуальной была манера острить у героя рассказа Чехова, обращавшегося к уходящему гостю? *“Вы не имеете никакого римского права...”*. Распознать коммуникативные индивидуальные клише не всегда легко – они могут совпадать с нестереотипизированными высказываниями: например, если человек

встречает любое сообщение других об уходе словами: “С какой целью?” и адресат слышит это впервые. Они могут совпадать и с разобранными выше речевыми стереотипами. Релевантной является именно их **коммуникативная повторяемость**. Поэтому клишированные реплики А.А. Реформатского не были коммуникативными стереотипами, так как они каждый раз были неожиданными, варьировались, поэтому их употребление входило в сферу речевой игры, которая характерна для “речевых” стереотипов⁴. Сходны по функционированию с коммуникативными стереотипами рассказы стариков, которые кажутся интересными свежему гостю и в тысячный раз слышат родные, рассказывание одних и тех же анекдотов, привычные для окружающих реплики в очередях былых лет, в транспорте и т.д. Эти привычные клише коммуникативного характера совсем в человеческом общении не безобидны, многолетние отношения могут, как это иногда наблюдается, распадаться потому, что коммуниканты (муж-жена, подруги и под.) не могут выйти за пределы обмена одними и теми же накопившимися за годы коммуникативными клише. В пьесах драматургов XX в. это часто обыгрывается: см. реплики у Э. Ионеско, С. Беккета, Л. Петрушевской и др. Глубинное понимание таких индивидуализированных клише, вероятно, еще впереди. Безусловно, они служат и средством защиты от непредвиденных ситуаций, от “выяснения отношений”, являясь в то же время и орудием упрощения коммуникативных коллизий. Именно поэтому коммуникативные клише часто бывают “поданы” как шутка, как привычная шутка, хотя функции таких шуток могут легко прочитываться как желание отгородиться от коммуниканта.

Третий вид стереотипов мы предлагаем называть **ментальными**, хотя, строго говоря, они реализуются (манифестируются) также на вербальном уровне⁵. Именно введение подобного класса стереотипов можно считать наиболее дискуссионным положением настоящей работы. Для лучшего понимания того, что имеется в виду, приведем простые примеры манифестаций таких стереотипов. Довольно часто приходится слушать диалоги типа: “Как она *растолстела!* – *А что, селедка лучше, что ли?*”; “*По-моему, зря этот указ принял!*” – “*А*

⁴ См. о языке А.А. Реформатского большую подборку из двенадцати работ (Опыт описания языковой личности. А.А. Реформатский // Язык и личность. М., 1989).

⁵ Показательным явился в этом отношении текст современного журналиста: “В чем конкретно проявляется этот стереотип? В том, например, что советский человек не привык сопоставлять доходы государства, из которых ему должны какие-то льготы, и свои собственные доходы <...> На этом стереотипе держатся вся система перераспределения и все трудности реформирования.

Если все хотят получить положенное, но меньше дать, а человечество не придумало до сих пор никаких источников доходов государства, кроме как от нас, то откуда же оно возьмет? И вот здесь проблема языкового барьера (выделено иами. – Т.Н.) между властью и людьми становится ключевой” (Олег Витте, беседа с Л. Великановой – Литературная газета. 16 июля 1997).

Вы, что? за коммунистов?”. Многолетний опыт в восприятии подобных диалогов привел к выводу, что и к ментально-речевой структуре человека вполне можно приложить знаменитые типы оппозиций, введенные ранее Н.С. Трубецким первоначально для фонологических противопоставлений. Гипотеза состоит в том, что и человеческие реактивные структуры можно описать в терминах тех же оппозиций. То есть одни мыслят (или экстраполируют свои мысли) бинарными оппозициями, другие – градуальными. И в рамках бинарных (дуальных) различаются, согласно Н.С. Трубецкому, привативные и эквиполентные оппозиции. *“Кто не с нами – тот против нас”* – привативная. *“Более или менее”* – мышление – градуальная оппозиция. *“Красные – Белые”* – эквиполентная. Однако эквиполентные, как правило, тяготеют к приватным (см. об этом в применении к литературному процессу: Николаева 1995). Разумеется, в соответствии все с теми же фонологическими теориями для дуальных оппозиций выделяется маркированный член, определяемый маркирующим признаком. Поэтому **один и тот же** человек может оказаться и плохим, и хорошим, и “никаким”, обычновенным – в зависимости от того, к какой группе принадлежит говорящий. Плохой формируется по признаку – *“А что в нем хорошего? Что он кому хорошего сделал?”* Хороший – характеризуется по признаку: *“Очень хороший, порядочный человек! Никогда никому никакой гадости!”*. Очевидно, что в первом случае маркировано как обязательное благое действие, а во втором – действие негативное.

Нейтральная же характеристика, как можно судить по многим примерам, связывается с неким центром – понятием **нормы**. Именно отталкиваясь от этой нормы, люди рассматривают отклонения в ту или иную сторону – к плюсу или минусу. Это предложенное нами деление людей по принадлежности к ментальным стереотипам и сама классификация этих стереотипов кажутся одновременно и тривиальными и, напротив, чересчур смелыми. Тривиальными – потому, что подобные диалоги слышатся беспрестанно и как будто все знают о существовании “норм”; смелыми – так как за этим просвечивает идея, что люди и мыслят, и воспринимают неодинаково – в зависимости от привычной перцептивной модели. Между тем, это различие представляется очень важным для жизни современного общества, когда необходимо учитывать модель перцептивного типа у реципиента – для убеждения, перетягивания на свою сторону, разъяснения сложных ситуаций, рекламы и т.д. Иными словами, иллокутивный успех предполагает хорошую социоперцептивную ориентацию.

Таким образом, существенно не только увеличение знаний, увеличение информации, что, конечно, может изменить внутреннюю бинарную модель, но и предварительное ознакомление с тем, с каким именно типом ментального стереотипа мы имеем дело в каждом конкретном случае, хотя бы путем простых наводящих вопросов.

III

Изложив эти квалификационные и классификационные положения, можно перейти к основной теме настоящей работы, – а именно к тому, как коррелируют типы стереотипов и социолингвистические характеристики.

Речевые стереотипы по сути характеризуют все слои общества⁶. Феноменом дистрибутивной таксономии прежде всего является **коммуникативная ситуация**. Так, одно и то же лицо в разных ситуациях может менять число употребляемых стереотипов, а также варьировать их модели. Так, например, Т.И. Ерофеева (Ерофеева 1990), обследовав речевое поведение студентки 4 курса в 32 ситуациях в течение одного дня, определила, что она выступала в 9 коммуникативных ипостасях и что набор употребляемых ею при этом клише видоизменялся. Однако можно вывести такую закономерность: чем уже социальная группа, тем больше в их употреблении эзотерических коммуникативных клише. “В последнем отношении особенно характерна символическая функция языковых знаков: определенные единицы (слова, обороты, конструкции) наряду с номинативной и оценочной функциями приобретают свойство символа принадлежности говорящего к данной группе. Более того, та или иная языковая единица может сильно деформироваться по смыслу: важно не ее собственное значение, а то, что она – символ. Слова, манера произношения, интонации, играющие роль символов принадлежности к той или иной группе, нередко служат индикаторами, по которым опознается “свой”; напротив, человек, не владеющий подобной манерой речи, определяется членами группы как “чужой” (Крысин 1989, 83). В ситуации разговорной и бытовой число стереотипов увеличивается – часто в соответствии с положением об экономии усилий в речеговорении.

Однако современная жизнь дает нам свежий материал для экспериментально-эмпирических выводов. Так, М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой произведена запись в магазинах промтоваров в Москве в 1991 г. в обстановке жестокого дефицита товаров и в 1995 г. (Китайгородская, Розанова 1996). Записи приводятся полностью и представляют очень большой интерес для социолингвиста. По ним можно увидеть следующее: 1) в первом случае стереотипов гораздо больше, так как московская очередь как малая, хотя и потенциальная, социальная группа уже выработала к тому времени свои клише; 2) в первом случае в основном говорят покупатели, продавцы же отдельываются короткими стереотипными репликами; в 1995 г. больше говорят, объясняя и предлагая товар, продавцы; 3) уменьшительными суффиксами (хотя это и

⁶ Однако, стереотипизированные выражения людей одной и той же социальной среды могут различаться локально: так, различаются клише жителей городов Урала (см. об этом: Языковой облик уральского города 1990).

не имеет прямого отношения к нашей теме) в первом случае пользуются покупатели, во втором – продавцы.

Чаще всего клише – стереотипы в этом материале употребляются в функции согласия, подтверждения своих позиций через чужие. Функция несогласия часто приобретает “цитатный” характер.

Что же касается вообще трансформации стереотипов, употребления их с определенным смыслом, создающим дополнительную семантическую строку, с языковой игрой (с желанием через “эзопов язык” клише нечто сказать СВОИМ, точнее, трансформировать селективный набор стереотипов в “эзопов язык”), то это прежде всего отличает интеллигенцию и в особенности – гуманитарную интеллигенцию, вероятно, в течение многих лет. См. у Т.Г. Винокур: “...наиболее яркие случаи языковой игры – привилегия современной интеллигентской речи и, более того, интеллигентской элиты (чаще – гуманитарной), несмотря на фольклорные истоки многих приемов” (Винокур 1988, 55–56). См. о филологах в этом аспекте у О. Мандельштама: “Филология – это семья, потому что семья держится на интонации и на цитате, на кавычках” (Мандельштам 1990, 2, 178).

Коммуникативные стереотипы также могут характеризовать разные слои социальной структуры. На наш взгляд, в этом случае приверженность к ним, скорее, факт психосоциальный, чем собственно социолингвистический (см. уже упоминавшиеся персонажи рассказа Чехова “Ионыч”). Приходится наблюдать устойчивость коммуникативных стереотипов и у людей высоконтеллектуальных (как уже говорилось, выявить их часто можно только после долгого общения, так как они могут быть сугубо индивидуализированными).

Л.В. Кнорина (Кнорина 1989) приводит собранные ею коммуникативные стереотипы четырех индивидуумов-интеллектуалов. Это – математик 38 лет, излюбленные обороты: *Я вижу, вас millions* (если в комнате более трех человек); *Такая мысль мне и в голову не забегала; Ему под хвост попала прогнозная возжа; Дицерь моя укатила; Древний черт знает какого года издания* (о предметах быта) и под. Библиограф – женщина 42 лет, обороты-штампы: *Пошлаискать у моря погоды; Живыми не дадимся; Обижаете; Ути какая!; С вами все ясно и т.д.* Математик 51 года: *Это другой Милославский; Кожей чувствую; Впадать в стопор; Она такая интеллигентная, что с нее капает; Молчит как рыба об лед; Сделать андайк и др.* Студентка 18 лет: *В глубине сибирских руд; Главное, ребята, сердцем не стареть; Похоже на то; Пятачок, чтоб не обидеть и проч.*

Интересно, что Л.В. Кнорина приводит набор “излюбленных оборотов” и у филолога-лингвистки: *Теперь ты знаешь все* (при завершении рассказа); *Не всякий вас, как я, поймет; Что бы это ни значило; И ничего, и ничего, и ничего; Замерз к чертовой матери* (об утраченной актуальности); *Об этом бы знали; Сольемся в экстазе; По-русски сказать* (при введении иностранного слова) и т.д. (Кнорина 1989, 118).

И все же в так называемом просторечии коммуникативные стереотипы более распространены, хотя их и сложно отличить от обязывающих этикетных⁷.

Некоторые коммуникативные стереотипы настолько распространены в конкретной национальной среде, что принимают характер этностереотипов, которые в данной работе мы совсем не исследуем. Например, таким стереотипом является реакция русских женщин на комплименты, относящиеся к их внешности, одежде, умению готовить и под. См. об этом факте в связи с одним журналистским экспериментом: "Зашла к А.И. вернуть журналы. Там сидит дочь А.И.

В очередной раз проверяю, все ли советские женщины оправдываются после комплимента. Вы прекрасно выглядите, – говорю.

– Вчера картошку сажали – загорела, – оправдывается она" (цит. по: Русский речевой портрет 1993, 73).

Наиболее сложным является ответ на вопрос о том, обусловлены ли социолингвистические стереотипы ментальными. Ответить на него, очевидно, можно только после разработки этой проблемы совместными усилиями целого ряда научных дисциплин, связанных с изучением человека вообще.

Однако в настоящей работе нам хочется предложить на обсуждение некую обобщенную модель речевой коммуникации, несомненно, связанную с уровнем ментальной структуры (сейчас не обсуждаем, функцией чего это является – типа общей культуры, личных особенностей, социального окружения и т.д.). Совершенно условно эту модель можно назвать **моделью речевого поведения обывателя**. Отдельные фрагменты речевой культуры (речевого поведения) этого условного класса нами описывались в предыдущих публикациях, как правило, предваряемых докладами; обсуждение их показало верность нашузыываемых коммуникативных структур – во всяком случае, такова была реакция коллег-филологов. В настоящей работе впервые предлагается обобщенное (в пределах наших данных) описание этой коммуникативной структуры; очевидно, что ряд излагаемых гипотез окажется дискуссионным.

Можно предположить, что речевое поведение описываемого типа

⁷ Еще не решенной проблемой стереотипической речи является вопрос о функциональной сущности рифмованных клише. Для широкого круга носителей литературного языка такими клише обычно являются паремии, достаточно четко перечислимые. Между тем эта привычка говорить и отвечать "рифмованными прибаутками" оказывается живой для просторечной среды. Это описано для уральских регионов. Так, по наблюдению В. Блажеса, "вообще рифма является универсальным приемом, к которому прибегают люди всех возрастов, чтобы юмористически выразить любую мысль, любое чувство, передать любую информацию в рамках этикетного разговора. Например, не желая давать буквальный ответ на вопрос о том или ином человеке "Он какой?" отвечают: "Жиляной да костяной", после неудачного визита на базар или в магазин сообщается: "Шары налупили, а ничо не купили"; один произносит: "Тоска!" и замолкает, другой подхватывает: "Тоска, не выпустил бы изо рта куска" и т.д. (Блажес, 1990, 119).

является стереотипизированным в целом и, скорее, связано с дуальным устройством ментальных моделей.

Более того, многие положения лингвистического характера обобщаются в результате изучения “модели мира” в грамматике патемий, то есть, используются данные так называемого языка “традиционной народной культуры”. Это и естественно, так как язык обычного человека – это язык, как правило, неиндивидуализированный, основывающийся на чувстве социальной солидарности, плотно заполненного социального окружения. В качестве очень смелой гипотезы предполагаем также, что эта модель, которую можно считать более “архаической”, чем модель речевого поведения элитарной интеллигенции (при этом употребление “модных” новых словечек не меняет эту модель), в постепенно все более оттесняемом, но не уничтожающемся полностью виде сохраняется и у носителей элитарной культуры – так же, как и в суперсегментном просодическом слое по-синтагменная и по-словная модель произнесения не уничтожает до конца более древнее деление по слогам.

Напоминаем далее, что развитие языка и человеческой ментальности рассматривается нами в эволюционном плане, а в связи с данной темой – как движение от **дуальной модели к градуальной**.

Итак, как уже говорилось, дуально устроенная стереотипическая модель связана с маркированностью одного из членов оппозиции. В свою очередь идея маркированности кажется неотъемлемо связанной с перцепцией, с порогом восприятия. Опять и опять возвращаясь к суперсегментному просодическому уровню, можем сказать, что именно так устроено восприятие ударения – то есть увеличение физических характеристик слога (высоты, длительности или интенсивности) достигает некоторого критического перцептивного порога, после чего данный слог воспринимается как ударный.

Легко видеть, что эти идеи связаны в свою очередь с знаменитым понятием валоризации, сформулированным Н.С. Трубецким и Р. Якобсоном по отношению к единицам фонологии. То есть “фонологизируется”, становится единицей системы, а не фактом эмпирии, то, что валоризовано. А валоризуется то, что перцептивно маркировано, то есть часто – число количественно – превышает порог нейтрального немаркированного восприятия.

В применении к описываемой коммуникативной модели можно говорить о следующих наблюдаемых крупных категориях:

- 1) Тенденции к укрупнению факта или события.
- 2) Нелюбви к конкретному единичному факту.
- 3) Нелюбви к точной информации.

Все три феномена тесно связаны между собой и – при внимательном рассмотрении – могут быть прогнозированы социолингвистически.

Рассмотрим каждую из описанных тенденций с позиций стереотипизированного лингвистического факта.

Тенденция к укрупнению факта или события

Данная тенденция, на наш взгляд, формируется тремя категориальными коммуникативными рядами. Условно предлагаем их назвать: 1) *мультипликацией*, 2) *разведением градуальных явлений по полюсам*, 3) *увеличением масштаба отдельного факта*.

О *мультипликации* явления можно говорить, например, в следующих коммуникативных ситуациях. Это наблюдается, когда на самом деле имел место один-единственный факт, одно событие (или довольно редкое), но коммуникант его представляет в качестве совокупности однородных (и, возможно, регулярных, событий). Например, человека как-то видели в театре – *Вот Вы по театралам ходите, а я...; Я знаю. Вы на воздухе любите бывать* (коммуникант один раз выехал на дачу). Мультипликация сопровождается и формируется не только множественным числом имени, но и наречиями типа *всегда, все время, с утра до вечера, как ни посмотришь* и т.д. *Ты всегда недоволен; Она вечно жалуется; Как ни посмотришь – ты все в новом платье* и т.д. Как правило, мультипликации подобного рода вызывают раздражение или обиду, иногда сопровождаемую речевым отпором.

К мультипликации можно отнести и многократно описанное явление употребления множественного числа как альтернативы неопределенности: *Ну, я вижу, у вас гости* (сидит одно “гостевое” лицо); *Смотрите, она с кем-то в театре – до сих пор мужчины?; Ты там какие-то статьи пишешь, оскорбительные и под.*

Как показала жизнь, формы этого социолингвистического стереотипа могут и меняться – так, на глазах исчезает такой подвид мультипликации, как “разговор на “они”, вроде *Я был в издательстве, они хотят мою книгу переиздать или Вы были в дирекции?* – Да, они говорят, что со сборником ничего не выйдет. Разговор на “они” был очень характерен для 70-х – 80-х годов; тогда одна известная лингвистка сказала, в частности, по этому поводу: “*У нас*” – это значит “*У них*”, то есть тогда, когда полюса СВОИХ и ЧУЖИХ были максимально разведены. В тот период возможно было услышать и такой диалог, “*Ну, ты была у редактора? – Да. – И что они говорят?*”.

Средства мультипликации широко используются в языке газет и телевидения. Можно возразить, что эти, как будто бы современные, средства, далеки от моделей традиционной паремийной культуры, но нельзя забывать, что это – **Средства массовой информации** и тем самым ориентированы на нерасчлененную массу рецептиентов – как и паремии. Например, такие заголовки характерны для газеты “Вечерняя Москва” – *В метро все чаще падают* (об одном случае, когда один пьяный упал на рельсы и при этом не пострадал), *На Ленинградском шоссе убивают* (об одном случае нападения, не окончившемся трагедией) и под.

При помощи мультипликации, которой в целом, как правило, присуща пейоративная окраска, в описываемой модели, создаются и оче-

видным образом негативные образы, например, такой, который можно назвать “фантомообразным противником”. Например, *В отличие от тех ученых, которые не уважают конкретные знания, Трудно было бы согласиться с теми, кто...* То есть “фантомообразный противник” во многих случаях отражает то, что в математике называется “пустым множеством”.

Именно созданию мультилицированного пустого множества служит, на наш взгляд, и такая речевая модель, когда не адресант, а адресат в ответ на какое-то конкретное обвинение или упрек отвечает: *А никто с Вами и не спорит; Да никто так и не считает; Никто Вас тут не оскорблял и под...*, хотя в разговоре вообще было только два участника.

Мультиликация может рядиться и под похвалу или восхищение: *У вас всегда такие туалеты!* или *У него такие остроумные шутки, что...*, но, как правило, пейоративная окраска присутствует, хотя бы и в скрытом виде.

О *разведении по градуальным полюсам* говорилось выше вообще в связи с идеей ментальных стереотипов, ориентированных на дуальные оппозиции. Подобные речевые структуры можно регулярно слышать в толпе, ранее – в очереди, теперь – при обсуждении отношения к властям и/или к разным группировкам, когда обсуждающие каждый раз предлагают некий “крайний” вариант – *Ну, уж эти вас всех до единого Америке продадут. – А эти ваши всех, кто не чисто русский, в лагерь посадят...* и т.д.

Увеличение масштаба отдельного факта является, по нашим наблюдениям, одним из наиболее типичных явлений речевой коммуникации – и не только для простонародной речевой культуры.

Несомненно, это увеличение связано с валоризацией феномена и тем самым с порогом перцепции, для которого такое преувеличение оказывается необходимым.

Легко заметить, например, что если А и Б говорят о В, уехавшем, например, в командировку на несколько дней и оба знают сроки, то часто приходится слышать: *Как, да он еще в Париже!* или *Он же в Париже!* или: *Не звоните ему, он сейчас в Париже* или – *Как, Вы уже вернулись?* Иначе говоря, отсутствие, как правило, перцептивно затягивается. Именно так можно объяснить часто встречающуюся реакцию на смерть знакомого: *Как, да я позавчера еще с ним говорил!;* *Да он на днях мне звонил!* (то есть предполагается в модели: что умирание как самая важная вещь должно быть долгим, хотя все знают и априори, и на уровне эмпирических наблюдений, что умереть можно мгновенно).

Увеличивается также и различие возраста между мужем и женой, особенно, если **она** старше. *Она гораздо старше его – лет на десять или больше* говорят в тех случаях, когда разница составляет лет пять–шесть.

Увеличивается возраст поздно родившей женщины: *Да, ей уже под сорок было,* – говорят о родившей в тридцать пять. Вообще увеличива-

ют возраст человека, но, не абсолютно, а начиная с какого-то порога, примерно, лет с семидесяти. Разумеется, абсолютно от поколения к поколению этот возраст меняется. Лет тридцать назад говорили: *Ей за семьдесят*, а теперь говорят: *Да ей под сто!*

Можно подумать, что речь идет в основном о женщинах, но это преувеличение касается и мужчин – как при увеличении, так и при преуменьшении – например, когда говорят о вундеркиндах и т.д.

Преувеличиваются и явления природы – например, жара (*будет сильно за тридцать градусов!*, если объявляют “около тридцати”) или мороз.

Сюда же относится и наблюдение Е.А. Земской о том, что если учительница, например, в очень мягкой форме сказала на родительском собрании, что ребенок X “не совсем внимателен иногда на уроках математики”, то, прия домой, мать скажет что-нибудь вроде: “Учительница тебя страшно ругала, ты, оказывается, ужасно невнимателен на математике” () .

Таким образом, мы подводим еще раз читателя к тому выводу, что нашупываемая нами обывательская модель не знает середины, не знает расположенной между плюсом и минусом нормы.

В соответствии с этим в категорию укрупнения факта естественно должна входить и преувеличенная по коммуникативной частотности **оценка**. Как предполагает Э. Канетти, “масса чувствует себя обесцененной, потому что обесценился **миллион**” (Канетти 1997, 203), то есть, иначе говоря, обыватель себя отождествляет где-то с чем-то большим. Предмет беседы часто не описывается, а оценивается, оценка является удобной коммуникативной реакцией (собственно говоря, описание в преувеличенных масштабах не всегда отличимо от оценки). Как отмечает М.В. Ляпон: “Специфику оценки по принципу “люблю–не люблю” усматривают в том, что она обладает параметром субъективной истины, не нуждается в мотивировке и не пользуется понятием нормы” (Ляпон 1989, 27). Более того, можно наблюдать и доминирование оценки отрицательной, негативной. При этом оказывается, что обыватель как бы боится хвалить, боится не совпасть в похвале с собеседником, в то время как негативная оценка как бы делает его восприятие критическим и, как предполагается, более тонким. Тот же Э. Канетти вводит интересное наблюдение о “радости от негативного суждения”: “Лучше всего начать с явления, всем хорошо знакомого, – радости от негативного суждения. Не раз мы слышали суждения типа “плохая книга” или “плохая картина”; говорящий при этом делал многозначительную мину, будто высказал нечто содержательное. Форма высказывания обманчива, скоро в таких случаях происходит переход на личности, говорится “плохой писатель” или “плохой художник”, и звучит это совсем, как “плохой человек”. Легко поймать знакомого, незнакомца, себя самого на таких фразах. Радость от негативного суждения очевидна” (Канетти 1997, 321).

Именно в свете замечания Э. Канетти интересны наблюдения Е.В. Какориной (Какорина 1996) над языком так называемой “оппозиционной прессы”. Стереотипов в этом языке больше, чем в официальном и нейтральном, и, как пишет Е.В. Какорина, “образный мир оппозиционной прессы несет в себе черты “эстетики безобразного”, в котором гипертрофирована область отрицательных оценочных номинаций” (Какорина 1996, 425). К сходным выводам приходит и Л.П. Крысин (Крысин 1996), проанализировавший оценочный уровень современной обывательской массы, освободившейся от многолетнего страха и молчания: “...в наши дни чрезвычайно высок уровень агрессивности в речевом поведении людей (...) Необыкновенно активизировался жанр речевой инвективы, использующий многообразные средства негативной оценки поведения и личности адресата – от экспрессивных слов и оборотов, находящихся в пределах литературного словаупотребления, до грубо просторечной и обсценной лексики” (Крысин 1996, 386). Итак, тяготение к оценке – черта обывательская и неизбежно просторечная: “Наиболее общие признаки просторечия – это малая часть отвлеченной лексики и большое количество экспрессивных слов и оценочных словообразований” (Капанадзе 1984, 129; см. также о стереотипизированных штампах оценках оценки в городской речи Урала: Клычников 1990).

Можно высказать также и гипотезу о том, что в широком аспекте именно эта обывательская тяга к укрупнению факта и, тем самым, к доведению его до того порога перцепции, когда факт воспринят, то есть валоризован, воплощается – уже на вербальном уровне – в некоторой особенности, отличающей речь обывателя, особенно, поднятого судьбой на высокую должность.

Речь идет о явлении, очень характерном, но, как кажется, еще никем не описанном, а именно – о стремлении сделать слово более длинным и потому как бы более весомым. Несомненно, что интеллектуал выбирает более короткое слово в ниже приводимых парах, а обыватель – более длинное (часто удлинение вербальной единицы ограничивается хотя бы одним слогом).

См. такие пары: *Муж – супруг; Жена – супруга; Есть – кушать; Жить – проживать; Будьте добры – Будьте любезны; Сообщать – информировать; Спать – отдыхать⁸* и т.д.

Интересно то, что этому удлинению подлежат самые простые слова, передающие базовые жизненные понятия. Иначе говоря, обыватель интуитивно хочет повысить значимость таких базовых понятий, увеличивая объем эквивалентных им лексических единиц. Вероятно, прежде такую “удлиняющую” роль играло “слово -ерс” и другие добавки подобного типа. Интересно, что сходное явление было отмечено японской писательницей XI в. Сей Сенагон (“Записки у изголовья”), ко-

⁸ В последнем случае речь идет, конечно, не только об удлинении выбираемой ритмической единицы, но и об эвфемистической períphrase.

торая, будучи придворной дамой при дворе императора, заметила, что японские придворные стремятся увеличить простые слова, вставляя в них какие-то дополнительные элементы, и, по ее мнению, придают себе этим значимость.

Нелюбовь к конкретному единичному факту

В данном случае под конкретным единичным фактом понимаются лингвистически не идентичные явления. Во-первых, это тот вид неопределенности объекта, который в русском языке приблизительно соответствует неопределенному артиклию в артикльевых языках. Например, *Вчера в электричке одна женщина рассказывала...* Существенно, что при этом в общении фигурирует один феномен или некое неопределенное, но конкретное множество этих феноменов. Нелюбовь к такому единичному факту, как уже говорилось, характерна для газет массовой ориентации (особенно для заголовков), мгновенно преобразующих единичный факт в множественный (разумеется, это явление сопрягается и с мультипликацией). См. уже упоминавшийся выше заголовок “Вечерней Москвы”: *В метро все чаще падают* – об упавшем на рельсы и не пострадавшем пьяном. Подобного рода конструкции нередко являются поводом для волнения масс, стихийного террора и проч. под лозунгом “*Наших убивают!*” (может одновременно быть и мультипликацией, и укрупнением факта!) и им подобным.

В текстах традиционной культуры мы также имеем дело не с единственным, но неопределенно обозначенным фактом, а с фактом генерализованным. *По горам, по долам ходит шуба да кафтан* – это и вообще баран, и, так сказать, Первобаран, но никак не конкретный неизвестный баран. Разнообразные по экспериментальной установке трансформации статуса референции имени в русских паремиях (переводы на артикльевые языки, переводы с артикльевых языков, интерпретации разного рода) показали невыявленность (точнее, невыявляемость) референциального статуса имени в грамматике паремий, тяготение не к оси обобщенность – конкретность, а к оси обобщенность – неопределенность (см. об этом подробно: Николаева 1994). Именные структуры в основном были выражены через квантор всеобщности, что, как известно по многим современным семантическим исследованиям, свидетельствует о том, что подобные структуры номинации неверифицируемы в принципе и безразличны к конкретности действующего актанта.

Интересно отметить, что в русской традиционной культуре зло выражается в виде представителей низшей мифологии, описываемых, как правило, с плураллизованными показателями – русалки, лешие, домовые и т.д., но не уникальным понятием на грани имени собственного вроде Вельзевула или Люцифера. В этом отношении можно вполне согласиться с Н.И. Толстым в том, что языческий Пантеон на Руси про-

существовал недолго (Толстой 1987), но и объяснить это так, что боги Пантеона были уникальными, конкретными и единичными.

Таким образом, все описанные способы реализации обывательской (массовой) модели сводятся еще и к преференции в употреблении категории **неопределенности**, по развитости и по числу категориальных единиц превышающей в русском языке другой член оппозиции – категорию определенности. Об этом свойстве русской грамматики как о русской грамматической доминанте в последние годы писали немало, в том числе и автор этих строк.

Нелюбовь к сообщению информации

Естественно, что описанные коммуникативные категоризации подводят к третьему признаку. Это – нелюбовь к сообщению информации. Наблюдать это качество могли все представители более старшего возраста еще лет пять–шесть тому назад. Все эти *Там написано*, или *Вы что, ценник не видите?* на самом деле не случайны. Приведем несколько примеров наших записей беседы обслуживающего с обслуживаемым в московских магазинах и учреждениях (необходимо уточнить, что записи были сделаны в конце 1989 – начале 1990 г.).

1. Касса Малого театра. Середина февраля 1990 г.:

X (кассирше) – Вы уже продаете на март?

Кассирша – А зачем? Смысл какой? Зачем на март продавать?

Разве что в училище театральное? Ведь театр закрывается на ремонт с 23 февраля! (единственно необходимая информация в этом и следующих примерах нами подчеркивается. – Т.Н.).

2. Музей редкой книги в Библиотеке им. Ленина. Читатель здесь впервые.

Читатель – Где можно взять библиотечные требования?

Библиограф – А там нет?

Читатель – А где “там”?

Библиограф – А где всегда лежали!

Читатель – А я не знаю.

Библиограф – В ящике у каталога всегда были.

3. Химчистка.

Звонит телефон.

X (звонящий) – Это химчистка?

Сотрудница – Обед!

4. Аптека.

X – У вас есть валокордин и в какой упаковке?

Фармацевт – Можете платить 30 копеек.

X – А это таблетки или жидкий?

Фармацевт – Я же сказала, можете взять по тридцать копеек.

5. Язык как средство...

5. Магазин “Гастроном”.

Х – Спички по две копейки коробок?

Продавщица – И когда это было?

6. Булочная. Обеденный перерыв.

Х – После обеда у вас будет сахар?

Продавщица – У нас обед!

Цель “обслуживающего” в подобных диалогах была показать покупателю, что, незнающий, он является социальным аутсайдером (а, как говорилось, быть таковым – это самое страшное в массовой культуре), что в ее руках – воспитание (через возможное унижение) такого аутсайдера. Но и сообщать информацию не хотелось. Видно, как в настоящее время это нежелание отчаянно борется с требованиями “рыночной экономики”, когда, например, в дорого оплачиваемых рекламах при рекламирующих заметках в газетах все-таки не сообщается адрес (например, рекламируемого парикмахера, врача), не сообщается имя, в кафе не вывешиваются цены на улице, как в других странах, и т.д.

В разговорах частного характера нередко информация, то есть чисто денотативный феномен (видимо, обсуждение бывает на денотативном уровне затруднено) переводится у другие коммуникативные планы. Например, обсуждение информации переводится в план эмоциональный: говорящий спокойно сообщает нечто, а в ответ слышит: “*Ну, не стоит как волноваться по этому поводу*”. Чаще всего стараются подвергнуть сомнению источник информации: *Х сказал, что...* – *Да врет, небось* и т.д. (хотя в принципе этот Х никогда не имел репутации лгуня).

Таким образом, вырисовывается некая стереотипизированная модель, в которой происходит вытеснение конкретной информации, царит неопределенность, явления мультилигируются, а конкретный факт, для того чтобы быть отмеченным (валоризованным), должен быть сильно укрупнен.

Какому социальному классу соответствует эта модель речеупотребления? Мы говорили об “обывателях”; думается, что она помещена внутри каждого из нас, но образование и четкость разума помогают ее вытеснить. Возможно, – но это уже вопрос для социопсихолога – именно эта модель как-то сводится к феномену так называемого “коллективного бессознательного”.

Л и т е р а т у р а

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995.

Блажес В.В. Языковая игра в этикетном речевом поведении горожан // Языковой облик уральского города. Свердловск, 1990.

Винокур Т.Г. Устная речь и стилистические свойства высказывания // Разновидности городской устной речи. М., 1988.

Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994.

- Добровольский Д.О., Караполов Ю.Н. Идиоматика в тезаурусе языковой личности // Вопросы языкознания. 1993. № 3.*
- Ермакова М.И., Земская Т.И. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога) // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.*
- Ерофеева Т.И. "Речевой портрет" говорящего // Языковой облик уральского города. Свердловск, 1990.*
- Какорина Е.В. Трансформации лексической семантики и сочетаемости (на материале языка газет) // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 1996.*
- Канетти Э. Массы и власть. М., 1997.*
- Капанадзе Л.А. Современное городское просторечие и литературный язык // Городское просторечие. Проблемы изучения. М., 1984.*
- Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Современная городская коммуникация: тенденции развития (на материале языка Москвы) // Русский язык конца XX столетия (1985–1995).*
- Клычников Н.Н. Фразеологизированные оценочные конструкции разговорного типа (структурно-семантический анализ) // Языковой облик уральского города.*
- Кнорина Л.В. Словоупотребление – компонента индивидуального стиля (на материале разговорной речи) // Язык и личность. М., 1989.*
- Крысин Л.П. О речевом поведении человека в малых социальных общностях (постановка вопроса) // Язык и личность.*
- Крысин Л.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык конца XX столетия (1985–1995).*
- Ляпон М.В. Оценочная ситуация и словесное самомоделирование // Язык и личность.*
- Мандельштам О. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990.*
- Никитина С.Е. Языковое сознание и самосознание личности в народной культуре // Язык и личность.*
- Николаева Т.М. Загадка и пословица: социальные функции и грамматика // Загадка как текст. М., 1994.*
- Опыт описания языковой личности. А.А. Реформатский // Язык и личность.*
- Русский речевой портрет 1995 – Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Русский речевой портрет. Фонокрэнстоматия. М., 1995.*
- Толстой Н.И. Христианизация как фактор усложнения структуры древнеславянской духовной культуры // Введение христианства у народов Центральной и Восточной Европы. Крещение Руси. Сборник текстов. М., 1987.*
- Языковой облик уральского города. Свердловск, 1990.*
- Nikolaeva T.M., Sedakova I.A. Ценностная ориентация клише и штампов в современной русской речи // Revue des études slaves. T. 66, fasc. 3. Paris, 1994.*

Я. Гоффманнова
(Чехия)

“ПОДСКАЗЫВАНИЕ”, “ПОДДАКИВАНИЕ” И ДРУГИЕ ВИДЫ СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ

I

К числу диалогов, характерных для коммуникации современного общества, несомненно, относятся и диалоги, отмечаемые при различного рода социологических и социопсихологических обследованиях, опросах общественного мнения, исследованиях рынка и пр. О результатах подобных акций нас практически ежедневно информируют СМИ, специализированные печатные издания, различные совещания. Иногда мы и сами участвуем в качестве респондентов или даже экспертов в опросах, организуемых учеными или же специалистами по маркетингу, “public relations” и т.д. По своей типовой характеристике (асимметрия ролей “тот, кто задает вопросы – респондент”) эти диалоги сходны с диалогами, встречающимися в политических и судебных допросах, в интервью в СМИ, при посещении консультаций, врача и пр. Их специфика, на наш взгляд, заключается прежде всего в разнообразии видов стратегий, применяемых прежде всего лицом, задающим вопросы.

Анализу этих стратегий и посвящается настоящая статья. При этом мы постараемся показать функциональное использование данных стратегий, в том числе и в качестве средства “трансляции” в самом широком смысле этого слова, т.е. при взаимодействии различных социумов, систем ценностей. Подобная “трансляция” отмечается и в любом разговоре. В диалоге нашего типа ситуация осложняется тем, что неотъемлемым условием трансляции является успешность общения, достижение поставленной цели.

Методика подобных обследований и опросов может основываться как на разговорах “полуоткрытых” (спрашивающий задает заранее подготовленные вопросы, стараясь их четко формулировать, соблюдая при этом последовательность в постановке вопросов; сообразно этому ответы респондентов приводятся в соответствие с заранее установленным диапазоном возможностей), так и на разговорах *открытых* (по поводу данной дифференциации см.: Houškoop-Steenstra 1994 и Müllerová 1994). Несмотря на то, что в обоих видах диалога роль эксплоратора является доминирующей, тем не менее открытый диалог отличается большей свободой общения. В силу этого эксплоратор имеет гораздо больше возможностей варьировать характер разговора с учетом ситуации общения, респондента, взаимоотношений между ними. Для выяв-

ления позиции респондента в этом случае уже не нужно строго придерживаться заданных вопросов и их формулировок, можно менять их последовательность. Иногда предлагается лишь определенная тематика, по поводу которой респондент имеет возможность высказаться.

В подобных интервью коммуникативная и социальная роль эксплоратора отнюдь не проста: с одной стороны, он, хотя и доминирует в разговоре, является его инициатором, знает, как следует направлять и регулировать разговор; с другой, – он находится в невыгодной позиции, так как в некотором роде обременяет своего партнера, задерживает его. Поэтому абсолютно исключено (в отличие от допросов или же некоторых экзаменационных диалогов), чтобы эксплоратор слишком явно использовал свое ведущее положение или же вел бы себя “с позиции силы”. Напротив, он должен проявлять дружелюбие, благожелательность, максимально приспосабливаться к партнеру. Ведь, по сути, именно задающий вопросы наиболее заинтересован в сотрудничестве со своим партнером, в его хорошем настроении – в противном случае цель общения попросту не будет достигнута. Нельзя не учитывать, что основной задачей диалога является выполнение заданий заказчика исследования. Выступая в роли посредника между заказчиком и конкретным респондентом, эксплоратор должен сделать все для того, чтобы между ним и респондентом установился контакт, отношения сотрудничества. Именно поэтому он должен вести себя в высшей степени благожелательно и вежливо. Следуя теории вежливости П. Броун и С. Левинсона (Brown, Levinson 1987), он не должен задевать достоинства партнера. Поэтому иногда он даже несколько преувеличенно подделывается под респондента, угождает ему, подчеркивает сходство их взглядов. В интервью подобного типа интервьюер должен максимально активизировать все свое стратегическое искусство. В исключительных случаях эта приспособляемость и подчеркнутая вежливость может приобретать даже парадоксальный характер. Впрочем, на определенной стадии разговора может происходить смена ролей: так, в качестве своего рода компенсации эксплоратор позволяет респонденту самому задавать вопросы, определять тематику разговора, варьировать его характер.

Прежде чем перейти к анализу стратегического репертуара эксплоратора, рассмотрим, к какому “жанру”, типу диалога принадлежат рассматриваемые нами открытые диалоги эксплоратора и респондента. Данные диалоги находятся на границе между двумя характерными, четко отличающимися друг от друга типами дискурсов. Первый из них представляет собой тип официального, направляемого институционального дискурса. Подобные интервью являются составной частью исследований, организуемых тем или иным учреждением, которое, соответственно, определяет и применяемую методику. Результаты подобных бесед оцениваются в соответствии с заданными критериями, нередко они подвергаются статистической обработке, публикуются и в

дальнейшем используются в сфере политики, экономики, науки или же культуры. Второй тип дискурса это неофициальная, непринужденная **конверзация**. В качестве партнеров подобных открытых разговоров обычно выбираются друзья, знакомые, соседи, коллеги, что, вполне естественно, предопределяет неформальность общения, делая возможным использование в данном виде диалога соответствующего типа дискурса. В указанной ситуации эксплоратор порой на какое-то время даже забывает о своей роли, о поставленной цели, отходит от заданной тематики.

Примечательно, что если респондент перемещается между этими двумя уровнями, т.е. между дискурсом институциональным и **фатическим** (конверзация является первичным проявлением фатической функции языка, выделенной Якобсоном), неосознанно, то эксплоратор делает это вполне сознательно. Вот почему его **контекстуализационные** стратегии преследуют две цели: с одной стороны, это сознательное направление институционального интервью (спрашивающий намеренно комментирует членение, структуру диалога, подключение новой тематики; он оценивает результаты интервью и сравнивает их с ответами других респондентов); с другой стороны, это стремление сохранить неформальный характер его привычной конверзации с респондентом. Таким образом, **метакоммуникация** функционирует как институциональный контекстуализатор; всякие же **отклонения** от регулируемого хода разговора представляют собой контекстуализатор конверзационный. В соответствии с этими двумя видами контекстов рассматриваемые нами интервью могут принадлежать к следующим жанрам: к институциональному полюсу относятся, например, профессиональная **дискуссия, дебаты, полемика, аргументация**; на конверзационном полюсе находится, к примеру, **пересказ** различного рода уточняющих жизненных ситуаций.

Таким образом, для успешности диалога эксплоратор должен предвидеть возможные коммуникативные барьеры, обусловленные, например, отсутствием заинтересованности респондента, его неуверенностью в себе, смущением, низкой коммуникативной компетенцией и пр. Посредством правильно выбранных стратегий эксплоратор должен стремиться преодолеть все эти препятствия. Вот почему ему приходится строить весь диалог с учетом особенностей респондента, т.е. помогать ему, поддерживать его, вселять в него веру в свои силы. Иными словами, он должен делать то, что сторонники конверзационного анализа называют *recipient design*. В любом интервью вопросы не должны задаваться механически, оно должно иметь свою специфику, должно в буквальном смысле слова быть “подогнанным по фигуре” конкретного респондента. Эксплоратор должен направлять беседу живо и непринужденно, реагируя с пониманием на получаемые ответы. В ходе диалога ему приходится максимально использовать свое знание партнера и его жизни (образование, круг интересов, семейные отношения и

под.). Сказанное позволяет ему внести в институциональное взаимодействие элемент дружеской или же коллегиальной конвертации.

Таким образом, на долю эксплоратора выпадает чрезвычайно сложная миссия – осуществлять посредничество между заказчиком исследования и респондентом. Данная “трансляция” развертывается в двух плоскостях: прагматической и семантической. Преимущественно **прагматический** характер носит определение тематики и сущности задаваемых вопросов. Впрочем, впоследствии нередко приходится трансформировать эти вопросы с учетом особенностей реципиента, его мировосприятия, эрудиции. Обычно эксплоратор старается несколько смягчить официальность формулировок, сделать их более разговорными, что, по сути, означает переведение их из стиля письменных профессиональных или же служебных высказываний в более упрощенный стиль обычной коммуникации. Помимо этого, эксплоратор дополняет вопросы, делая их более доступными для партнера, стараясь его поощрить. Совершенно иначе реагирует эксплоратор на ответы партнера: пытаясь включить их в общий контекст проводимого исследования, он додумывает эти ответы, дополняет их и интерпретирует, вводит в них необходимые понятия с тем, чтобы они больше соответствовали целям исследования, были сопоставимы с результатами других интервью. В этом случае отмечается прежде всего трансляция **семантическая**. Разумеется, что при всей своей склонности к кооперативности и взаимодействию с респондентом эксплоратор не может навязывать ему свою версию (переформулировку) ответа, в большинстве случаев он лишь ее предлагает, проверяя при этом, устраивает ли респондента его версия ответа или же нет. Нельзя, впрочем, не учитывать того, что благодаря своей активности эксплоратор может не только влиять на результаты интервью, но и исказить их. Как известно из результатов конвертационного анализа, абсолютное большинство респондентов в указанной ситуации предпочитает согласиться с эксплоратором, принять предложенный ему ответ. Впрочем, изредка случается, что особенно “строптивый” респондент отказывается от предложенного эксплоратором варианта ответа, настаивая на своей, к тому же еще более детализированной версии.

Применяемые эксплоратором виды стратегии, о которых мы уже говорили выше, носят характер двусторонней семантической и прагматической трансляции. Упрощенно их можно было бы обозначить как “подсказывание”, т.е. эксплоратор помогает, подсказывает партнеру, прибегая при этом к переформулировкам, дополнениям или же конкретизации вопросов. Переформулировкам могут подвергаться и сами ответы путем отбора более точных и более удачных вариантов из числа предложенных респонденту.

Другой важный набор стратегий, широко используемых эксплоратором в ходе интервью, нами определяется как “поддакивание”. Мы имеем в виду самые различные виды одобрительной реакции эксплора-

тора на те ответы респондента, с которыми он явно согласен, оценивает их положительно. При этом одобрение может распространяться как на само содержание ответа, так и на степень участия респондента в интервью (часто встречаются, например, такие метакоммуникативные высказывания эксплоратора, как: *jde nám to výborně; to jste mi toho řekl opravdu hodně*). Очевидно, что стратегии типа “подсказывания” преимущественно предполагают **инициирование**; их назначение – вызвать ответ, реакцию или же по крайней мере, подтверждение, одобрительную оценку предложенного эксплоратором варианта ответа. Стратегии поддакивания, напротив, носят **реактивный характер**. Оба вида стратегий в известной степени пересекаются друг с другом. Так, не всегда можно однозначно установить, куда следует отнести реакцию эксплоратора: анафорически выраженное одобрение одновременно может служить поощрением, инспирацией, инициированием следующего ответа, его катафорическим предвосхищением.

II

Во второй части статьи мы подробнее остановимся на различных способах применения стратегий “подсказывания” и “поддакивания” (нередко и обеих одновременно), а также некоторых других видов кооперативных стратегий. Необходимый для этого материал нами был получен благодаря международному проекту “Индивидуализм и демократия в период стремительных эволюционных преобразований в странах Центральной и Юго-Восточной Европы”. В рамках этого исследования, направленного на выявление отношения граждан к политической и общественной жизни, экономическим преобразованиям и т.п., в Чехии было проведено 48 обширных интервью. Полученный материал, по нашему мнению, достаточно наглядно отражает стратегии и приемы, используемые эксплоратором.

1. “Подсказывание”

1.1. Работа эксплоратора над **вопросом** (называние темы), разъяснение вопроса респонденту (зачастую вместе с ним)

1.1.1. Разъяснение вопроса с помощью **переформулировки, парофразы**

Э. Ještě bych se zeptala co je pro tebe přijatelná životní úroveň nebo pro tvou rodinu samozřejmě

P. Přijatelná životní úroveň

Э. No tak to znamená přiměřeně dobrá ale co to jako znamená co si moci dopřát třeba

Респондент колеблется с ответом, неуверенно повторяя часть вопроса; эксплоратор реагирует на это разъяснением, вводимым, напри-

мер, типичным в этом случае “*to znamená*” а также новой переформулировкой вопроса.

1.1.2. Переформулировка ключевого понятия

Э. Jakou máte životní úroveň jestli si myslíte že dobrou

Р. Otázka je co je to kategorie dobrá životní úroveň co špatná životní úroveň

Э. Já bych zavedla jiný slovo přijatelná

Р. Přijatelná tak to už je lepší

В этом случае респондент явно настаивает на уточнении вопроса (ключевого понятия), соглашаясь с предложенным уточнением.

1.1.3. Конкретизация вопроса для респондента

Э. Co je to pracovní úspěch Můžeš to vázat na svý zaměstnání konkrétně

Мы не имеем возможности уделить здесь специальное внимание рассмотрению механизма *turn-taking*, т.е. чередования собеседников, составляющего суть конверзационного анализа. Уже из трех приведенных примеров видно, что с точки зрения “*turn-taking*” причины переформулировки вопроса могут быть различными: а) это может быть заключено уже в реплике эксплоратора, начинаяющей вопрос (эксплоратор сам чувствует необходимость сразу же ввести новую формулировку, дать определенную инструкцию и пр.); б) реформуляция может отмечаться лишь в третьей реплике: эксплоратор задает вопрос, респондент сигнализирует в более или менее явном виде необходимость смены формулировки, что и вызывает соответствующую реакцию эксплоратора; ср. результаты изучения *исправлений* (*repair*) в конверзационном анализе (например, Schegloff – Jefferson – Sacks 1977).

1.1.4. Экземплификация, введение вспомогательного примера

Э. Co se vám nejvíce nelibí v současný době to znamená jako ve společnosti Kriminalita a tak dále Co se vám opravdu jako nelibí

Р. Kriminalita To ste mě na to navedla To jako mě nejvíce štve vysloveně Strach z tohodle aby se někomu z rodiny něco nestalo

Одновременно с вопросом эксплоратор предлагает и возможный ответ, на который респондент соответствующим образом реагирует, развивает его. Мало того, он даже оценивает “подсказку” (to jste mě na to navedla).

1.1.5. Перевод, “трансляция” вопроса в код, наиболее понятный респонденту

- Э. Jaký máte názor na naše politiky jak je hodnotíte
- Р. Politici
- Э. Je řákej politik kterej se vám líbí?
- Р. Líbí
- Э. No tak jako kterýmu fandíte žejo

Смущение респондента вынуждает эксплоратора постепенно менять предлагаемую формулировку вопроса, делая ее более приемлемой для партнера. Ее неофициальность, повседневность еще более подчеркивается использованием элементов языка “*obecná čeština*”. В другом интервью респондент колеблется с ответом на вопрос “о планах на будущее”, поэтому эксплоратор снова пытается приспособиться: *Nevím tak plány to zní asi jako moc hoch žejo Jak si zřejmě asi představujete budoucnost*

1.1.6. Отражение осведомленности эксплоратора о респонденте в формулировке вопроса

- Э. Kde ste byla v zahraničí v poslední době? Vím že máte nějakou dlouhou cestu za sebou

При формулировке вопроса нередко учитываются сведения о респонденте, полученные эксплоратором в ходе их общения друг с другом. Впрочем, это может быть сделано и позже, при переформулировке вопроса. Создание подобной “доверительной” атмосферы, несомненно, облегчает общение, задавая определенные рамки, в которых находится или же должен был бы находиться ответ. Так, например, вопрос о том, как собеседник относится к труду, может сопровождаться репликой типа *Tak vy jste pracovitá tak to vám káprnu do noty*; другому респонденту эксплоратор, облегчая ответ на вопрос о том, как он проводит свободное время, замечает: *Ten volnej čas vemet krátce protože já vo toho všechno vim*.

1.2. Собственно “подсказывание” (это происходит уже после того, как задан вопрос, зачастую с помощью последующих реплик, а отнюдь не посредством переформулировки задания)

1.2.1. Тематическое поощрение респондента

- Э. Eště jeden aspekt tý věci K tý svobodě třeba taky patří to že řekněme že teď' si můžeš jako říkat opravdu co chceš

В том случае, если затрагивается достаточно широкая тема (например, как в данном случае тема свободы), эксплоратор постепенно вы-

членяет отдельные тематические аспекты, подтемы, помогая тем самым респонденту, особенно тогда, когда последний, кажется, уже исчерпал свой ответ

1.2.2. Возможность выбора определенного варианта ответа из числа предложенных

Э. Tak u nás většinou lidi k volbám choděj Sou jako ukázněný nebo sou zvyklý nebo je v tom ta zodpovědnost?

Другому респонденту информатор предлагает различные варианты ответа на ту же тему – “выборы”: *Budeste se řák jako vědomě rozhodovat pro kterou stranu Nebo tak řák to vemete odhadem Nebo se poradíte s manželem?* При использовании этой техники эксплоратор заходит в своих подсказках довольно далеко: респонденту достаточно лишь что-то выбрать, не утруждая себя при этом ни размышлениями, ни формулировками.

1.2.3. Дополняющие вопросы

Э. Tak ta životní úroveň co to jako pro tebe je Co bys jako chtěl mít?

Р. Mít tolik peněz abych vystačil Nejmíň teda přinejmenším

Э. No a co je to vystačit?

Р. Vystačit to je abych si moh dovolit základní potřeby který člověk vlastně pořebeuje

Э. No a to sou který?

Особую активность должен проявлять эксплоратор в интервью с менее самостоятельными и менее красноречивыми респондентами: иногда ему приходится буквально “вытягивать” из респондента ответы, направлять его посредством дополнительных вопросов, что является одной из форм “подсказывания”.

1.2.4. Подсказывание конкретных данных или же необходимых слов

Э. Sledujete zpravodajské pořady v rozhlasu v televizi?

Р. V rozhlasu minimálně to spíš hudbu jako kulisu A v televizi pravidelně

Э. Jako zprávy teda?

Р. No taky

Э. A řáký jako publicistický pořady?

Р. Taky taky samozřejmě

Э. No tak ty Duely a ty Debaty?

Если респондент не в состоянии самостоятельно “хватить” необходимую тему, эксплоратору приходится ему помочь, сообщая недостающие данные. В этом случае роль респондента сводится лишь к пас-

сивному восприятию, его реакция минимальна. Иногда эксплоратор вынужден даже подсказывать ему необходимое слово:

- P. Ted' každej si říká co chce a druhé den že to neříkal a že to proste myslí jinak
- Э. Vodopovědnost za to
- P. Vodopovědnost za to co řekne prostě nikdo nemá jo

1.2.5. Респондент повторяет вслед за эксплоратором.

- P. A ty rozdíly ekonomický
- Э. Asi u nás budou taky čím dál tím větší
- P. Čím dál tím větší

В предыдущем пункте 1.2.4 мы уже отчасти затрагивали случаи, когда респондент, реагируя на “подсказку” одобрительно (или же отвергая ее, сомневаясь в ней, что, впрочем, бывает очень редко), лишь ее повторяет, принимает как бы полностью, с удовольствием за нее цепляется. Имея дело с особенно лаконичными респондентами, эксплоратор не может ограничиваться лишь “подсказкой”, он должен сам отвечать за них, радуясь уже тому, что партнер, по крайней мере, повторяет ответ, подтверждает его, соглашается с ним:

- Э. A vaše práce jak se vám tu líbí?
- P. No líbí
- Э. Co se vám tu nejvíce líbí?
- P. Nejvíce
- Э. Je to takovej styk s lidma
- P. No styk s lidma
- Э. A vy ste u toho i taková vokrasa
- P. No asi já nevím

2. В промежутке между “подсказыванием” и “поддакиванием”

В первом разделе эксплоратор помогал, “подсказывал” респонденту, варьируя и дополняя вопросы, по-разному их модифицируя, предлагая возможные ответы, вводя необходимые сведения и слова. Таким образом, эксплоратор перемещался в полюсе **вопроса**, подключая при этом различные **инициирующие** стратегии. Ниже нас будет прежде всего интересовать работа эксплоратора над **ответами** респондента (или же над первым вариантом, первой наметкой ответа). Эксплоратор реагирует на ответ респондента, помогает этот ответ доформулировать, додумать, что-то из него вытянуть, обобщить его. Однако при этом его реплика не сводится лишь к “поддакиванию”, одобрению ответа, к простому **реагированию**. Он не только “подсказывает”, но и помогает партнеру далее развить свой ответ. В данном разделе (в отличие от по-

следующего третьего) речь идет лишь о работе над ответом, что отнюдь не ограничивается простым одобрением, похвалой со стороны эксплоратора.

2.1. Переформулировка эксплоратором ответа респондента

- P. No tak mě baví práce rukou prostě jako vyrábění určitý řezbařský a tak
- Э. Aha takže vy ste umělecký řemeslo
- P. Dělám sport hlavně fotbal nebo vobčas basket volejbal taky
- Э. A míčové kolektivní hry

Здесь эксплоратор снова занимается “семантической трансляцией” (оперируя, впрочем, уже материалом не вопроса, а ответа), он по-новому формулирует нечетко обозначенное понятие, помогает адекватно передать наметившееся представление. Парафразу он заменяет термином или же устойчивым словосочетанием (*iakový ty tři dny v pátek se vyjede > prodlouženej víkend; nějaký ten pobytový > stáž*).

2.2. Подытоживание, обобщение ответа

- P. Asi pracuju ráda Někdy mám vyloženě chut' a je mi skoro jedno co za to dostanu Pak sou teda dny že mě třeba něco rozčílí
- Э. Aпо ale v podstatě jako prostě ta práce je pro vás důležitá
- P. Mám problémy s tím že si lidi myslí že jsem prospěchář jo protože neuvažujou stejně jako já
- Э. No tak to je vůbec problém porozumění mezi lidma

Эксплоратор подытоживает и обобщает спонтанные, непричесанные, зачастую “растрапанные” ответы респондента, достигая этого обычно с помощью таких характерных выражений, как *vůbec, v podstatě, obecně řečeno, to je typickej model*.

2.3. Интерпретация ответа, позволяющая сделать заключительный вывод

- Э. A vy ste spokojená s téma zprávama v televizi?
- P. Celkem jo
- Э. A rozhlas posloucháte?
- P. Ano při práci
- Э. Jako všecky ženy Zaplat' pámbu že existuje žejo
- P. Člověk se něco dozví
- Э. Takže já bych z toho vysoudila že se cejtíte bejt dobře informovaná o politickém dění u nás

Здесь эксплоратор предпринимает сложные, порой достаточно смелые интерпретационные и инференционные приемы. Его реакция нередко начинается с коннектора *takže*, за которым следуют глаголы типа *vysoudit*, *vyvodit*, *interpretovat*, *pochopit* (*takže by se to asi nechalo interpretovat, to znamená že bych z vás mohla vyvodit, tak když sem to dala dohromady, takže mně teda je jasný*).

2.4. Домысливание, доформулирование эксплоратором ответа

2.4.1. Возвращение к теме

- P. Sestra je vedoucí účtárny je ji třicet let ale ještě není vdaná žije zatím u nás doma u rodičů Ona je ta jediná která má skutečně celkem slušný plat
- Э. Takže zvyšuje životní úroveň vaší rodiny

Эксплоратор додумывает и переформулирует ответ таким образом, что (в соответствии со своей ролью в диалоге и вообще во всем институциональном дискурсе) он как бы возвращается назад, приближается к поставленному **вопросу**, к заданной **теме** (в данном случае к теме “**жизненный уровень**”).

2.4.2. Стимулирование дальнейшего развертывания ответа

- P. Abych nemusel přemejšlet jestli si věc můžu koupit nebo nemůžu
- Э. Jakoukoliv
- P. No ne jakoukoliv No věc kterou Druhý auto je zbytečný například jo ale
- Э. Věc kterou potřebuju
- P. Věc kterou potřebuju k tomu abych normálně bezstarostně moh tím životem procházet jo

Эксплоратор додумывает ответ, старается его “доказать” и одновременно “подсказать” респонденту. Благодаря этим своим дополнениям он помогает партнеру развить свой ответ, открывает перед ним новые возможности.

2.4.3. “Вживание”

- P. Já se tu naučil žít sem tady zkrátka
- Э. A dokonce se ti tady i líbilo vid'
- P. Líbilo se mi tady

Впрочем, иногда эксплоратор, реагируя на ответ, “додумывает” его и менее рациональным способом. Он скорее угадывает смысл ответа, а также точку зрения или же позицию партнера, исходя при этом из своего знания респондента, вживаясь в его мир.

2.5. Проверка на респонденте реформуляции, предложенной эксплоратором

- P. No kdybych se rozhod tak bych moh vodcestovat Ale tak já sem rád tam kde sem Mám rád tudle vlast
- Э. Vidíš tak to znamená že člověk sice jako ty možnosti má ta svoboda je Ale zase uskutečnit to to není pro každého jednoduchý Nebo si to každej třeba ani nepřeje Jo myslíš že to tak je?

Во всех приводимых выше случаях (2.1–2.4) реакция эксплоратора на ответ (его домысливание, реформуляция, обобщение и т.д.) может сопровождаться включением поясняющего вопроса, позволяющего установить, соглашается ли респондент с его вариантом ответа, принимает ли он его интерпретацию. Ответ может быть различным, (например, *dalo by se říct?*), однако чаще всего он сводится лишь к краткому “*ne*”.

2.6. Включение эксплоратора в формулировку ответа, предложенную респондентом

- P. Lidi nadávali vždycky budou nadávat zase Sou profesionální reptalové který to maj
- Э. to maj v povaze
- P. víceméně zakódovaný už že budou vždycky se vším nespokojený

Проявлением “доказывания”, “подсказывания” респонденту могут служить и небольшие, почти незаметные включения эксплоратора, входящие в качестве составной части в ответ респондента. Эти реплики эксплоратора не нарушают последовательности ответа респондента, не прерывают его; при ответе на вопрос эксплоратор и респондент зачастую чередуются друг с другом.

3. “Поддакивание”

К “поддакиванию” относится богатый, дифференцированный репертуар различных видов стратегий, основывающихся на положительном отношении эксплоратора к ответам респондента, его взглядам, поведению, высказываемым формулировкам и т.д. Как мы увидим далее, проявления согласия и похвалы со стороны эксплоратора нередко носят преувеличенный характер. Стремясь к успешному развитию разговора, эксплоратор намеренно подчеркивает свое согласие с респондентом, максимально идет ему навстречу. Порой он ведет себя даже услужливо и конформистски, его постоянные заявления “*já taky*” порой производят даже комичное впечатление.

3.1. Согласие эксплоратора с респондентом: средства его выражения

3.1.1. Модальность согласия

- P. Neberu to jako společenskou záležitost rozumíte
 Э. Ano ano naprosto rozumím
 P. Vyplývá to jako z mé povahy
 Э. Jistě to je tak vždycky samozřejmě

Эксплоратор обычно демонстрирует полное согласие с партнером (чем его еще больше подбадривает), используя такие слова, как *ano* (*no*, *nojo*), а также многочисленные средства модальности согласия типа *jistě*, *samořejmě*, *určitě*, *rozhodně*. Согласие с респондентом может передаваться и посредством словосочетаний типа *máte pravdu*, *to je pravda*, *to je jasný* (*normálni*, *pochopitelný*, *opodstatněný*), *ani se nedivím* и пр., а также конструкций отрицания, помогающих эксплоратору реагировать на негативные высказывания респондента:

- P. Tak se to přece nedá dělat
 Э. Ne, to rozhodně ne

3.1.2. Согласие + повторение вслед за респондентом

- P. Spoustu šikovnejch lidí bych třeba rád v tom parlamentě viděl ale ti většinou nekandidují
 Э. To je pravda většinou nekandidují

Свое согласие эксплоратор еще более подчеркивает, дословно воспроизводя либо все высказывание респондента, либо его часть.

3.1.3. Согласие + парафраза ответа респондента

- P. Sestra se vdala žejo odešla z rodiny
 Э. Ano neužídá ze společného krajice no

Интерес представляют одобрительные реакции эксплоратора, представляющие собой парафразу ответа респондента с использованием идиомов и фразеологизмов (*neužídá ze společného krajice*; *přestali ste žít dva krky*; *nemůžete si vyhazovat z kopýtko...*)

3.1.4. Согласие + усиление

- P. Že když jednou na tom světě sem že bych docela měla právo se někam podívat
 Э. To je pravda Právo a snad dokonce i povinnost

Свое согласие эксплоратор зачастую усиливает посредством использования средств градации, контраста, экспрессивных выражений, акцентировки.

3.2. Похвала респондента

3.2.1. Похвала за его поступки, поведение

P. Tak sem toho nechala a dala sem výpověď'

Э. Tak to ste určitě udělala dobře

В данном случае согласие эксплоратора приобретает характер похвалы, одобрения поступков респондента, о которых речь шла в предыдущей реплике.

3.2.2. Похвала за высказанную точку зрения

P. Kdyby byla větší poctivost mezi těma nahoře že by byla i větší poctivost mezi těma dole a mohlo by to jít dopředu trošku rychleji

Э. No ale víte že to se mně zdá bejt hodně teda moudrý Je to pravda no žádný příklady nejsou

В этом случае эксплоратор хвалит респондента за содержащиеся в его ответе оценки и позицию; чаще всего это делается с помощью слов *to je moc pěkný, to je krásný, to ste skromná* и пр. Мы не будем останавливаться на другом типе, точнее основании для похвалы – например, когда эксплоратор хвалит респондента за сотрудничество во время интервью (ср. об этом 4.3.).

3.3. Понимание, проявленное по отношению к респонденту

3.3.1. Благожелательность, понимание со стороны эксплоратора

P. Vobě děti dojížděly do školy čili furt peníze

Э. No platili ste všechno

P. Ted' sice u nás dál voba bydlejí ale už to není takový no

Э. No přece jen mají svůj vlastní příjem

Проявляя взаимопонимание с респондентом при обсуждении его проблем, эксплоратор старается проникнуть в его внутренний мир, в его образ мыслей.

3.3.2. Удивление, изумление

Э. Tančit už nechodíš A proč?

P. Už si připadám moc starej na to

Э. Ježíšmarjá no tak prosím tě jak je to možný?

В подобных ситуациях удивление эксплоратора объясняется знанием респондента (в данном случае это парень лет двадцати). Удивление эксплоратора (чаще всего это недоумение по поводу низких доходов респондентов), хотя и нельзя рассматривать непосредственно как проявление согласия или же поддакивание, тем не менее оно все же свидетельствует о симпатии и сочувствии.

3.3.3. Сочувствие по отношению к респонденту

P. Ted'ka zase zdražili jesle takže já platím skoro čtrnáct set jesle měsíčne
 Э. Za měsíc čtrnáct set za jesle no to je teda paleta strašná To na tom vopravdu nejste moc dobře ani se nedivím že si stěžujete

Проявления участия и сочувствия со стороны эксплоратора нередко сходны с названным выше выражением удивления и взаимопонимания; их отличает значительная эмоциональность.

3.4. Отождествление эксплоратора с респондентом

3.4.1. Демонстрирование сходства взглядов

P. Lidi nejsou ochotný k něký takový argumentační diskuzi Naprostá odmítavost k přístupu nebo názoru toho druhého
 Э. Nojo nadávání jako program To je ta póza těch lidi prostě nadávat nic neřešit.

В отличие от предыдущих категорий эксплоратор уже не ограничивается одним лишь проявлением согласия, поощрения, участия, взаимопонимания. Если ранее он сохранял определенную дистанцию, не высказывая в ходе диалога свои собственные взгляды (т.е. “не выставляя на показ свое собственное нутро”), то в пункте 3.4. он, напротив, активно солидаризируется с респондентом, демонстрирует сходство их взглядов, явно становится на его сторону.

3.4.2. Идентификация как свидетельство перехода на позиции респондента

P. Když se nenašelší tak jedeme do Hradiště no
 Э. To je někdy lepší než do zahraničí tam není nikdy jistota že se to vyvede

В подобных случаях эксплоратор может идти еще дальше: он не просто заявляет о сходстве своей позиции с позицией партнера, а полностью ее, хотя бы временно, разделяет, pragmatically с ней солидаризируется, выдавая ее за свою собственную точку зрения. Столь внезапное и аффектированное единение эксплоратора с респондентом не может не вызывать сомнения. Сходную стратегию конформистской

солидарности эксплоратора с респондентом можно наблюдать и в нижеследующих пунктах.

3.4.3 Записывание, угодливость

- P. Obdivuju lidi který maj čas čist Ne obdivuju závidím jim
 Э. No ale voni zase třeba dělaj mítí jinejch věcí

Здесь идентификация уже приобретает характер комплимента, лести (эксплоратор восхищается разносторонностью и трудоспособностью респондента).

3.4.4 Средства выражения отождествления

3.4.4.1. “Я ТОЖЕ”

- P. Ted'ka si uvědomuju že vod listopadu sem přečet jednu knížku To je hrozný
 Э. No tak to víte že já taky? Není čas na to vůbec

Использование в качестве средства идентификации выражения “*já taky*” в нашем материале встречается настолько часто, что не может не вызывать у нас недоверия. Возникает ощущение, что эксплоратор чисто прагматически поддерживает любое высказывание респондента, о чем свидетельствует постоянное употребление таких конструкций, как *já taky mám ten názor; já sem to taky zažila; já taky nemám moc ráda ty Lidovky; já si taky kupuji ty ženský žurnály; to já taky nemusím mít...*

3.4.4.2. “ЧЕЛОВЕК”

- P. Sport mám ráda ale občas Zas nějak moc ho nevyhledávám
 Э. Že by člověk bez toho nemoh být to by moh to je pravda

Употребление замещающего слова делает идентификацию менее явной, однако конечный результат практически один и тот же: опять-таки мы наблюдаем максимальную приспособляемость эксплоратора, готового не только понять мир, в котором живет респондент, принять его взгляды, но и полностью с ними солидаризироваться.

3.4.4.3. Инкорпоративное множественное число в 1. лице

- P. Společenská odpovědnost neumím si pod tím nic představit ne
 Э. To sou prostě pro nás takový prázdný pojmy vid?

- P. Ten kontakt s tím děním místním nemám
 Э. Ne my ženy zaměstnaný to necháme na ty aktivní ženy bez rodin

My, náš, my ženy... – все это средства выражения инклузивного множественного числа инкорпоративного типа, посредством которого, как

полагает Матезиус (Mathesius 1947), говорящий рассматривает “себя просто как члена большого коллектива”. В эту же группу он включает и своего партнера по диалогу, давая тем самым понять, что речь идет об “одном общем для всех деле”. Тем самым подчеркивается отождествление с респондентом, сближение с ним, полная солидарность, наличие сходства определенных интересов, системы ценностей (*to sou naše koníčky; my máme spoustu jiný práce; my sme skromný; nejsme tak náročný...*).

3.4.5. Парадоксы идентификации

Раздел об идентификации мы хотели бы заключить наглядной демонстрацией того, как в своем стремлении завоевать (и сохранить) симпатии респондента и тем самым обеспечить оптимальное взаимное сотрудничество в ходе всего интервью, эксплоратор настолько приспособливается к респонденту, что даже начинает себя вести, как конформист.

(1)

- Э. Kam pojedeš letos?
- Р. Letos sme chtěli jet do Řecka
- Э. A tam je krásně tam sem už byla
- Р. Tak snad se nám to podaří
- Э. Musíme se do každý země podívat

(2)

- Р. Byli sme dvakrát třikrát na Západě podívali sme se Ale už mě to pustilo Už ani žádný nadšení
- Э. No už sme to viděli
- Р. No už sme to viděli
- Э. Obchody sou všude stejný
- Р. Doslova

Сопоставление примеров типа (1) и (2) не нуждается в комментариях. Оба респондента совершенно противоположно относятся к заграничным путешествиям. Что же касается эксплоратора (в обоих случаях это одно и то же лицо), то он с ними всегда (в одном случае, очевидно, лишь внешне) полностью соглашается, идет им навстречу.

3.5. Позитивный диалог

- Р. V zahraničí když sousedi vidí že soused má nový auto tak neřeknou třeba kde na to nakrad ale ten asi pracuje ten se umí ohánět
- Э. Aha to je spíš takové pozitivní vztah ke všemu
- Р. Ano tak to je
- Э. A u nás je takové kverulantskéj

P. Ano přesně tak ale to je myslim našě vlastnost

Э. Náš národní charakter

P. Ano tak

Все средства выражения согласия, похвалы, идентификации, приспособления, угодничества и т.д., названные в разделе 3.4., нередко способствуют возникновению между эксплоратором и респондентом образцово показательного гармоничного диалога, олицетворяющего собой кооперативный принцип Г. Грайса (Grice 1975) и вежливостную максиму согласия, выработанную Г. Личем (Leech 1983). Этот диалог основывается в полном смысле слова на консенсусе, когда собеседники буквально выхватывают друг у друга мысли и формулировки, “поют”, так сказать, в унисон.

4. Другие виды кооперативной стратегии (преимущественно метакоммуникативного характера)

4.1. “Это трудно”

Э. A tvoje plány do budoucna na zlepšení životní úrovně? No tak to je asi dost těžký vid'

К числу позитивных стратегий, при которых эксплоратор активно сотрудничает с респондентом, идет ему навстречу, относится и ситуация, когда эксплоратор, задавая вопрос, по сути, сразу же освобождает респондента от ответа. Эксплоратор позволяет собеседнику уклониться от ответа, помогая ему избежать ситуации, при которой он может попасть в щекотливое положение (ср.: Brown, Lewinsohn 1987). Так, если за вопросом следует реплика *to je těžký, to se těžko posuzuje, to je problematický* или же *vy ste mladá, vy eště nemáte zkušenost, o tom asi člověk ani nevívaží je* и т.п., то тем самым эксплоратор сигнализирует, что не будет настаивать на ответе. В силу этого он облегчает положение респондента, позволяя ему с честью выйти из ситуации. И эта стратегия избежания, уклонения в известном смысле также является “подсказыванием”. Впрочем, подсказывание здесь носит не конкретный, информативный характер, а является именно **стратегическим**.

4.2. “Вы уже это, собственно, сказали”

Э. Tak můžeme k tomu dalšímu okruhu my sme teda něco z toho uz probrali protože sem se vás chtěla ptát na to jak hodnotíte naše politiky tak to už máme za sebou to už vím

Все стратегии, рассматриваемые нами в четвертом разделе, носят по преимуществу **метакоммуникативный характер**. Их основу составляют высказывания эксплоратора (иногда также респондента), относящиеся к данному коммуникативному событию, к проводимому интер-

вью. Эксплоратор, предлагая вопрос, одновременно сообщает партнеру, что *vy ste to tady už hodně nakous, vy ste o tom už vlastně hovořil, my sme už z toho tady hodně prohovořili, už trošku sme do toho zabrousily, vy už ste toho tady spoustu řek*. Тем самым он снова явно идет навстречу респонденту, давая ему понять, что на некоторые вопросы он может не отвечать, что свою задачу он в значительной степени выполнил, что интервью вполне удовлетворяет поставленным задачам. Подобные высказывания эксплоратора, собственно, касаются **структур** разговора. К этому же стремится и респондент, нередко активно участвующий в реализации этой структуры. Об этом свидетельствуют высказывания респондентов типа *já sem ted'ka od toho trošku unikl, já bych to rozdělila, myslím že k tomu už není potřeba nic říkat...*

4.3. Оценка участия в интервью респондента

*Э. S vámi se mi dobře mluví protože vy hned všechno pochopíte co chci
Nakonec eště budeme mluvit kratší dobu než pořeboujeme*

Кооперативную функцию выполняют и частые похвалы эксплоратора, адресованные респонденту. Они касаются их сотрудничества в ходе интервью, участия в нем респондента. Оценивая взаимодействие с респондентом, эксплоратор обычно применяет следующие выражения: *dobrý, to je fajn, de nám to výborně (moc dobře, bezvadně); to sme probrali už hodně dopodrobna; to sme vyčerpali až hodně bylo to zajímavý; to sme si dobře vyjasnili (objasnili); tak to ste mně dal moc pěknej příklad konkrétní*. Используются и типичные метаязыковые выражения типа *to ste řek moc hezky, to ste vyložil, krásně, to ste moc dobře vyjádřila, no tak to bylo velice precizně řečeno...* Высшей оценкой является, например, следующее: *Vidíte já se ešte s váma poučitím opravdu já zmoudřím*. Подобные метаязыковые и метакоммуникативные оценки побуждают респондента к дальнейшему сотрудничеству, разумеется, если это не происходит в конце интервью (*Tak já si myslím že sme to opravdu zvládly všechno dobře; Fajn já si myslím že ste mi toho řek opravdu spoustu strašně*).

Попутно отметим, что иногда и респондент по-своему оценивает, характеризует свои ответы. Это делают, впрочем, лишь те участники обследования, которые умеют посмотреть на свой ответ как бы со стороны, т.е. оценить самих себя, например, *já bych začala velice netradičně, asi to vypadá ted' iřeba trošičku možná učebnicově, je to ode mě takový trošku monotematický, já vim to je takové ořepané*. В отличие от эксплоратора, щедро одаривающего респондентов хвалебными оценками, последние явно относятся к себе критически. Примечательно, что специфические метаязыковые высказывания порой произносят и сами респонденты: *mluvím osobně, nedokážu to definovat, netroufám si to říct, asi takle bych to jako formuloval...*

4.4. Включение в более широкий контекст институционального дискурса

P. ODA je to moje strana

Э. A víš že skoro všichni mají ODu

P. Skutečně jo?

Э. No opravdu co já dělám rozhovory tak všichni mají ODu

В пунктах 4.2 и 4.3 мы имели дело с конкретным интервью. На практике, однако, эксплоратор часто апеллирует к обследованию в целом, к другим своим интервью, сопоставляет характер взаимодействия между собеседниками в предыдущих случаях. Такие высказывания играют роль своего рода контекстуализаторов. Об имеющемся у эксплоратора опыте ведения подобных развернутых дискурсов свидетельствуют, например, высказывания типа *většina / většinou: většina mých respondentů čte Mladou frontu; většinou se lidé ptám na rozdělení Československa, většinou jím připomenu, většinou jím to konkretizuju...* Включение в контекст других диалогов подтверждают и сравнения типа *to nejste sama, nejste první, to říká skoro každej, to mi eště nikdo neřek* и пр.

4.5. Отход эксплоратора от схемы интервью

Э. Učila by ses jazyky dál by ses vzdělávala Eště tak aby v tom mozku to zůstalo

P. Tak vono já sem slyšela že to chce pořád trénovat

Э. No tak já tomu moc nevěřím já už to pocit'uju mně ta paměť už nějak neslouží

Во введении мы уже отмечали, что интервью осциллируют между институциональным дискурсом и повседневной конверзацией его участников. Неформальный конверзационный характер носят различного рода отступления, например, когда эксплоратор на какое-то время забывает о своей официальной роли и участвует в разговоре как частное лицо. Благодаря этим специфическим контекстуализаторам интервью включается в развернутый дискурс с респондентом (чаще всего с приятелем, знакомым, соседом, коллегой). Подобного рода отступления эксплоратор иногда сопровождает вербальным комментарием (*já sem trošku vodběhlá vono mi to nedalo*). Иногда эксплоратор делает отступление с целью разузнать у респондента нечто интересное, поучительное для себя:

Э. To si můžete vzít do letadla kolo? To ste měli takovou výjmku nebo to může každej? Jako zavazadlo?

P. No to může každej

В других случаях, напротив, он сам не может устоять перед соблазном **посоветовать** партнеру, научить его, помочь ему решить его проблемы:

- P. Janáčka já sem slyšel vod něj jednu věc nic víc sem vod něj neslyšel
- Э. No tak si poslechněte Tarase Bulbu a Sinfoniettu to je strašně krásný no opravdu ale
- P. No tak já to zkusím no

5. Отражение различий во взглядах эксплоратора и респондента, провоцирование респондента

- P. Čtu Český deník i když teda co se týče jazykového je nejslabší člověk tam nachází hrubky
- Э. Ale taky von je jako řákej štvavej si myslim
- P. Ale nevím von zas jako velice objektivně třeba uveřejňuje dopisy čtenářů byť teda s tím třeba ty redaktoři nesouhlasej Nemyslím si že to je řáká štvavost
- Э. Mně to přišlo až dost No ale to je individuální no

Наконец как самостоятельную категорию мы рассматриваем и единичную небольшую группу реплик эксплоратора, стоящих в стороне от стратегий кооперативных и явно выраженных контактных. В этих случаях эксплоратор решается на выражение определенного несогласия со взглядами респондента. Эксплоратор спорит с респондентом (обычно не слишком резко), подвергает сомнению его позицию, старается скорректировать его взгляды. Иногда он тем самым стремится **спровоцировать** респондента с тем, чтобы он развел свою точку зрения, защитил ее. Чаще же эксплоратор ведет себя достаточно осторожно, он берет назад “свои колкие замечания”, **отказывается** от них. Он как бы пятится назад, давая возможность респонденту настоять на своем (ср. выше маневр *No ale to je individuální no*).

В заключение мы хотим подчеркнуть, что роль эксплоратора в открытых диалогах предъявляет исключительно высокие требования к уровню его коммуникативной компетенции. Эксплоратору приходится активизировать весь обширный комплекс стратегий с одной единственной целью: облегчить участие респондента в интервью, заинтересовать его в успехе разговора, настроить его положительно. Вот почему столько доброжелательности, столько похвал, проявлений согласия и взаимопонимания. Именно поэтому эксплоратор так активно помогает респонденту, “подсказывает” ему, старается создать впечатление не-принужденности, раскованности. Он отнюдь не заставляет партнера, позволяет ему даже не отвечать на некоторые вопросы. Вот почему эксплоратор порой даже не слишком искусно солидаризируется со

взглядами респондента, идет ему навстречу. Учитывая, что многие из респондентов весьма мало подготовлены к ведению подобных разговоров, эксплоратор всемерно помогает им преодолеть коммуникативный барьер. Стратегии, используемые эксплоратором, полностью ориентированы на респондента. Именно для него он старается создать ситуацию по возможности менее официальную, перемещаясь при этом в диапазоне между официальным дискурсом обследования и дружеской конверзацией. Причем дружеская, неформальная тональность в этом случае, несомненно, является преобладающей. Поэтому мы полагаем, что анализ подобных интервью имеет большое значение для исследования проблемы контекстуализации (в данном случае она всегда является двусторонней), а также для изучения широко понимаемой, семантически и прагматически профилированной "трансляции", происходящей между двумя участниками конкретного диалога (эксплоратор здесь выступает в роли "транслятора") и двумя весьма отличающимися друг от друга дискурсами. Осознание всей сложности этого типа коммуникации позволит нам понять причины упоминавшегося выше конформизма, преувеличенного стремления приспособиться, найти общий язык с партнером. В интересах дела, заботясь об успехе интервью, эксплоратор предпочитает "поставить под удар" свое собственное самолюбие, а отнюдь не самолюбие респондента.

Л и т е р а т у р а

- Brown P., Levinson S.C. *Politeness. Some Universals in Language Usage*. Cambridge, 1987.
 Grice H.P. *Logic and Conversation* // P. Cole – L. Morgan (eds.), *Syntax and Semantics*. Vol. 3: *Speech Acts*. New York, 1975.
 Houtkoop-Steenstra H. *Meeting Both Ends: Between Standardization and Recipient Design in Telephone Survey Interviews* // *Situated Order*. Ed. P. den Hove – G. Psathas. University Press of America, 1994.
 Houtkoop-Steenstra H. *Probing Behaviour of Interviewers in the Standardised Semi-Open Research Interview. Quality and Quantity* (в печати).
 Leech G. *Principles of Pragmatics*. Longman. London; New York, 1983.
 Mathesius V. *Jazykozpytné poznámky k řečnické výstavbě souvislého výkladu* // Čeština a obecný jazykozpyt. Praha, 1947.
 Müllerová O. *Podmínky úspěšnosti rozhovoru jako metody sociálně psychologických výzkumů* // *Kształcenie porozumiewania się*. Opole, 1994.
 Schegloff E., Jefferson G., Sacks H. *The Preference for Self-Correction in the Organization of Repair in Conversation* // *Language* 53, 1977.

Перевод Г. Нещименко

К. Камиш

(Чехия)

КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЯЗЫК КАК МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

В социокультурном, социолингвистическом и учебно-воспитательном аспектах культуры, мышление и образование в современном мультикультурном пространстве Чешской Республики (ЧР)¹ детерминированы сосуществованием славянских и неславянских языков общения. Способ видения и понимания действительности чешским большинством и нечешским меньшинством (главным образом, цыганским этносом) в большой степени являются такими, какие они есть, именно потому, что языковые навыки названных категорий населения предопределяют тот или иной выбор интерпретации действительности в соответствии с социальными, этническими, культурными, религиозными, политическими и другими условиями жизни участников коммуникации, а тем самым определяют и наличие коммуникативных барьеров, с ними связанными.

С биолингвистической точки зрения можно добавить, что активизация различных центров (человеческого) мозга (речи, мышления, памяти и др.), биологически обеспечивающих коммуникацию, предопределена уже родным языком, который определяет способ, посредством которого пользователи языка чешского большинства и нечешских этносов, проживающих в ЧР, воспринимают и интерпретируют фонематические звуки, поступающие из внешней среды в центральную нервную систему [Kamiš 1995, 173].

Использование языка (литературного и нелитературного) обусловливает понимание мира человеком. Это связано с тем, что язык понятийно, терминологически и словесно детерминирует достижение категорий времени (*психического настоящего*), пространства (*объективной реальности и внутреннего субъективного пространства*) и причинности. Вследствие этого языки этнического большинства и этнического меньшинства определяют подход пользователей к миру (внешнему и внутреннему), влияют на организацию поведения в нем (не только вербального)². Так, например, цыгане нацелены на актуальное *настоящее* и свое *прошлое*, но не на будущее (см. различное понимание категорий глагольного времени в чешском и цыганском языках).

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОДНОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ

Рассматривая процесс усвоения естественного языка, мы исходим из так называемого оstenсивного определения. Его можно определить как “*любой процесс, при помощи которого некоторое лицо учится понимать некоторое слово, не прибегая к помощи других слов*” [Russell 1967].

Процесс формирования семиоза связан с начальным этапом усвоения родного языка в раннем детстве, когда ребенок еще не знает ни одного (естественного) языка.

Условия оstenсивного определения у детей раннего и дошкольного возраста и у индивидуума, уже владеющего родным языком, различны. В последнем случае индивидуум уже знает, что существуют слова (то есть им уже освоен процесс *семиоза* в родном языке) и новый *объект обозначения* он может усвоить – наряду с оstenсивным определением – и при помощи так называемых *обозначающих фраз* [Russell 1967].

У взрослого человека в период его ментального созревания использование оstenсивного определения отходит на второй план в вопросе, касающемся развития и культивирования его родного языка [Kamiš 1994, 267–275]. Точно так же на второй план отходит использование оstenсивного определения и при усвоении взрослым человеком иностранного языка. Это вытекает из самого характера оstenсивного определения. То есть индивидуум старше шестилетнего возраста, приступающий к изучению иностранного языка, с биолингвистической точки зрения должен начинать со стадии перевода [Penfield 1974] иностранного языка на родной. При этом он имеет реальную возможность не преодолеть стадии формирования механизма переключения в новых структурах недоминантного неречевого полушария мозга (для родного языка эти структуры уже образованы в доминантном речевом полушарии) и потерпеть неудачу уже при преодолении этого первичного барьера в коммуникации. В этом случае активно думать на иностранном языке он уже не сможет никогда [Kamiš 1993].

Раннее детство является периодом, в течение которого ребенок осваивает грамматическую систему родного языка в целом. Это справедливо и для изучения другого языка³. Способность ребенка к изучению нескольких языков по достижении им шестилетнего возраста биологически утрачивается.

Позднее, в период младшего школьного возраста ситуация, связанная с формированием индивидуальной грамматичности, изменяется уже мало. В чешской школе, изучая предмет “чешский язык”, чешский ученик доучивает литературные окончания отдельных форм изменяемых слов, уясняет отношения внутри грамматической системы и выучивает элементарную лингвистическую терминологию. Систему язы-

ка он уже на интуитивном уровне знает и языковое понимание внутрисистемных отношений у него сформировано⁴.

В первом классе основной школы чешский ребенок, овладевший чешским языком в раннем детстве, формулирует связанные высказывания на основе интуитивного освоения грамматической системы чешского языка. В речи он оперирует высказываниями, которые отвечают закономерностям чешского языка.

Иначе обстоит дело у учеников цыганского или других этносов, проживающих на территории Чешской Республики, для которых чешский язык, как язык иностранный, является значительным барьером в общении. Этим детям, если они не освоили в должной мере иностранный (официальный) язык (этнического большинства) – чешский язык – необходимо перед поступлением в чешскую школу, в период дошкольного языкового воспитания, дочутить грамматическую систему литературного чешского языка. Это означает устранение аграмматизмов, ошибочных аналогий флексивной системы чешского языка, нелитературных вариантов окончаний; перестраивание индивидуальной языковой системы в русле системы форм литературного языка⁵.

ПРЕОДОЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В ДОШКОЛЬНОМ И В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Подход к освоению языка определяет и тип коммуникативных барьеров, связанных с тем, осваиваем ли мы родной язык (первичный код), или один и более *иностранных языков* (вторичный код или вторичные коды). В условиях мультикультурной среды современной Чешской Республики это касается прежде всего освоения официального языка – чешского языка, главным образом цыганским этносом, или вьетнамским, китайским этносами, дети которых изучают язык в школах чешского большинства, а взрослые – во время исполнения служебных обязанностей, где без знания официального чешского языка обойтись нельзя. Отсутствие практических навыков владения чешским языком является одним из коммуникативных барьеров этих этносов.

А. Наиболее просто ситуация складывается у тех пользователей языка, для которых анализируемый язык с его коммуникативными барьерами является родным. В этом случае мы можем опираться на их языковое сознание. Это же языковое сознание не работает при освоении иностранного языка в период онтогенеза у детей от шести лет и старше.

Языковое сознание, основанное у чешского пользователя на знании родного языка, при создании коммуникативного сообщения интуитивно опирается на глагольный предикат и его потенциальные и облигаторные актанты. Предикат является фактором, определяющим выбор синтаксической структуры высказывания, где в позиции предиката стоит личная форма глагола. Эта позиция предопределяет, пойдет ли

речь о *структуре высказывания с субъектом* (подлежащее, выраженное именем существительным в именительном падеже), или *без субъекта*, и какими в этом случае будут структурные основы этих предложений (элементарные синтаксические структуры), а также пойдет ли речь о структурах *простого* или *сложного* предложения⁶.

Освоенные в раннем детстве и развитые в дошкольном возрасте в процессе речевого онтогенеза ребенком чешской национальности основные принципы синтаксиса, в основе которого лежит глагол и его валентности, позволяют создавать грамматически и семантически адекватные высказывания – простые и сложные предложения. Иначе обстоит дело у детей некоренных этносов.

Б. Более сложной с точки зрения преодоления кодовых барьеров ситуация становится при освоении иностранного языка (вторичного кода). В этом случае мы еще не можем опереться на языковое сознание, ибо оно пока еще не сформировано в процессе речевого онтогенеза и не закреплено регулярной речевой практикой.

ОНТОГЕНЕЗ ЯЗЫКА И РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Социализация ребенка в смысле его приобщения к коллективу представляет собой интеграцию ребенка в социальную систему, членом которой он становится именно за счет его принадлежности к определенному социальному слою – цыганскому или чешскому, смешанному цыганско-чешскому или чешско-цыганскому или же к другой социальной группе.

В мультикультурном чешско-цыганском пространстве разные общественные группы для выражения одних и тех же потребностей используют разные языковые и речевые коды и, вместе с тем, иные лексические и грамматические коммуникативные средства чешского или цыганского языков. Обращают на себя внимание различия между дифференциацией языковых репертуаров индивидуальных пользователей языка и социальной дифференциацией общества, особенно заметные сейчас в условиях ярко выраженного социального неравенства, например, неравенства в образовании, профессиях, в доходах и т.п.

Пока цыгане проживали в рамках определенной территории, радиус которой определялся расстоянием, которое можно было пройти пешком за день или два (на свадьбы, похороны, храмовые праздники, по другим культурным или социальным поводам), не возникало необходимости конституировать коммуникативный стандарт на уровне литературного цыганского языка, функционально обслуживающего все имеющиеся цыганские диалекты. Напротив, для обмена информацией в функциональном плане вполне хватало региональных вариантов цыганского языка (на уровне диалектов). Для речевых контактов внутри семьи, касающихся обычной ежедневной деятельности цыган, был до-

статочен минимальный словарный запас, распространяющийся в том числе на традиционные цыганские профессии и способы добычи средств к пропитанию. Это подчеркивалось тем, что данные виды ремесел не требовали даже начального школьного образования. Поэтому большинство цыган, особенно старшего поколения, являются неграмотными или полуграмотными.

СЕМЬЯ И РЕБЕНОК

Язык (langue) и речь (parole) имеют принципиальное значение в процессе социализации ребенка в раннем детстве и в период младшего школьного возраста.

1. Чешские и цыганские дети осваивают язык и речь внутри определенного социального слоя, и прежде всего при посредничестве собственной семьи.

2. Саму действительность ребенок осваивает посредством языка общества и речи семьи.

3. В семье ребенок осваивает прежде всего определенный социально-дифференцированный речевой код: а) чешский ребенок – прежде всего *обиходно-чешский*, в минимальной степени *диалектный* и *литературный*; б) цыганский ребенок – материнский *диалектный* код, в минимальной степени *“обиходно”-цыганский* и параллельно код этнического большинства в форме *нелитературного, обиходно-разговорного чешского языка*.

4. Параллельно с освоением *rечи* ребенок, подражая, перенимает и закрепленные (кодифицированные) нормы использования *речи* в значении языка.

Первичный речевой и языковой опыт раннего детства (связанный с семейной средой) становится решающим для дальнейшего социальногозрения ребенка.

В отличие от определенной закрытости и изолированности семейного цыганского региона в настоящее время цыгане вынуждены все чаще выходить из социальной, культурной, территориальной и речевой изоляции. Цыгане обязаны посещать чешские школы, в ряде случаев должны принимать участие в нецыганских производственных процессах. В результате этого, они вынуждены гораздо чаще использовать в коммуникативных актах с нецыганами официальный язык чешского большинства, чтобы иметь возможность взаимопонимания как между собой (о тех детекатах, для которых в цыганском языке до сих пор не существует наименования), так и с остальными нецыганскими индивидуумами, которые не говорят по-цыгански. Вследствие этого они потенциально становятся билингвами по необходимости (в большинстве случаев с минимальной степенью освоения официального языка этнического большинства).

Для современного цыганского языка характерно, что он является языком живой речи (в значении *parole*). Примечательно, что в ряде цы-

ганских семей цыганский язык является первичным коммуникативным кодом при коммуникации цыган с цыганами (между собой), и ряд цыганских детей дошкольного возраста не владеют ни одним другим языком, кроме родного. Эти дети не могут объясняться с пользователями кода этнического большинства и при поступлении в школы этнического большинства демонстрируют, прежде всего, ярко выраженную коммуникативную неуспешность по всем предметам основной или средней школы.

ШКОЛА И УЧЕНИК

Наряду с семьей *школа* является вторым важнейшим институтом, принимающим участие в социализации ребенка-школьника. В отличие от семьи, в рамках которой происходит социально-дифференцирующая социализация, школа отдает предпочтение *интегративной* тенденции социализации.

ВЕРБАЛЬНЫЙ ШОК И НЕУСПЕХ В ШКОЛЕ

Коммуникативные барьеры особенно характерны для начинающих школьников низшей ступени основной или начальной школы, или же школ для молодежи, нуждающейся в специальной опеке. Поступление в первый класс этих школ для целого ряда детей является, с точки зрения коммуникации, вербальным шоком. Он заключается в том, что единственной фомой национального языка, с которой ученики встречаются в школе чешского большинства, является литературный язык. Эта форма языка начинает функционировать как *интегративный критерий*, на который должна распространяться языковая и речевая компетенция каждого ученика. И именно в виду того, что большая часть воспитания и образования на первой ступени основной школы имеет вербальный характер, то есть осуществляется на литературном языке (в вербальном коде), с которым большинство детей не знакомо не только на уровне устной речи (разговорный чешский язык), но и совершенно не знакомо на уровне графики (письменный, печатный чешский язык), ребенок начинает переживать эту возникшую для него новую ситуацию как (потенциальный) вербальный шок.

Здесь лингвистическая норма языка и ее кодификация, представленная в школе только литературным языком, необходимо функционирует как универсальный критерий, на который распространяется речевая компетенция каждого ученика, и который связан прежде всего с уровнем речи (*parole*) и минимально со знанием языка (*langue*). Это хорошо видно у учеников младшего школьного возраста, являющихся с филологической точки зрения в сущности почти невежественными, однако, несмотря на это способных генерировать краткие высказывания, которые и грамматически, и семантически соответствуют принципами синтаксического построения речи (*parole*) родного языка⁷.

В этих случаях цыганские дети и ученики цыганской национальности демонстрируют в чешском коде более низкий, чем чешские дети и ученики, уровень освоения чешского языкового репертуара и минимальное языковое сознание. Ученик младшего школьного возраста цыганской национальности не чувствует ни облигаторного управления чешского глагольного предиката, ни потребности дополнить его семантически, ибо это свойство чешского глагола (глагольное управление) не сформировано в его языковом сознании. В связи с этим чешский язык становится для школьника серьезной причиной возможной неуспеваемости в школе, независимо от его интеллектуальных способностей.

В Чешской Республике цыгане младшего и старшего школьного возраста получают в чешских школах базовое школьное образование на уровне литературного языка этнического большинства. И именно этот неродной язык в его требуемой школой кодифицированной литературной форме, бывает главной причиной неуспеваемости цыганских детей и учеников при получении ими начального образования на чешском языке.

Процесс перестройки языкового кода может вести (в детской психике) к разнообразным коммуникативным нарушениям. Речь идет о случае ярко выраженного биолингвистического коммуникативного барьера. Недостаточность стимулов, поступающих из социальной среды, ограниченность социальных и культурных импульсов, побуждающих к развитию детский мозг в процессе языкового онтогенеза, – все это оказывает значительное влияние на так называемую *ментальную ретардацию*, возникающую при отсутствии реальной биологической дисфункции центральной нервной системы.

Для достижения соответствующего уровня коммуникативной успешности в процессе педагогической коммуникации необходимой является предпосылка *существования общей основы* (*resp. определенной подобности*) *отдельных кодов, используемых участниками коммуникативной интеракции*. В связи с этим становится очевидным, что дети, которые уже в младшем школьном возрасте освоили язык (речь) сходный с языком школы, в начале школьного обучения будут сталкиваться с меньшими трудностями воспитательного и образовательного порядка, чем те ученики, родной язык которых отличается от литературного стандарта и в школе будет подвергнут коррекции. Так обстоят дела, главным образом, с цыганским или цыганско-чешским коммуникативным кодом, который в условиях чешской школы перестраивается на код литературного чешского языка.

Таким образом, независимо от интеллектуальных способностей ученика (принадлежащего к этническому большинству или меньшинству) литературный код может стать важной причиной его успеха или неуспеха в школе. Ребенок, неспособный оперативно объясняться на языковом стандарте, бывает менее оперативным и в мышлении. Часто он не способен воспринять более одной мыслительной альтернативы и

при ее решении мобилизует свои слабые лингвистические способности только для того, чтобы сформировать примитивное элементарное утверждение на литературном коде.

Данная коммуникативная ситуация касается: а) объема индивидуального словарного запаса ученика, б) фонематического освоения звукового строя литературного языка, в) грамматических и стилистических правил построения коммуниката, г) уровня так называемых логико-мыслительных операций, касающихся как языка, так и математики, а также других предметов первой ступени основной школы.

РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА У РЕБЕНКА ЦЫГАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Для ребенка цыганской национальности является типичным, что в лексическом плане он усваивает гораздо меньшее число чешских слов, чем чешский ребенок слов своего родного языка. Это связано с тем, что словарь ребенка в раннем детстве (в возрасте около трех лет) является относительно ограниченным и включает в себя предметы и явления, являющиеся объектом его непосредственного наблюдения. По нашим данным, цыганский ребенок при поступлении в первый класс основной школы демонстрирует приблизительный объем словарного запаса 400–800 слов, частеречный состав которого соответствует уровню словаря трехлетнего чешского ребенка. Размер индивидуального словарного запаса ребенка чешской национальности колеблется в пределах 2000–3500 слов. В его составе уже представлены некоторые частотные слова служебных частей речи (предлоги и союзы), расширяется доля квалифицирующей лексики (прилагательных) или наречий. Спорадически ребенок начинает понимать и некоторые фразеологизмы (*krejčík Jehlička, pejsek Hafáček*) или синонимы (*hezký, krásný, růžný*)⁸.

Для дошкольника-цыгана важно с приемлемой мерой точности изучить словарный состав чешского языка, отражающий как цыганскую среду, так и более широкую социальную среду чешского этнического большинства. В данном случае уместно исходить из лексики детской литературы, которая могла бы стать общей исходной точкой для определенной общей части индивидуального словарного запаса.

ЗАБОТА О ПРОИЗНОШЕНИИ И РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ РЕБЕНКА ЦЫГАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Для того, чтобы ребенок мог объясняться с окружающими, его речь в звуковом (фонетическом) аспекте должна соответствовать норме. До тех пор, пока это не так, ребенок подвергается возможным насмешкам окружения, а вместе с тем и коммуникативному неуспеху, что может привести к долговременному коммуникативному барьери.

6. Язык как средство...

Ребенок дошкольного возраста перед поступлением в школу должен уметь выражать свои мысли связно, понятно, самостоятельно о вещах, существах, явлениях и ситуациях, которые его окружают, которые он сам психически переживает, которые отвечают его психическому развитию и знанию мира (внешнего и внутреннего). Речь должна быть эстетически действенной и соответствовать в эмотивном плане коммуникативной ситуации.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ

Дошкольное языковое воспитание ребенка цыганской национальности должно осуществляться на его *родном языке* и, прежде всего, в *семейной цыганской среде*. Социализация ребенка немыслима без уважения специфики цыганской семьи и ее языка общения.

Вместе с тем дошкольное языковое воспитание должно включать и языковое воспитание на чешском языке. Это необходимо потому, что цыганский ребенок впоследствии будет посещать чешскую школу, требующую знания литературного стандарта, который по сравнению с речью, усвоенной ребенком, является для него более трудным и даже непонятным. В связи с этим он может вызывать у младшего школьника цыганской национальности потенциальный кодовый барьер. Предупредить появление этого коммуникативного барьера можно за счет посещения "Подготовительного класса для будущего младшего школьника цыганской национальности". Целью языковой подготовки должно стать активное освоение основ *разговорной формы литературного чешского языка*, которое должно осуществляться в полном соответствии с естественным ходом развития детской речи как на родном языке ребенка, так и на чешском (иностранным) языке.

Языковое воспитание, связанное с освоением разговорной формы литературного чешского языка, таким образом, не только развивало бы естественные коммуникативные способности и интересы цыганских детей, но и помогало бы исправлять ошибочные речевые и языковые влияния той социальной среды, в условиях которой дети растут.

В подготовительном классе языковое воспитание детей цыганской национальности должно пониматься как составная часть всей системы дошкольного воспитания. А это значит умственное, литературное, музыкальное и физическое воспитание, ориентированное на пребывание ребенка в коллективе (в школе, во время игры, прогулок и т.д.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первичные биолингвистические коммуникативные барьеры, связанные как с родным языком (первичным кодом), так и с иностранным (вторичным кодом), возникающие в условиях мультикультурного про-

странства Чешской Республики, можно преодолевать в период дошкольного воспитания при помощи соответствующего выбора речевых или языковых программ.

После того как человеческий мозг утрачивает биологическую способность продуцировать речь, в функциональных областях коры головного мозга доминантного (речевого) полушария происходит компенсаторная передача функций формирования речи в функциональные области недоминантного (неречевого) полушария со значительным ограничением возможностей обучения речи, ибо с возрастом данные функциональные области недоминантного полушария уже начинают выполнять иные, нежели речевые, функции. Это касается прежде всего обучения иностранному языку (вторичному коду) во взрослом возрасте. Вытеснение неречевых функций из нейронной сети недоминантного полушария головного мозга в ряде случаев оказывается биологически почти невозможным.

Вторичный социолингвистический коммуникативный барьер, обусловленный двуязычной средой, можно преодолевать за счет соответствующим образом ориентированных речевых и языковых программ как на родном, так и на иностранном языках. Эта программа должна учитывать принципы речевого онтогенеза ребенка и участвовать в конституировании такого уровня языковой компетенции ребенка дошкольного возраста, которая облегчила бы ему речевую активность и на иностранном языке, а позднее, благодаря этому, и обучение на родном или иностранном языках в их стандартном кодифицированном виде в школе.

Мы все начинаем свою жизнь, не зная языка. И почти всем удается освоить хотя бы один язык. Уважение закономерностей онтогенеза при освоении языка или языков может привести к желаемому результату – успеху, как в освоении родного языка, так и в освоении иностранного языка, при условии, что освоение основ языка осуществляется в дошкольном возрасте. Напротив, игнорирование этих закономерностей может приводить к нарушениям психики у индивидуумов, особенно в школьной среде.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Мы исследуем мультикультурное чешско-цыганское пространство, недавно возникшее чешско-вьетнамское и чешско-китайское наряду с традиционным чешско-немецким, чешско-польским, чешско- словацким и чешско-русским мультикультурным пространством Чешской Республики.

В Чехословакской Республике после второй мировой войны возникает специфическое мультикультурное пространство чехов и "словацких" цыган. Чешские цыгане во время войны были уничтожены. После войны цыгане переселялись из Словакии в Чехию, Моравию и Силезию в результате нескольких волн миграций. Так на территорию Чехии снова попал так называемый "словацкий цыганский язык", служащий средством коммуникации в цыганской среде, имеющий четыре региональных вариантов цыганского языка. Можно констатировать, что отдельные региональные варианты словацкого цыганского языка имеют некоторые лексические, грамматические и фонетические особенности, однако их можно воспринимать как принадлежность единого словацкого цы-

ганского языка. Однако данная коммуникативная формация до сих пор не является презентантом литературного цыганского языка.

² Родной язык тесно связан с развитием эмоционального механизма в мозгу, а также с формированием культуры и ментальности, присущих этническому большинству и определенной этнической группе.

³ Например, цыганский ребенок осваивает свой родной цыганский язык в том же возрасте, что и чешский ребенок чешский язык. Однако, сверх того, он может еще осваивать и чешский язык как иностранный и, потенциально, с таким качеством, какое характерно для чешского ребенка.

⁴ Например, чешский ребенок без проблем строит элементарную синтаксическую структуру с глаголом *vrtět* в значении 'вилять, вертеть': *Pejsek vrtí (kým? čím?) ocáskem* с обязательным дополнением семантики глагола *vrtět* как подлежащим *pejsek*, так и дополнением *ocáskem*. При этом он не прибегает к трудоемкому процессу склонения существительного *ocásek* по падежным вопросам для того, чтобы найти соответствующую кодифицированную форму окончания творительного падежа *ocásk-em*.

⁵ Одной из рекомендаций Совета Европы являлось положение о том, что государство должно обеспечить национальным меньшинствам возможность получения образования на *официальном языке*. Поэтому чешский язык является необходимым для жизни и развития национальных меньшинств. Тому, кто хочет жить в Чешской Республике, это облегчит жизнь.

⁶ При изучении языкового сознания чешских учеников младшего школьного возраста мы дали задание построить высказывание с использованием, например, глагола *zeptat se*. Глагол *zeptat se* (СВ возвр.) в значении 'задать вопрос кому-либо, спросить, расспросить' с точки зрения валентности был интуитивно верно использован младшим школьником в простых или сложных структурах, хотя ученик и не был знаком с принципами валентного синтаксиса родного языка. Ср. высказывания *Chci se ič na něco zepat. Na co se mám zepat?* или сложные предложения *Jdi se zepat maminky, kdy bude oběd. Zepalt jsem se, kde bydlí Honza*. Генерирование высказывания в этих случаях согласуется с языковым сознанием пользователя языка.

⁷ Например, элементарная синтаксическая структура N1 + VF pers refl + N3 с предикатом *podobat se* не доставила чешским ученикам младшего школьного возраста никаких синтаксических трудностей. Ни разу не появились высказывания типа школьного нераспространенного предложения *Jana se podobá. – (Tvůj) bratr se podobá* и т.п., но только предложения с N3, т.е. *Jana se ti podobá – Tvůj bratr se podobá Honzovi* и т.п. Это значит, что интуитивное языковое сознание ученика младшего школьного возраста адекватно реализует элементарные синтаксические структуры. Это касается прежде всего речевой активности и языкового сознания тех учеников, для которых чешский язык является родным и чье умственное развитие соответствует норме.

⁸ Цыганский ребенок не способен понимать значения, например, предложенных сочетаний типа *ktek pod mezí* и т.п. в тестовом рисунке.

Л и т е р а т у р а

Kamiš K. Biologische und sozial-kulturelle Determinanten bei Kommunikationsbarrieren // Sborník prací Obchodně podnikatelské fakulty SU v Karviné. Díl 1. Karviná, 1993.

Kamiš K. Bariérovost pedagogické komunikace // Učitel – jeho příprava a požadavky školské praxe. Sborník referátů z 2. konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem, 1994. S. 267–275.

Kamiš K. Code barriers from the psycholinguistic point of view and how to overcome them in a multicultural milie. In Education for human rights and citizenship in central and eastern Europe. Human being and his / her rights. V. 6. Praha, 1995. S. 173.

Penfield W. Vědomí, paměť a podmíněné reflexy člověka // O biologii učení. Praha, 1974.

Russel B. Logika, jazyk a věda. Praha, 1967.

Перевод Ю.Е. Стемковской

Я. Корженский
(Чехия)

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (период последних десятилетий)

Под понятием языкового права мы имеем в виду комплекс правовых норм различной юридической силы, которые регулируют речевое поведение граждан, прежде всего в официальной и полуофициальной коммуникации, регламентируют речевой аспект административной деятельности (как внутренней, так внешней) государственных и общественно-правовых органов и субъектов. Наконец, они регулируют речевое поведение в судопроизводстве, образовании, просвещении, культуре и т.п. О состоянии языкового права и его характере нельзя судить лишь на основании наличия или же отсутствия соответствующих эксплицитных положений в конституции, наличия или же отсутствия закона о языке. К языковому праву относятся и различного рода юридические предписания, касающиеся речевого поведения граждан, а также иностранцев на территории государства. О состоянии языкового права косвенно говорит и отсутствие соответствующих юридических предписаний, неполнота имеющихся правовых норм.

Для объективной оценки состояния языкового права необходимо установить, в какой мере эта сторона жизни общества регулируется юридическими предписаниями. При этом принимается во внимание различная степень их правовой силы, начиная, вполне естественно, с самых высоких ступеней.

Ниже предметом нашего внимания будет служить наличие элементов языкового права в конституциях, действовавших на территории нынешней Чешской республики с 1945 по 1995 г. При этом нас, вполне естественно, будет интересовать наличие соответствующих конstitutionальных законов.

В период с 1945 по 1948 г. языковое право *de jure* основывалось на конституции Чехословацкой республики и на законе о языке от 1920 г., с учетом последующих изменений закона, не затронувших, впрочем, существа языкового законодательства Чехословацкого государства. В это время чехословацкое государство уже имело основательно разработанное, детализированное языковое законодательство, модификация которого осуществлялась на основе целого ряда соответствующих правовых предписаний с меньшей юридической силой (ср. подробнее: Kořenský 1992 и другие работы – см. список литературы).

В концептуальном отношении языковое право основывалось на ряде ключевых понятий. Прежде всего это определение понятия “чехословацкий язык”, которое трактуется как язык большинства населения

государства. Достаточно четко, в полном соответствии с общей характеристикой языкового права, данной нами выше, были оговорены условия обязательного употребления этого языка во всех сферах жизни государственной общности. Далее, приводился перечень миноритарных языков (немецкий, польский, венгерский, русинский); в зависимости от конкретного региона в процентном выражении определялись условия их употребления во внутренней и внешней административной жизни, в сфере образования, в армии, судопроизводстве и пр. Данное языковое право может быть оценено как весьма либеральное при условии, что тогдашнее чехословацкое государство, декларированное как государство чехословацкой национальности, создаст демократические предпосылки для образования, культурной и политической жизни меньшинств. Языковое право может квалифицироваться как неприемлемое и дискриминационное только в том случае, если мы будем его оценивать под углом зрения языкового и национального законодательства, действовавшего на данной территории в период австро-венгерского государственного союза. Языково-правовая система этого государства основывалась на весьма расплывчатой формулировке равноправия "всех земских языков", "языков, обычно используемых в стране". Подобная трактовка языкового права порождала постоянное противоборство разных тенденций: с одной стороны, это была борьба за фактическое, более широкое использование чешского языка; с другой, стремление к легализации фактической гегемонии немецкого языка на всей чешской и моравской территории.

В 1945–1948 гг., т.е. после восстановления чехословацкого государства и чехословацкой правовой системы, сложившаяся система языкового права *de facto* перестала действовать. В законодательном отношении это не противоречило статьям международного права, касающимся положения немецкого населения, а также политическому и правовому статусу Кошицкой правительственной программы. Важную роль играло и то обстоятельство, что послевоенное Национальное собрание *ex lege* определялось как собрание законодательное. Сложная юридическая ситуация, сложившаяся в области языкового права (и, соответственно, в сфере правового оформления национальных отношений), получила свое разрешение только 9 мая 1948 г., когда была провозглашена и одновременно введена в действие Конституция 9 мая.

По Конституции 9 мая Чехословацкая Республика провозглашалась государством двух равноправных славянских наций: чехов и словаков (статья II). Словакий национальный совет и Корпус полномочных представителей объявлялись словацкими национальными органами (статьи VIII, IX). Примечательно, что текст присяги депутата Национального собрания в параграфе 42 воспроизводится на чешском языке; текст присяги депутата Словацкого национального совета (параграф 100) даже в чешской языковой версии конституции приводится по-словацки. То же самое касается и других параграфов, определяющих ком-

петенцию словацких национальных органов. Таким образом, в неявной форме здесь определяется рабочий язык соответствующих государственных органов. Из сказанного следует, что сам по себе текст конституции не содержит положений, касающихся языкового права. Соответственно отсутствует и закон о языке. Лишь в разъяснительной части конституции напрямую говорится о том, что по понятным историко-политическим причинам "...аннулируются положения шестой главы старой конституции о правах меньшинств, а также закон о языке, входящий в состав конституции 1920 г. Поскольку все это было нам навязано Сен-Жерменским мирным договором, мы, вполне естественно, считаем их утратившими силу". В комментариях на стр. 108–109 отношения между чехами и словаками интерпретируются в духе концепции единого чехословацкого народа.

Следующим важнейшим юридическим документом является Конституция Чехословацкой социалистической республики от 11 июля 1960 г. (№ 100/1960 Сборника законов), с учетом также текстов конституционных законов № 143/1968 Сборника, № 144/1968 Сборника, № 155/1969 Сборника и № 43/1971 Сборника. Таким образом, речь идет о конституции социалистической Чехословакии, включающей тексты законов, провозглашающих чехословацкую федерацию. Не трудно заметить, что в отличие от Конституции 1948 г., которая при трактовке проблемы единства в сущности уже отказалась от понятия единой чехословацкой нации, отдавая предпочтение понятию единый чехословацкий народ (т.е. *de facto* с включением и меньшинств без их специальной конкретизации), данная конституция эксплицитно определяет отношения между чешской и словацкой нациями, а также меньшинствами. В тексте конституции используются такие понятия, как чешская и словацкая нации, равноправные братские нации (чехов и словаков), самобытные суверенные нации (чехов и словаков) – см. статью 1 конституционного закона от 27 октября 1968 г. Важное значение, с нашей точки зрения, имеет статья 6 (абзацы 1 и 2), где утверждается, что чешский и словацкий языки равноправно используются при провозглашении законов и других общественно значимых документов. Декларируется также, что оба языка равноправно употребляются на всех стадиях деятельности государственных органов ЧССР, а также в остальных видах контактов с гражданами. При определении законодательных полномочий Федерального собрания в третьем абзаце статьи 37 используется (с соответствующими разъяснениями) понятие национальности. В отличие от конституции 1948 г. в чешской версии данной конституции, воспроизводятся на чешском языке и присяги словацких законодательных и правительственные органов.

Особый интерес для нас представляет конституционный закон от 27 октября 1968 г. (№ 144/1968 Сборника законов) о положении национальностей в Чехословацкой социалистической республике. В этом документе используется понятие "трудовой народ ЧССР". В состав этого

народа, помимо чешской и словацкой нации, входят также венгерская, немецкая, польская и украинская (русинская) национальности. Все они неразрывно связаны друг с другом, у всех у них одна и та же родина. Статья 1 гарантирует возможность всестороннего развития, в том числе и для национальных меньшинств. В статье 3, абзац 1 провозглашается, что всем национальностям гарантируется, помимо всего прочего, право на получение образования на родном языке, право пользования родным языком в официальных отношениях на территории проживания соответствующей национальности, право на печать и информацию на родном языке.

Таким образом, как мы видим, Конституция ЧССР, в том виде, какой она приобрела после принятия конституционных законов о чехословацкой федерации, вновь возвращается к проблеме языкового права. В нее вводятся развернутые формулировки, уточняющие существование взаимоотношений между чешским и словацким языками, положение языков меньшинств. Что касается меньшинств, то в соответствии со статьей 3 (абзац 1) им гарантированно предоставляются довольно большие права. Впрочем, содержащиеся здесь формулировки не столь развернуты, как в конституции и языковом законе от 1920 г.

При оценке состояния языкового права в современной Чешской республике мы исходим из Конституции Чешской республики от 16 декабря 1992 г. Конституция является важным импульсом для радикальной перестройки правовой системы чешского государства, она служит стимулом и при дальнейшем решении вопросов языкового права.

Основная особенность данной конституции заключается в акцентировании (западно)европейского понимания либерализма, индивидуализма. Подобное понимание принципа гражданственности при интерпретации понятия "государство" свидетельствует, судя по всему, о снижении внимания к таким вопросам как нация, национальность и язык.

Конституция эксплицитно закрепляет права меньшинств (статья 6). Впрочем, в этом случае речь идет о трактовке понятия "меньшинство" в самом общем его виде, это отнюдь еще не "национальное меньшинство". Таким образом, в основном тексте конституции отсутствуют положения из области национального и языкового законодательства. В соответствии со статьей 112 (абзац 1) конституции составной частью конституционного устройства Чешской республики является Хартия основных прав и свобод. В состав конституции текст этого документа вошел в том виде, какой он приобрел во время существования Чешской и Словацкой федративной республики, несмотря на то, что к этому времени в соответствии со статьей 112 (абзац 2) закон о чехословацкой федерации, соответствующая конституция и соответствующие конституционные законы уже утратили свою силу. Это создает определенные сложности при использовании положений Хартии.

В статье 3 Хартии утверждается, что основные права и свободы гарантироваются безотносительно к существующим языковым различиям.

ям. Статья 23 (абзац 2) декларирует, что каждый гражданин имеет право свободно выбирать свою национальность. Глава 3, статья 25 (абзац 2) включает нижеследующий текст:

Гражданам, принадлежащим к национальным и этническим меньшинствам, на определенном законом основании гарантируется также:

- а) право на получение образования на родном языке;
- б) право пользования родным языком в официальном общении;
- в) право участия в принятии решений, касающихся национальных и этнических меньшинств.

Таким образом, конституционный строй Чешской республики гарантирует право свободного выбора национальности; он не ставит использование конституционных прав в зависимость от языковой принадлежности, от владения тем или иным языком, в том числе мажоритарным. Таким образом, предоставление гражданства или же получение разрешения на различные виды деятельности, в том числе и предпринимательскую, не должно зависеть от языковой компетенции. В соответствии с абзацем "а" предоставляется возможность открывать школы с любым языком обучения. В этой связи существенно и то, что языки меньшинств и сами эти меньшинства – в отличие от прежних конституций (за исключением Конституции 9 мая) – не даются списком. Исключительно широкие возможности предоставляет пункт "б" в отношении лиц, не владеющих мажоритарным языком – в нем имплицитно допускается применение родного языка во внешнем официальном общении, что само по себе далеко выходит за рамки, предусматриваемые правом на использование услуг переводчика при ведении следствия, а также в ходе судебного разбирательства.

Таким образом, конституционное устройство Чешской республики, определенное Конституцией и Хартией основных прав и свобод, дает возможным расширительное (разумеется, в рамках Хартии) толкование языковых прав. Отсутствие жестких юридических формулировок предполагает, а вернее делает возможным принятие в этой сфере широкого спектра правовых норм, не вносящих при этом изменений в конституционный порядок государства в целом.

Л и т е р а т у р а

Kořenský J. Die sprachliche Seite der Schaffung von Redirvorschriften und die kommunikativen Problem ihrer Anwendung. Lingvistische Studien, Reihe A, 199, Berlin, 1992.

Kořenský J. Sociálně historické podmínky vývoje češtiny jako národního jazyka // Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w Krajuach Europy śródkowej i wschodniej. Opole, 1993.

Корженский Я. Методологические вопросы анализа чешского языка как национального // Язык – Культура – Этнос. М., 1994.

Kořenský J. Vztah jazykové praxe a jazykové zákonodárství v podmírkách proměn státnosti na českém území // Kopitarov sborník. Ljubljana, 1996.

Перевод Г. Нещименко

A. Мацурова
(Чехия)

КОММУНИКАЦИЯ, ПИСЬМЕННЫЙ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК И НЕСЛЫШАЩИЕ ЧЕХИ

(Проблемы интеркультурного взаимопонимания)

Мы крайне мало знаем о том, как общаются между собой неслышащие чехи, и еще меньше – как они общаются по-чешски. Как и многие другие маргинальные, т.е. связанные с меньшинствами, явления, эта проблема стала привлекать к себе внимание чешских лингвистов лишь в последние годы.

Очевидно, что в тех случаях, когда неслышащий человек общается со своими, т.е. находится среди неслышащих, он не прибегает к чешскому языку. Причиной этого, возможно, является не только наличие барьера в виде “произносимого” и “слышимого” языка¹. В рамках “своей” общности неслышащий чех использует язык этой общности, доступный по смыслу всем его членам (поскольку он “показывается”, он “виден”): это чешский знаковый язык.

Впрочем, чешский язык (в его обычном понимании) также нужен неслышащим чехам, по крайней мере, в двух случаях: 1) когда они хотят общаться с кем-то на расстоянии (включая неслышащих), не имея при этом какой-либо техники, которая позволила бы “транслировать” знаковый язык (не имеющий письменной формы) и 2) когда они хотят общаться в основном со слышащими и говорящими.

Если мы признаем, что общность неслышащих имеет статус культурного феномена (об этом уже писалось в литературе – см., напр., Padden – Humprhries 1988; Kyle 1990 и т.д.), то можно будет говорить о двояком использовании чешского языка – интракультурном и интеркультурном, или же – о двояком типе коммуникации, в которой неслышащие участвуют посредством своего собственного чешского языка.

В интеркультурной коммуникации (т.е. в общении неслышащих со слышащими) используется не только чешский язык: чтобы договориться со слышащими, неслышащий человек располагает также общеупотребительной и понятной мимикой (выражающей удивление, страх, нежелание, гнев, счастье, горе; ср.: Ekman – Friesen 1967), в его расположении находятся также общеупотребительные жесты и прямое пантомимическое изображение действительности. Кроме того, для общения с некоторыми (специально подготовленными) слышащими индивидуумами может быть использован визуализированный чешский язык (т.е. выраженный в знаках), пальцевый алфавит и, очевидно, также чешский знаковый язык.

Среди этих коммуникативных систем (комплексов) чешский язык занимает привилегированное место: сообщество неслышащих считает

его престижным². При этом статус престижности приписывается чешскому языку в целом, т.е. безотносительно к его внутренней дифференциации или же стратификации. Это проявляется и в том, как чешский язык (вернее, его письменная форма, о которой мы и будем здесь говорить) используется неслышащими. Данный письменный вариант чешского языка уже на первый взгляд по ряду параметров отличается от стандартного, которым пользуется обычный чех, т.е. чех с нормальным слухом.

Имеющийся у нас материал включает тексты, характерные для коммуникации как интракультурной (неслышащие – неслышащие), так и интеркультурной (неслышащие – слышащие). Это тексты различной функциональной направленности: частного и общественного характера, разной степени подготовленности и т.д. Используемый в них чешский язык отличается известной “однородностью”, т.е. он отнюдь не отражает все многомерное разнообразие этих текстов: ни типичное противопоставление между интра- и интеркультурной коммуникацией, ни различие свойственных этим текстам функций, ни степень конфиденциальности, с одной стороны; и официальности, с другой. В сущности, это язык не отражает и внутреннее расслоение, присущее общенациональному чешскому языку, характерные для него средства выражения лишены своеобразной “специализации”. Об авторах высказываний этот вариант чешского языка также сообщает крайне мало, он отражает лишь одну их характерную особенность, впрочем, весьма примечательную: сам его уровень ставит под сомнение их языковые навыки (умение правильно образовывать чешские предложения), а также коммуникативные способности (умение правильно употреблять чешские предложения).

Барьер, который этот чешский язык таким образом устанавливает между коммуникативным намерением автора и тем, как его понимает receptor, преодолевается слышащими пользователями чешского языка с большей или же меньшей легкостью, что зависит прежде всего от двух моментов. Во-вторых, важен тот факт, что за редкими исключениями слышащий человек, как правило, не имеет опыта общения ни с подобным типом текстов, ни с подобными авторами³. Так что к коммуникативной роли receptor'a и вообще к коммуникативному событию он подходит с такими ожиданиями (предварительными представлениями о содержании и структуре текста и об используемых коммуникативных средствах), которые едва ли удовлетворяются в процессе receptionи – с самого начала они уничтожаются, упрощаются, а взамен их выстраиваются новые ожидания. Второй важный фактор, играющий здесь роль, это наличие или отсутствие общего опыта, общий знаний у участников коммуникации, т.е. определенного информационного фона.

Вполне естественно, что меньше всего этот фон заметен в частной переписке, поскольку уже в ее жанровой характеристике отражена индивидуализация автора и адресата высказывания, а также индивидуа-

лизация их “знаний” (англ. knowledge), так что вхождение в текст извне, с позиции наблюдателя, комментатора в этом жанре сложнее, чем в других текстах. Впрочем, это относится к любой частной переписке. В случае частной переписки неслышащих ситуация для слышащего наблюдателя дополнительно осложняется. Дело в том, что здесь играют роль не только заданные жанром различия в индивидуальных знаниях, но потенциально также и культурные различия. Кроме того – что особенно важно – играют также роль и различия в способах, которыми реализуются и воспринимаются эти знания (подробнее см.: Macurová 1995). Все это, конечно, доставляет некоторые (методические) неудобства, которые осложняют подход к тестам такого рода. С другой стороны, в чем-то частную переписку можно назвать идеальной, она является собой пример спонтанной, “настоящей”, неуправляемой письменной коммуникации, которая не антиципирует существование своего будущего наблюдателя⁴ (и критика) и не предполагает стать объектом анализа и толкования. В этом смысле примеры из частной переписки более предпочтительны, чем любые другие, полученные методами извлечения – это касается также языковой стороны примеров.

Наблюдатель, исходя из собственного опыта, как правило, связывает с восприятием частной переписки определенные ожидания: он ждет, что эти тексты выявят “я” автора, его ориентированность во времени и пространстве, указывающие на отношение этого “я” к миру, населенному другими “я” и заполненному объектами и событиями. Он ждет, что они расскажут ему, что автор думает о мире, как он на него воздействует или же хочет воздействовать и т.д. Впрочем, в случае с перепиской неслышащих эти ожидания не сбываются, причем даже на самом элементарном уровне, напр., на уровне употребления грамматической категории лица, т.е. той категории, которая указывает на характер и количество участников коммуникативного акта (что, как известно, осуществляется с помощью личного местоимения, глагольного окончания глагола или же того и другого вместе). Так в чем же состоит своеобразие чешского языка неслышащих?

Идентичность говорящего с производителем глагольного действия не выражается здесь, как это обычно бывает, первым лицом – напротив, довольно часто встречается использование третьего лица (Марианка пишет: *Marjánka u mám Aleš mě je mi smutno, že dlouho neuvídíme uvidím duben 16.4. až 29.4. domů. Nebud' smutná a nepláč. Renata a Marjánka io nejlepší kamarádkou. Marjánka sám doma prací pěkné*) или же второго лица (Павла пишет: *Já jsem ještě dopisovat na tebe Pavlo, ještě ráda spolu kamarádku na tebe*). Очень часто адресат выводится за пределы коммуникативного события, поэтому к нему обращаются в третьем лице (Ренате пишут: *Renata bude jde škola Hořičky*). С другой стороны, в коммуникативное событие “вступают” и лица, которые не являются ни автором, ни адресатом высказывания, причем в этом случае обычно используется второе лицо (Эва пишет Ренате о Ленке: *Lenko říkáš neumí*

mluvit, byla jsi smutná). Часто в рамках совсем небольшого отрывка эти сдвиги комбинируются, смешиваются, пересекаются (что заметно и в приведенных выше примерах) с “правильным” употреблением лица;ср.: (*Petr Schulz říká mně od já mi napsat k tobě jeho*). Задаваясь вопросом о причине этого, следует учитывать, что ответы на него могут весьма разниться. Все зависит от того, в каком контексте будет рассматриваться эта проблема.

Один из возможных ответов, вносящих, по крайней мере, некоторую ясность в специфику употребления глагольного лица, заключается в типичном для неслышащих обращении с чешским языком, которое мы могли бы охарактеризовать как цитирование чешского языка.

Поясним хотя бы кратко, что имеется в виду (подробнее см.: Macurová 1995): в текстах писем встречаются фрагменты, выделяющиеся из контекста своей нормированностью, грамматической правильностью и пр., причем зачастую это довольно сложные пассажи. Они характеризуют их автора как личность, обладающую необходимыми языковыми навыками; см., напр., следующий отрывок: *Moje babička se jmeneuje Jarmila a je ji 66 let, ještě pracuje, není důchodkyně*. Впрочем, ситуативная “неадекватность” использования этих высказываний тут же ставит под сомнение коммуникативные навыки этой личности, ее способность правильно употреблять эти и им подобные предложения. Рассмотрим, например, данный отрывок хотя бы в небольшом контексте: *Cekám, že vím bylo pohled ti protože nemám dopis. Moje babička se jmeneuje Jarmila a je ji 66 let, ještě pracuje, není důchodkyně. Helena byla dobře čekala dopis*. Тот факт, что речь действительно идет о цитировании готовых чешских структур, проявляется в подобных текстах более или менее прямо. В пользу сказанного говорит то, что эти фрагменты или графически выделяются по сравнению с остальным текстом (например, горизонтальным членением или же иным написанием), или еще как-то дополнительно маркируются в качестве некоего “образчика”. Подобные “образцы” обычно не связаны с “я”, “здесь” и “сейчас” пишущего, с “фактами и событиями” его жизни, они носят скорее демонстративно-языковой, “саморекламный” характер: сигнализируют (или же хотят сигнализировать) высокий уровень владения их автором престижного чешского языка. Сходную функцию выполняет цитация грамматически корректных текстов в виде целостных комплексов (или даже целостных писем), которые в равной степени выпадают из общей эпистолярной стилистики. Цитирование отмечается и на более “низком” уровне – у застывших форм слов, которые (и именно они) регулярно, причем повторно, употребляются в независимости от позиции лексической единицы в предложении.

Сам факт цитирования из чешского языка, являющегося для неслышащего “чужим” языком, мог бы прояснить по крайней мере одно из упоминаемых выше явлений, связанных с категорией лица, а именно – обозначение самого себя во втором лице, т.е., когда Анча пишет:

Ančo jsi, nebyla dostala dopis od tebe, proč se ják? čekám, tě. Как подтверждает адресат, подобные отрывки являются дословным цитированием фрагментов из ее собственных писем. Впрочем, в остальных случаях употребление второго лица вместо первого не может быть объяснено лишь цитацией. Даже если принять на веру утверждение, что “слова сами по себе не могут отражать внутреннюю реальность” (Příhoda 1963), сам факт подобного употребления “слов”, по нашему мнению, все же кое о чем говорит, особенно если соотнести общение на чешском языке с общением на чешском знаковом языке. Дело в том, что материал, полученный в результате кратковременного изучения последнего (проводимого с конца 1993 г.), делает правомерным вопрос: является ли знаковый язык именно той коммуникативной системой, которой не слышащие владеют свободно и без проблем⁵. Характерная особенность писем чешских неслышащих к неслышащим заключается в том, что предметный аспект коммуниката в них отодвигается на второй план, доминирует ориентированность на взаимоотношения между коммуникантами, на сохранение и развитие этих отношений, равно как и на сохранение и развитие самого контакта. В какой-то мере это вообще типично для эпистолярного жанра – ведь в конце концов в этих текстах такой особый феномен как чешский язык для неслышащих, невзирая на всю свою специфичность, все же выполняет определенную функцию, именно функцию фатическую (очевидно, не так уж и важно, понимает ли полностью чех с нормальным слухом этот особый чешский язык)⁶.

Впрочем, подобный подход трудно применить в отношении иного типа письменной коммуникации на чешском языке, в котором участвуют неслышащие – мы имеем в виду интеркультурную коммуникацию с людьми с нормальным слухом. В этом виде коммуникации существенную – как в количественном, так и качественном отношении – роль (во многом неотъемлемую)⁷ играет коммуникация во время учебного процесса (в этой ситуации у нас “устный” чешский язык пока что занимает доминирующее положение). На что же похож этот письменный чешский язык учебной коммуникации?

Bitvá Anglie

Byl Čech obsadil Němeska proti Čech. Čech útekl do Anglie. Potom Německo proti Anglie. Německo měl dobrou napád mini a ponorka do moře. Ve vzduchu jede letadlo otom do Anglie. Anglie nechtěl bombardovat do továrny, protože vyráběli letadlo. Čech uměl jezdit letadlo, Anglie byl mála pilotu. Anglie zavolal Amerika. Potom jezdí na lodi. Vnitřní v moře byl mini. Byl několik krát utopit, protože byl ponorka a mini. Amerika nechtěl navštěva do Anglie. Amerika dána letadla a tanku. Byl ztratil letadel Anglie 10000. Nemcka ztratil 17000 letadel. Mini ztratil 19000t. Potom Německo obsadil Francie. Francie byl umí speciální zbraně a tanku, pevnost hranice. Německo měl dobrou napád letadlo do Benelux, potom obsadil Francie. (следует чертеж, сопровождае-

мый словесным комментарием) *Sever Francie Německo Jih Francie Francie Vlada nepotohli Kolabatank.*

(Сочинение по чешскому языку на тему “Первый этап второй мировой войны”)

- provaz nohy 10 minut volny vedle nohy. dřevo s oheň dává nohy páru křivé.
- Když zmije uštknutí jed do nohy. 1. Teprve musí vzít pásek nebo provázek aby jed nevylezl do těla (рисунок перевязанной жгутом ноги) 2. Za deset minut pustí a znova přivázne. 3. Rychle k lékaři.
- První pomoc vezmeš (provaz, řemínek) Uvazat nohy za 10 minut. A potom musíš jít do lékař. Kdyby nebuje lékař tak umřet.
- Zmije ušknutí lidé musí rotuhnout kosilé nebo páš nebo provaz. zavázne za 10 minut nahoru méně. musí rychle k lékaři.
- kousek noha mám jed musí provází 10 minut (рисунок ноги) do lékarí.
- Při první pomoc zmijí ušknutí. 1. uštnutí a uvážeme hned provaz, řemínek, šátek. 2. Za 10 min uvážeme další výše. 3. Rychle k lékaři.
- Když člověku uštnut a člověk si druhý musí vzít páš a zavázat a každý 10 minut rozváže a vyšší zaváže a rychle do nemocnice.

(письменная контрольная работа по природоведению: ответы семи учеников на вопрос “Первая помощь при укусе змеи”).

- Student český (češi).
- Jan Opletal byl student. Němci zastřílel student Jan Opletal.
- Jan Opletal byl student aby chtěl demonstraci. Němci střelili Jan Opletal.
- Jan Opletal byl několik dnů zemřel. Chtěli demonstraci. Němci zastřelili asi 9 studentů odvezly koncleratační táboru. Vysoká škola byla zavřeny 17. listopadu. 28. října 1939.
- Jan Opletal byl student. On chtěl demonstraci protože 28. října 1939 proto vzponínán osvobodil Rakousko a Uhersko. Němci statřelili Jan Opletal.

(письменная контрольная работа по истории: ответы пяти учеников на вопрос “Ян Оплетал”).

Вряд ли следует подробно объяснять, что информационный фон, играющий при интерпретации текста роль своего рода ключа, функционирует здесь гораздо эффективнее, чем в текстах частной переписки. В силу этого и умозаключения здесь не столь сложны, что позволяет и “слышащему” (стандартному) чеху легче расшифровывать смысл как текста в целом, так и отдельных его фрагментов. Что касается содержательной стороны этих текстов, то они для него гораздо доступнее. В отношении использования коммуникативных средств здесь наблюдается такая же ситуация, что и при переписке: “действительность” другого, слышащего, адресата никоим образом не отражается на форме тек-

стов⁸. Специфика чешского языка неслышащих чехов с характерной для него интеркультурной направленностью вызывает целый ряд вопросов, совокупность которых очерчивает проблематику коммуникации неслышащих на письменном чешском языке. Эти вопросы могут рассматриваться под разным углом зрения, с разной степенью обобщенности.

Прежде всего встает вопрос, непосредственно связанный с конкретным, "практическим" функционированием приведенных выше текстов: можно ли на их основе установить, насколько верно "схвачена" суть дела (в соответствии с известным изречением: "Суть дела схвати хорошенько, слова уж придут сами собой")? Но даже, если мы предположим, что суть дела здесь схвачена более или менее верно (т.е. имеется представление о данном этапе второй мировой войны и т.д.), не трудно убедиться, что слова отнюдь не приходят так легко, как хотелось бы. Наблюдаемые здесь многочисленные ошибки касаются двух основных, по словам Матезиуса (1942 г.), актов, образующих высказывание: акт номинации и акт образования предложения. Проблемы, с которыми сталкиваются неслышащие чехи при использовании чешского языка, затрагивают не только генерационную фазу – коммуникативный компонент, т.е. "языковую стилизацию" (Матезиус, 1961 г.); затруднения возникают и при восприятии ("языковой дешифровке") письменных чешских текстов, причем как на стадии чтения (соотнесение значения и слова)⁹, так и при интерпретации смысла текста в целом. Несмотря на то, что способность читать и понимать учебный текст до сих пор детально не изучена, тем не менее известное представление об этом можно получить на основе специальных тестов, выявляющих специфику "понимания" письменного чешского текста вообще, т.е. не только учебного. Так, например, один из таких тестов предлагал наслышащим пересказать (с помощью знакового языка) коротенькую несложную историю: *Moje přítelkyně Jiřina mi vyprávěla zajímavou příhodu. Bylo jí 24 let a začala učit na učňovské škole. Žila sama v neznámém městě a velmi se chtěla seznámit s nějakým mužem. Dala si tedy inzerát do novin. / Brzy dostala odpověď. Četla: "Chcete se se mnou seznámit? Budu čekat v sobotu večer v sedm hodin před kinem Oko. Poznáte mě podle červené růže". Dopis nebyl podepsán. / V sobotu večer se Jiřina hezky oblékla a nalíčila. Přesně v sedm hodin přišla ke kinu a rozhlížela se, kde je neznámý muž s květinou. Najednou uviděla jednoho ze svých učňů. Stál před vchodem a v ruce měl červenou růži. / Jiřina se lekla, že si ji učer všimne. Rychle se otočila a běžela pryč. Při tom ošklivě upadla a zlomila si nohu. Musela do nemocnice. Tam se seznámila s mladým lékařem a začala s ním chodit. Před měsícem měli svatbu*¹⁰.

Проблему, возникающую с "языковой дешифровкой", я проиллюстрирую лишь на одном примере – на понимании того, как в конце текста происходит "переключение" с хронологией уже свершившихся событий (*žila sama ... chtěla se seznámit ... dala inzerát ... hezky se oblékla ... přišla ke kinu ... uviděla jednoho ze svých učňů ... lekla se ... ošklivě upadla ... v nemocnici se seznámila ...*) на момент текущего события, к которому и

относится повествование (выразить это помогает временной предлог *před-*). Указание на время произошедшего события (месяц) в знаковом пересказе¹¹ чаще всего увязывается не с моментом общения, а с последовательностью событий, упоминаемых в тексте; временная последовательность может передаваться и имплицитно, т.е. лишь "иконически" (с включением соответствующего слова в последовательность других слов), например: 1. potom spolu s mladým lékařem seznámila a chodila – pak za měsíc byla svatba. 2. muž lékař potom spolu seznámili – během bude svatba. 3. lékař seznámil za měsíc svatba. 4. lékař seznámil měsíc svatba.

Очевидные проблемы, возникающие у неслышащих чехов с генерированием и восприятием письменных чешских текстов, не могут не вызвать и другого вопроса, касающегося эффективности общения во время учебного процесса, осуществляемого на "нашем" чешском языке, т.е. языке большинства: способен ли вообще слышащий учитель оценивать предметное (или же шире – предметно-содержательное) понимание ученика, сообщаемое ему таким своеобразным способом, т.е. на чешском языке неслышащих? И с другой стороны – какую информацию получает (может получить) неслышащий ученик из текстов, генерируемых миром слышащих, его образовательной системой, с использованием языка слышащих? Какой уровень знаний может (должен?) получить в этой образовательной системе неслышащий человек? Не следует ли в учебных текстах, адресованных неслышащим, каким-то образом учитывать присущие им способы выражения и восприятия знаний (knowledge), и не должен ли письменный чешский язык, адаптированный неслышащим (в чем-то) отличаться от чешского языка, предназначенного для "стандартных" чехов, т.е. для чехов с нормальным слухом? Наконец, не следует ли использовать при письменной учебной коммуникации с неслышащими некий модифицированный код национального языка (так называемый foreign register, по терминологии социолингвистов, ср., например, Apple-Muysken 1987)?

Ответы на подобные вопросы должны были бы основываться на подробном описании чешского языка неслышащих. Впрочем, я не вполне уверена, что для такого описания будет достаточно тех весьма общих сведений, которые обычно передают специфику письменных национальных языков, используемых неслышащими в других странах¹². Так, например, в отношении английского языка неслышащих обычно отмечается лишь то, что для него характерны следующие черты (ср. описание Quigley-Paul 1984): более короткие и простые предложения, иная дистрибуция частей речи (больше имен существительных и глаголов, меньше имен прилагательных и союзов), отрывистый стиль, стереотипность средств выражения¹³, многочисленные ошибки (упоминаются усечение конечных гласных, субSTITУЦИЯ, образование словосочетаний, проблемы с порядком слов)¹⁴.

Уместно, впрочем, поставить и другой вопрос: может быть, следовало бы информировать неслышащих о письменном чешском языке –

а именно он играет главенствующую роль при их обучении – как-то иначе, чем это делалось до сих пор, т.е. не посредством устного чешского языка (владение последним, как предполагается, предшествует освоению письменного языка), а с опорой на него?

Суть проблемы мы видим в том, что обучение чешскому языку неслышащего чеха следует осуществлять так, как мы обучаем иностранцев, а отнюдь не так, как мы обучаем любого другого чеха (т.е. обучаем его по-чешски). Иными словами, мы молчаливо и, конечно же, ошибочно полагаем, будто неслышащий ребенок осваивает чешский язык точно так же, как это делают его ровесники с нормальным слухом, что они приходят в школу с одинаковой языковой подготовкой (т.е. с операционными навыками чешского языка). Неслышащий ребенок слышащих родителей (а таких большинство) находится в несколько особом положении: несмотря на то, что как любой человек он обладает врожденными интеллектуальными предпосылками, необходимыми для восприятия языка, тем не менее в семье слышащих языковая среда не способствует развитию этих способностей: ребенок изолирован от “взрослых” языковых моделей¹⁵, он не слышит чешский язык своих слышащих родителей, вместе с тем с неслышащими взрослыми он не контактирует. Так что дело здесь не только в чешском языке неслышащих чехов.

Думаю, что сказанное можно проиллюстрировать на одном из упражнений (из курса чешского языка для неслышащих), заданных мною неслышащим ученикам ремесленного училища. После объяснения значения предложного падежа и подробного разбора отдельных его форм им было предложено составить рассказ по картинке с использованием в каждом предложении предлогов “у” и “на”. Конечно, вряд ли можно было оценивать как почти “правильные” такие формы предложного падежа как *Na sanich leží skříň*. *Na telefoně leží stůl*. *Na posteli blíží zed'*. *Na pse spí koberec*. Ведь грамматика в данном случае – не самое главное.

И речь тут даже не о чешском языке, он лишь делает более наглядной проблему, значение которой намного шире и глубже. Ее суть состоит, с одной стороны, в вербальном (в широком смысле слова) и когнитивном “оснащении” неслышащих. Дело в том, что и в знаковом языке (не говоря уже о чешском языке как таковом) существуют различные проблемы, связанные, например, с процедурой постановки вопросов¹⁶. Мы имеем в виду не только умение сформулировать вопрос, но и поставить его вообще, т.е. важно наличие способности (или же потребности?) вообще задавать вопросы. Неслышащим довольно сложно посредством знакового языка передать, например, отношения эквивалентности, дизъюнкции, взаимопроникновения и инклузии, т.е. именно те отношения, на которых базируется познание окружающего мира. Необходимо установить, в какой степени коммуникация неслышащих (имеются в виду не только чехи) основывается на достаточно полном представлении о категоризации мира, на осознании отдельности лиц, объектов, событий (и их свойств и отношений) и самого “я”, на каких объектных и реляционных

концептах эта категоризация строится, в какой степени она вообще может восприниматься как осмысленная? И, наконец, может ли вообще подобная коммуникация иметь какой-то смысл, если неслышащий человек вступает в язык, коммуникацию и мир в целом через посредство значений, основной носитель которых – звук – не доступен его восприятию?

Интеркультурные конфликты, которые может вызывать чешский язык неслышащих и коммуникация неслышащих, можно наблюдать на уровне правил взаимодействия (особенно в случае стратегии вежливости)¹⁷, а также на уровне так называемой культурной пресуппозиции. Их можно также видеть на уровне стилистических вариантов чешского языка¹⁸, и, наконец, не в последнюю очередь – на уровне адекватности (избираемого) слова (сообщаемому) предметному содержанию.

Однако всего этого, как мне кажется, недостаточно. Следующий, притом очень важный вопрос связан как раз с содержанием (его характером, структурой и вообще с проблемой категоризации мира, характером узловых точек “сети”, через которую неслышащий воспринимает окружающий мир и, соответственно, понимает язык). Вопрос о способности выражать это содержание имеет второстепенное значение¹⁹, хотя им также не следует пренебрегать²⁰.

Первый, даже самый беглый взгляд на коммуникацию неслышащих, в особенности на их коммуникацию на письменном чешском языке, заставляет задуматься еще над одним вопросом – последним, хотя, возможно, и самым важным: как живет (выживает?) неслышащий в условиях “слышащей” чешской культуры, каким образом он приобретает культурные навыки по принципу “что и как” (know-how), где и посредством какого языка он может узнать то, что ему необходимо знать для того, чтобы существовать в “неслышащей” культуре, с которой большинство из них не живет от рождения²¹, а вступает в эту культуру, собственно, из ниоткуда? Думается, что вряд ли было бы правильно сводить проблему глухоты лишь к проблеме освоения звуков устного языка, языка большинства, как это у нас обычно принято. Несомненно, что глухота – куда более сложная проблема, комплексная по своей природе, поэтому и при ее анализе необходим интердисциплинарный подход, т.е. нужно использовать все те дисциплины, которые могли бы помочь глубоко, с разных сторон, рассмотреть образ жизни неслышащих чехов.

Весьма возможно, что в этом случае мы могли бы узнать нечто новое и о себе самих.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В качестве предварительного вывода (имеющийся материал недостаточно представителен) можно констатировать, что определенную роль здесь может также играть отношение к знаковому языку как к некоему способу идентификации сообщества неслышащих.

² Возможно, здесь оказывается влияние, с одной стороны, более чем столетней традиции, сложившейся в сфере образования неслышащих чехов, которая опирается преж-

де всего на чешский язык, а, с другой стороны, преобладающего отношения к знаковому языку и к использованию знаков вообще?

³ К их числу относятся прежде всего преподаватели спецшкол для неслышащих детей и молодежи, хорошо владеющие письменным чешским языком неслышащих, используемым в процессе обучения, а также слышащие родители неслышащих детей (письменная коммуникация внутри семьи, в частности, личная переписка).

⁴ О так называемом парадоксе наблюдателя см.: Labov 1972.

⁵ Использование цитат из чешского языка (предпочтение, оказываемое "готовым" формам, готовым структурам предложений, готовым текстовым фрагментам) имплицитно говорит о том, насколько трудно неслышащему чеху иметь дело с чешским языком. О трудностях, связанных с использованием чешского языка или же – шире – с созданием текста на чешском языке, свидетельствует применение различных средств и приемов, характерных отнюдь не только для конкретного идиолекта, но являющихся типичными для переписки в целом (по поводу инициальных фрагментов писем, использования невербальных, особенно изобразительных средств и их функций, а также по поводу эксплицитной вербальной реакции на трудности, связанные с применением чешского языка и пр. – см.: Macurová – Mareš 1995).

⁶ Считаю необходимым вновь подчеркнуть принципиальную значимость того, что слышащий чех зачастую является не адресатом, к которому обращаются, а (лишь) наблюдателем текста со стороны (см. по этому поводу также выше).

⁷ Это очевидно не только потому, что знаковый язык не существует в письменной форме; ведь даже самые яростные противники орального метода не могут поставить под сомнение значимость для неслышащих письменной формы чешского языка (впрочем, следует признать, что они и не пытаются это сделать).

⁸ Сказанное распространяется также, как об этом свидетельствуют пока что еще не многочисленные тексты, и на частные письма, адресованные слышащим лицам.

⁹ При этом речь идет как о лексических, так и, возможно, в первую очередь грамматических значениях.

¹⁰ Знак "/" соответствует абзацу в исходном тексте. Тест должен показать следующее: 1) понимают ли неслышащие вообще и, если да, то в какой степени, фиксируемые на чешском языке временные и реляционные отношения (например, соотношение между реальным временем "события" и временем его "изложения"; 2) передаются ли с помощью чешского знакового языка эти данные и в какой форме. Автором теста является И. Ванькова.

¹¹ Я не затрагиваю здесь некоторые общие проблемы, имеющие, на мой взгляд, принципиальное значение, а именно: 1) принципы транскрипции "высказываний", манифестируемых на чешском знаковом или же визуализированном языке, на "обычный" чешский язык (особую сложность, например, представляет проблема подыскания текстовых сегментов, форм, с помощью которых отдельные знаки переводятся на чешский язык. Важно и то, что мы почти ничего не знаем о грамматике чешского знакового языка; мы не "видим" и, соответственно, не способны идентифицировать "носителей" грамматических значений чешского знакового языка и т.п.); 2) учитывая, что приведенная выше транскрипция знаков на чешский язык, в сущности, выполнялась неслышащими ассистентами, принимавшими участие в исследовании, можно предположить, что она отражает определенные идиолектические сдвиги, обусловленные уровнем индивидуальной компетенции в чешском языке этих "переписчиков".

¹² О том, что необходимо принимать во внимание тип языка в более широком контексте (ср.: английский – чешский язык) см.: Kofenský 1994.

¹³ В какой-то степени это может зависеть от характера соответствующего английского примера, а также от методики, с помощью которой он был получен: например, стереотипность конструкций типа *There is...*, несомненно, предопределяется использованием метода извлечения данных (описание картинки).

¹⁴ Подобные "ошибки", конечно, могут быть выявлены и в чешском языке неслышащих; ср., например, факты элизии в таких случаях, как: *Prezident se choval. Jondš domí, potom Sparta slyšíci*; субSTITУции: *Promiň já jsem pracovala cukroví*; адиции: *Já jsem byly v*

minulý čas šla spala tři dní u babičky; проблемы с порядком слов: Koupila mi se svět hezky drachy.

¹⁵ Следует также учитывать, что ребенок изолирован и от исторически обусловленных моделей интерпретации мира, понимания действительности, ее категоризации и не в последнюю очередь – и от моделей социального поведения, особенно языковой интеракции.

¹⁶ При этом освоение “исследовательской” функции языка, с которой непосредственно связано “вопросительное” поведение, происходит в очень раннем возрасте ребенка (см.: Halliday 1975), хотя и несколько позже, чем осваиваются такие языковые функции, как инструментальная, регулирующая, интерактивная и персональная.

¹⁷ Учитывая специфику знакового языка как языка, имеющего визуально-моторную реализацию, для общности неслышащих характерны, например, иная фиксация доверительности (у них, например, отсутствует шепот – см.: Kyle 1990), несколько иной характер имеет и молчание (об этом, а также по поводу гносеологического и коммуникативного молчания – см.: Vaňková 1996). Отличаются, например, и нормы, определяющие способы номинации, специфику обращения коммуникантов друг к другу (в связи с более явно выраженной идентификационной функцией здесь шире используются фамилии и индивидуализирующие прозвища) и т.п.

¹⁸ См. об этом: Strnadová 1995 – в том числе, например, об обозначении половых органов.

¹⁹ В связи со специфическим использованием грамматической категории лица, проиллюстрированном нами выше, первостепенное значение приобретает вопрос, почему функциональная идентификация компонентов семантических структур предложения и текста с участниками акта коммуникации является столь неотчетливой и смазанной – и вообще, позволяет ли “организация” мира у неслышащих достаточно четко различать “кто есть кто”? Если это не так, то можно ли провести параллель между этим состоянием и тем “безязычием”, которое в раннем детстве было уделом большинства неслышащих, происходящих из слышащих семей? (Macurová – Mareš 1995). В пользу этого могли бы говорить не только ошибки в различении понятий “говорящий – адресат – другие участники коммуникативного акта” (а также лица: я – ты – он/это), но также и многочисленные доказательства того, что неслышащие зачастую не способны отделить сообщение от настоящего времени (соответственно использование грамматической категории времени), а также от реальной действительности (соответственно использование грамматической категории наклонения). Иными словами, это те недостатки, которые носят практический универсальный характер. И, наконец, последнее замечание: полезно было бы сравнить письменные тексты неслышащих чехов с текстами других “иностраниц”, для которых чешский язык действительно является иностранным языком. В этом случае серьезной основой для детальной характеристики чешского языка неслышащих могла бы стать новая интерпретация грамматических категорий, опирающаяся на коммуникативный подход (см.: Kořenský 1994).

²⁰ О различном характере двух типов знаков (так называемая разговорная жестовая речь – калькирующая жестовая речь) – см.: Зайцева 1991.

²¹ Большинство неслышащих детей (обычно приводится цифра 95%) рождаются у слышащих родителей.

Л и т е р а т у р а

Apple R. – Muyserken P. Language Contact and Bilingualism. London (etc.), 1987.

Ekman P. – Friesen W.V. Head and Body Cues in the Judgement of Emotion: A Reformulation. Perception and Motor Skill. 24. 1967.

Halliday M. Learning How to Mean: Explorations in the Development of Language. New York, 1975.

Kořenský J. Morfologické kategorie a procesuálně-komunikační přístup k řeči a jazyku // Slovo a slovesnost. 55. 1994.

- Kyle J.* The Deaf Community: Custom, Culture and Tradition // Prillwitz S. – Vollhaber T. (ed.) 1990.
- Labov W.* Some Principles of Linguistic Methodology. Language in Society. 1. 1972.
- Macurová A.* ... protože já bavím spolu vypravovat. Komunikace v dopisech českých neslyšících // Slovo a slovesnost. 56. 1995.
- Macurová A.* – Mareš P. Soužití a sřet. Ke stylu vícejazyčného textu. Referát na stylistické konferenci. Opole, září 1995 // Stylistika V., 1996.
- Mathesius V.* Reč a sloh // Ctení o jazyce a poezii. Praha, 1942.
- Mathesius V.* Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém. Praha, 1961.
- Prillwitz S.* – *Vollhaber T.* (ed.) Sign Language Research and Application. Hamburg, 1990.
- Padden C.* – *Humphries T.* Deaf in America. Voices from a Culture. Cambridge, Mass (etc.), 1988.
- Příhoda V.* Ontogeneze lidské psychiky. Vývoj člověka do patnácti let. Praha, 1963.
- Strnadová V.* Jaké je to neslyšet. Praha, 1995.
- Quiugley S.P.* – *Paul P.V.* Language and Deafness. San Diego (etc.), 1984.
- Vaňková I.* Mlčení (a řeč) v komunikaci, jazyce a kultuře. Praha, 1996.
- Zajceva G.I.* Daktiologija. Žestovaja reč. Moskva, 1991.

Перевод Е. Овчинниковой

Я. Шледрова

(Чехия)

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Эффективность педагогической коммуникации – это тема, исследование которой в современной педагогике уже продвинулось от начальной стадии поиска системообразующих компонентов воспитательно-образовательного процесса к раскрытию их соотношения и закономерностей (ср. Blížkovský 1992); сейчас она приобретает все большее значение. Как объем содержания этой темы, так и конкретные методы исследования, используемые для решения этой проблематики, во многом выходит за рамки традиционного педагогического интереса; все это говорит о необходимости кооперации с другими дисциплинами.

В то же время эта проблематика выходит на передний план интересов психолингвистов и лингвистов, изучающих в своих работах действие, влияние или же непосредственно эффективность различных типов текста. И хотя педагогическая коммуникация – это специфический тип коммуникации, ее исследование будет комплексным только при использовании данных этих дисциплин.

Однако современные исследования, как правило, не дают систематического и обобщающего представления о педагогической коммуникации. Речь в них идет скорее об описании отдельных аспектов коммуникации, что следует из направленности конкретных публикаций, где

преобладают или теоретические аспекты, которые подводят авторов к анализу эффективности коммуникации и сопоставлению ее с другими понятиями, или же, наоборот, это частные эмпирические работы, результаты которых едва ли можно вынести за рамки данной области коммуникации. Однако эти подходы могут дать ценный стимул для будущей обобщающей работы, а также для других эмпирических исследований.

К подобным работам относятся некоторые публикации по психологии Shank-Abelson 1977; Brown-Yule 1983; Bower-Cirilo 1985; Nakonečný 1970; Linhart 1972; Janoušek 1984; Beran 1992 и т.д.).

Более подробно описываются некоторые аспекты эффективности коммуникации в психолингвистической литературе (см. Rehbein 1977; Hörmann 1981; Negttman 1983; Сорокин 1985; сборник "Речевое воздействие: психологические и психолингвистические проблемы" 1986; Sperber-Wilson 1986; Тарасов 1987; Nebeská 1992).

Тематически эффективные реализации разных типов текстов встречаются и в работах по текстовой лингвистике (см. Daneš 1988; Hoffmannová 1988; Kraus 1988; Müllerová 1988; Halliday 1991).

Специфическую группу представляют собой педагогические или дидактические отечественные работы прикладного характера (см. Průcha 1987; Gavora 1988; Mareš-Křivoňlavý 1989; Vyskočilová 1989; Nikl 1990; Blížkovský 1992; Pražská skupina školní etnografie 1994 и т.п.).

При оценке эффективности педагогической коммуникации нам не обойтись без теоретической педагогической базы. Теорию педагогической коммуникации, из которой мы исходим, разработали П. Гавора и другие сотрудники Института экспериментальной педагогики Словацкой Академии наук в Братиславе (ср. Gavora 1988). Такое понимание педагогической коммуникации позволяет участникам воспитательно-образовательного процесса обмениваться информацией. Под информацией Гавора понимает любые семантические данные, которые являются содержанием коммуникации; он различает три вида педагогической информации:

когнитивная информация – направлена на развитие познавательной стороны участников коммуникации;

аффективная информация – направлена на развитие аффективной стороны личности участников коммуникации;

директивная информация – направлена на управление педагогическими ситуациями, например при обучении.

Хотя эти три типа информации никогда не удается полностью различить, такая классификация все-таки помогает оценивать правильность и степень понимания. Информация, которой обмениваются между собой участники воспитательно-образовательного процесса, не выбирается произвольно, а мотивируется определенным намерением. Это намерение заключается в достижении воспитательно-образовательной цели данного воспитательного коллектива (школы, семьи и т.д.).

Определение уровня понимания дидактических текстов, используемых учителями при обучении и количественной оценке когнитивной информации, представляет собой по большей части наиболее распространенный путь оценки реализации образовательных намерений педагогических коллективов.

Начиная со второй половины нашего века, именно психолингвистика и психология помогают педагогам в обнаружении факторов, способствующих эффективности педагогической коммуникации. Причина этого в том, что с 50-х годов становление психолингвистики ориентировано на изучение процесса коммуникации.

Из оценки сложных перипетий развития психолингвистики следует, что, в отличие от начального периода, когда каждая новая концепция строилась на отрицании предыдущей, в настоящее время, несмотря на значительное тематическое разнообразие, выявляется определенная преемственность этого развития. Она находит выражение в стремлении моделировать речевую деятельность как комплексный процесс, и эта тенденция открывает новые возможности в оценке эффективности коммуникации.

Ценные для психолингвистики сведения дала психология, которая стала ориентироваться на изучение реализации намерения, что оказалось существенную помочь в объяснении того, какие условия необходимы для эффективной коммуникации. В психологии намерение обычно рассматривается как один из факторов организации деятельности субъекта (Linhart 1972). Такое определение представляет намерение как некую континуальную интенциональность, которую необходимо отличать от намерения как актуальной величины. Если иметь в виду намерение и то, как оно реализуется в чьей-либо деятельности, то на первый план выступает континуальный аспект намерения. Психология указывает на антиципационный характер намерения, на его связь с осознанно или бессознательно антиципируемыми целями и на влияние на его формирование индивидуального опыта.

Кроме того, психология указывает, что целесообразно различать три довольно близких понятия: намерение, отношение и мотив (см. Nakonečný 1970).

Намерение говорящего изучает также социальная психология. К главным представителям этой области психологии в Чехии относится Яношек (Janoušek 1984). Его взгляды способствуют уточнению отношения продуктора и реципиента. По Яношеку, “с психологической точки зрения продуцирование текстов представляет собой экстерриториализацию намерения и плана. Для того же, кто воспринимает деятельность второго участника, психологическая сторона состоит в интериоризации значения продукта с точки зрения удовлетворения собственных нужд, т.е. в раскрытии смысла чьего-то продукта для себя самого” (Janoušek 1984, 25 и далее).

Коммуникативное намерение текста требует увязывания с другими понятиями, с которыми работает текстовая лингвистика. Наряду с

предметным содержанием и темой текста необходимо указать на его смысл. “Именно в него автор в первую очередь вкладывает свое коммуникативное намерение, однако оно связано уже с предтекстовой fazой создания коммуникативного плана, в то время как о смысле можно судить исключительно по тексту” (Mluvnice.., 631).

В литературе, исследующей намерение говорящего, очень часто встречаются понятия *коммуникативный процесс* (далее – КП) и *коммуникативный акт* (далее – КА).

КА мы рассматриваем как базу, на которой конституируется КП, и одновременно как необходимую предпосылку КП. Каждый КА создают его конкретные участники, по нашей терминологии – партиципанты. Такое компонентное определение представляет *статический* аспект, мы встречаемся с ним в большинстве работ, посвященных коммуникации. Мы полагаем, что следует отличать относительно устойчивое от актуального и изменчивого. В случае КА речь пойдет, с одной стороны, об отдельных партиципантах, с относительным постоянством участвующих в конституировании КА, с другой стороны – о происходящих с ними изменениях в случае актуальных, протекающих в данный момент процессов продуцирования и восприятия, что представляет *динамический* аспект. Во втором случае на передний план выступает фактическое функционирование системы (относительно устойчивого комплекса – в нашем случае конфигурации партиципантов), находящаяся под постоянным воздействием внешних и внутренних условий.

Этот динамический аспект КА, подчеркивающий функционирование всей системы, находится в соответствии с моделью воспитания в современной системной педагогике, которая исходит из предпосылки, что эффективность восприятия зависит от единства и противоречия педагогических отношений субъекта и объекта воспитания, от того, насколько поставленные цели соответствуют существующим условиям, а также от удачного выбора воспитательных средств для достижения этих целей. Изучение реализации намерения в педагогической коммуникации исходит из того, что “в оптимальном случае диалектически противоречивое единство и функциональная взаимозависимость субъекта и объекта воспитания, с одной стороны, и целей, условий и средств воспитания – с другой, повышает его формативную ценность и действенность (Blížkovský 1992, 72).

В своем эмпирическом исследовании, опирающемся на рассмотрение выше теоретические и эмпирические работы, мы попытались принять участие в изучении факторов, способствующих эффективности коммуникации в процессе обучения.

Возможно, на общем уровне наше частное исследование также можно будет использовать для прояснения некоторых аспектов процесса производства и восприятия текста. Этой проблематикой в таком широком понимании занимаются не только специалисты в разных областях психолингвистики, но также лингвисты, психологи и педагоги,

ориентирующиеся на изучение межотраслевых контактов (ср. указанные выше работы). Этую проблематику мы рассматриваем эмпирически на примере всего лишь одного конкретного типа коммуникации – коммуникативной педагогики, особенно ее дидактической функции.

Об эффективности коммуникации мы можем судить путем экспликации некоторых особенностей намерения говорящего. Очевидно, что при рассмотрении явления, которое отражает это понятие, мы попадаем в область, эмпирически довольно мало исследованную. В эмпирической части работы нас прежде всего интересует уровень реализации намерения говорящего, то есть, в случае дидактической коммуникации – намерения обучающего. Мы стремимся выяснить, какие факторы обуславливают эффективную реализацию намерения обучающего. Под *эффективной реализацией* мы понимаем такой случай, когда эксплицитное выражение учителем своего намерения конгруэнтно с эксплицитной реконструкцией этого намерения его учениками. Это идеальный случай, и такого полного совпадения между производством и восприятием обычно не происходит, однако мы исследуем факторы, способствующие гармоническому течению обоих процессов. Таким образом, цель исследования в том, чтобы ответить на вопрос: *Каковы основные факторы, участвующие в эффективной реализации намерения говорящего?*

Поиски ответа на этот вопрос привели нас к изучению языкового воспитания в школе и в то же время – к постановке следующего вопроса: Понимают ли ученики намерение своего учителя? Положительный ответ на этот вопрос, то есть верное понимание намерения говорящего (в данном случае – учителя) – это необходимая предпосылка успешного достижения воспитательно-образовательных целей и намерений педагогической коммуникации. Проблематика верного понимания может успешно решаться в процессе воспитания в направлении *позитивной коммуникации*. В общих чертах некоторые чешские социальные психологи (напр. Negrochová 1989) определяют позитивную коммуникацию как такой тип коммуникации, при котором коммуникант положительно оценивает взаимную перцепцию, позволяющую удовлетворять индивидуальные потребности и направленную на реализацию намерений и целей коммуникантов. Но где, как не в школе, можно создать необходимую базу для развития навыков коммуникации? Отрадно, что коммуникативное воспитание стало важной составной частью основ начального и среднего образования (ср. Pit'ha-Helus 1994).

Представляется интересным сравнить этот проект с другим, автор которого, И. Мразик, опубликовал его еще в 1886 г., а в 1915 г. на его базе были разработаны новые основы обучения чешскому языку (ср. J. Mrazík v: Průcha 1978). Уже тогда в качестве главных принципов обучения автор выдвинул следующие тезисы:

целью обучения на родном языке нельзя считать, овладение грамматическими (теоретическими) знаниями;

невозможно воспитать у учеников умение изъясняться лишь на базе систематического обучения грамматике;

обучение грамматике должно быть подчинено психологическим факторам развития учеников.

Мы рассмотрели, как почти через сто лет после выдвижения этих тезисов они были воплощены в жизнь, а также – до какой степени коммуникативный уровень как учеников, так и учителей удовлетворяет критериям позитивной коммуникации и в то же время помогает достичь наибольшей эффективности в коммуникации.

Как уже было сказано выше, для такого исследования недостаточно традиционно используемых в педагогике методов – здесь требуются также методики некоторых других дисциплин. Хотя в связи со специфичностью данного вида коммуникации такой подход в значительной степени представляет частное решение коммуникативного процесса, его можно использовать также применительно к некоторым другим типам коммуникации. К такому частичному обобщению нас подводят *комплексный и интерактивный* подход к коммуникации, который требует применения *интердисциплинарной* методики исследования. Такая концепция исследования опирается на проект методики, которая строится на некоторых психолингвистических и дидактических методах. Для нее характерно стремление к нетрадиционному использованию психодиагностических методов, причем акцент делается в первую очередь на их синтез. В 90-е годы все чаще появляются работы, в которых больше внимания уделяется как проблеме взаимодействия в процессе обучения, так и синтезу методов, присущих различным дисциплинам.

Из работ по педагогике сошлемся на курс лекций И. Пеликана (Pelikán 1992), где рассматривается методология изучения личности преподавателя средней школы, курс лекций Я. Прухи (Průcha 1992) с обзором методов, применяемых в педагогических исследованиях на Западе, сообщение об исследованиях на местах, опубликованное Пражской группой школьной этнографии (1994), и работу Цангелоси (Cangelosi 1994), где представлены методы управления обучением, способствующие повышению эффективности обучения. Все названные работы представляются нам очень продуктивными для создания концепций педагогических исследований, в особенности с точки зрения использования адекватных методов исследования.

Мы исходим из очевидной предпосылки, проверенной во многих научных дисциплинах: количество и качество продукции влияет на количество и качество рецепции, а продукция и рецепция текста находятся под сильным влиянием личности продюктора и реципиента.

Воздействие текста оценивалось с точки зрения реализации намерения учителя. Эффективной реализацией мы называем достижение максимального соответствия между эксплицитным выражением намерения учителя и его реконструкцией учениками. В нашем исследовании

мы рассматривали, какую роль играют факторы *важности и повторяемости информации* в эффективности передачи этой информации.

Сведения о личностях продюкторов и реципиентов были получены с использованием диагностических методов психологии. Дополнительные сведения об объектах изучения, а также сведения, касающиеся реализации намерения, мы получали путем оценки двух типов вопросников – для учителей и учеников, в которых изучалось отношение между эксплицитным выражением намерения обучающим и его реконструкцией учениками. Анализ и сопоставление всех соответствующих положений вопросника свидетельствовали об эффективности намерения учителя.

К основным результатам эмпирической части работы относится подтверждение факта положительного влияния *повторения* информации на усвоение ее реципиентом. Информация, которую продюктор считает *войной*, также влияет на усвоение ее реципиентом, но в значительно меньшей степени, чем ее *повторение*.

Мы также стремились статистически подтвердить гипотезы о зависимости усвоения текста реципиентом от психосоциальных характеристик реципиента и традиционных результатов школьной успеваемости. Лишь в случае *мотивированности и настроения*, показатели которых в нашем исследовании зависели от собственной субъективной оценки испытуемых, не сказалось влияние этих показателей на усвоение текста. Как показали статистические расчеты, высокий уровень способностей *аналогического мышления и памяти* положительно влияет на усвоение текста реципиентом. Другие характеристики (*индуктивное мышление, воображение, сосредоточение внимания и оценки по предметам*) связаны с восприятием текста, но в нашем исследовании заметного влияния значения показателей этих характеристик на восприятие обнаружено не было.

Целесообразно было бы выявить аналогичные характеристики и для продюктора текста. О серьезных недостатках в педагогической коммуникации, которая была предметом нашего исследования, особенно много говорит недостаточное усвоение существенной информации, т.е. такой, усвоения которой учитель ожидает в первую очередь.

Некоторые экспериментальные и теоретические результаты исследования (ср. подробнее Šlédrová 1995) постепенно находят отклик в концепции теории языкового воспитания и дидактики в качестве предметов обучения в высшей школе. Некоторые результаты работы выходят за рамки проблематики дидактической коммуникации, так как касаются общих вопросов отношения продукции и восприятия. Некоторые из полученных данных могли бы найти отражение и при обучении другим предметам из курса богословии в высшей школе.

Не только наше исследование, но и другие, проводившиеся в основном в начальной школе (ср. напр. Gavora 1988), показали, что педагогическая коммуникация протекает в основном стереотипно. Бессспорно, в

обучении диалог начинает преобладать над монологом. Однако инициатором этого диалога всегда бывает учитель, между тем как в интересах развития творческой коммуникации было бы полезно, чтобы диалог завязывали и сами ученики.

Следующей темой нашего исследования было управление вербальной коммуникацией. Мы изучали, при помощи каких средств учитель стимулирует или подавляет коммуникативную активность учеников, как он ее контролирует и оценивает. Более подробно рассматривались отдельные составляющие диалога, характер вопросов, задаваемых учителем и учениками, ответы на эти вопросы и реакции на ответы. Так, например, было выявлено крайне редкое употребление открытых вопросов, вопросов типа "почему?", и вопросов, задаваемых самими учениками.

Отрадно, что словацкие педагоги в своих исследованиях работы учеников с текстом не ограничивались только рассмотрением лексического уровня, но одновременно стремились учесть также факторы, связанные с пониманием текста. В этой части исследования авторы опираются на данные лингвистики, особенно на теорию актуального членения. Однако результаты этих исследований нельзя безоговорочно обобщать, поскольку работа в них велась исключительно с письменными текстами, а понимание устных текстов оставалось в стороне.

Как исследования, проведенные в Словакии, так и наши собственные показали, что с точки зрения эффективности коммуникации и действенности педагогической коммуникации в обучении есть большие резервы. Кроме всего прочего, они связаны с недостаточной заинтересованностью учителей в целенаправленном повышении у учеников текстовой компетенции.

Можно порадоваться тому, что эмпирические или теоретические результаты исследований, близких нашему, начинают находить практическое применение в области повышения эффективности процесса обучения и расширения возможностей психологической диагностики. Мы полагаем, что комплексное понимание педагогической коммуникации, опирающееся на интердисциплинарные исследования, а также изучение основных понятий и создание модели КА, могут способствовать развитию теории педагогической коммуникации, которая является отражением современного состояния нашего просвещения и в то же время инструментом, с помощью которого можно способствовать его прогрессу.

Л и т е р а т у р а

Beran J. Psychoterapeutický přístup v klinické praxi. Praha, 1992.

Blížkovský B. Systémová pedagogika. Ostrava, 1992.

Bower G.H., Cirilo R.H. Cognitive Psychology and Text Processing // Handbook of Discourse Analysis. Vol. I. London; New York–Sydney, 1985.

Brown G., Yule G. Discourse Analysis. Cambridge, 1983.

- Cangelosi J.S.* Strategie řízení třídy. Portál, 1994.
- Daneš F.* Předpoklady a meze interpretace textu // *Slavica Pragensia*. Roč. 32. Philol. 4–5. Praha, 1988.
- Gavora P. a kol.* Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava, 1988.
- Halliday M.A.K.* Towards Problematic Interpretation // Functional and Systematic Linguistics. Approaches and Uses. Berlin; New York, 1991.
- Hermochová S.* Metody aplikované sociální psychologie II. Partnerské programy a partnerské hry. Praha, 1989.
- Herrmann T.* Speech and situation. Berlin; Heidelberg; New York; Tokyo, 1983.
- Hoffmannová J.* Typy a vzájemné vztahy interpretačních činností produktora a recipienta v komunikačních procesech // Slovo a slovesnost. Roč. 49. 1988.
- Hörmann H.* To mean – to understand. Problems of psychological semantics. Berlin; Heidelberg; New York, 1981.
- Janoušek J.* Společná činnost a komunikace. Praha, 1984.
- Kraus J.* K typologii situací porozumění // *Slavica Pragensia*. Roč. 32. 1988.
- Linhart J.* Proces a struktura lidského učení. Praha, 1972.
- Mareš J., Křivohlavý J.* Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha, 1989.
- Mluvnice češtiny.* Praha, 1987.
- Müllerová O.* Komunikační proces a text jako objekt teoretické interpretace // Slovo a slovesnost. Roč. 49. 1988.
- Nakonečný M.* Sociální psychologie. Praha, 1970.
- Nebeská I.* Úvod do psycholingvistiky. Praha, 1992.
- Nikl J.* Pedagogická komunikace. Hradec Králové, 1990.
- Pelikán J.* Metodologie výzkumu osobnosti středoškolského profesora a jeho pedagogického působení. Praha, 1992.
- Pit'ha P., Helus Z.* Návrh pojetí občanské školy. Charakteristika předmětů. Praha, 1994.
- Pražská skupina školní etnografie.* Typy žáků. Zpráva z terénního výzkumu. Nadace školní etnografie a kvalitativního výzkumu. Praha, 1994.
- Průcha J.* Učení z textu a didaktická informace. Praha, 1987.
- Průcha J.* Pedagogická teorie a výzkumy na západě. Praha, 1992.
- Rehbein J.* Komplexes Handeln (Elemente zur Handlungstheorie der Sprache). Stuttgart, 1977.
- Shank R., Abelson R.* Scripts, Plans, Goals and Understanding. Hillsdale, 1977.
- Sperber D., Wilson D.* Relevance. Communication and cognition. Cambridge, 1986.
- Sládrová J.* Realizace záměru mluvčího v pedagogické komunikaci // Kandidátská disertační práce. Praha, 1995.
- Vyskočilová E.* Utváření komunikativních dovedností učitele. Praha, 1989. Речевое воздействие: психологические и психолингвистические проблемы. М., 1986.
- Сорокин Ю.А.* Психологические проблемы изучения текста. М., 1985.
- Тарасов Е.Ф.* Тенденции развития психолингвистики. М., 1987.

Перевод Е.Н. Овчинниковой

IV. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКА ВНУТРИ ЭТНОСА

Л.Б. Никольский

(Россия)

ТРАНСМИССИЯ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В АФРО-АЗИАТСКИХ СТРАНАХ

Под культурой в этой статье будет пониматься совокупность результатов (продуктов) деятельности человека или социума. Продукты – это предметы и явления, получаемые от природы и используемые людьми, либо создаваемые вновь для поддержания биологической жизни, а также служащие для удовлетворения духовных и эстетических потребностей человека как *homo sapiens*, а также правила, нормы и установки, регламентирующие взаимодействие людей в производительной и их отношения в общественной жизни.

Отсюда прежде всего следует, что культура не только совокупность духовных, но и материальных ценностей, используемых и создаваемых человеком. Вместе с тем (обще)человеческая культура по сути есть конгломерат культур этносов, в большей или меньшей степени отличающихся друг от друга.

Язык также является одной из составляющих культуры, созданных социумом. Он представляет собой систему конвенциональных звуковых знаков, выражающих предметы культуры. Вместе с тем, чаще всего выражая своеобразие этнической культуры, язык является этнообразующим фактором и дифференцирующим признаком этнической общности.

Общеизвестно, что не все этносы равны как по численности, так и по уровню развития (экономического, политического, социального и интеллектуального). Меньшинство этносов полностью суверенно, а тем более обладает той или иной формой государственности (на Востоке таким исключением являются Япония, практически Китай, некоторые арабские страны).

Все этносы (редкое исключение, возможно, составляют племена на Калимантане или в горных и малодоступных частях Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, живущие в полной изоляции) уже давно вовлечены в культурный обмен, взаимно воспринимая ценности культур, в большей мере материальные, в меньшей – духовные. В полиэтнических государствах, населенных этническими общностями, различающимися численностью и уровнем развития, культура одного

из этносов является доминирующей, культура же остальных, напротив, подвергается одностороннему влиянию со стороны этого этноса. Для государств с равноразвитыми и суверенными этносами типа Бельгии, Канады, Индии более характерно взаимодействие культур. В первом случае исходная этническая гомогенность подрывается, а исконные культурные ценности вытесняются. Полная культурная ассимиляция, однако, завершается лишь спустя относительно длительный период времени. До этого же в культуре этноса образуется слой иноэтнических предметов и явлений, осознаваемых таковыми, поскольку сохраняется собственная культурная специфика. Практически то же самое происходит и во взаимодействующих культурах. В них также формируется слой иноэтнической, внешней (термин В.В. Кабакчи), культуры (Кабакчи 1985).

Восприятие многими этносами внешнекультурных элементов из одних и тех же социумов становится фактором культурного изоморфизма, когда в разных этнических культурах появляется значительное количество идентичных элементов. Это в свою очередь дает основание говорить о существовании во многих или в большинстве культур общего полиэтнического слоя. Таким образом, в принципе этническая культура может быть трехслойным образованием, включающим: 1) исконные, 2) заимствованные ранее и уже ассимилированные элементы, 3) внешнекультурные инновации последнего времени, не подвергшиеся ни адаптации, ни ассимиляции.

Переходя к языковому или лингвистическому аспекту темы, следует отметить, что предназначение любого живого языка состоит в обеспечении внутренней коммуникации этноса, и потому он составляет коммуникативный компонент его культуры. В этом смысле все языки самодостаточны для выполнения этой функции.

Трансмиссия культуры, или иначе передача культурной информации с помощью языка, предполагает наличие в этносе или социуме, состоящем из нескольких этносов, системы коммуникации между социальными и профессиональными слоями, правящими группами и остальным населением.

Если представить себе вербальную коммуникацию в современных полиэтнических странах, а таких на Востоке, да и во всем мире, явное большинство, то она составляет сложную, иногда многоступенчатую систему ряда коммуникативных сетей, объединяющих как целые этносы, так и их отдельные социальные и профессиональные слои. Первичную сеть коммуникации образуют языковые связи между территориально соположенными общностями, т.е. этносами, имеющими общую границу. Языковые связи в зависимости от соотносительной численности этносов, их экономического положения и культурного уровня могут иметь двусторонний характер и осуществляться с помощью обоих контактирующих языков, стимулируя формирование контактного двуязычия, при котором члены соседних общностей овладевают языком

друг друга. Такая система и двустороннее двуязычие устанавливаются, когда оба этноса существенно не различаются по уровню экономического и культурного развития.

При численном преобладании одного из этносов и различии уровня развития также формируется межэтническая сеть связи, но базируется она на контактном одностороннем двуязычии. Это значит, что двуязычными становятся члены этноса, уступающие другому численно или же в одном из названных выше отношений. При этом члены доминирующей общности остаются одноязычными. Исключение может представлять та часть этноса, которая живет в полосе вдоль этнической границы и повседневно вступает в контакты с иноязычными соседями. Она становится двуязычной. В этом случае, однако, индивиды овладевают, как правило, формой речи другого языка, функционирующими в данной местности, или иначе – территориальным диалектом.

В принципе вся территория страны может быть покрыта такого рода первичными связями, базирующимися на языке одного из этносов, вышедших за пределы этнической территории, и усвоенными членами другого, соседнего этноса. Такие межэтнические языки могут быть названы **местными**.

Вторичная сеть коммуникации покрывает часть территории государства, населенную несколькими или многими этносами, как живущими по соседству, так и разделенными этническими территориями других общностей. Такая сеть коммуникации основывается на одном языке, используемом при общении всех этносов данного региона. **Региональным** межэтническим обычно становится язык этноса, составляющего большинство населения или доминирующего в экономическом либо культурном отношении. Как региональный межэтнический может использоваться также иностранный язык, не имеющий в стране своей этнической базы. Так языком индийского штата Нагаленд провозглашен английский язык. Спецификой коммуникации на региональном уровне является не только многосторонность межэтнических связей, но и включение в сеть не всего этноса, а лишь его определенных слоев, различающихся сословно-имущественной принадлежностью, полученным образованием, профессией, родом занятий и т.д. Региональный же этнический язык отличается от местного еще и тем, что в большинстве случаев он используется в административном управлении, экономике, политической, идеологической и культурной деятельности в административно-политической единице, как правило, созданной в пределах региона (например, штаты в Индии, провинции в Пакистане и Шри-Ланке). В связи с последним обстоятельством существует еще одно функциональное отличие регионального межэтнического языка от местного, заключающееся в том, что межэтническую функцию на региональном уровне несут не все его формы существования, а преимущественно одна из них, а именно литературный язык с более или менее длительной литературной традицией (например, язык ория в

штате Орисса, асами в штате Ассам, панджаби в штате Пенджаб Индии; синдхи в провинции Синд и урду в провинции Пенджаб Пакистана). Эта особенность полностью отражается в типе двуязычия у представителей малых этносов, которые овладевают в первую очередь не всеми формами существования межэтнического языка, а его литературной нормой, продолжая использовать во внутриэтническом общении обычно-разговорные формы этнического языка, его территориальные диалекты.

Третья сеть коммуникации охватывает всю территорию многонациональной страны, объединяя регионы и их части, населенные разнозычными этносами. Эта общегосударственная коммуникативная сеть опирается на использование одного из языков страны, стихийно выдвинувшегося в ходе интеграционных процессов или введенного законодательным актом в качестве языка официального общения центрального правительства с региональными административно-политическими единицами и между ними.

Средством межнационального общения не всегда становится язык самого крупного этноса страны или доминирующего в политико-экономическом отношении. Возможны ситуации, когда эту роль играет язык менее многочисленной общности. Так, например, тагальский язык, получивший вместе с официальным статусом наименование “пилипино” (общефилиппинский), принадлежит этносу, занимающему по численности второе место на Филиппинах; в Танзании численно доминируют жители, говорящие на других языках, а не те, для которых родным является суахили. Соответственно урду является родным для всего лишь немногим более 10% жителей Пакистана. Подобным языком может объявляться также язык этноса, доминирующего лишь в политическом отношении (малазийский в Малайзии, где экономические рычаги находятся в руках китайской общности, а культуры сосуществующих этносов весьма отличаются друг от друга).

В ряде многонациональных стран Востока, по причинам не только политическим, но и культурно-лингвистическим, которые будут изложены ниже, роль общегосударственных межнациональных языков выполняют бывшие колониальные западноевропейские языки. Эти языки после отъезда или депортации европейцев из стран Востока практически лишились своей этнической базы.

Автохтонные межнациональные языки отличаются от региональных прежде всего тем, что с их помощью осуществляются разнообразные связи не только между центром и периферией, населенной разнозычными этносами, но и между правительством, общественными организациями и соответствующими управлением органами и общественными институтами в административно-территориальных единицах, выделяемых по национально-лингвистическому признаку (штаты в Индии, провинции в Пакистане и Шри-Ланке), а также между этими единицами. Таким образом, диапазон их функционирования значитель-

но шире. Кроме областей административной и общественно-политической деятельности, они обслуживают культуру и науку, являются языками обучения в учебных заведениях, внедряясь в том числе в инонациональную школу после окончания ее учениками первой ступени на родном языке. На них издается центральная пресса, выходит из печати значительная книжная продукция.

В связи с более широким, чем у региональных языков, объемом их коммуникативных функций эти языки обладают и более развитой лингвистической системой, имеют более богатую лексику, терминологию, обеспечивающие их использование во многих сферах общественно-политической, культурно-идеологической, научно-технической коммуникации.

Необходимость осуществления внутриэтнической и межэтнической коммуникации в многонациональном государстве с помощью разных языков неизбежно создает ситуации, в которых индивиды вынуждены овладевать, помимо родного, еще и вторым, а нередко и третьим языком. И все же самым типичным последствием является двуязычие, или билингвизм, которое в зависимости от условий и уровней общения представлено двумя типами: 1) **контактным**, или территориально обусловленным, и 2) **социально обусловленным**. Первый тип уже кратко был рассмотрен выше в связи с языком местного межэтнического общения. Остановимся поэтому ниже на втором типе.

Социально обусловленное двуязычие формируется вследствие социальных контактов, устанавливающихся не только между соседними этносами, но и между этническими общностями, живущими раздельно, каждая на своей территории. Примером этого может служить двуязычие, складывающееся у индивидов, принадлежащих к этносам, чей язык не является общегосударственным. При необходимости участия в межэтническом общении на общегосударственном уровне эти индивиды овладевают им как вторым языком через школу, в производственной деятельности, во время службы в армии, с помощью средств массовой информации, в первую очередь электронных. Этот тип имеет две особенности, отличающие его от контактного двуязычия.

Во-первых, он далеко не всегда присущ всем членам общности, а формируется и является устойчивым обычно у тех ее членов, которые по роду своей деятельности связаны с межнациональным общением. В противном случае, даже когда овладение общегосударственным межнациональным языком стимулируется и поощряется, навыки общения на нем могут с течением времени утрачиваться, если деятельность индивида впоследствии осуществляется только в рамках своей языковой общности. Таким образом, устойчивость двуязычия обусловлена вхождением в социальную группу, имеющую контакты с другой, и неразрывно связана с социальной мобильностью и социальным продвижением. Не случайно устойчивое двуязычие этого типа присуще прежде всего интеллигенции, рабочим крупных промышленных предприятий, со-

трудникам правоохранительных органов, работникам торговли, кадровым военным. В значительно меньшей степени оно свойственно крестьянству, которое в своем большинстве остается одноязычным.

Другой особенностью двуязычия этого типа является то, что индивид, овладевший этническим языком в детстве, усваивает второй язык прежде всего в письменно-литературной форме. Поэтому типичной моделью двуязычия у социально мобильных индивидов будет этнический язык в разных формах существования (например, литературной и диалектной) и литературная форма межнационального языка. При этом языки в контакте распределяются функционально, обслуживая различные сферы общения: этнический язык используется в повседневной коммуникации, в общественной, культурной жизни и производственной деятельности в пределах этнической территории; литературная форма второго языка – в различных сферах общегосударственной коммуникации (официальное общение, система просвещения, средства массовой информации, общественно-политическая деятельность в масштабах страны, общегосударственная культура).

В большинстве полиэтнических стран Востока в послевоенный период сложилась еще более сложная модель языковой ситуации. Дело в том, что главным образом по политическим мотивам не удалось осуществить планируемую в годы борьбы за национальную независимость языковую деколонизацию, т.е. вытеснить из общения бывший колониальный язык, заменив его одним из автохтонных (английский – языком хинди и урду соответственно в Индии и Пакистане, французский – арабским языком в Тунисе и Алжире). Главным препятствием стало опасение крупных этносов, языки которых не были выдвинуты на роль общегосударственных, оказаться в неравноправном положении с теми этническими общностями, языку которых был предоставлен такой статус. Играло роль и сопротивление местной западноязычной элиты, бывшейся лишиться одной из своих важных прерогатив. Оба эти факто-ра могли действовать и совместно. В результате достигнутого консенсуса закон о государственном языке остался в силе, но срок функционирования западноевропейского языка был продлен. Теперь, кажется, этот острый политический вопрос снова не поднимается, хотя назначенные сроки смены языков давно прошли.

Устойчивость западноевропейских языков определило и то, что они обладают немаловажными лингво-функциональными преимуществами по сравнению с автохтонными языками, претендовавшими на эту роль. Так, они коммуникативно универсальны, могут использоваться в любой сфере общения и обладают лингвистическим инвентарем, необходимым для этого. Пожалуй, единственный их недостаток состоит в том, что они не в полной мере содержат термины, обозначающие предметы восточной культуры. Но, учитывая, что западноевропейские языки, функционирующие в странах Востока, исключены из сферы воздействия нормализаторской деятельности западноевропейских язы-

ковых академий, они свободно воспринимают и адаптируют соответствующую терминологию из автохтонных восточных языков. Недостатки же конкурирующих с ними восточных языков более существенны. Хотя лексико-семантические системы их литературных форм существования содержат необходимое количество терминологии¹ для выражения этнических реалий, сами по себе эти формы приспособлены лишь для письменного общения, не располагают сформировавшейся разговорной формой, и устное воспроизведение текста в большинстве случаев просто представляет его озвучивание. Кроме того, литературные языки содержат немало архаичных черт и плохо подвергаются модернизации, в частности, потому, что учреждения, несущие ответственность за языковую политику, во многих странах занимают пуритнические позиции. Поэтому со стороны различного рода языковых академий и институтов национального языка накладываются запреты на прямые (фонетические) заимствования из западноевропейских языков, устраиваются гонения на проникшие в язык иноязычные лексемы, а также ведется широкомасштабная деятельность на упреждение, когда пытаются разорвать связь между предметом иноэтнической и обозначающей его лингвистической единицей путем соотнесения его с имеющимся в родном языке словом или специально создаваемым неологизмом. Такое терминотворчество получило в послевоенный период, совпавший с НТР, значительный размах. Вместе с тем оно содержит два серьезных недостатка: во-первых, оно недостаточно оперативно и не может своевременно создавать точные, легко усвоемые и лингвистически безуказанные эквиваленты; во-вторых, специалисты, получившие образование на западноевропейском языке (а по новым наукам в странах Востока таких большинство) по инерции продолжают употреблять привычную для них иностранную терминологию, не прибегая к исконным эквивалентам. Победе в конкурентной борьбе за новые сферы культуры мешает и то, что на автохтонном литературном языке в учебных заведениях, включая и большинство университетов, по-прежнему, как правило, преподаются только традиционные гуманистические науки. Более того, литературные языки Востока в отличие от западноевропейских, несмотря на реальную или потенциальную способность последних выражать предметы восточной культуры, теснейшим образом связаны с такой важной ее частью, как идеология и в первую очередь с религией. Для средних веков это было характерно и для Европы (ср.: латынь, древнегреческий, церковнославянский). В странах же Востока вплоть до конца XIX в. выделялись особые церковнослужебные или сакральные языки, которые первоначально были средством общения и воплощения культуры народа, создавшего ту или иную религию. Впоследствии они сузили свои функции и законсервировались в области религиозного культа (классический арабский, санскрит, пали, китайский вэньянь). После деколонизации Востока религия и язык служат средством формирования национального самосознания.

ния. Усиливается воздействие религии на все области жизни и на политику, особенно в тех странах, в которых пришли к власти сторонники религиозного фундаментализма. Это ведет к восстановлению в известных пределах значения сакральных языков.

Надо подчеркнуть, что религию, и в первую очередь восточную, не следует рассматривать только как комплекс ритуалов, религиозных обычаяв и традиций. В исламе, буддизме, индуизме и конфуцианстве значителен удельный вес элементов традиционной культуры создавшего их народа. Вместе с догматами и ритуалами они воспринимались этносами, обращенными в новую веру, вытесняли элементы автохтонной культуры и формировали новые черты в быту и образе жизни. Религия тем самым играла определяющую роль во внесении инноваций в этническую культуру многих восточных народов, становясь основой их культурной общности.

В религии концентрируется также множество специфических понятий, которые отражаются в соответствующих терминах сакрального языка. Такое единство религии и языка проявляется на Востоке в религиозно-культурных регионах, охватывающих ряд стран и их ареалов, население которых исповедует одну из восточных конфессий (ислам, буддизм, индуизм, конфуцианство) и в силу этого традиционно составляет определенную культурную общность. И в настоящее время догматика этих конфессий находит более полное и адекватное воплощение в канонической литературе на сакральных языках – соответственно классическом арабском, пали, санскрите и китайском вэньяне.

Вместе с тем надо отметить, что в послевоенный период в освободившихся восточных странах ни один из сакральных языков, распространявшихся одновременно с соответствующей религией и доминирующих в религиозно-культурном регионе, не был провозглашен официальным или государственным. Исключением являются страны арабского мира, в котором современный арабский литературный язык, используемый в качестве письменного официального языка во всех арабских странах, по основным лингвистическим характеристикам незначительно отличается от своей основы – языка Корана. Однако отнюдь не лингвистическая гомогенность литературного арабского, его минимальная вариативность и не самодостаточность его лексико-семантической системы обусловливают его использование в качестве адекватного средства официального межарабского общения. Осознание того, что он еще не вполне унифицирован, что ему недостает современной научно-технической терминологии явно ощущается и проявляется в интенсивной деятельности по его дальнейшей нормализации и кодификации, пополнения его терминологией, создаваемой на основе исконных лингвистических элементов и словообразовательных моделей. Руководит этой работой общеарабский лингвистический центр при Лиге арабских стран, находящийся в Рабате (Марокко).

Большее значение, на наш взгляд, имеет концепция панарабизма, основывающаяся на понятии арабской нации. По мнению Саты аль-

Хусри, “основой основ в создании (арабской. – Л.Н.) нации и национализма является единство языка и истории, так как единство в этих двух областях порождает единство чувств и стремлений, единство надежд и переживаний, единство культуры” (цит. по: Тума 1977, 312–313). С ним согласны арабские ученые Н.А. Фарис и М.Т. Хусейн: “Современные арабы – это все, кто населяет арабский мир, говорит по-арабски, гордится историей арабов, испытывает общеарабские чувства” (Тума 1977, 313). Эту же точку зрения разделяет ученый из Тропической Африки Али Мазруи: “Арабы – это те, кто говорит на арабском, как на первом” (Mazrui 1975, 73).

Кроме того, надо учитывать, что арабский мир в недалеком еще колониальном прошлом был поделен между Великобританией и Францией и, следовательно, арабский язык был единственным объединяющим языком.

Что касается внутренней коммуникации в каждой из двадцати одной арабских стран, то соотношение и роль арабского литературного языка и бывшего колониального языка не вполне одинаковы. Это проистекает из того, что две метрополии проводили различную языковую политику: англичане – косвенного управления, предполагавшую частичное использование арабского языка на низших ступенях госаппарата чиновниками из местных жителей; французы – прямого управления, обязывающую использовать единственный язык – французский и запрещавший применение арабского языка. Поэтому в странах Аравийского полуострова и Северо-Восточной Африки на территории бывших английских колоний арабский язык существенно потеснил английский, а в бывшей французской Северо-Западной Африке, во всяком случае в Тунисе и Алжире, доминирует французский язык.

Независимо от масштабов использования арабского и бывшего колониального языка или различающегося объема их коммуникативных функций, они составляют оппозицию друг другу, находясь в неустойчивом равновесии: расширение объема функций одного влечет за собой сужение функций другого. При этом в современных сферах общения, связанных с естественными и новейшими техническими науками, преимущества западноевропейских языков бесспорны в силу искусственности и неадекватности созданной вновь исконноарабской терминологии и инертном отношении к ней научно-технических специалистов, о чем упоминалось выше. Такое парадоксальное явление наблюдается и в других странах, входящих в совсем другие культурно-исторические регионы. Так, в Индии с большим трудом воспринимается соответствующими специалистами научно-техническая и политико-административная терминология, созданная взамен английской на основе элементов классического санскрита. В Камбодже бойкотируют новую терминологию, сконструированную из лексем пали.

Даже в высокоразвитой Японии с литературным языком, обладающим давней литературной традицией и сформировавшейся, правда, на

основе канго (китайских элементов, сопоставимых на Западе с греко-латинскими корнями), ученые и технические специалисты отдают предпочтение американской терминологии.

Думается, что это не только дань моде и не результат влияния передовой американской науки и техники. Поток американцев, хлынувших во французский (несмотря на то, что во Франции им объявлена “война”), а также стремление многих франкоязычных тунисцев поступить на курсы английского языка с тем, чтобы практически овладеть английским – все это свидетельствует в пользу такого мнения.

Причина этого коренится, по-видимому, не только в преимуществах английского языка и американской науки и техники, но и лингвистических недостатках автохтонных литературных языков, не адекватных задачам коммуникации на современном этапе развития соответствующих социумов. И, действительно, формируясь на основе одного из диалектов, а чаще на базе разговорного койне столицы или же столичного округа, они использовались преимущественно в письменном общении при создании заранее подготовленных текстов. Временной разрыв между написанием текста и его прочтением адресатом делало возможным последующее авторское редактирование на основе имеющихся у него лингвистических знаний и навыков, а также проведение соответствующей правки специалистом-редактором. Это обеспечивало стабильность кодифицированных норм, предохраняло их от расшатывающего воздействия разговорной практики. С течением времени опорный диалект претерпел существенные изменения. Вместе с тем в период колониализма, когда официальное письменное общение осуществлялось посредством колониального языка, автохтонный литературный язык, оторвавшийся от разговорного языка, перестал развиваться. По этой причине в большинстве восточных стран сразу после обретения ими независимости стала остро ощущаться архаичность литературных языков. Сказанное делало необходимой их модернизацию – это отмечали многие индийские ученые-специалисты по крупным языкам, например, тамильские, а также арабские, корейские лингвисты.

Более того, период деколонизации совпал с широким внедрением в жизнь средств массовой информации, в особенности электронных – РВ и ТВ. В связи с этим увеличился объем информации, передаваемой не с помощью письменного текста, а устно. Соответственно возросла роль устной формы речи.

В работах языковедов, написанных в период колониализма (еще в 20-е–30-е годы) отмечался процесс формирования в арабских странах общестрановой наддиалектной формы речи. Этот спонтанный по своему характеру процесс в наше время значительно ускорился, вступая в противоречие с сознательно поощряемой тенденцией, питаемой панарабизмом и направленной на вытеснение арабским литературным языком всех, в том числе и арабских устных форм речи. Следует заметить, что подобная тенденция вряд ли приведет к положительному результату – создается положение, при котором усвоенная в раннем детстве диалектная форма языка

уже в начальных классах должна заменяться другой, не являющейся ни для кого родной. Все это сопряжено со многими трудностями. В то же время переход с диалекта на общеизвестную форму является более реалистичной альтернативой. В лингвистическом плане она представляет собой языковое образование, включающее элементы и структуры как арабского литературного языка, так и общедиалектного соответствующей арабской страны или группы стран. Он часто называется средним языком. Так, в Египте функционирует собственный общедиалектный язык, а в Сирии и Иордании распространен другой, но общий для обеих стран сирийско-палестинский общедиалектный.

Становление и функционирование подобного языкового образования отмечается в Японии, где оно получило название *кё: цу: го* “общий язык”. Он также противопоставляется литературному языку – “письменному языку и отвечающей ему орфоэпической норме, т.е. норме произношения знаков письменного языка” (Неверов 1982, 15). “Общий язык” есть принятый к повсеместному употреблению стандарт литературного языка, распространяемый преимущественно через школу и средства массовой информации... Массовая информация в современном обществе осуществляется не только средствами письменной речи, но и в равной мере, если не в большей, и средствами устной. Иными словами, “общий язык” опирается не только на письменную форму языка, как это было с литературным языком в прошлом, но в значительной мере и на устную речь, что существенным образом влияет на его формирование и распространение” (Неверов 1982, 16).

Таким образом, литературный язык, считавшийся образцовым, предметом подражания в языковой практике носителей, в условиях современной коммуникации не расширяет, как ожидалось, а, наоборот, сужает сферу своего функционирования. Тем самым попутно он лишается своей былой рафинированности, выбирая лексику общедиалектного языка, которая не так давно третировалась как просторечная и грубая. Автор этой статьи имел возможность в течение более 50 лет наблюдать за процессом “опрощения” корейского литературного языка, в котором постепенно накопилось значительное количество разговорных лексем, наделенных более высокой степенью эмоциональности. Они вытеснили из употребления нейтральные слова главным образом китайского происхождения и стали широко употребляться в эмоционально “приподнятых” стилях речи, например, в публицистической. Во всяком случае, софункционирование литературного языка и общедиалектного ведет к взаимопроникновению их элементов, при котором литературный язык в связи с повышением общеобразовательного и культурного уровня населения теснит диалектную речь, а, с другой стороны, заимствует лексемы из общедиалектного.

Восточная культура адекватно выражается соответствующим восточным языком. Вместе с тем в полиглоттических странах Востока, в которых до сих пор в качестве общегосударственного функционирует западноевро-

пейский язык, он также используется для выражения восточной культуры. Данное обстоятельство делает необходимой адаптацию западноевропейского языка к выражаемой им культуре соответствующего восточно-го народа. Начальный этап такой адаптации характеризуют многочисленные заимствования в западноевропейском из автохтонного языка. На ее завершающем этапе в условиях воздействия родного языка говорящих западноевропейский язык, претерпев значительные изменения в фонетической, грамматической, лексико-семантической системах, превращается в региональный вариант по отношению к языку центрального региона или прародины (Англии для английского языка, Франции для французского языка). Так, отмечается, что в “Северной Африке (Алжир, Марокко, Тунис) арабское влияние на французский язык уже привело к формированию регионального варианта французского языка, в котором особо выделяется алжирская национальная норма” (Чередниченко 1983, 247).

Общегосударственные автохтонные и западноевропейские языки, правда, очень условно, могут быть соотнесены соответственно со сферами материальной и духовной культуры: первые – с традиционным хозяйством; вторые – с современным промышленным производством. Иное положение сложилось в области духовной культуры, в которой превалируют преимущественно автохтонные языки. Импортированные языки в эту сферу допускаются с большой неохотой. Исключение в некоторых странах представляет художественная литература на западноевропейских языках (в Индии на английском, в Алжире на французском). В то же время в Тунисе, в котором провозглашен арабо-французский бикультуризм и широко распространено французско-арабское двуязычие, такая литература отсутствует.

Итак, даже такой сугубо предварительный разговор, связанный с проблемой вербальной трансмиссии культуры в странах Востока на современном этапе их развития, подтверждает, что здесь действуют те же законы и протекают идентичные процессы, раскрытие Г.П. Нещименко в ее новой обобщающей монографии, посвященной анализу языковой ситуации и ее динамики на материале западноевропейских языков, и в особенностях славянских.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В связи со сказанным выше общераспространенное мнение о том, что предметы и явления культуры находят отражение или воплощаются только в лексических единицах, требует уточнения. Так, некоторые из современных языков сохранили и до сих пор широко используют грамматические морфемы, выражающие возрастные, социальные отношения между коммуникантами (говорящим и слушающим), их половые различия. К этим языкам прежде всего относятся яванский, обладающий шестиступенчатой системой гонорифических форм, корейский с пятичленной системой и японский, воплощающий в грамматических формах три рода отношений. Гонорифические системы лежат в основе речевого этикета, нарушение правил которого, хотя и не препятствует построению грамматически правильного высказывания, но осознается носителями языка как социально некорректное или неуместное.

Л и т е р а т у р а

- Кабакчи В.В.* Англоязычное описание советской культуры. Л., 1985.
- Неверов С.В.* Общественно-языковая практика современной Японии. М., 1982.
- Нещименко Г.П.* Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков). // *Specimina Philologiae Slavicae*. B. 121. München, 1999.
- Тума Э.* Национально-освободительное движение и проблема арабского единства. М., 1977.
- Чередниченко А.И.* Язык и общество в развивающихся странах Африки. Киев, 1983.
- Mazrui A.A.* The Political Sociology of the English Language. The Hague; Paris, 1975.

Д. Давидова
(Чехия)

ЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ЭТНИЧЕСКИ СМЕШАННОЙ ОБЛАСТИ ЧЕШСКО-СЛОВАЦКО-ПОЛЬСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ

В процессе развития современной языковой ситуации в Чехии в повседневной практике все активнее выдвигается идиом, который можно назвать неким средним слоем между литературной и нелитературной формами национального языка. Таким образом, сюда не входит ни литературный язык¹, ни традиционный территориальный диалект с его местными интердиалектными полуидиомами (*poloútvary*)², наиболее удачно называемый *běžně mluvená čeština* (букв. обычный чешский язык – язык повседневного общения³). В зависимости от характера коммуникативной ситуации высказывания этот язык перемещается по оси *литературность–нелитературность*, приближаясь то к одному, то к другому ее полюсу.

На исторической территории Чехии он реализуется в такой форме, как *obecná čeština* – т.е. чешский интердиалект, территориально окрашенный в несколько вариантов, в то время как в Моравии и особенно Силезии, где по-прежнему сохраняется дихотомия *литературный язык – диалект*, этот идиом существует в форме, обычно называемой в общепринятой терминологии *hovorová čeština* (разговорный чешский язык)⁴.

Впрочем, по сравнению с пониманием термина *hovorová čeština* в духе Я. Белича, А. Едлички или А. Хлоупека⁵ мы рассматриваем его шире – как одну из реализаций устной формы национального языка. В таком понимании мы и включаем его в систему, к которой относятся также нелитературные формы. Она представлена социальными вариантами, различия между которыми касаются в первую очередь их функционирования, и лишь во вторую – их внутренней структурной организации. Таким образом, мы говорим не об устной форме литератур-

ного языка вообще (ср. с пониманием Я. Белича, А. Едлички или А. Хлоупека), но об упомянутом выше языке повседневного общения в его моравском варианте.

В общем, можно констатировать, что сегодня на территории Чехии практически нет такой группы людей, которая пользовалась бы литературным языком во всех функциях, включая личные контакты. Одновременно исчез и тот слой населения, который активно владел бы лишь традиционным территориальным диалектом или же местным интердиалектом.

Между реализацией разговорного языка в Чехии (= *obecná čeština*)⁶ и в Моравии (= *hovorová čeština* в приведенном выше определении) существует разница в степени литературности. Речь идет об оппозиции, связанный с понятием *литературность–нелитературность*, как ее понимает в данном контексте большинство чешских лингвистов: *obecná čeština* носит характер интердиалекта, а *hovorová čeština* – особенно ее морфология – сближается с литературным языком.

До сих пор мы говорили о том, в какой форме язык реализуется в повседневной практике при преимущественно немаркированной коммуникации, что реализуется в монологических высказываниях говорящих, общественно-престижных высказываниях; на эту же форму опираются в своей коммуникации партнеры различного языкового происхождения, не имеющие взаимного опыта коммуникации, а также участники разговора, в котором у некоторых предполагается знание лишь одного – т.е. литературного – кода; наконец, она используется для передачи интеллектуального или сугубо профессионального содержания.

Однако разнообразие коммуникативных ситуаций позволяет использовать различные варианты национального языка (национальных языков), если существуют условия для чередования кодов коммуникации.

Одну из наиболее перспективных областей для изучения реализации разных форм языка в конкретных коммуникативных ситуациях представляет чешско-словацко-польское пограничье на яблунковском участке польско-чешской смешанной полосы. Своебразие этой языковой области, связанное с процессами их смешения и интерференции как в рамках одного национального языка (чешского), так и в рамках нескольких языков (чешского и словацкого или чешского и польского). Это и стало предметом нашего исследования⁷.

В центре нашего интереса находится изучение польско-чешской и словацко-чешской языковой интерференции, которую мы рассматриваем как отклонение от существующей в обоих языках нормы, когда взаимное пересечение языковых явлений идет в обоих направлениях (родной язык – другой язык и наоборот). При благоприятных условиях языковые элементы, возникающие в устном общении носителей двух языков, могут стать достоянием одного из них.

Как правило, в практике повседневной языковой коммуникации происходит столкновение не литературных форм интерферирующих

языков, а их нелитературных идиомов, которые могут пересекаться на уровне диалектов или интердиалектов, в разной степени подвергшихся взаимному смешению. Однако в большинстве случаев взаимодействует вышеупомянутый средний слой этих языков, который реализуется как совокупность выразительных средств, употребляемых в повседневной практике представителями одной и той же общности.

Говоря о рассматриваемой области, необходимо принимать во внимание, что чередование языковых кодов происходит здесь отнюдь не только между чешским и польским, чешским и словацким языками, но одновременно между чешским-польским (словацким) языками и диалектами, причем одну из этих форм говорящий считает своим родным кодом.

Мы не ограничиваем термин “родной язык” только литературной формой языка – он является составной частью понятия “народный язык”. В нашем понимании – это система языковых средств, наиболее естественная для данного пользователя языка. Большинство местного населения считает родным языком именно местный диалект, называемый жителями области “ро паšimu”.

Диалектная коммуникация распространена в самых различных коммуникативных ситуациях, которые можно назвать мотивированными. К ним, например, относится разговорная реализация семейных бесед, разговоры между друзьями, принадлежащими к одной и той же языковой общности, а также между соседями. Диалектные языковые элементы тем агрессивнее, чем ближе устное высказывание к ежедневной практике (реально или хотя бы тематически).

Диглоссные или двуязычные авторы высказываний часто прибегают к чередованию кода, в зависимости от ситуации мгновенно переходя с чешского на польский (или словацкий) или же местный диалект; как правило, они пользуются стандартными вариантами⁸ обоих языков. Чередование кодов происходит как в рамках целых тематических блоков, связанных с конкретной языковой ситуацией, так и в пределах одного высказывания, а иногда – даже одного слова или формы.

В многоязычной среде двуязычные говорящие или чередуют языки даже без сколько-нибудь заметного изменения ситуации, подчас намеренно используя другой язык или его элементы функционально, или же в разговоре хотя и преобладает один язык, но элементы другого (отдельные слова, фразы, целые предложения) вплетаются в разговор, причем чаще всего это происходит неосознанно. В результате заимствованные из одного языка элементы приспособливаются к тому языку, который его пользователь ощущает своим родным – прежде всего фонетически, морфологически, лексически.

Языковую интерференцию чешского и польского, чешского и словацкого мы рассмотрим на примерах некоторых морфологических окончаний именного склонения. Речь пойдет в первую очередь о тех морфах, которые завоевали относительно прочное положение в узусе

повседневного общения, в данной случае – в местном диалекте. Из всех типов именного склонения обращают на себя внимание следующие формы: им.п. и вин.п. ед.ч. ж.р., род.п. ед.ч. м.р., зват.п. ед.ч. всех родов, а также род.п. (вин.п.), дат.п., местн. и твор. падежи мн.ч., причем влияние польского наиболее заметно в окончаниях вин. и твор. падежей существительных женского рода и в формах склонения множественного числа.

Хотя в повседневной речи в вин.п. и твор.п. ж.р. в основном преобладают литературные окончания, не имеющие долгих гласных и частично ограниченные диалектными дублетами, форма которых совпадает с окончаниями тех же падежей на большей части моравской территории и определяется тем, что ни здесь, ни в рассматриваемой области не осуществлялись некоторые общечешские фонетические изменения. Несмотря на это, в специфических коммуникативных ситуациях, особенно в высказываниях коренного населения, в качестве вариантов окончаний существуют морфы, сходные с польскими. Хотя с точки зрения количества гласных они встречаются в редких и даже исключительных случаях, они по-прежнемуочно удерживаются⁹, и при серьезном рассмотрении их нельзя не учитывать. Мы говорим об окончаниях твор.п. *-uml/-ûm/q* и вин. п. *-e (<ç), -a (<q)* и *-ut*.

В твор. п. в диалектных высказываниях появляются формы с *-ûm/-um*, что с фонетической точки зрения можно рассматривать как разложение носовых на губной согласный и носовой гласный (напр. *joch žça s krovûm, s tfojum sukûm*)¹⁰; настоящий носовой во флексивных окончаниях можно услышать лишь в текстах из области Нидецко (*tûvîc z gospodyňQ*)¹¹. Окончание *-ûm/-um* в твор.п. во всех типах склонений женского рода (т.е. также *pracûm, košûm*), несомненно, связано со сходной формой в польских диалектах. Интерференция осуществляется путем простого заимствования из польских диалектов готового окончания *-ûm* с разложившимся носовым (а также приспособлением его к силезской фонетической системе: *-ûm> -um*), или, наконец, секундарным образованием такого окончания по польской модели. Его никаким образом нельзя рассматривать как последовательное фонетическое развитие исконного *Q*, т.е. сохранение рефлексов носового чешского типа. По сравнению с окончанием *-q* оно употребляется чаще. Соотношение, в котором находится употребление литературного *-ou/-i* (= сокращенное *-i*) к нелитературным алломорфам, составляет на обследуемой территории 8:1, а употребление чешских по происхождению окончаний в сравнении с вышеупомянутыми заимствованными окончаниями является случайным и крайне редким.

Еще реже употребляются нелитературные варианты окончаний вин.п. ед.ч. ж.р. – здесь преобладают литературные формы, т.е. окончания *-ul/-i* находятся в соотношении с нелитературными 16:1 (существительные женского рода на *-a*, тип *ZENA* 22:1, а другие типы – *RUŽE, PÍSEŇ, KOST* – в соотношении 10:1). Употребление окончаний *-e, -a*,

-ут, которые проникают в диалектные высказывания из польского, оценивается так же, как и выше. В диалектных высказываниях из них чаще всего употребляется окончание -ут (*pasu krovym, jedu koščut*), довольно часто можно услышать окончание -е, представляющее собой денезализованную форму польского носового -е¹² (*naščiviu šostre, potkaū starke, poznaū z'yme, takum hruze, p'ruňes kyt'i ce*); лишь в трех случаях было отмечено окончание -а (из польского *q*, которое и там встречается сейчас только в окончании существительного *pania – paniq*), напр. *vařuua tâncno polifka*. И хотя окончания польского типа встречаются в повседневном устном общении лишь единично, последнюю четверть века эти окончания прочно удерживаются в системе местного диалекта в одном и том же объеме, так что при его описании и характеристике их необходимо учитывать. В род.п. ед.ч. неодушевленных существительных мужского рода твердой разновидности склонения также представлено два окончания: исконное -а (*sfjeta, života*) и более новое -и (*do autobusu, z d'ejepisu, vynalezu*), которое в нашем материале количественно превышает исконное окончание в соотношении 6:1.

Экспансия генитивного морфа -и за счет -а – общенациональная тенденция, охватывающая твердую разновидность имен существительных, а в моравских диалектах, где не было перегласовки 'a>ě (>e), также и мягкую (напр. *cuker do čaju, bere to s kraju, hoděle kři, řeďo to bez plači*). Окончание -и встречается тем чаще, чем больше то или иное высказывание удалается от своего диалекта. Впрочем, на рассматриваемой территории окончание -и утверждается и в чисто диалектных высказываниях. Возможно, это поддерживается как польско-чешской, так и словацко-чешской интерференцией: в польском языке в род.п. твердой разновидности неодушевленных имен существительных мужского рода окончание -и распространено повсеместно (*iže do domu*), в словацком окончании -и, как и в чешском, является перспективным, проникая также в склонения тех существительных, где до недавнего времени было окончание -а (напр., топонимы на -m – *Štgholm, Štgholma*, но чаще – *Štgholmu* и т.д.)¹³. Несомненно, утверждение окончания -и вызвано активной тенденцией к различению категории одушевленности-неодушевленности, которое в других падежах (напр., им.п. ед.ч.) уже закончилось; это по-прежнему живой процесс.

Частое употребление формы им.п. в значении зват.п. всех родов несомненно поддерживается влиянием словацкого языка, где в большинстве случаев функцию зватательного выполняет интонационно выделенный именительный. Взаимное влияние двух языков проявляется в использовании формы зв.п. на -и при фамильярном обращении к именам собственным ж.р. (напр. *Evi!, Daňi!, mami!, babi!*), а в единичных случаях – и к именам собственным муж.р. (*Romi! = Romane!, tac'i! = tati!*). И в том, и в другом языке при повседневном общении у трехсложных личных имен ж.р. встречаются также формы зв.п. с нулевым окончанием (напр. *Milen! = Mileno!, Margit!*), а также

формы зв.п. уменьшительных имен собственных без суф. *-ka* (тип *Vjeruška!* = *Vjeruš!*, *Jaruška!* = *Jaruš!*). Окончание *-i* (*mamíši!* = *maminko!*), употребляемое изредка, в основном у ласкательно-уменьшительных имен собственных, имеет польское происхождение. В общем, во всех типах всех родов утверждается литературное окончание форм зв.п., так что соотношение литературных и нелитературных окончаний здесь 20:1. Распространение форм зв.п., образованных под влиянием соседних языков, можно продемонстрировать на следующей схеме: *Ifko!*, *Ifka!*, *Ivi!*, *Ivuš!*, *Ivuši!*. Первая форма, безусловно, преобладает, а остальные употребляются в зависимости от возраста, образования и территориальной принадлежности пользователей¹⁴.

Контактное сближение чешского и польского, чешского и словацкого языков сказывается также и в распространении окончаний род.п., наиболее употребляемым из которых является морф *-uf*. Для высказываний местного населения в их повседневном общении типично окончание *-uf*, регулярно употребляемое в польском языке (напр. *domuf* = *domów*, *sonsjaduf* = *sąsiadów*) при твердом и мягком типе склонения сущ. м.р. на гласный и на согласный (*studentuf*, *plotuf*, *dělostřelcuf*, *huslituf*, *vutcuſ*). Однако под влиянием польских парадигм сущ. м.р. на *-a* это распространяется и на некоторые сущ. ж.р. (напр. *izbuf* = *jizeb*). Этот же тип польского склонения привел к образованию в местном диалекте формы род.п. сущ. ж.р. на согласный (тип KOST) с нулевым окончанием (напр. *bau se tyh myš*), а у сущ. ж.р. типа RUŽA появляются формы с окончанием *-i* (*z duši go řenavíži*). Окончание *-i* имеет также большая часть сущ. ж.р., заканчивающихся в им.п. ед.ч. на *-ňa* или *-na* (*přujechača bez tych sukní, hožíč to do po novu kopanych studní*). Окончание *-i* обычно свойственно и им. сущ. ж.р. на *-ja* (*nažěja, šuja, zmija*), форма род. п. мн.ч. *nažěji, šyji, zmiji* // *naž'ej, šuj, zmij*, а также заимствованиям ж.р. (*historija, generacyja*), форма род.п. мн.ч. *historiji, generacyji/generacyj*¹⁵.

В изучаемой нами области под воздействием польского и словацкого языков формы род.п. мн.ч. проникли и в вин.п. ед.ч. одушевленных сущ., особенно имен собственных. Противопоставление лицо – не-лицо приводит к тому, что в этом диалекте сущ., обозначающие животных, обычно склоняются как неодушевленные – это значит, что исконная форма вин.п. употребляется в им.п., напр. *gd'e sūm pstruhý a kapry, ležali tu zajice*.

Влияние польского и словацкого языков заметно также в дат., местн. и твор. падежах мн.ч., где наряду с преобладающей литературной флексией и комплексом окончаний *-at*, *-ach*, *-ata*, которые отражают тенденцию к унификации в рамках парадигмы, поддерживаемой также чешским диалектным узусом, в языке повседневного общения местного населения встречаются окончания, которые, очевидно, поддерживаются окончаниями соответствующих падежей по другую сторону границы.

Об этом свидетельствует и форма дат.п. на *-om*, сходная с литературным польским, впрочем, ограничивающаяся преимущественно жен-

ским родом (*k chatom, g vrchnost'om*). Собственно говоря, это фонетический вариант окончания *-am* (< *-ám*), в котором произошло изменение *a>o*. Особенno часто употребляются его же варианты, характерные для польских диалектов *-ûm/-um* (*sûmšadûm, haviřûm, chařipûm, sukňûm, ȝ'eškûm*) (*sûmsádûm, haviřum, chařipum, sukňum, ȝ'eškum*).

Сporадическое употребление морфа тв.п. *-och* (*o cñaroch, na horoch, o kozoch, na poloch*), которое указывает на стремление к выравниванию дат. и местн. падежей, также поддерживается извне – польскими и словацкими диалектами, а также литературным словацким языком, где в склонениях сущ. ср.п. до сих пор сохраняется тип DIEVČA. Польская система склонения несомненно поддерживает окончание твор. падежа *-ach* (*o syñkach, tfurcach, domkach, krajach, na grañicach, f pješčach = v pěstich, na učiliščach*), которая встречается на этой территории чаще, чем окончание *-och*.

Значительной унификации подверглись и формы твор. падежа – в высказываниях из области повседневного общения здесь распространено универсальное окончание *-m'il-am'i* (*syñkam'i, břegam'i, guram'i, ružam'i, galatam'i, kolam'i*). В отличие от дат. и местн. падежей мн.ч., эту тенденцию поддерживают и процессы в самом чешском языке, где также наблюдается утверждение единого окончания для всех трех родов. Но в данном случае доминирует морф. *-ta*, постепенно охватывающий почти всю территорию чешского национального языка, т.е. также силезских диалектов, где его также поддерживает ситуация в западной (опавской) диалектной области. Кажется, что это окончание, как интердиалектное, проникает на всю силезскую территорию¹⁶.

Рассмотрение окончаний дат., местн. и твор. падежей мн.ч. показывает, что на яблунковском участке польско-чешской смешанной полосы распространены три набора окончаний мн.ч.: чешский, выделяющийся, с одной стороны, мужской и средний род, а с другой – женский¹⁷; унифицированный – с окончаниями *-am*, *-ach*, *-ata*, который поддерживает внутреннее развитие парадигмы; наконец, местный, имеющий структурные признаки польского типа – окончания *-om/-ûm/-um*, *-ach*, *-m'il-am'i*. Их употребление связано с многими экстралингвистическими факторами, но в первую очередь оно зависит от характера коммуникативной ситуации и адекватного выбора соответствующего ей кода. Тут противопоставляются высказывания официальные и неофициальные, публичные и непубличные; в первых (официальных, публичных) предпочтение отдается чешскому языку, а во вторых (неофициальных, частных) – местному узусу с элементами соседних языков.

Упомянутые явления не свидетельствуют о воздействии польского или словацкого языков на чешский язык в целом, они лишь укрепляют положение морфологических вариантов отдельных падежных форм местного диалекта, которые без такой поддержки едва ли смогли бы выдержать конкуренцию окончаний, характерных для языка повседневного общения, реализуемого преимущественно в форме упомяну-

той выше средней страты, т.е. разговорной формы чешского языка¹⁸. И пусть эти варианты употребляются не слишком часто, в любом случае они представляют носителям местного диалекта большую степень свободы при выборе кода, адекватного коммуникативной ситуации. С нашей точки зрения, это не создает проблем для пользователя, а, на-против, предоставляет больший простор для адекватности выражения.

Результаты нашего исследования свидетельствуют, кроме всего прочего, о том, что тенденции развития славянских языков (в данном случае – западнославянских) в общих чертах сходны, а в чем-то даже одинаковы, что создает благоприятные условия для их интерференции. Чаще всего говорят о тенденциях к упрощению в формообразующей основе и формантне, т.е. внутри флексии и вне ее. Предметом изучения служит степень изоморфизма между этими тенденциями.

В этой статье мы рассматривали варианты, в которых отражается соперничество форм традиционного территориального диалекта с формами, обусловленными динамикой современного развития. На конкретном языковом материале мы изучали динамические тенденции в национальном языке, обусловленные постоянным напряжением между литературным языком и нелитературными идиомами. Реализация коммуникативных актов в устной речи оценивалась на территории, создающей хорошие предпосылки для смешения литературных и нелитературных норм трех западнославянских языков.

Мы рассмотрели структурную и функциональную конкуренцию окончаний, сосуществующих в некоторых падежах именного склонения. Можно сказать, что, хотя вариантность в области формальной морфологии не оказывает непосредственного воздействия на создание текста или понимание коммуниканта, она все же может быть использована для стилистического варьирования текста постольку, поскольку это соответствует характеру коммуникативного события. При создании языковых текстов повседневного общения говорящий выбирает один из нескольких вариантов морфологических окончаний в соответствии со своим коммуникативным намерением и в рамках своей языковой компетенции. Выбор делается в пользу того средства, которое наиболее адекватно достигает намеченной цели коммуникации. В этом смысле можно говорить о текстообразующей функции суффикса, т.е. о том, в какой степени тот или иной суффикс участвует в создании текста. При этом следует учитывать ту коммуникативную ситуацию, в которой возникает и развивается конкретное коммуникативное событие, участником которого является говорящий. В этом смысле наша цель – постараться обобщить условия употребления грамматических средств в каждой конкретной ситуации, раскрывая обусловленность употребления языковых средств внеязыковыми составляющими коммуникации и коммуникативной ситуации.

Говорящим следовало бы овладеть искусством активно пользоваться различными формами существования языка и выражаться соот-

ветственно теме и функции высказывания, используя для достижения коммуникативной цели все существующие возможности. Сознательное употребление всех существующих в языке средств способствует оптимизации речевого общения¹⁹.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Под литературными формами мы понимаем письменную и устную форму реализации чешского языка, обеспечивающую взаимопонимание на высших уровнях духовной и материальной культуры. Употребление этой формы чешского свидетельствует о высоком уровне коммуникативной цели, является гарантом официальности, обрядовости и торжественности, зачастую безличности и дистанцированности. Ее функция – национально-репрезентативная. Как и Богуслав Гавранек, мы рассматриваем литературный язык как "языковое выражение культурной, цивилизационной жизни, выражающей как процесс, так и результаты философско-религиозного, научного, политического и административно-правового мышления, цель которого – не только практическое самовыражение, но и профессиональное постижение жизни, ее кодификация; эта специфическая функция литературного языка и необходимость ей соответствовать и отличает литературный язык от других языковых форм". [Havránek 1963].

² Название "poloútvar" (полуидиом) мы избрали, основываясь на ситуации в Моравии и Силезии, где процесс формирования интердиалектов еще не закончен, и с точки зрения их внутренней структурности они пока несопоставимы с чешским интердиалектом – так наз. обеспou čeština.

³ Подобно Богумиру Деймеку (Dejmek 1976) под названием "язык повседневного общения" мы понимаем комплекс языковых средств, используемых говорящими в самых разных неофициальных будничных ситуациях. В этом комплексе представлены как литературные, так и нелитературные языковые средства, связанные с региональным и социальным происхождением говорящих, их образованием, занятиями, а также иными, часто сугубо индивидуальными чертами. Таким образом, речь идет не о самостоятельной структурной форме, которая существовала бы как часть национального языка наряду с другими (литературный чешский язык, диалект), но о некоем стилевом слое, характерном для каждого дня общения. В этот функциональный слой входят литературные и нелитературные языковые средства из области фонетики, морфологии, синтаксиса, словообразования и лексики, он черпает средства из всех языковых форм, обладающих повседневно-коммуникативной функцией, и использует их с учетом типа высказывания и характера коммуникативной ситуации.

⁴ Подробное рассмотрение понятий obecná čeština и hovorová čeština (разговорный чешский язык) см. в работе: Davidová D.: Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova (Davidová 1994).

⁵ Яромир Белич определяет термин hovorová čeština как устную форму литературного чешского языка, лишенную, с одной стороны, специфических черт языка книжного, еще сохраняемых в высказываниях общественно-официального характера, а с другой – не содержащую также и диалектных черт (несмотря на то, что это более свободный и неофициальный вариант литературного чешского языка, диалектизмы тут выглядят не-нормативными) (Belič 1958). Алоис Едличка рассматривает разговорный чешский язык как стилевой вариант в рамках литературного языка (Jedlička 1970), а Ян Хлоупек считает его комплексом средств выражения, присущим разговорному стилю литературного чешского языка и основанный на его современной норме (Chloupek J. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Втю 1986, 11).

⁶ О понятии obecná čeština см.: (Sgall, Hronek 1992).

⁷ Большая часть рассматриваемых текстов – это неофициальные, неформальные и спонтанные высказывания, которые в повседневной практике реализуются обычно в форме диалогов, всегда прямой и преимущественно не публичной. Лишь около 10% тек-

стов носит характер публичных или официальных выступлений (на различных заседаниях, при объяснении специальных проблем, которые находятся в профессиональной компетенции говорящего), однако во всех случаях речь идет о неподготовленных выступлениях, которые произносятся, а не зачитываются.

⁸ Под стандартным вариантом (стандартом) мы разумеем комплекс средств выражения, регулярно употребляемых в определенный период (с нашей точки зрения – на современном этапе). Это основная форма национального языка, используемая для общественной коммуникации, включающая в себя в обобщенном виде понятие нормы в том смысле, при котором обязывает отнюдь не понятие правильности, но понятие уместности и соответствия. От литературного чешского языка стандарт отличается иным функциональным диапазоном и некодифицированностью.

⁹ Для этого был проанализирован материал, собранный нами за последние 25 лет.

¹⁰ Настоящие носовые гласные с назальностью, увеличивающейся во второй части артикуляции, на большей части территории смешанной польско-чешской полосы произносятся лишь внутри слова перед щелевыми согласными (*gys, jazyk, kusac*); перед другими согласными носовые, как правило, распадаются на ротовой гласный и носовой консонант, совпадающий по месту артикуляции с последующим согласным (напр. *je'ymh'ina, r'ypna = pata, kýrač se*). На конце слова, т.е. и в морфологических окончаниях, носовые, как правило, распадаются на лабиализованный гласный + *m, n* (*ježí tím týbum = jezdí tom tuýfi*), или же на их месте выступают одни ротовые гласные (*z naýi starku*).

¹¹ О польско-чешской интерференции, причем несомненно ранней, свидетельствует территориальное распределение рефлексов праславянских носовых: оно показывает, что в чешском языке, также как и в польском, речь идет не об их последовательном развитии, но, как показывают наши данные, об их перегруппировке. На месте исконных *ɛ* и *ɔ* выступает носовой (рефлекс переднего ряда), а на месте исконных *ɛ̄* и *ɔ̄* – тоже носовой (рефлекс заднего ряда), причем перед исконным кратким и долгим *e* находится мягкий или бывший мягкий согласный, а перед исконным кратким и долгим *o* – исконно твердый согласный.

¹² В польском языке окончание *-ę* вин.п. сущ. ж.р. с основой на **-a* – очень древнее, у существительных с основой на **-ja* и **-yja* оно сохраняется с XVII в., когда в результате колебаний между формами DUSZE и WOLA оно заменило собой соответствующее окончание *-e* склонения сущ. ж.р. на **-a* (*prace, Marie*).

¹³ Оперируя результатами наших исследований, мы никак не ставим под сомнение положения Я. Белича о том, что употребительность окончания *-a* и *-i* возрастает по направлению на восток (Bělč 1972).

¹⁴ Выясняется, что звательные формы типа *Jai!*, *Kvjeti!* чаще употребляет молодежь и интеллектуальные группы населения, в то время как формы на *-a*, реже *-i* обычно предпочитают носители диалекта.

¹⁵ В тех случаях, когда отмечались единичные окончания *-uchl-ich*, они были чешского происхождения и проникли сюда из окрестностей Штрамберка и Френштата. Они сигнализируют о выравнивании форм род. п. и местн.п. мн.ч. (*bez tych kozych, stražich* по аналогии с *o tych kozych, stražich*) и возникли в результате совпадения окончаний обоих падежей в парадигме склонения имен прилагательных и местоимений.

¹⁶ Что касается силезского интердиалекта, мы думаем, что развитие этого идиома еще не закончилось, он находится в процессе становления, и его форму, как нам кажется, можно охарактеризовать как разговорный язык повседневного общения, свойственный большим городам (Острава, Опава).

¹⁷ Подобные процессы наблюдаются и в словацком языке.

¹⁸ Характер разговорного чешского языка описан выше.

¹⁹ Все примеры в тексте приводятся в фонетической записи, они были переписаны с соблюдением правил фонетической транскрипции, опубликованных в работе Д. Давидовой (Davidová 1994).

Л и т е р а т у р а

Bělič J. Vznik hovorové češtiny a její poměr k češtině spisovné // Československé přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě. Praha 1958.

Bělič J. Nástin české dialektologie. Praha, 1972.

Davidová D. Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. Ostrava 1994.

Dejmek B. Běžně mluvený jazyk (městská mluva) města Přelouče. Hradec Králové. 1976.

Havránek B. Studie o spisovném jazyce. Praha 1963.

Chloupek J. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Brno 1986.

Jedlička A. Základy české stylistiky. Praha 1970.

Sgall P., Hronek J. Čeština bez příkras. Praha 1992.

Перевод Е.Н. Овчинниковой

M. Крчмова

(Чехия)

ОТРАЖЕНИЕ ЧЕШСКО-НЕМЕЦКОГО БИЛИНГВИЗМА

В ДОВОЕННОЙ РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БРНО

Продолжительное сосуществование национальных языков – генетически родственных, но структурно достаточно отдаленных – в условиях Центральной Европы не является чем-то необычным. В прошлом здесь параллельно использовались два или более языков. В большинстве случаев только один из них выполнял высшую культурную функцию, поскольку служил языком государственного управления: это относилось прежде всего к латинскому, а позднее к немецкому языкам, которые использовались (в отдельные периоды одновременно) для этой цели и функционировали параллельно с родным языком населения. Двуязычие и даже многоязычие вышеназванного типа в поликультурной Европе являлось характерной чертой коммуникативных сфер высокого уровня, соответствовавших отдельным областям культуры и государственным образованиям.

Наряду с этим, однако, возникало двуязычие и на более низком уровне – в обиходной локальной коммуникативной сфере. Мы находим ее там, где в результате колонизации на протяжении уже длительного времени существовало сложившееся совместное проживание оседлого населения различного происхождения: в средние века национальный принцип не осознавался и, несмотря на явное различие языков, могла – и по практическим соображениям должна была – возникать успешная коммуникация между носителями разных языков. В этих случаях пользователи языка, проживающие на определенных территориях, необходимо должны были быть билингвами. И именно этот билингвизм, воз-

никающий в чешских землях и на границе чешского и немецкого заселения, является интересной, пока еще малоизученной проблемой. Первые фазы его становления анализировались в некоторых статьях Э. Скалы и П. Троста [Skála 1989; Trost 1995] на основе литературных памятников, результаты же влияния двуязычной среды на язык ежедневного бытового общения исследовались, однако, весьма недостаточно. Причины данной ситуации мы можем искать и в состоянии лингвистики как таковой, и, прежде всего, в тех внешних обстоятельствах, которые ограничивали возможности изучения данной проблемы.

Что касается лингвистики и ее ориентации в этом вопросе, то спонтанное речевое высказывание становилось предметом исследований прежде всего в диалектологии, но и здесь из-за недостатка технических средств, позволяющих полностью фиксировать звучащую речь, и неопределенности методологии данные, показывающие контакт языков в совместной коммуникативной сфере, встречаются только случайно. В чешской языковой ситуации этому препятствовало, в добавление ко всему, и подчеркнутый, вместе с тем вполне понятный языковой пуританский характерный для середины прошлого столетия, когда начали появляться первые систематические записи речи. Эта тема не была открытой и для периода после 1918 г., когда двуязычная среда еще сохранялась хотя бы в некоторых областях Чехословакии. А вторая мировая война и ее последствия положили конец самому существованию чешско-немецкой общности. Поколения, выросшие после второй мировой войны, уже не только не знали о существовании такой языковой среды, но и не могли ее себе представить.

Попытаемся хотя бы в общих чертах обозначить языковые последствия двуязычной среды для обиходного языка города, речь которого мы изучаем уже в течение долгого времени. Речь идет о втором по величине городе Чешской Республики – городе Брно. Город находится в Моравии на территории распространения ярко выраженных ганацких говоров, грамматическая структура которых определяет и колорит речи городского населения. Этот колорит мы наблюдаем в частной коммуникативной сфере и в настоящее время [Krčmová 1981; Krčmová 1993; Krčmová 1995].

Для Брно прошедших столетий важным является еще и кое-что другое: его существование на границе двух этносов и двух национальных языков, чешского и немецкого (в его австрийском диалекте). Столица Земли Моравии и Силезии Брно, возникшая в 1850 г. путем присоединения ближайших рабочих предместий к историческому ядру, обнесенному крепостными стенами, производила впечатление немецкого города: еще в начале нынешнего столетия большая часть школ и обществ здесь были немецкими, немецкой была, конечно, и городская администрация. При этом здесь жило достаточно много чехов: при переписи населения в 1900 г. в качестве “языка общения” (“*obcovací jazyk*”) чешский язык назвали 37% жителей, живущих в центре города посто-

янно. Остаток образовывали, прежде всего, люди, считавшие своим средством общения немецкий язык; прочие национальности были представлены незначительно¹.

Ни один из этносов при этом не является для города чужим, оба принадлежали к ядру города уже с XIII в. и имели свои естественные тылы в сельских окрестностях, где существовали как чешские населенные пункты, говорящие на прочих диалектах юга Моравии, так и немецкие населенные пункты, говорившие на диалектах немецкого брненского языкового острова, базировавшихся на австрийских и баварских диалектах, и, наконец, населенные пункты смешанные по национальному составу. Часть из них в 1919 г. была присоединена к Брно. Живыми были, очевидно, и естественные языковые связи с Веной, как с наиболее близким культурным центром, городом с многочисленными вакантными рабочими местами для разных социальных слоев населения. В Брно, таким образом, речь шла не только о контакте между культивированным немецким языком высших социальных слоев города, образующих собственное сообщество, и говорящими по-чешски более низкими социальными слоями населения, но и о языковом контакте людей социально и общественно равных, живущих в одинаковых условиях и в тех же частях города. Национальное напряжение в Брно кристаллизуется только на рубеже нашего столетия [Dějiny... 1973; Sirovátky 1992].

В ситуации двуязычного города два структурно различных языка, чешский и немецкий, должны были влиять друг на друга. Итоги взаимного приспособления мы можем оценить только на примере его поздних последствий. Речь городского населения, когда еще Брно был действительно двуязычным городом, находилась за пределами интересов лингвистики. Впрочем и брненский немецкий язык, пока он еще жил на нашей территории, регистрировался только в связи с этнографическими записями. Действительно лингвистический интерес к нему появился уже много позднее².

Аутентичные тексты ранних периодов времени не сохранились, а в настоящее время они уже не возникают. Единственные свидетельства мы находим в немногочисленных литературных описаниях, отдельных заметках диалектологов и этнографов, немного их содержат и наши собственные записи в материалах исследований, начатых в конце 60-х годов³. Поэтому мы можем рассмотреть только один из фрагментов общей картины, характеризующей двуязычную коммуникацию, – ее отражение в словарном составе.

Из тех немецких выражений, которые использовались в речи чешских жителей Брно на рубеже столетий, до наших дней сохранилась, вероятно, только часть. Наш корпус примеров составляет неполную тысячу словарных статей⁴, самих же слов гораздо больше, поскольку слова, образованные посредством деривации в чешском языке из общей исходной корневой морфемы, или фонетические варианты одной

лексемы мы объединяли в одной словарной статье. Примерно половина этого достаточно обширного материала зафиксирована в “Словаре литературного чешского языка”: слова квалифицируются в нем как устаревшие, обиходно-разговорные, слэнговые, экспрессивные, иногда диалектные. Остальную часть нашего материала составляют выражения, которые можно считать подлинно “брненскими”. Вероятно, многие из них входили в состав узуса и других двуязычных чешских городов (например, на границе Судет), по крайней мере, на это указывают воспоминания отдельных говорящих, однако это предположение уже нельзя проверить путем систематического исследования.

Остановимся вкратце на характеристике зафиксированных указанным выше способом лексем. Речь идет о выражениях, связанных с ежедневной жизненной практикой, которые переходили из разговорной региональной формы немецкого языка в диалектную среду чешского языка. Видоизменения, которые претерпевали слова в чешском языке, нельзя оценивать ни с точки зрения литературного немецкого языка, ни с точки зрения литературного чешского языка. Литературная стилизация графики данных выражений недостаточно стабилизирована, также колеблется и разговорный узус: *auslák, auzlák, auzlók* – нем. *Auslage* ‘витрина’; *untrholt, undrholt, unfrholt* – нем. *Unterhaltung* ‘развлечение’; *briftaška, briftaška, pliftaška, priftaška* – нем. *Brieftasche* ‘портмоне’ и др.

Фонетические системы обоих языков (точнее говоря диалектов, поскольку именно между ними осуществлялся процесс заимствования) являлись близкими, однако, не тождественными или аналогичными друг другу, и поэтому в процессе заимствования слов появляются относительно регулярные замены фонем. По сравнению с немецким литературным языком в чешском материале отсутствуют рефлексы лабиализованных гласных. И это вполне естественно, поскольку они не входили в систему регионального варианта немецкого языка: *micna* – нем. литературное *Mütze* ‘шапка’; *heklovat* – нем. литературное *häckeln* ‘вязать крючком’. Южнонемецкий *a, á* (в соответствии с его диалектной окраской) часто заимствуется как *o, ó*: *hornódla* ‘шпилька для волос’ – нем. *Haarnadel*; *být štont* ‘быть способным’ – нем. *im Stande sein*. В материалах старшего периода находим и диалектный монофтонг на месте немецкого дифтонга: *šlóch*, более позднее *šlauch* – нем. *Schlauch* ‘шланг’; *lustózek* (‘садовая’) беседка – нем. *Lusthaus*. Нерегулярным является и количество гласного: *kindršúla* и *kindršula* ‘детский сад’ – нем. *Kinderschule*; *némlich* и *nemlich* ‘то есть’ – нем. *nämlich* и др. Чаще всего утрачивается немецкий непроизносимый *e*. *kšlossen* ‘закрыто’ – нем. *geschlossen*; *kšvint* ‘быстро’ – нем. *geschwind*.

В системе консонантизма речь, главным образом, идет о замене немецких напряженных смычных чешскими глухими согласными. Чаще: всего мена возникает у губных согласных: *prifrégr* – ‘почтальон’ (нем. *Briefträger*), *pecírk* – ‘район’ (нем. *Bezirk*); реже у остальных оппозиционных пар: *kselšoft* – ‘общество’ (нем. *Gesellschaft*), *trauf* – ‘после этого’

(нем. *darauf, drauf*); начальное немецкое *k* интерпретируется как *kch: být kchek, kek* – ‘вызывающий, дерзкий’ (нем. *keck*). Заимствование только со слуха обусловило значительную неровность консонантной структуры высказываний: наряду *hanšuchi* и *handšuchi* ‘перчатки’ (нем. *Handschuhe*), *miskistna, miskistna, mistkisna* и *miskisna* – ‘емкость для мусора’ (нем. *Miskiste*) и др.

Последовательно проводится влияние чешского языка на постановку акцента на первом слоге как у сложных слов, так и у словосочетаний, которые заимствуются в чешский язык как непроизводные выражения: нем. *Bezirk* – чеш. *pecír* ‘район’; нем. *überspannt* – чеш. *řešponí* – ‘аффектированный’; нем. *bissel böhmisch, bissel deutsch* – чеш. *pislhémiš pislđoč* – ‘наполовину чех, наполовину немец’; нем. *for dem Kinde* – чеш. *pozor fordemkinde* ‘внимание, при ребенке (этого не говори)’.

Заимствованные корневые морфемы включаются в чешскую морфологическую систему при помощи суффиксов: *štrumfantla* – ‘подвязка’ (нем. *Strumpfband*), *voškuchla* – ‘прачечная’; (нем. *Waschküche*), *ten kastl* и *ta kastla* – ‘коробка’ (нем. *Kasten*); глагол приобретает не только основообразующий суффикс, но и включается в видовую систему: от *rauchen* происходит *rauchčít* ‘курить’, от *sprechen* – *šprecht* ‘говорить’, от *bedienen* – *pedínovat* ‘обслуживать кого-либо’ (с меной *b/p*), от *heften* – *heftovat, zheftnót, přiheftnót, naheftovat* ‘сшить, скрепить’ и др. Адаптированные таким образом слова включаются в чешскую флексивную систему, однако, в ее диалектном варианте: *děti jsou v kchindřsuli* ‘дети находятся в детском саду’, *rády se šauklujó* ‘они с удовольствием касаются’ и др.

Речь Брно богата дериватами от немецких заимствованных корневых морфем, которые образовывались в полном соответствии с закономерностями чешской словообразовательной системы: от выражения *loncmon* ‘земляк’ (нем. *Landsmann*) образовано существительное женского рода *loncmonka*, от *šaukla* ‘качели’ (нем. *Schaukel*) – *šauklař*, наряду с *landkarta* ‘карта’ (нем. *Landkarte*) существует и *landkartka*, от *mutr* ‘мама’ (нем. *Mutter*) образовано *mutra, mutrlinka*, от *pedínr* ‘посыльный’ (нем. *Bediener*) – *pedínovačka*, глагол *pedínovat* и др.

Сохранившиеся материалы не дают нам возможности определить, являлись ли зафиксированные лексемы на рубеже столетий только региональными вариантами чешских выражений, имели ли они стилистическую окрашенность и насколько сильно была насыщена ими речь. Реальностью, однако, остается тот факт, что они входили в узус, даже если говорящие и осознавали их иноязычное происхождение. В настоящее время для молодых жителей Брно структура этих слов вне контекста является малопрозрачной, и они, если говорящий не знает немецкого языка или знаком только с его культивированной формой в связи с графикой, ощущаются как непонятные.

Сведения о немецком языке города Брно показывают, что чешский язык в свою очередь стал источником обогащения его словарно-

го запаса⁵. В высшей степени правдоподобным представляется факт, что в двуязычном городе многие жители были пассивными билингвами, то есть только одним из языков они владели активно, тогда как второй язык в соответствующей коммуникативной ситуации хорошо понимали. Угасание чешско-немецкой языковой среды вело к отмиранию общего лексического слоя словаря. Свою лепту в этот процесс внесла, несомненно, и языковая политика независимого государства, которая окончательно закрепила в сознании людей представление о неуместности немецких заимствований. Крылатая фраза – *hausmajstrova ruce vala fotrovi na gánsku šláfrok* и ее варианты – остается сейчас единственной, приходящей на память большей части старшего поколения жителей Брно, если они хотят ответить на прямой вопрос, как же все-таки эта чешско-немецкая “брненштина” звучала.

В настоящее время мы встречаемся с мнением, что вновь открытый мир приведет к возникновению новой двуязычной языковой среды, и, следовательно, вновь возникает необходимость в параллельном использовании двух языков в одной и той же коммуникативной ситуации. Как кажется, это происходит в профессиональном общении: уже сейчас мы являемся свидетелями англизации в сфере коммуникации некоторых технических отраслей (влияние немецкого языка значительно слабее). Речь идет, однако, об абсолютном доминировании английского языка над оттесненным родным языком, а вовсе не о равноправии. Действительно, двуязычная среда существует у нас сейчас только в конкретных условиях небольшой социальной группы, прежде всего одной семьи, максимум – одного рабочего коллектива. Старую, в течение столетий складывавшуюся языковую ситуацию двуязычного города Брно и отвечающий ей язык в современных условиях уже нельзя не только вернуть, но и создать заново.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Термин “язык общения” (“obcovací jazyk”) по отношению к национальности несколько сбивает с толку, поскольку под ним можно представить себе, прежде всего, язык, усвоенный в школе и выполняющий высшую культурную функцию, которую немецкий язык в то время в Брно, несомненно, выполнял.

² Проблемы немецкого языка в городе Брно коснулся – прежде всего в диахроническом аспекте – Э. Шварц в масштабно задуманном исследовании о немецком языке на территории ЧСР [Schwarz 1934]. В тридцатых годах появилась монография о фонетике южноморавских немецких диалектов [Beranek 1936], в которой отражен и брненский языковой остров. Работа Eine Stadt als Vermächtnis. Das Buch von deutschen Brünn (Stuttgart, 1958) и сборник статей Heimatbuch der Brünner deutschen Sprachinsel (Erbach, 1973), опубликованный Г. Фелкелем и Э. Томшиком, дополнены репринтами более ранних работ. Этот материал использует Sudetendeutsches Wörterbuch, который выходит с 1988 г. в Мюнхене. Работает с ним также Atlas der sudetendeutschen Umgangssprache (Marburk 1970) [Beranek 1936].

³ Речь идет, главным образом, о следующих публикациях [Horáček 1938; Svěrák 1971; Svěráková 1988]. Наши собственные исследования продолжаются, начиная с 1966 г. Речь самого низкого социального слоя города зафиксировал О. Новачек [Nováček 1929], ее новейшее, стилизованное развитие – П. Елинек [Jelínek 1996].

⁴ В этот корпус не включены выражения, отмеченные в словариках речи "plotny" или "štatlaří", поскольку нас интересовала стилистически нейтральная речь. Данной лексике мы уделяем внимание в других работах [Krčmová 1995 Hantýrka..., Krčmová 1995 Hantec...].

5 В исследовании, посвященном словарному составу брненского немецкого языка [Englisch 1992], приводится 185 таких выражений. Среди них, прежде всего, имена собственные, и только несколько нарицательных существительных. Здесь можно найти также немецкие слова, в значении которых под влиянием немецкого чешского языка произошел семантический сдвиг: например: *Bär* – об учениках пятого класса в соответствии с известной чешской считалкой, которая заканчивается так – *pátá třída medvědi, protože ník nevědí*". Необходимо, однако, напомнить, что автор исследования мог исходить только из мемуарной прозы, отражающей лишь малую часть существующей реальности. Можно ожидать, что влияние немецкого языка, усиленное также и обучением в немецкой школе, было более сильным, чем обратная ситуация. Однако это не противоречит нашей посылке о взаимодействии языков в процессе языкового влияния.

Л и т е р а т у р а

- Beranek F.J. Die Mundarten von Südmähren. Reichenberg, 1936. Dějiny města Brna 2. Brno, 1973.
- Englisch N. Zur Stadtsprache der Brünner Deutschen bis zum Jahr 1945 (mit einem kleinen Brunner Sprach- und Kulturschatz im Anhang) // Leute in der Grobstadt. Brno, 1992.
- Hordáček J. Siluety Brna. Vyškov, 1938.
- Jelínek P. Štatl. 3 vyd. Brno, 1996.
- Krčmová M. Běžně mluvený jazyk v Brně. Brno, 1981.
- Krčmová M. Proměny běžně mluveného jazyka velkoměsta // Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach Europy środkowej i wschodniej. Opole, 1993.
- Krčmová M. Jazyk města, v nemz zijeme. Narodopisné studie o Brně // Universitas. Brno, 1995. Č. 1–4.
- Krčmová M. Hantýrka jako jazykový reprezentant města // Sborník prednášek z 5. konference of slangu a argotu v Plzni. Plzeň, 1995.
- Krčmová M. Hantec a co k tomu patří. Čeština doma a ve světě. 1995. Č. 4.
- Nováček O. Brnenská plotna. Brno, 1929.
- Schwarz E. Jazyk německý na území ČSR. Československá vlastivěda 3. Praha, 1934.
- Sirovátková O. Nationalbeziehungen in Brünn aus tschechischer Perspektive // Leute der Grobstadt. Brno, 1992.
- Skála E. Linguistisches zum Bilinguismus in Böhmen // Probleme regionaler Sprachen. Hamburg, 1989.
- Svérák F. Brněská mluva. Brno, 1971.
- Svéráková B. U nás v Brně. Brno, 1988.
- Trost P. Studie o jazyčích a literatuře. Praha, 1995.

Перевод Ю.Е. Стемковской

Я. Хлоупек

(Чехия)

ВАРИАНТНОСТЬ УСТНОГО ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА, ОСОБЕННО В МОРАВИИ И В СИЛЕЗИИ

Несмотря на то, что чешская языковая территория не велика по размеру, она отличается значительной дифференцированностью. Наряду с территориальной дифференциацией в речевой коммуникации сильно проявляется стратификация стилевая и прагматическая. Истоки этой дифференциации и стратификации находятся в формах существования национального языка, а также в его функциональных стилях. В роли интегрирующей надрегиональной системы, как правило, выступает литературный язык. Впрочем, на части территории эту функцию выполняет и так называемая *obecná čeština*, исконно являющаяся интердиалектом столицы, а позднее и чешских земель в целом.

Как носители родного языка, так и иностранцы не могут не заметить, что при повседневной непринужденной коммуникации в чешской языковой среде крайне мало используется литературный язык. Он применяется исключительно в коммуникациях специальных, обрядовых и литургических. Люди, наделенные языковым чутьем, прекрасно понимают причину этого явления: чешский литературный язык зачастую справедливо характеризуется как книжный, не пригодный для повседневного общения, он предназначен для официальной коммуникации, для высших коммуникативных целей вообще. При анализе речевой практики в ряду форм существования национального языка (т.е. среди комплексных структур, наделенных одной или более функциями) нередко называют и, соответственно, вычленяют еще одну экзистенциальную форму – *hovorová čeština*. Некоторые исследователи склонны отводить ей место между феноменом *obecná čeština* и литературным чешским языком. Другие стремятся выявить и характерные для этой формы существования языковые средства. Наконец, есть ученые, которые, будучи убежденными в перспективности этой формы, с самыми добрыми намерениями пытаются даже пропагандировать ее в качестве средства общенародной коммуникации. В свое время высказывалась мысль и о возможности формирования у чехов в будущем некоей относительно единой разговорной формы литературного языка. Этот прогноз, впрочем, относится ко времени, когда основное внимание было сосредоточено на одностороннем, в сущности, изучении *langue*. Соответственно меньше учитывались конкретные коммуникативные ситуации, различные – обобщенно говоря – прагматические факторы, конституирующие тот или иной коммуникат. Именно в этот период в науке преобладала

убежденность в "чистоте" языковых идиомов, в наличии у них идеальных норм. Все это утверждалось, невзирая на то, что за рамками литературной коммуникации с присущим ей строгим соблюдением кодификации, существовала и языковая практика принципиально иного толка. Несколько игнорировался, в частности, тот факт, что при непубличном неофициальном общении на чешском языке предпочтение отдавалось средствам выражения, основывающимся, как правило, на региональной речевой базе. Данная закономерность прослеживается повсеместно, в том числе и в общенациональном масштабе. Нельзя забывать и о том, что, невзирая на универсальность интердиалекта *obecná čeština*, его корни в конечном итоге находятся в регионе, хотя и весьма обширном. С другой стороны, как я полагаю, не уделялось достаточного внимания коммуникативным ситуациям, предполагающим использование престижной литературной нормы, в том числе и в устной речи, хотя в этом случае под давлением живой языковой нормы, являющейся открытой системой, авторитет кодификации снижается, а, следовательно, и сам вопрос об отклонениях от нее утрачивает всякий смысл.

Как же мы используем понятие *hovorová čeština* в теории и на практике? Если говорить обобщенно, то дело сводится к фиксации осознанных и неосознанных отклонений от литературной коммуникации, производится селекция вариантов, дублетов, синонимов и тавтонимов, в различной степени допускается толерантность по отношению к наиболее распространенным явлениям, до сих пор считавшихся нелитературными. Таким образом, хотя почва для становления новой формы существования языка вроде бы и готовится, однако, при трудоемкости подобной задачи, попытки кодификации этой формы полностью отсутствуют. При этом как будто бы забывают о том, что степень литературности-нелитературности любого коммуникативного акта (пока что еще лишь нашупываемая) в решающей мере определяется сложными социальными и возрастными отношениями между коммуникантами, их территориальным и социальным происхождением, а также желанием или же нежеланием принимать во внимание эти отношения. Немалую роль здесь играют и такие факторы, как тематика диадической коммуникации, расстояние между коммуницирующими, канал реализации, пространственные и временные параметры коммуникации, т.е. их единство или сегментация и т.п. В этой связи с неизбежностью возникает вопрос: какую же из разновидностей феномена *hovorová čeština* следует считать идеальной, на какую из них можно было бы ориентироваться при кодификации и, наконец, какую можно было бы рекомендовать для употребления. И вообще, является ли практически целесообразным вычленение подобной экзистенциональной формы, имеющей столь неустойчивую кодификацию? Ведь, как уже отмечалось выше, любой коммуникативный акт реализуется отнюдь не по меркам тех или иных форм существования языка, в соответствии с иде-

альными представлениями лингвиста, а с учетом структурных, стилевых и коммуникативных норм, складывающихся в течение столетий (в немодельных коммуникатах подобные нормы отсутствуют). Причем каждый раз при конституировании любого коммуниката набор этих факторов варьируется. Итак, какая же из разновидностей феномена *hovorová čeština* будет взята за образец при подобном смешении языковых средств в коммуникации, при диглоссии или же триглоссии современного пользователя языка?

И все-таки, невзирая на сказанное, *hovorová čeština* на нашей территории все же действительно существует, представляя собой региональную экзистенциональную форму, используемую в том числе и в неофициальной, доверительной коммуникации. Это характерно для северовосточной Моравии и Силезии, где *hovorová čeština* функционирует, наряду с чешскими диалектами силезскими (ранее называемыми ляшскими). Сказанное имеет свое социолингвистическое обоснование: в прошлом вся эта территория на протяжении многих столетий служила ареной политической борьбы трех народов – чешского, польского, а ранее и немецкого. Столкновение этих трех национальных сил не могло не повлиять на языковое развитие, что получило специфическое отражение в чешско-польских отношениях, т.е. у родственных языков (Bělč 1955). Впрочем, местное население вряд ли было заинтересовано в том, чтобы в столь напряженной ситуации демонстрировать свое этническое своеобразие. Обычная диглоссия современного человека здесь проявлялась в классической дихотомии: традиционный территориальный диалект – литературный язык (чешский или же польский). Таким образом, для этих мест не характерно привычное для человека стремление сигнализировать с помощью диалекта свое региональное происхождение, тем более за пределами территории распространения своего диалекта. Тем самым использование того или иного литературного языка служило в случае необходимости основным средством фиксации национальной принадлежности человека. Другое дело, что носителям силезско-моравских диалектов удается лишь изредка избавиться в своей литературной речи от специфических региональных речевых навыков. Использование как исключительно кратких гласных, так и ударения на предпоследнем слоге встречается здесь совершенно непроизвольно. В коммуникативном отношении оно не несет никакой нагрузки, хотя и привлекает к себе больше внимания, чем, например, узкое произношение гласных в окрестностях Брно и Бланска. Общее впечатление более последовательного соблюдения норм литературной коммуникации в северовосточной Моравии и Силезии усиливается и в результате большой архаичности (с точки зрения развития национального языка) местных территориальных диалектов. Это обстоятельство сближает данные диалекты, равно как и другие диалекты восточной Моравии со структурой литературного чешского языка и, напротив, удаляет от

структурой идиома *obecná čeština*. Впрочем, нельзя не заметить, что здешние жители и при коммуникации на литературном языке нередко используют специфические региональные слова (например, *robit*). Квалификация подобных слов в качестве литературных вариантов, а не только как “диалектных” и “экспрессивных”, могло бы означать большую толерантность кодификации к специфике этой небольшой языковой области. Учитывая имеющийся у нас социальный опыт, а также особенности современной эпохи, вряд ли можно думать о том, что в будущем здесь сформируется интердиалект, а тем более, что произойдет его стабилизация.

Вместе с тем в аспекте языковой культуры вряд ли можно полностью игнорировать факт близости к литературному языку. В Куновицком крае чисто диалектная коммуникация сходна с коммуникацией на литературном языке, вплоть до формы 3 л. мн.ч.: *nosí, vyrábí*. Однако уже в находящемся поблизости Угерском Градиште можно слышать *prosíjú, vyrábíjú*. Во Францове Лготе, а также в нескольких соседних деревнях Валахии до недавнего времени можно было встретить формы творит. п. *s robamí, s chlapý*. Обманчивой является и среднеморавская “литературность” форм *bes té dobré ženské* – в этом случае речь идет о монофтонгизированных флексиях типа *bes tej dobrej ženskej*, сохранившихся в этом виде и в восточной Моравии. Таким образом, сложными являются отношения между формами существования национального языка, его средствами выражения, его диасистемами и идиолектами отдельных носителей. Сложным является и динамический круговорот языковых средств с их стилевой значимостью.

Так или иначе, следует констатировать, что экзистенциональная форма, основанная на живой норме литературного чешского языка и отвечающая нашим представлениям о феномене *hovorová čeština*, в регионе действительно встречается. Вместе с Д. Давидовой (Davidová 1987) я полагаю, что с полным основанием можно говорить о наличии в Силезии и на северо-востоке Моравии феномена *hovorová čeština*. И, напротив, в этой связи не представляется убедительным мнение о наличии так называемого ляшского интердиалекта, если, конечно, под интердиалектом понимать “переходную ступень между традиционными диалектами и литературным языком”. Интердиалекты зачастую развиваются по своим собственным закономерностям, отличающимся от развития кодифицированной формы, но в ряде случаев совпадающим с общенациональными тенденциями. Можно сомневаться в интердиалектном характере форм типа *krk* (вм. *kryk*), *bratrovi* (*bratroji*), *kravach* (*kravoch*), *mleko* (*mliko*), однако звучат они, во всяком случае, “литературно”. Кстати говоря, для обозначения этих диалектов, на мой взгляд, правомочно использовать термин силезско-моравские диалекты по аналогии с восточноморавскими, среднеморавскими, чешско-моравскими и пр. Преимущество этого обозначения заключается с одной стороны, в соотнесенности с конкретным регионом: с другой

стороны, он не “привязан” к политической и одновременно исторически изменчивой границе между историческими землями. Кроме того, оно достаточно четко вычленяет чешские диалекты в Силезии.

В целом чешская языковая территория делится, в сущности, на две части, как это точно подметил А. Едличка. На ее западную часть распространяется дихотомия “литературный язык”—*obecná čeština*”; для восточной части характерна как бы классическая дихотомия “литературный язык—традиционный территориальный диалект”. Отсутствие языковой формы, используемой в сфере повседневной коммуникации, т.е. феномена, называемого *obecná čeština*, приводит к тому, что языковая ситуация в более “маленькой” Моравии, а также в чешском ареале Силезии поражает своей большей сложностью, большей разнородностью, чем в Чехии, где именно *obecná čeština* занимает положение экзистенциональной формы, постепенно проникающей и в такие коммуникативные сферы, где до сих пор исключительно использовался литературный язык.

В результате этого возникает ситуация, когда именно мораване выступают в роли поборников литературного языка. Причину сказанного, впрочем, не следует искать в целенаправленных усилиях носителей языка или же в успехах школьного обучения: просто литературный язык для них является коммуникативным средством, используемым не только в письменной речи, но и вообще в ситуациях, которые не несут на себе печати явной доверительности, не имеют характера частного неофициального общения, т.е. когда применение литературного языка, вполне естественно, не является уместным. На востоке республики литературный язык пользуется общественной поддержкой и защитой именно потому, что здесь он не может быть заменен ни одной “местной” экзистенциональной формой. Кроме того, свою роль играет и тот факт, что некоторые элементы литературного языка в Моравии и Силезии совпадают с диалектными:ср. *bes té dobré ženské* (т.е. без сужения гласных), *já jsem vždycky ráda vařila, on ho přesekl, chytl, odvedl, oni trpí, tluví, soudí*. В подобных случаях *obecná čeština* расходится с литературным языком. Рефлексы диалекта, однако, заметны и в коммуникации людей, старающихся говорить литературно. Тем самым возникает некий остравско-силезский вариант литературного чешского языка с двумя характерными региональными приметами: с ударением на предпоследнем слоге и с редукцией долготы гласных.

Невзирая на все прогнозы об исчезновении традиционных территориальных диалектов, они все еще встречаются на всей территории Моравии и в Силезии. Лучше всего они сохраняются в отдаленных регионах с преобладанием населения, занимающегося сельскохозяйственным трудом, особенно если это население компактно в трудовом и социальном отношении. Наибольшей сохранностью при этом отличаются языковые элементы, произносимые неосознанно, не слишком бросающиеся в глаза. С точки зрения эволюции национального языка

архаичными являются восточноморавские диалекты (словацкие и валашские), между которыми отсутствует четкая граница. Степень архаичности валашских диалектов является более высокой, что отражается, в частности, в палатализации губных. В результате этого в Визовицком и Валашскоклобоуцком краях говорят примерно так же, как говорили в Праге во времена Гуса. Далее следует назвать среднеморавские диалекты (называемые также ганацкими), характеризующиеся отсутствием дифтонгов, а также диалекты силезско-моравские (с краткими гласными и с ударенным предпоследним слогом), постепенно переходящие в диалекты польские. В югоизвестной Моравии в районе Угерске Градиште как бы воткана цепочка диалектов копаничарских (с отсутствием "ř"), появившихся здесь в результате древней колонизации из Словакии. Диалекты Чешскоморавской возвышенности постепенно переходят в чешские диалекты.

Современная эпоха характеризуется возрастанием контактов, а также сближением интересов людей. В силу этого изменяются и традиционные территориальные диалекты в последней фазе своего развития. Уходят в прошлое старые реалии, меняется официальная жизнь, все больше дают себя знать общенародные тенденции. Все это влечет за собой изменение устоявшейся структуры диалекта. Старый локальный и региональный идиом исчезает, уступая место стабилизирующемуся **интердиалектам**. Именно интердиалекты и составляют ныне основу городской речи. В Праге, а в настоящее время и в Чехии вообще результатирующей этого длительного развития является *obecná čeština*. Проникает она и в речь молодого поколения Моравии (за исключением ее восточных и северных областей, отличающихся ярко выраженной диалектной спецификой). Только в двух или же трех случаях можно говорить о некоей общей интердиалектной норме: речь идет о фонетическом типе *v Biskupicách, k Biskupicám*, в морфологии это *nosíjí, nosíjó, nosíjou*, которые, впрочем, ныне встречаются, наряду с иерархически более "высокой" формой *nosí*.

Специфику Моравии составляет то, что здесь по-прежнему существуют диалекты во всем их многообразии. Обращает на себя внимание среднеморавская группа, отличающаяся, помимо прочего, различием качества кратких гласных (особенно в окрестностях Простейова). В части восточноморавских диалектов до сих пор сохранилось двойное *i*-*y*, *l* мягкое и твердое, иногда билабиальное (произносимое, как *u*); словацкие диалекты (от Лугачовиц и Славичина) по своей структуре приближаются к литературному чешскому языку. При поверхностном рассмотрении может создаться впечатление об их большой близости к словацкому языку, однако это обусловлено наличием архаических вариантов, новейшие же словацкие новообразования здесь отсутствуют. Разнообразие форм 3 л. мн.ч. *nosíjí, nosíjou, nosá, nosia, nosja* в региональном интердиалекте заменяется единой региональной формой *nosíjí*.

По мере приближения к границам Чехии, начиная от Тршебиче, а также на всей Чешскоморавской возвышенности постепенно возрастает влияние чешских диалектов. Области с более поздним чешским населением после 1945 г. заселялись людьми, происходящими из различных регионов, особенно это проявляется в Моравии. В северовосточной Моравии, а также в Силезии диалекты весьма разнородны. Мнение о том, что им присущи польские черты, разделяется далеко не всеми учеными. Существует точка зрения, что это скорее исконные архаические явления. Так, например, ударение на предпоследнем слоге иногда встречается даже в районе Злина в глубине Моравии. Эти явления проводятся очень последовательно, невзирая на то, что общественная оценка значимости диалекта в отличие от Валашского и Словацкого края здесь не слишком высока. Впрочем, так или иначе близость польской территории является весьма красноречивым фактом.

Особенность языковой ситуации в Моравии и Силезии заключается не только в наличии фонетического и грамматического разнообразия, специфические явления наблюдаются и в лексике, и фразеологии. В доказательстве не нуждается тот факт, что именно в Остравском kraе сформировалась профессиональная речь шахтеров и металлургов. Как видно из краеведческой литературы, Бойковицкий край был очагом распространения и терминологии по выхолащиванию животных, поскольку в то время именно оттуда разъезжались в прилегающие местности специалисты этого дела, везде столь необходимые и желанные. К межвоенному периоду восходят в Брно свидетельства о тайном языке, арго криминального мира, т.е. профессиональных нищих, воровских шаек, проституток. Определенная часть этой лексики, заимствованная из языка восточноевропейских евреев – идиш, из немецкого и венского воровского жаргона, а также из цыганского языка, сохранилась по настоящее время. В шестидесятые и семидесятые годы как нарочитое проявление молодежного общественного протesta возникла так называемая *штатларштина* (*štatlařstina*), на которой молодые жители Брно сочиняли оригинальные тексты черного юмора. По аналогии с арго времен первой республики все эти языковые образования моравской метрополии стали называться брненским арго. Впрочем, те общественные слои, которые последовательно и постоянно использовали бы это арго, на практике не известны. Скорее всего это некое подобие языка городского фольклора. В Брно можно услышать и слова с уникальным “городским” суффиксом *-ec*, например, в топонимах (*Zamilec* – *Hájek zamilovaných*, *stadec* – *stadion*, *zimec* – *zimní stadion*, *Oltec* – *Staré Brno*), в именах собственных (*Pospec* от *Pospíšil*, *Lichtec* от *Lichtnegl*). Общеизвестно и то, что в Брно *трамвай* называют *šalina* (видимо, от *Strassenbahn*). Брненское арго межвоенного периода восходит к арго Вены, что затрудняет его понимание. В городской речи Брно встре-

чаются также многочисленные заимствованные в разное время германизмы; после достижения самостоятельности в 1918 г. их численность существенно уменьшилась, поскольку эта лексика перестала быть салонной.

Хаотичность языковых средств в том или ином регионе республики является кажущейся. Что касается Моравии и Силезии, то здесь это неверное впечатление обусловлено относительной сложностью их прежней диалектной основы, нынешними тенденциями общенационального развития, необычностью использования литературного языка (в его чистом виде) в повседневной речи, мощным влиянием достижений социального и технического прогресса, игнорированием потребностей функциональной коммуникации, ошибками в школьном обучении, сохраняющейся консервативностью носителей языка. Переводчик художественной литературы, автор книги о чешском языке "Храм и крепость" Павел Айнер, явившийся билингвом, написал: "ведь и в Моравии также, слава богу, говорят по-чешски".

Л и т е р а т у р а

- Balhar J., Jančák P. Český jazykový atlas. I (1992), II (1996). Praha.
- Balhar J. Spisovní Slezané // Čeština doma a ve světě, moravský blok, 4. Brno, 1995.
- Bělič J. Bojujeme za upevňování a šíření hovorové češtiny // Český jazyk a literatura. Roč. 9. N 10. 1959.
- Bělič J. Vznik hovorové češtiny a její poměr k češtině spisovné // Československé přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě. Praha, 1958.
- Daneš F. Kultura mluvených projevů (její základní předpoklady a aktuální problémy) // Naše řeč. 52. 1969.
- Davidová D. Konverzační mluva střední generace města Havířova (uvedení do problematiky) // Acta facultatis pedagogicae Ostraviensis. D. 24. Praha, 1987.
- Davidová D. Kapitoly z dialektologie. Ostravská universita 1992.
- Grepel M. K potřebě zachovat jazykovou jednotu v spontánních oficiálních mluvených projevech // Čeština doma a ve světě, moravský blok, 4. Brno, 1995.
- Horecký J. Spoločnosť a jazyk. Bratislava, 1982.
- Chloupek J. Spisovná čeština jako formální varieta národního jazyka // Sborník pedagogické fakulty. Brno, 1966.
- Chloupek J., Nekvapil J. (eds.). Reader in Czech sociolinguistics. Praha, 1986.
- Chloupek J., Nekvapil J. (eds.). Studies in Functional Stylistics. Amsterdam; Philadelphia; Praha, 1993.
- Jedlička A. Oblastní varianty a spisovná kodifikace // Miscellanea linguistica. Olomouc. 1971.
- Kloferová S. O mluvě mladé generace v nově osídleném severomoravském pohraničí // Naše řeč. 70. 1987.
- Knop A., Lamprecht A., Pallas L. Dějiny českého jazyka ve Slezsku a na Ostravsku.
- Kořenský J. K vztahům lingvistiky a sociologie // Přednášky z 28. běhu Letní školy slovanských studií v roce. Praha, 1984.
- Kraus J. Jazyk a styl ve společenské interakci // Slovo a slovesnost. 36. 1975.
- Krčmová M. Hantec a co k tomu patří // Čeština doma a ve světě, moravský blok. 4. Brno. 1995.
- Krčmová M. Co je to moravská výslovnost? // Čeština doma a ve světě, moravský blok, 4. Brno, 1995.

Michálková V. K interferenci jazykových útvarů v současnosti // Slovo a slovesnost. 29. 1968.

Morávek M., Müllerová O. Dyadicke komunikace. (Pokus o komplexní charakteristiku situace dialogu) // Slovo a slovesnost. 37. 1976.

Sgall P. Znovu o obecné češtině // Slovo a slovesnost. 23. 1962.

Sgall P., Hronek J. Čeština bez příkras. Praha, 1993.

Utešený S. K rozdílnění českého národního jazyka. (Metodologické a terminologické poznámky) // Slovo a slovesnost. 41. 1980, № 1.

Едличка А. К вопросу об обиходно-разговорном чешском языке и его отношении к литературному чешскому языку // Вопросы языкоизнания. 1961. № 10.

Хлоупек Я. О социальной и территориальной дифференциации чешского языка // Новое в зарубежной лингвистике XX в. М., 1987.

Швейцер А.Д. Современная социолингвистика. (Теория, проблемы, методы). М., 1976.

Перевод Г. Нещименко

V. ЯЗЫК ВНЕ МЕТРОПОЛИИ

A.I. Домашнев

(Россия)

СЛАВЯНСКИЕ (ЧЕШСКИЕ) ВЛИЯНИЯ НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК АВСТРИИ

Известно, что Австрия, наряду с Германией и Швейцарией (немецкоязычные кантоны), относится к странам, в которых немецкий язык является национальным и государственным. При этом, при всем своем безусловном единстве, немецкий язык в этих странах, бытуя и развиваясь в собственном территориальном и социальном пространстве, обнаруживает характерные особенности, которые позволяют легко идентифицировать даже литературную речь как немецкую, австрийскую или швейцарско-немецкую (Домашнев 1983; Ammon 1995). Это своеобразие складывалось на основе влияния как местных, территориальных и социальных диалектов, так и благодаря функционированию литературного языка в пределах собственной государственной территории во всех важнейших сферах общественной жизни: использование языка в качестве делового и административного, при обучении в школе, в книгопечатании и т.д.

Сложные и многообразные отношения немецких династий в историческом прошлом, как, например, после 1346 г., когда немецкая корона перешла от Габсбургов к Люксембургам и кайзеровской резиденцией на целых 50 лет стала не Вена, а Прага, постоянные самостоятельные контакты Австрии со своими соседями, среди которых многие относятся к славянским народам (хорваты, словенцы, поляки, русины), наконец, многонациональное недавнее прошлое Австро-Венгрии (1868–1918 гг.), включавшей в свой состав также Богемию, Моравию, Силезию, Галицию, Буковину, Далмацию, Триест и др. Земли, после распада которой в 1918 г. оформились не только современные Австрия и Венгрия, но и были образованы Чехословакия, Югославия, территориально пополнились Польша, Румыния, Италия, – все это в языковом развитии Австрии способствовало тому, что в современном языке австрийцев мы находим определенный пласт иноязычной лексики, которая не употребительна в немецком языке за национальными границами Австрии. Заметное место в этой группе слов составляют австрийски маркированные заимствования из славянских языков.

Одним из наиболее ранних таких заимствований является слово *die Jause* со значением Vesper, Vesperbrot – ‘поздник’. В современном упо-

треблении оно укоренилось со значением ‘легкая закуска, кофе с печенем’, что происходит обычно в 5 часов пополудни, т.е. между обедом и ужином. Реже встречается также *Zehnerjause* со значением ‘завтрак, легкая закуска в 10 утра, т.е. до обеда’. Иногда *Jause* употребляется с этим последним значением. По наиболее общему мнению (ср. Г. Пауль, П. Кречмер, В. Штайнхаузер) слово *Jause* восходит к словенскому *júzina* и могло быть заимствовано до 1150 г., т.е. до средневерхненемецкого периода, когда уже происходила дифтонгизация долгих гласных (в данном случае – корневое долгое *i*) и слово могло приобрести в основном современную форму *Jause* (*i* > *ai*, безударное *i* подвергается редукции, безударное *a* в окончании переходит в нейтральное *e*). Ср. также словенское *júžinati* со значением ‘есть в обед или в послеобеденное время’, австрийское соответствие – *jausen/jausnen*. Полагают, что оба словенские слова произошли от славянского *júg* < *jugi* со значением ‘юг’, ‘южный ветер’. При этом подчеркивается, что в одних славянских языках (сербохорват. *žina*, польское *juzyna*) данное слово употребляется также со значением ‘послеобеденная закуска, еда между обедом и ужином’, тогда как в других (русское ‘ужин’, болгарское ‘ужин’) – со значением ‘вечерняя еда’. (Kreitschmer 1969, 551–552). Пройдя столь существенную фонетико-морфологическую трансформацию, начиная со средневерхненемецкого периода, данное слово не воспринимается ныне славянскими народами как свое собственное, а австрийцы, кроме заинтересованных специалистов-германистов, не догадываются о его славянском происхождении. За пределами Австрии, в других странах распространения немецкого языка, слово *Jause* не употребляется и является, таким образом, типичным австризмом. В самой Австрии оно широко используется до настоящего времени, участвуя в образовании целой группы сложных и производных слов: *Jausenbrot* – ‘бутерброд, принесенный с собой на работу, на пикник и т.д.’, *Jausenschale* – ‘чашка, из которой человек обычно пьет свой кофе и т.д.’, *Jausenpaket* – ‘бумажный пакет для бутерброда’, *Jausenzeit* – ‘время полдника’, *Jausentisch* – ‘стол, накрытый для завтрака или полдника’, *Jausenstation* – ‘закусочная, кофе за пределами города’, *jausnen* – ‘завтракать, полдничать, слегка перекусить’. Типично австрийским (венским) названием мучного блюда с творожной или ягодной начинкой, напоминающего ‘вареники’, является *Tatschkerl*, в образовании которого используется характерный австро-баварский диалектный деминутивный суффикс *-erl*. Предполагается, что название данного блюда пришло из словенского *tárča* – ‘мишень, круглый предмет’, однако, считает В. Штайнхаузер, здесь мы имеем дело с заимствованием из немецкого *Tasche* – ‘карман; сумка’, известным в словенском в форме *taška* со значением упомянутого мучного блюда (Steinhauser 1962, 84).

История распорядилась таким образом, что особые отношения немецкого языка Австрии издавна установились с чешским языком, следствием чего оказывалось языковое взаимовлияние и взаимопроникновение.

Известно, что в Позднее Средневековье на Востоке немецкой языковой области в придворных и бурггерских (городских) письменных памятниках сложились два территориально разделенных типа канцелярского (письменного) языка. С одной стороны – это средненемецкие языковые образцы деловой прозы таких городов, как Эрфурт, Лейпциг, Мейсен, силезский Вроцлав (нем. Бреслау) и др., а с другой – верхненемецкие (южные) образцы канцелярий Вены и других австрийских городов: Линца, Клагенфурта, Граца. В 1346 г. произошло, как уже отмечалось ранее, важное политическое событие, когда на целое полустолетие немецкая корона перешла от Габсбургов к династии Люксембургов, вследствие чего кайзеровская резиденция переместилась из Вены в Прагу. По крайней мере в этот период Праге предстояло взять на себя руководство развитием немецкого литературного языка. Благоприятное географическое положение Праги, находившейся между Веной и Лейпцигом, было призвано способствовать сближению и выравниванию южных (верхненемецких) и средневерхненемецких канцелярских языковых типов. И хотя после 1419 г. кайзеровская резиденция вновь возвратилась в Вену, Праге удалось сохранить за собой и на будущее влияние на дальнейшее развитие немецкого литературного языка. Среди других причин, обусловивших это положение Праги, важнейшим оказалось то обстоятельство, что Прага считалась немецкоязычным городом, у которого отсутствовало диалектное немецкое окружение, т.е. не было диалектных немецких сел, обычно окружающих крупные города (ср. Вена и ее сельское диалектное окружение, и т.д.). Прага представляла собой, таким образом, крупный немецкий городской языковой остров (Kranzmayer 1962, 119), который оказывался свободным от немецкого сельского диалектного влияния, поскольку находился в окружении чешских крестьянских сел. Развитию немецкого литературного языка в Праге способствовало наличие знаменитого пражского университета, привлекавшего к себе внимание студентов и преподавателей из разных немецких городов и регионов. В период пребывания резиденции Люксембургов в Праге сюда съезжались из разных мест знать и представители творческих занятий (художники, поэты, музыканты), благодаря чему здесь “автоматически” складывалась чисто “пражско-немецкая склонность” отказываться от старых диалектных особенностей в речи. Таким образом, пражская городская речь явились, по мнению крупнейшего австрийского германиста Э. Кранцмайера, первым “немецким диалектом”, освоившим свободное от диалекта произношение, фактически создав его. Так или иначе, продолжает он, немецкий язык пражского образца (*Pragerdeutsch*) пользовался в Австрии вплоть до XX столетия славой “красивейшего и чистейшего” немецкого языка, тогда как венская городская речь до настоящего времени оказывается под воздействием диалектного, в первую очередь звукового, окружения. Безусловно, и в других немецкоязычных городских островах складывались благоприятные условия для формирования иде-

ала литературной немецкой речи. Отмечая это, Э. Кранцмайер вспоминал, что и в его юношеские годы существовал обычай, когда состоятельные родители посыпали своих сыновей, например, из Каринтии (австрийская земля) обучаться “настоящему” немецкому языку в словенскую Любляну (нем. Лайбах), являвшуюся административным центром Крайны, из Тироля уезжали на учебу в Тренто (нем. Триент), тогда как из Вены, Верхней и Нижней Австрии отправлялись за образованием на немецком языке в чешскую Прагу. При этом, продолжал Э. Кранцмайер, немецкий язык этих трех городов (Прага, Любляна, Тренто) обнаруживал между собой большое сходство, если отвлечься от незначительных местных особенностей, сохранившееся вплоть до 1918 г., т.е. до распада Австро-Венгрии. Однако наиболее примечательным было то обстоятельство, что так называемый староавстрийский литературный язык, или язык австрийских придворных кругов (*Hofstaudeutsch*) и немецкий язык пражского образца (*Pragerdeutsch*) до 1918 г. походили друг на друга “как две капли воды” (*wie ein Ei dem anderen gleichen*) (Kranzmayer 1962, 120). Такое совпадение, безусловно, не является фактом случайности. Дело в том, что габсбургская монархия, как справедливо отмечает Г.П. Нещименко, “лелеяла мечту о национально-языковой интеграции обширной империи, и, в частности, о создании единой австрийской государственно-политической нации, стоящей над этнической и языковой разнородностью населения”. Согласно государственной концепции, продолжает автор, австрийцы должны были представлять собой своеобразный сплав особой нации, независимо от того, шла ли речь о немецком, чешском, венгерском или же словацком этносах (Нещименко 1994, 90), а также о словенцах, хорватах и др., общим названием для которых должно было служить “австрийцы”. Не случайно, что после распада Австро-Венгрии в кругах немецкоязычных австрийцев, оказавшихся в рамках собственно Австрии, в поисках новой самоидентификации предпринимались попытки объявить себя немцами, проживающими во “втором немецком государстве”. Таким образом, мы видим, что в габсбургской монархии, и в частности в Австро-Венгрии (1868–1918 гг.), это название соответствовало надэтническому понятию, предполагающему использование общего официального языка (немецкого в его австрийской разновидности) в сфере государственного управления и официального общения. Правда, при этом допускалось применение региональных (этнических) языков в повседневном обиходе и на более низких уровнях местного делового общения. Все это предопределяло развитие односторонне направленного двуязычия и широкое проникновение немецких языковых элементов в этническую речь (Нещименко 1994, 94).

С другой стороны, в условиях многоэтнического государства наблюдалось неизбежное проникновение в немецкий язык Австрии определенного числа слов из региональных (этнических) языков, многие из которых сохранились в речи австрийцев до настоящего времени. Особо-

бую роль в этом отношении сыграли заимствования из чешского языка, поступавшие первоначально в венскую городскую речь. Это обстоятельство было связано с тем фактом, что в первые десятилетия существования Австро-Венгрии (после 1868 г.) наблюдался новый приток переселенцев из этнических окраинных регионов монархии на территорию "метрополии" и, прежде всего, в столицу страны Вену и ее пригороды, среди которых чешские поселенцы составляли заметное большинство. По разным оценкам их общая численность составляла несколько сот тысяч человек (Schuster/Schikola 1956, 172). Обращая внимание на этот этнический фактор Вены, В. Штайнхаузер подчеркивал, что, имея в виду притягательную силу столицы страны, не приходится удивляться, когда находишь в местной истории, поэзии, музыке, изобразительном искусстве, в каталоге имен и фамилий жителей города свидетельства того значения, которое имел приток славянских переселенцев и их язык для развития Вены. В определенное время, в конце XIX в., подчеркивал автор, Вена с ее примерно 100 тысячами чехов являлась, после Праги, вторым по численности чешского населения городом (Steinhauser 1962, 5). Изучая языковую и социальную структуру австрийских городов начала 20 столетия, другой австрийский германист Б. Штайнбрюкнер отмечал, что 1/4 всех фамилий жителей Вены имеют славянское происхождение (Steinbrückner 1968, 305), в связи с чем не приходится удивляться тому количеству славянских (чешских) заимствований, которые укоренились с тех пор в речи венцев и получили постепенно распространение почти по всей территории Австрии.

Говоря о процессе влияния славянских языков на язык Вены, исследователи отмечают, что следы каких-либо ранних славянских влияний на венскую речь практически не сохранились, хотя хорошо известно, что славянам принадлежали земельные угодья и виноградники на холмах вокруг Вены: в Лизинге, Лайнце и Родауне, в районе Гирценберг (XIII в.), в Розентале (XIV в.), а также в Веринге, Дёблине и др. местах. Различные грамоты и документы этого периода в языковом отношении ничем не отличаются от старобаварских языковых образцов. В других регионах Австрии, где местное население жило по соседству и вперемежку с южными и западными славянами, австрийские говоры, как уже отмечалось в начале данной статьи, испытывали на себе влияние славянских языков, о чем свидетельствуют соответствующие заимствованные слова. Другие славизмы получили общенемецкое распространение: *Zobel* – 'соболь', *Kren* – 'хрен', *Grenze* – 'граница', *Zeisig* – 'чиж' (ср. среднем. *zísec* из чешского уменьшительного *čížek*), но в них нет ничего специфически венского. С этой точки зрения, ни в XIII в., ни позднее, вплоть до конца I половины XIX в., язык Вены ничем особенно не отличался от нижеавстрийских сельских говоров своего окружения, что свидетельствует о том, что уже в далеком прошлом, когда обозначилось возвышение Вены как крупнейшей крепости и города, стало заметным влияние языка Вены как центра языкового излучения в пре-

делах австрийских земель, что приводило к языковому выравниванию между городом и сельскими регионами (Штайнхаузер 1962, 6). И только во второй половине XIX в., в период бурных изменений в экономической жизни Вены, вызвавших приток иноэтнических ремесленников, рабочих на промышленных предприятиях, служащих и чиновников, а в пригородах вокруг Вены возникли крупные рабочие кварталы, в которых нашли пристанище и славянские переселенцы, наметился процесс развития, вследствие которого венская городская речь стала приобретать черты, благодаря которым диалект Вены стал постепенно отходить от прежней общности с сельскими диалектами.

Славянские переселенцы активно включились в экономическую жизнь города, занимаясь ремеслами, в производстве и сбыте продуктов сельского хозяйства, торговлей, работали в сфере обслуживания (портные, продавцы, официанты, кучера и т.д.); вследствие этих причин славянская (чешская) речь становилась привычной для языковой жизни австрийской столицы, что облегчало проникновение различных славянских слов в немецкую речь венцев, а благодаря престижному положению Вены многие заимствованные языковые элементы получили распространение по всей Австрии.

Характеризуя складывавшуюся в конце XIX в. языковую ситуацию в Вене и ее окрестностях, В. Штайнхаузер отмечал, что если бы Австро-Венгрия сохранила свое существование, то обозначившееся “смешение народов” могло бы привести к “существенным уступкам” в пользу функционального статуса чешского языка в Австрии. Говоря о венском диалекте второй половины XIX в. и распространении в Вене чешской речи, Э. Кранцмайер замечает, что Вена того времени находилась на грани билингвизма, и это двуязычие не совершилось только потому, что наступил период распада монархии в 1918 г. (Kranzmayer 1953, 205). С распадом этой многоэтнической (“лоскутной”) монархии прекратился и процесс давления славянских языков на немецкий язык Австрии, что обусловило процесс “обратного” развития венского диалекта в направлении к роли общеавстрийского обиходного языка общения (Steinhauser 1962, 7).

В атмосферу венского городского диалекта того времени, имея в виду его сильное насыщение славянскими языковыми элементами, нас хорошо вводит В. Штайнхаузер. Анализируя произведения венского писателя Э. Пётцля, он обнаружил в них значительное число слов славянского происхождения, характерных для речи действующих лиц. Желая перенести нас в венскую языковую действительность конца XIX в., В. Штайнхаузер отправляется в воображаемое путешествие от венского Пратера, в котором его “сопровождают” сам Э. Пётцль и венский портняжка, выходец из Праги, некий Венцель Крейчи. (В фамилии, придуманной им, используется чешское слово *krejčí*, обозначающее ‘портной’). Поскольку вблизи не оказалось фиакра (*Fiaker* – в венском диалекте означает не только ‘городская карета’, но также и ‘кучер’), путешественники попросили проезжающего мимо на подводе зеленщика подвезти их к центру го-

рода. Так состоялось это “путешествие”, в ходе которого В. Штайнхаузер мог ознакомиться с характером венского диалекта того времени. Выяснилось, что их возничий – выходец из чешских областей. Он оказался словоохотливым человеком (его звали *Шванда*, что означает в чешском ‘болтунишка’) и подробно комментировал все, что попадалось на их пути. Они чуть было не наехали на пешехода, замешкавшегося на дороге, и Шванда по-венски воскликнул: “Herr Gott na'mål! Wo san denn së aus'kumta, së trämhappäter Mamlas überänånd!” (Herr Gott noch einmal! Sind Sie vertückt, Sie verträumter Dummkopf!) Глагол *auskommen* означает здесь ‘aus einem Irrenhaus entlaufen’, чешское *Mamlas*, происходящее от *mamlati - kauen, saugen*, означает Tölpel, Dummkopf. Диалектное *über änånd* означает durch und durch, дословно: ‘übereinander!’ В речи зеленщика то и дело звучат, вперемежку с немецкими, чешские слова, которые, как выясняется, абсолютно “понятны” писателю Пётцлю, да и сам автор, увлекшись разговором со Швандой, бросает: “Ja, besonders wenn er dem Wutki zu stark zugesprochen hat, dann ist diesen Burschen schetzkojedno, was herauskommt” (*Wutki* – славянское ‘водка’, чешское *vsecko jedno* – ‘alles eins; einerlei’). Так постепенно у собеседников В. Штайнхаузер “отметил” большое количество чешских и других славянских слов, свободно вовлекаемых в речь и жителем Вены австрийцем Э. Пётцлем. Здесь встретились и *Feschak* (производное от *fesch* с чешским суффиксом *-ak*, употребляющееся со значением Modegeck – ‘модник’), *Drahanek* со значением Liebling, *Klapschi* (kleiner Junge, Bursche от чешского *chlapec* – ‘хлопец’), *Topánk'n* (чешское *topanky* – Halbstiefel, ‘ботинки’), *Gätscherln* (чешское *kače* – ‘утка’) и многие другие слова (Steinhauser 1962, 106–110).

Характерным при этом оказывается то обстоятельство, что славянские слова не просто свободно вовлекались в венскую речь, но претерпевали в ней определенную ассимиляцию: от чешского *topanky* (мн. ч.) образуется немецкая форма множественного числа *Topanken*. Так, чешское *kače* получает диминутивное оформление с австро-венгерским суффиксом *-erl*: *Gätscherl* (мн. ч. *Gätscherln*) и участвует в образовании сложного слова, ср.: *Gatschhupten* (прыжки через лужи в талом снегу на улицах и т.д.), употребляющееся ныне и в литературно-обиходном языке. Наряду с этим славянские словообразовательные средства становятся словообразовательной моделью для австрийских неологизмов. Так, с помощью суффикса *-ak* были образованы не только упомянутое *Feschak* (Modegeck), но и *Trainak* (*Train-Trossoldat*).

Отношения на бытовом уровне между чехами и австрийцами не всегда были вполне удовлетворительными, и встречавшаяся недоброжелательность к иным чехам нашла свое выражение в ироничном, полупрезрительном названии их *Böhmak* (т.е. выходец из Богемии) со значением *tschechischer Dickkopf* – ‘чешский тугодум’. Поскольку чешская речь венцам не всегда была понятна, то это свое ощущение они могли выразить с помощью образованного здесь нового слова *böhmakeln*, т.е. иронично: ‘говорить по-чешски’ со значением ‘говорить что-либо не-

понятное, бурчать, ворчать'. При этом данное слово могло употребляться не только в отношении непонятной чешской речи, но и по поводу любого невнятного высказывания, в отношении слов ворчливого человека и т.д. (Steinhauser 1962, 152).

Венцам, очевидно, весьма нравилась чешская кухня, поскольку именно в этот период в речи австрийцев появились заимствованные названия различных блюд, пищи. Отмечая это, исследователи венского диалекта М. Шустер и Г. Шикола приводят такие слова: *Goladschn* – чешское *koldáč* 'калач', представляющий собой круглый пирог из дрожжевого теста, в середине которого запекался мармелад, либо творог, либо мак и т.д. В качестве начинки мучных изделий в Вене охотно использовался сливовый мусс, который получил в венском диалекте название *Bowidl* от чешского *povidli* – 'повидло'. Из чешского *buchta* образовано венское *Wuchteln* – 'пампушки', 'пироги со сладкой начинкой'. Ср. также чешское *haluška*, используемое в названии венского блюда *Dopfnhaluschka* со значением 'галушки с творогом' (Schuster/Schickola 1956, 172).

О степени освоения заимствованных славянских слов в немецком языке Австрии свидетельствует не только их грамматическое оформление, но и семантическое развитие, благодаря чему они используются при образовании новых слов и значений, участвуют в развитии устойчивых фразеологических единиц. Так, славянское *Powidl* 'повидло' до настоящего времени используется в немецком языке Австрии в обороте: *Es ist mir alles Povidl* со значением 'мне все равно; мне наплевать на это', чему в немецком за пределами Австрии соответствует выражение *Es ist mir alles Wurst/Wurscht*. Немецкому обороту: *seinen Senf zu etwas geben* (*Senf* – 'горчица') со значением 'высказать свое непросвещенное мнение о чем-либо' в Австрии соответствует фразеологизм: *Seinen Kren zu etwas geben* (*Kren* – 'хрен'). Нарисательное *Frau Blaschke* со значением 'доверчивый, легковерный, наивный человек' (от чешского *blaha* – блаженная) используется в безэквивалентном фразеологизме *Erzählen Sie das der Frau Blaschke!* 'расскажите это кому-нибудь другому!', характерном и для современной австрийской речи, тогда как в немецкой среде этот фразеологизм оказывается непонятным (Wickenburg 1969, 135). До настоящего времени в речи австрийцев наблюдается иногда нарочитое и шутливое использование чешских слов, которые не следует понимать как нейтральные, литературные обороты речи: *Auf Lěpschi gehen* – 'пойти прогуляться для удовольствия' (*lěpschi* – чешское со значением 'лучше'). Ср. также: *Du hōst jg kan Rōsumi* – 'ты лишился разума' (*rozum* – 'разум') (Schuster/Schickola 1956, 173).

Современная Австрия характеризуется тем, что около 99% ее населения считают своим родным языком немецкий. Национальные меньшинства (около 1%) в основном проживают в Бургенланде (мадьяры) и в Каринтии (словенцы). Чешское население, проживавшее, как было показано, в основном в пригородах Вены и в самой столице, и со-

ставлявшее заметно большую этническую группу, после распада монархии либо возвратилось в родные края (Steinhauser 1962, 7), либо постепенно вросло в структуру немецкоязычного города, утратив со временем и свой родной язык, поскольку других свидетельств этому не удается установить, несмотря на то, что в современной Вене около 1/4 фамилий жителей имеют чешское происхождение. И все же, вливвшись однажды в структуру большого немецкоязычного города, чешские переселенцы смогли оказать определенное влияние и на его языковую жизнь, свидетельством чего являются многочисленные славизмы, сохраняющиеся в австрийской речи по настоящее время.

Л и т е р а т у р а

- Домашнев А.И.* Современный немецкий язык в его национальных вариантах. Л.: Наука, 1983.
- Нецименко Г.П.* Язык и культура в истории этноса // Язык – культура – этнос. М.: Наука, 1994.
- Ammon Ulrich.* Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Problem der Varietäten des Deutschen. Berlin: Walter de Gruyter, 1995.
- Kranzmayer Eberhard.* Lautwandelungen und Lautverschiebungen im gegenwärtigen Wienerischen // Zeitschrift für Mundartforschung. Wiesbaden, 1953. Bd. 21.
- Kranzmayer Eberhard.* Hochsprache und Mundarten in den österreichischen Landschaften // Wirkendes Wort. Sprachwissenschaft. Sammelband I. Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann, 1962.
- Kretschmer Paul.* Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache. 2. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1969.
- Schuster M., Schickola H.* Sprachlehre der Wiener Mundart. Wien, Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, 1956.
- Steinbruckner B.F.* Stadtsprache und Mundart. Eine sprachsoziologische Studie // Muttersprache, 1968. H. 10.
- Steinhauser Walter.* Slawisches im Wienerischen. Wien, Verlag Notring der wissenschaftlichen Verbände Österreichs, 1962.
- Wickenburg Erik H.* Österreichisch wie es nicht im Wörterbuch steht. Frankfurt am Main: Verlag Heinrich Scheffler, 1969.

К. Кучера

(Чехия)

ЭМИГРАЦИЯ В XIX И XX ВВ. И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЯЗЫКА

Сущность изменений в дифференциации языка, вызванных миграцией его носителей, в самом общем своем виде сводится к тому, что любое перемещение на значительное расстояние приводит к отрыву (хотя и не обязательно полному) мигрантов от тех социальных групп и структур, к которым они ранее принадлежали¹. Мало того, миграция, выходящая за границы языковых общностей, приводит и к отрыву от

сложившихся языковых групп и структур. В конечном итоге это означает, что формы существования языка, представленные в идиолектах переселенцев, утрачивают свою историческую коммуникативную базу, т.е. своей исконный социальный коррелят, каковым является более или менее определенная группа пользователей соответствующей экзистенциональной формы. В языке переселенцев это приводит к стиранию и полному исчезновению первоначальной дифференциации языка, что, как правило, происходит уже в течение жизни первого поколения эмигрантов (следуя традиции, мы относим к первому поколению переселенцев носителей языка, родившихся еще на исходной, базовой, территории мигрантов; ко второму поколению относятся их дети, рожденные уже в чужой среде и т.д.). При благоприятных условиях (т.е. при достаточно высокой численности эмигрантов, при их расселении в виде более или менее гомогенных общностей) возникают предпосылки, делающие возможным использование языка переселенцев в повседневном общении. При соблюдении этих условий язык эмигрантов может передаваться и следующему поколению переселенцев, проживающих на новой территории, причем в указанной ситуации он начинает развиваться как самостоятельный языковой вариант, не зависящий от варианта базисного, каковым обычно является соответствующий национальный язык. Внутри этого варианта постепенно возникает иная дифференциация, которая формируется в новой среде, в соответствии с группами и структурами, характерными для переселенцев. В случае, если расселение эмигрантов не имеет характера диаспоры, основное значение начинают приобретать, общности, отличающиеся друг от друга как своей величиной, так и структурой. Именно их мы и называем “коммunitа”.

Как нам представляется, в нашем столетии подобным образом развивается абсолютное большинство языков переселенцев. Исключение составляют языки, принадлежащие к значительно более развитой или же значительно более агрессивной культуре, особенно если распространение этой культуры поддерживается и другими факторами (например, экономическими, военными), или же, наконец, если переселенцы в количественном отношении превосходят местное население данного региона.

В прошлые века подобные благоприятные условия сопутствовали распространению и развитию прежде всего языков колонизаторов (например, испанского и португальского в Южной Америке, английского на американском континенте, в Австралии и Новой Зеландии, французского в Африке и т.д.). В наши дни это наблюдается лишь в исключительных случаях (ср., например, современную экспансию испанского языка на юге США).

Эволюция, типичная для абсолютного большинства современных языков переселенцев (т.е. распад исконной дифференциации и формирование дифференциации новой), в различных языках протекает с не-

одинаковой скоростью и приводит к неодинаковым результатам в зависимости от действия ряда факторов, положительно или же отрицательно влияющих на развитие эмигрантских языков в целом. К числу этих факторов могут быть отнесены, например, степень изолированности проживания эмигрантов в новой среде, стремление заключать браки с членами собственной этнической группы, наличие школьного обучения, богослужения, печати, телевидения и радио на языке эмигрантов и т.п. (подробнее см., например, Fischman 1966). Впрочем, и в одном и том же языке, и в одном и том же варианте языка переселенцев развитие протекает неравномерно в зависимости от тех или иных осей дифференциации. Так, очень быстрым и заметным изменениям подвержена исконная территориальная дифференциация (диалекты, интердиалекты, городская речь), дифференциация профессиональная, а также дифференциация по интересам (профессиональная речь, сленги, арго). Как правило, гораздо медленнее изменяется дифференциация культурная (чаще всего она бывает представлена пучком дифференциальных признаков, на основе которых в качестве особой формы существования вычленяется литературный язык). Совсем по-особому перестраивается временная дифференциация (различия возрастные или же генерационные).

Относительно непродолжительной в языке эмигрантов является жизнестойкость исходной **территориальной дифференциации**. Сказанное обусловлено прежде всего тем, что отдельные миграционные волны в диалектном отношении почти всегда разнородны. Мало того, носители отдельных диалектов, интердиалектов, городских койне и т.п. на новой территории обычно не образуют гомогенных поселений, представляющих собой коммуникативную базу, хотя бы отчасти соизмеримую с коммуникативной базой данной формы существования в исходном языке. Впрочем, и здесь, конечно, имеются исключения, к числу которых в первую очередь принадлежат малочисленные случаи небольших, в диалектном отношении гомогенных и сильно концентрированных миграций. Таковы, например, старая миграция чехов на украинской Волыни или же совместная миграция и совместное поселение представителей отдельных шведских приходов в прошлом и в начале нынешнего столетия (результатом этих ранних, во многом не типичных шведских миграций является курьезное сохранение некоторых шведских диалектов в США, что проявляется в том числе и в сохранении исконных различий в степени их престижности –ср. по этому поводу: Hedblom 1980).

В обычных условиях, когда носители отдельных территориальных форм существования языка не образуют на чужой территории гомогенные поселения, в языке переселенцев постепенно – происходят изменения, сущность которых (а отнюдь не обязательно конечные результаты) явно отличается от обычного современного развития диалектов на соответствующих исторических (базисных) территориях наци-

ональных языков. Направленность этого процесса может быть определена как **выравнивание**. Как известно, проявлением диалектного выравнивания на базисной территории обычно служит нивелировка наиболее явных диалектных признаков, характерных для ограниченного региона, а также постепенное формирование нейтрализованных интердиалектов, сохраняющих и стимулирующих прежде всего те общие признаки, которые распространены на большой территории – в ряде случаев это признаки, сходные с литературным языком.

Несмотря на то, что выравнивание в какой-то мере может наблюдаться и в некоторых языках переселенцев (ср., например, Hedblom 1980, 39), тем не менее сам по себе этот факт скорее является исключением. Чаще всего он отмечается там, где в языке переселенцев и в новой среде в целом сохраняется исконная территориальная дифференциация (см. приводимый выше пример шведского языка в Америке). Вместе с тем в большинстве переселенческих языков развитие, на наш взгляд, происходит иначе, что точнее можно было бы определить как **смешение**. Его сущность заключается в том, что территориальные формы существования языка в идиолекте представителей первого поколения эмигрантов всего лишь “доживают”. В идиолектах представителей более поздних поколений они уже не являются неким функциональным целым. Впрочем, сами элементы этих форм не исчезают – смешиваясь, они свободно включаются в речь более поздних поколений соответствующей общности (коммуниты). При благоприятных условиях изолированные элементы различных, уже распавшихся идиомов могут стать основой новой дифференциации. От выравнивания этот процесс отличают следующие два главные момента:

- 1) смешение форм существования изначально происходит не при обычном повседневном контакте их носителей (как это характерно прежде всего для диалектного выравнивания), а в ходе генерационной передачи языка переселенцев;

- 2) переселенческие общности, хотя и являются смешанными как в языковом отношении, так и в отношении форм существования языка, тем не менее здесь обычно не наблюдается сознательное подавление наиболее явных диалектных признаков, отчетливо воспринимаемых языковым сознанием соответствующей общности как миноритарные. Иными словами, в отличие от выравнивания эти признаки в явном виде не вытесняются и не отходят на задний план (см. подробнее: Кудега 1990, 88).

В языке переселенцев новая территориальная дифференциация складывается только при определенных условиях (см. выше), причем формируется она лишь очень постепенно (ср., например, современную, не слишком выраженную территориальную дифференциацию американского варианта английского языка). Языки более поздних переселенцев в чужой среде, как правило, не образуют территориальный континuum (как мы уже отмечали выше, чаще всего это возникает вслед-

ствие более ранней колонизации, а отнюдь не более поздней эмиграции). На современном этапе они обычно бываются раздроблены на некоторое множество более или менее отличающихся друг от друга языков отдельных общностей. Диагностировать превращение последних в обобщенные территориальные формы путем использования одних лишь традиционных диалектологических методов вряд ли возможно (ср., например, неудачные попытки построения немецких изоглосс на территории Техаса, приводимые Гильбертом; ср.: Gilbert 1970, 100). При особых обстоятельствах (например, при значительной концентрации носителей некоторого диалекта или же интердиалекта в определенной части целевой территории миграции) различия между языками переселенцев могут проявляться особенно отчетливо, в том числе и на большой территории компактного проживания переселенцев (ср., например, явно моравскую окраску чешского языка в Техасе по сравнению с чешским языком на остальной территории США – Kučera 1990, 186). Подобная дифференциация, выходящая за рамки одной общности, встречается, впрочем, довольно редко, при этом почти всегда она проводится недостаточно последовательно. В силу сказанного на данной территории существуют общности, обладающие совершенно иными языковыми параметрами.

Таким образом, основу территориальной дифференциации языка эмигрантов в чужой среде обычно составляют отдельные разновидности речи тех или иных коммунит. Их основные параметры зависят от **возраста общности** (больший возраст означает не только относительную языковую архаичность, но, как правило, и значительно большую представленность исконных диалектных черт и более выраженное влияние местного, доминирующего языка), а также от конкретной **представленности и взаимоотношений территориальных идиомов** базисного языка первой эмигрантской генерации. На формирование речевых особенностей общности влияют и другие факторы (например, является ли эта коммунита монолингвальной или же билингвальной, проживает ли она в городе или же в деревне и т.п.). Действие этих факторов изучено и описано лишь частично, так как систематическое описание речи отдельных общностей, проживающих на американском континенте, в Европе, Азии, Африке и Австралии, до сих пор осуществлялось лишь эпизодически. Учитывая быстрый распад языков переселенцев, а также отсутствие систематического внимания к их изучению в современной лингвистике, можно предположить, что в подавляющем большинстве случаев языки переселенческих общностей исчезнут раньше, чем они будут описаны.

В языке переселенцев **профессиональная дифференциация, а также дифференциация по интересам** в известной степени столь же подвержена распаду, что и дифференциация территориальная. Впрочем, в отличие от диалектов масштабы этого распада настолько значительны, что уже в первом поколении эмигрантов это приводит к полному

исчезновению соответствующих экзистенциональных форм и характерных для них признаков. Данная эволюция вполне закономерно обусловливается действием ряда исходных условий. Так, в речи эмигрантов сленги и профессиональные языки в своем большинстве бывают представлены столь незначительно, что уже сам факт их существования на чужой территории практически исключается. Быстро исчезают даже те сленги и профессиональные языки, которые отличаются лучшей представленностью. Причина этого обычно заключается в том, что на чужой территории их пользователи в силу различия своих возможностей и целей, как правило, не формируются в социальные, профессиональные группы или же группы по интересам, которые были бы настолько гомогенны, чтобы в них могли широко использоваться соответствующие экзистенциональные формы. Мало того, зачастую неблагоприятно сказывается и значительная межгенерационная экономическая мобильность эмигрантов, т.е. представители второго поколения лишь в редких случаях занимаются профессией своих родителей. В результате этого формы существования языка, обусловленные социально, профессионально или же характером интересов, чаще всего бесследно исчезают вместе со своими носителями из первого поколения эмигрантов.

В целом сленги и профессиональные языки имеют реальные шансы для выживания (или же, по крайней мере, для их наследования, пусть и ограниченного, последующими поколениями) лишь в тех видах трудовой деятельности, которые являются типичными для данного поколения эмигрантов и в которых наблюдается значительная этническая преемственность. Чаще всего это приготовление национальных блюд (например, восточные, итальянские, французские и пр. рестораны; литовские, чешские и т.д. пекарни) или же переработка мяса (арабские, еврейские мясные лавки; польские, немецкие колбасные). Реже передаются из поколения в поколение сленговые слова, характерные для тех или иных сфер занятий по интересам, например, некоторые специфические для данного этноса игры (скажем, карточные игры) и различного рода публичные забавы.

По сравнению со сленгами и профессиональными языками перспективы выживания в эмигрантской среде арго, как правило, еще ниже в силу их слабой представленности в языке переселенцев. Исключение составляют лишь некоторые современные миграционные слои, тесно связанные с организованной преступностью, прежде всего с торговлей наркотиками. Лингвистический анализ развития арго в этих эмигрантских слоях до сих пор полностью отсутствует. Впрочем, не выполнен он и на материале большой части современных национальных языков.

Разрушение **культурной дифференциации** языка эмигрантов, т.е. нивелировка культурных, функциональных и пр. различий, отличающих литературные (или же престижные, стандартные, культурные и т.д.) формы языка от его форм нелитературных (непрестижных, не-

стандартных и пр.), обычно протекает гораздо медленнее, чем разрушение дифференциации территориальной, профессиональной и по интересам. Это обусловлено прежде всего тем, что литературный язык (так же, как и любая другая культурная форма языка, например, язык библейский, богослужебный и пр.) не соотносится с какой-то конкретной, географически или же социально четко обозначенной группой пользователей, существование которой в процессе миграции находилось бы под непосредственной угрозой. Спасительную роль играет и то, что эмигранты какое-то время тесно связывают литературный язык с культурой своей исконной родины, видят в нем ее основное воплощение. Долговременные последствия этой взаимосвязи могут иметь, однако, негативный характер (см. ниже). При сравнении с развитием территориальных, профессиональных экзистенциональных форм, а также форм по интересам не трудно убедиться в том, что перечисленные выше факторы в целом способствуют сохранению исконной культурной дифференциации языка переселенцев. При этом не существенно, сколь значительно отличается отношение к литературному языку у разных групп переселенцев в зависимости от степени их грамотности, образования, их отношения к культуре родного народа.

Невзирая на перечисленные выше благоприятные обстоятельства, культурная дифференциация языка претерпевает в новых обстоятельствах принципиально важные изменения, приводящие к значительному снижению привычного привилегированного положения литературного языка. Основное значение, несомненно, играет тот факт, что после переселения на чужую территорию литературный язык перестает быть языком средств массовой информации, науки, культуры и общественных учреждений, превращаясь в язык, используемый (при благоприятных обстоятельствах) лишь в ограниченном количестве периодических изданий, на этнических фестивалях, земляческих встречах и пр. Большая часть его функций (а это прежде всего: язык публичного общения, язык школы и высшего образования) в новых условиях автоматически отходит к языку местному, доминирующему. Помимо снижения престижа литературного языка и ограничения сферы его функционирования, важно и то, что он, как правило, уже не может полностью удовлетворить коммуникативные потребности, возникающие в связи с изменением экстралингвистических обстоятельств, сопутствующих переселению. Сказанное приводит к утрате престижа самой совершенной и наиболее обработанной формы существования языка.

При подобных обстоятельствах упомянутая тесная связь литературного языка с исконной культурой переселенцев, как это ни парадоксально, имеет негативное значение. С течением времени литературный язык постепенно становится всего лишь символом этой культуры, ее сохранности. Он привлекает к себе внимание отнюдь не потому, что обладает всесторонней коммуникативной достаточностью – решающую роль в этом начинает играть прежде всего стремление к “чисто-

те”, т.е. защите его от все более усиливающегося (осознаваемого) влияния местного доминирующего языка. Таким образом, идеальной целью в конце концов становится “сохранение чистоты речи для потомков”, а отнюдь не забота о развитии литературного языка в духе требований, предъявляемых новыми обстоятельствами жизни. Последнее актуально лишь при наличии особо благоприятных условий, при достаточно высокой численности эмигрантов, при их расселении в виде больших гомогенных общностей, отличающихся культурной жизнеспособностью. Иными словами, речь идет о людях, убежденных (независимо от того, соответствует ли это реальности или же попросту является иллюзорным) в том, что их язык и культура и на чужой территории имеют прочное будущее.

Что касается языка переселенцев, то в нем критерий чистоты с течением времени становится основным различительным признаком, разграничающим литературную и нелитературные формы. Языковые средства, отсутствующие у последних, легко восполняются за счет доминирующего языка. Таким образом, литературный язык все более оказывается в тупике. Его вряд ли можно актуализировать путем сближения с современным литературным языком, функционирующим на исконной родине переселенцев (многие компоненты этого языка им уже чужды и непонятны), или же с живыми нелитературными формами, испытывающими на себе влияние доминирующего языка (в последнем случае литературный язык эмигрантов еще больше бы отдалился от языка исконной родины, еще больше бы разошелся с упомянутым идеалом “чистоты речи”). Подобное состояние литературной формы языка переселенцев, удачно определенное как *rigor mortis*, т.е. “смертная окоченелость” (Hasselmo 1980, 53), наглядно отражает язык некоторых традиционных периодических изданий эмигрантов (ср., например, чешско-американский еженедельник “Наш человек”, выходящий в Техасе более восьмидесяти лет).

Временная дифференциация языка, как правило, рассматривается (если рассматривается вообще) лишь в качестве некоторого дополнения к дифференциации по трем уже упоминавшимся выше осям, т.е по оси территориальной, оси профессиональной, а также по интересам, наконец, по оси культурной. Вместе с тем именно эта дифференциация имеет в языках переселенцев основное значение, так как получаемая в этом случае картина гораздо более разнообразна, чем в базовых языковых вариантах. Временная дифференциация последних обычно кажется не слишком сложной. Она включает в себя как аспект диахронический (ср. различия между отдельными зафиксированными языковыми состояниями, например, между русским языком XV в. и современным русским языком), так и аспект синхронный (возрастные различия в языке современников).

В языке переселенцев к этой простой схеме добавляется еще пучок синхронных отличий, к числу которых относятся специфические гене-

рациональные различия, существенно разнящиеся от возрастных. Речь идет о различиях, связанных с принадлежностью носителей языка к тем или иным переселенческим генерациям. Конкретно имеются в виду отличия, наиболее отчетливо отражающие влияние диаметрально противоположного социального, культурного и языкового контекста, формирующего язык генерационных групп, переселявшихся в разное время. Первая генерация эмигрантов в этом отношении отличается большей культурной и языковой близостью к своей родине, причем в каждом конкретном случае степень этой близости зависит от множества факторов (важнейшим из них, бесспорно, является возраст, в котором эмигрант покинул свою родину). Подтверждением культурной и языковой близости эмигрантов первого поколения к своей родине является однозначно доминирующее положение родного языка в языковом репертуаре эмигрантов. В некоторых случаях, как, например, при миграции в деревню, возникают концентрированные, этнически гомогенные общности, что в конечном итоге может приводить к пожизненному монолингвизму. Впрочем, сейчас это явление наблюдается очень редко. Второе поколение эмигрантов, удачно охарактеризованное Джонсоном (Johnson 1976, 27) как “этнически амбивалентное”, хотя бы отчасти является двуязычным. Соотношение между исконным языком эмигрантов и местным доминирующим языком в языковом репертуаре представителей этого поколения разнится в зависимости от того, о каком возрастном слое или же какой волне эмиграции идет речь. Фактом, однако, остается то, что по сравнению с первым поколением эмигрантов здесь заметен сдвиг в пользу местного доминирующего языка. В зависимости от конкретных обстоятельств во втором поколении эмигрантов может наблюдаться широкий набор ситуаций: от так называемого культурного билингвизма (использование ограниченного количества элементов родного языка эмигрантов в целях этноидентификации, т.е. с тем, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к данной этнической группе – см. Kirkland 1982, 272), через билингвизм, более или менее сбалансированный, к билингвизму, при котором родной язык эмигрантов, несомненно, занимает примарное положение. У третьего поколения, полностью укоренившегося в новых обстоятельствах, исконный язык эмигрантов очень часто утрачивается. При сохранении родного языка в данном или же в последующих поколениях нельзя тем не менее не заметить, что по сравнению с его расщатанной нормой во втором поколении, в поколениях последующих он, как правило, гораздо лучше приспособливается к внеязыковой реальности, отличается гораздо большей стабильностью, особенно это касается масштабов влияния местного доминирующего языка.

По сравнению с генерационными **взрастные различия** в языке переселенцев играют вторичную роль. Впрочем, на практике, более или менее уверенно можно говорить лишь о различии возрастных различий в первом поколении эмигрантов. У более поздних поколений язы-

ковая дифференциация старших и младших носителей языка выражена менее отчетливо. Остановимся, однако, на двух типах этих отличий, представляющих нам типичными для значительной части современных языков переселенцев. Первый из них обычно наблюдается в эмигрантских семьях с большим количеством разновозрастных детей. Как показывают наблюдения, в идиолекте старших детей родной язык, как правило, сохраняется лучше, чем у детей младшего возраста. Это обусловлено тем, что чем больше времени прошло с момента эмиграции, тем в большей зависимости от влияния местного доминирующего языка находится внутрисемейная коммуникация. Таким образом, дети, родившиеся позже, обычно вырастают в обстановке, весьма отличной как в языковом, так и других отношениях от привычной семейной среды на их родине, в которой вырастали более старшие дети.

Другая, закономерность общего характера заключается в том, что в идиолектах представителей второго и последующих поколений эмигрантов, родившихся до второй мировой войны, родной язык сохраняется, как правило, гораздо лучше, чем у представителей более поздних поколений. Причиной этого являются стремительные перемены в жизни общества, произошедшие во время войны и после нее в большинстве стран, привлекающих к себе потоки современной миграции (США, Канада, Великобритания и т.д.). Сильное развитие автомобилизма, миграция населения из деревни в город, частые путешествия, смена места жительства, рост количества смешанных браков, небывалое возрастание влияния средств массовой информации – все это практически во всем мире способствовало уменьшению изоляции переселенческих общностей, ускорению их распада. Носители языка, родившиеся в послевоенный период, уже с самого начала довольно отчетливо воспринимают свой родной язык как чужой, чувствуют его ограниченную применимость. Как у детей, так и у их родителей в отношении к родному языку зачастую начинает преобладать утилитарный подход, ставящий под сомнение целесообразность более совершенного им овладения, передачи его последующим поколениям.

В заключение следует подчеркнуть, что динамика изменений в дифференциации языка эмигрантов (с учетом четырех упомянутых выше осей) не является одинаковой. Немалую роль здесь играют конкретные языковые и внеязыковые факторы, характерные для той или иной переселенческой популяции. В целом (если отвлечься от степени влияния специфических условий, характерных для тех или иных случаев) можно сделать вывод о том, что в языке эмигрантов быстрее всего нивелируется дифференциация профессиональная, а также по интересам, претерпевает изменения и дифференциация временная. Более медленно меняется территориальная дифференциация. Наконец, еще медленнее (и относительно менее заметно) осуществляется дифференциация культурная. Как уже отмечалось во введении, в дифференциации по четырем осям теоретически можно выделить две фазы: фазу

разрушения – когда отдельные формы существования языка, привнесенные эмигрантами, превращаются в наборы более или менее специфических языковых средств, придающих особую окрашенность отдельным идиолектам; фазу консолидации – когда элементы различных, уже распавшихся форм существования языка при благоприятных условиях могут стать основой дифференциации новой. Как следует из приведенного выше материала, на данном этапе дело не доходит до фазы консолидации, поскольку гомогенная этническая среда, необходимая для самостоятельного развития языкового варианта эмигрантов, ныне в большинстве случаев или полностью отсутствует, или исчезает раньше, чем этот языковой вариант успевает полностью сформироваться.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Наряду с нашими собственными наблюдениями (Кучера 1990), мы обобщаем и результаты исследований переселенческих языков, выполненных другими учеными – это прежде всего: Weinreich 1953, Fishman 1966, Haugen 1973, Thernstrom 1980, Schach 1980, Ferguson-Heath 1987 и др. (см. список литературы).

Л и т е р а т у р а

- Ferguson C.A., Heath S.B. *Language in the USA*. Cambridge, 1987.
 Fishman J.A. *Language Loyalty in the United States*. Mouton, The Hague, 1966.
 Gilbert G.G. *The phonology, morphology and lexicon of a German text from Fredericksburg, Texas*, 1970.
 Gilbert G.G. *Texas studies in bilingualism: Spanish, French, German, Czech, Polish, Sorbian and Norwegian in the Southwest*. Berlin, 1970.
 Hasselmo N. *The linguistic norm and the language shift in Swedish America* // Schach P. (ed.), 1980.
 Haugen E. *Bilingualism, language contact and immigrant languages in the United States* // Current trends in linguistics, 10. Mouton, The Hague, 1973.
 Hedblom F. *Swedish dialects in the Midwest* // Schach P. (ed.), 1980.
 Johnson C.L. *The principle of generation among the Japanese in Honolulu* // Ethnic Groups 1, 1976.
 Kirkland J.R. *Maintenance of American identity and ethnicity in Australia* // Ethnic Groups 4, 1982.
 Kučera K. *Český jazyk v USA*. Univerzita Karlova. Praha, 1990.
 Mirković D.J. *Govor Čeha u Slavoniji (Daruvar i okolina)*. Beograd, 1968.
 Popović S. *Govor dvaju čeških naselja u Bosni (Nova Ves a Mačino Brdo)*. Beograd, 1968.
 Schach P. (ed.) *Languages in conflict*. Lincoln and London, 1980.
 Siatkowski J. *Dialekt czeski okolic Kudowy (I, II)*. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1962.
 Thernstrom (ed.) *Harvard Encyclopedia of American ethnic groups*. Cambridge (Massachusetts), 1980.
 Weinreich U. *Languages in contact: findings and problems*. New York, 1953.

Перевод Г. Нецименко

VI. ЯЗЫК И ИСКУССТВО

П. Мареш
(Чехия)

МНОГОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И КИНОФИЛЬМ

1. Кинофильм относится к тем коммуникативным формациям (текстам в широком смысле), которые используют вербальный язык. Его можно рассматривать в качестве одного из репрезентантов текстов, со-вмещающих в себе вербальные и невербальные элементы, в отличие от текстов “полностью” вербальных (наряду с этим можно говорить и о текстах невербальных)¹. Тексты, содержащие вербальный язык (особенно тексты художественные, которыми и ограничивается наш интерес, но не только они), детерминированы, с одной стороны, традиционным представлением об однозычности текста и его полном включении в рамки данной языковой и национальной традиции², с другой – стремлением учитывать реальное множество языков в человеческом сообществе. Перевес последнего полюса приводит к тому, что многоязычность и взаимоотношения между языками в процессе человеческой коммуникации воспроизводятся внутри данных текстов (не только в высказываниях изображаемых субъектов, персонажей, но и в авторской речи) или, вернее, оформляются, моделируются и стилизуются. Присутствие “чуждых” родному языку элементов становится составной частью смыслового строительства и эстетического воздействия данных текстов.

2. Благодаря возможностям использования многоязычности кинофильмы включаются в широкую сферу текстов, но в то же время встает вопрос об их специфике. Если мы будем сравнивать кинофильмы с вербальными текстами³, то на первый план выйдут их следующие характерные черты.

а) В отличие от верbalного текста кинофильм способен с высокой степенью точности и детальности моделировать визуальные и аудитивные характеристики поведения человека и мира в целом. Знаковая система кинофильмов внушиает свою прозрачность, она как бы исчезает, “растворяется” и вызывает, таким образом, эффект, аналогичный прямому контакту с реальностью⁴. Это, однако, также означает, что кинофильм более выразительно, чем вербальные тексты, побуждает к сравнению с условиями коммуникации, существующими во

внешней реальности, с тем, “как это выглядит в действительности”, и может, таким образом, стимулировать требование абсолютного сходства с этими условиями, а также оценку в соответствии с ними.

б) Кинофильм лишен возможности сигнализировать многоязычность (разноязычность, иноязычность) высказываний в дополнительных метаречевых, resp. метаязыковых изречениях, которые обычно содержат вербальные тексты, особенно в так называемых вводных предложениях (например: *сказал по-немецки*). (Очевидно только в исключительных случаях в кинофильмах используется возможность сообщения информации подобного типа в комментарии рассказчика [voice-over]).

в) В свою очередь кинофильм, в отличие от вербального текста, имеет гораздо больше возможностей удваивания высказываний, то есть их представления как посредством иностранного, т.е. родного для персонажа языка, так и посредством “нашего” языка, родного для представителей общности, в адрес которой обращен текст. (Суб)титры, с одной стороны, позволяют моментально, синхронно сделать доступным содержание высказывания, однако, с другой стороны они четко манифестируют свой отличный статус, свою дополнительность и изолированность от изображаемого мира.

3.1. Из всех точек зрения ученых и публицистов, занимавшихся проблематикой многоязычности в кино, приведем хотя бы взгляд на эту проблему двух польских исследователей. Так, Ежи Плажевский, делающий попытку в русле традиций “грамматик кино” составить наглядную классификацию средств выражения в кино, описывает различные возможности ограничения количества используемых языков. Предпочтение, однако, он однозначно отдает “реалистической точности” в обращении с языками, которая, согласно его толкованию, может быть источником как сильных эмоциональных эффектов, так и эффектов комических и сатирических [Płażewski 1967]. Вместе с тем Плажевский явно наславивает на “реалистическую точность” оценочные и эволюционные аспекты: приближение к ней является для него одним из признаков движения кинофильма в направлении к большей аутентичности и жизненной правде⁵. Возражая ему, Марек Гендриковский в своей книге “Слово в кинофильме” [Hendrykowski 1982, 124–141], написанной позже, отмечает прежде всего условный характер использования разноязычных элементов в кинофильме и обращает внимание на то, как эти элементы используются для его семантического строительства.

Каждый из названных исследователей акцентирует разные аспекты в подходе к данной проблеме. Мы, однако, считаем существенным подчеркнуть важность обоих, поскольку они представляют собой два основных полюса, определяющих сферу употребления языков в кинофильме. Не стоит, безусловно, и авторитарно приписывать одному из них высшее достоинство. Многоязычность в кинофильме находится в силовом поле напряжения между стремлением к максимальному сход-

ству с ситуацией в реальной коммуникации, обусловленным вышеупомянутым эффектом “соприкосновения с реальностью” на экране кинофильма, и существованием более или менее установленных правил и условностей, которые зрители научились понимать и принимать. Эти условности до такой степени стали для нас привычными, что иногда их существование мы в полной мере можем осознать только тогда, когда они в яркой и неожиданной форме становятся предметом обсуждения и отображения. Так, например, американская комедия “Быть или не быть” (1983)⁶, сюжет которой разворачивается в среде актеров кабаре в Варшаве 1939–1945 гг., начинается со сценической песни и диалога на польском языке, явно не являющимся родным языком для выступающих. Затем внезапно раздается голос из репродуктора, который сообщает: в интересах сохранения душевного здоровья продолжение фильма передаваться по-польски не будет. Исполнители с облегчением моментально переходят на английский язык и в дальнейшем он становится универсальным языком общения и для поляков, и для представителей других национальностей⁷.

3.2. Если смириться с определенным упрощением, можно выделить три основных способа, как поступать с многоязычностью (разноязычностью, иноязычностью) в кинофильме, а также соответствующие им формы выражения. В конкретных кинофильмах при этом они не должны применяться в чистом виде, но могут использоваться в различных комбинациях⁸:

а) при элиминации многоязычности все языки редуцируются в пользу одного, “нашего” языка. Таким образом создается искусственный мир, в котором все говорят одинаково, невзирая на свою национальную принадлежность. В коммуникации, таким образом, на передний план выступает прежде всего передача вещественных значений;

б) при эвокации (т.е. создании впечатления) многоязычности в речи персонажей в большей или меньшей концентрации содержатся указания на то, что они, собственно, говорят на другом языке, или, точнее: в гипотетически реальной коммуникации (модель которой в кинофильме подвергнута определенной трансформации) персонаж использовал бы именно этот другой язык.

Для эвокации определенного языка используется, главным образом, включение отдельных выражений (или кратких высказываний) на этом языке в поток моделируемой коммуникации. При этом речь идет, в основном, о таких выражениях и высказываниях, которые имеют небольшую семантическую нагрузку и выполняют первичную функцию установления контакта (например, приветствия, обращения), а также о выражениях, репрезентирующих данный язык в общественном сознании (например, немецкое *halt, los, jawohl*). Наряду с этим, однако, существуют и другие способы. Так, английский язык с русским акцентом в американских комедиях о поединках между американскими и советскими разведчиками или солдатами свидетельствует о том, что мы нахо-

димся в советском лагере и персонаж говорит по-русски. Можно обсуждать, наконец, и такой вид уточненной эвокации, которая может быть реализована, по всей вероятности, только благодаря соответствующему настроению реципиента. Марек Гендриковский [Hendrykowski 1982, 127–128] обратил внимание на то, что хотя в большинстве голливудских киноэпопей, посвященных античной тематике, эта среда полностью американизирована (включая такие обороты речи, как *okay*, *Caesar* [*sízr*])⁹, в британской адаптации драмы Г.Б. Шоу “Цезарь и Клеопатра” впечатление классической латыни создается за счет ораторски отшлифованного английского языка;

в) присутствие многоязычности означает полную реализацию в рамках кинофильма разноязычных высказываний, их употребление *in extenso*. Как правило, таким способом создается эффект подлинной жизни, но речь, отнюдь, не идет о полном сходстве с узусом в реальной коммуникации. Вместе с тем важным становится аспект этнической принадлежности персонажей, конкретного пространственного, временного или социального закрепления коммуникации, повышается также и значение фонетического качества речи.

3.3. В связи с вышеназванными основными различиями необходимо сделать еще два замечания.

а) В формировании смыслового рисунка многоязычности немаловажную роль играют также различные надписи, являющиеся составной частью представляемого фиктивного мира (указатели, плакаты, газетные заголовки и статьи и т.п.). И при элиминации многоязычности в сфере устной коммуникации эти письменные элементы часто создают хотя бы тот минимальный контекст, который указывает на существование разных культур, на изменения в локализации действия и т.п. Иногда, особенно в старых фильмах, случается и так, что надписи частично или полностью подчинены господствующей редукции в интересах одного языка. Например, в фильме Ч. Чаплина “Господин Верду” названия газет на французском языке (локализация) регулярно комбинируются с английскими заголовками статей (преднаменование изменений в развитии действия, ссылки на более широкие временные взаимосвязи).

Факт, что в сфере надписей также существуют условности, становится очевидным особенно тогда, когда разные способы их языкового оформления находятся в непосредственном сопоставлении. Упомянутый выше кинофильм “Быть или не быть” обращает внимание на условности в использовании языков также тем, что в надписях, относящихся к изображаемому миру, разные языки смешиваются совершенно анархическим образом: варшавское центральное управление гестапо (организованное, однако, участниками польского движения сопротивления в качестве ловушки для разоблачения предателя) имеет снаружи вывеску *Gestapo Kommandostelle*, на столе же стоит этикетка с надписью *Col. Erhardt*, а одна из дверей снабжена надписью *Private*.

б) Если в кинофильме используются высказывания на других языках (выступающих по отношению к языку, принятому за основной, в качестве иностранных), то встает вопрос о дополнительных способах повышения их доступности, прежде всего посредством титров. Использование титров подчеркивает значимость информационного аспекта, важность содержания сказанного для формирования смысла фильма. Особенно интересными являются случаи частичного использования титров, то есть намеренного выбора тех значений, которые должны быть непосредственно предоставлены зрителю. В вышедшей ранее статье [Mareš 1993, 131] мы уже обращали внимание на соотношение немецких высказываний и титров в фильме Яна Немца “Алмазы ночи” – титры появляются только в тех случаях, когда речь идет о важных с точки зрения развития действия фактах.

Определенное промежуточное положение занимают объяснения в речи одного из персонажей, который выступает в качестве переводчика для других героев и – опосредованно – для зрителей. Например, в фильме “Клад на Сьерра Мадре” старый Говард в сжатой форме передает своим партнерам испанские высказывания индейцев¹⁰.

Отсутствие титров и других поясняющих средств, в принципе, представляет собой или формулировку особых притязаний на всю совокупность знаний зрителя, или выдвижение на передний план способности иноязычных высказываний воздействовать на зрителя за счет создания определенной атмосферы, resp. общее указание на принадлежность к нации, культуре и т.п. В центре внимания может оказаться и подчеркивание чуждости, изолированности от нашего мира иноязычных высказываний и персонажей, говорящих на иностранном языке (особенно на африканских или индейских языках).

Отказ от титров может служить также средством, сближающим перспективу зрителя с перспективой главного героя фильма. Последний действует в чуждой для себя языковой (или шире – культурной) среде, и зритель, не знающий соответствующего языка, оказывается помещенным точно в такую же ситуацию. Ярким примером этого является фильм Вернера Херцога “Stroszek”, главный герой которого после своего отъезда в США становится беспомощным из-за неспособности объясняться со своим окружением. Врач из Сан-Франциско, который ищет в Париже свою похищенную жену (“48 часов в Париже”), также постоянно натыкается на языковой барьер; примечательно при этом то, что персонажи, сообщающие важные с точки зрения сюжета сведения, наделены в этом фильме достаточными знаниями английского языка.

Мы можем, конечно, размышлять и об определенной иерархии в семантической структуре кинофильма. В том случае, если зритель не проникает в смысл иноязычных высказываний, он находится на определенном элементарном уровне понимания. Высказывания на иностранных языках в таком случае выстраивают своего рода дополнитель-

тельный смысловой комплекс, который “надстроично” обогащает смысл фильма, образует его следующие, может быть потенциальные, часто не совсем специфицированные смысловые слои.

3.4. Наконец необходимо добавить, что мера значимости использования / не использования многоязычности (иноязычности), связана также с более широким языковым и сюжетным контекстом, который имеет место в кинофильме:

а) относительно малое значение имеет многоязычность в тех случаях, когда речь идет только о ссылке на развертывание сюжета фильма в иной языковой сфере, нежели та, в которую кинофильм вступает в процессе коммуникации;

б) функциональная нагрузка многоязычности явно возрастает при чередовании сцен, разворачивающихся в разных национальных средах, в которых принимают участие пользователи разных языков. Использование различных языков в таком случае может иметь важное значение для ориентации реципиентов, служить основным и однозначным средством соответствующей локализации событий;

в) в наибольшей степени роль многоязычности раскрывается тогда, когда дело доходит до непосредственного противопоставления говорящих на разных языках; или когда персонажи в соответствии с характером коммуникативной ситуации переходят с одного языка на другой; если в центре внимания находится проблема сложности взаимопонимания, изучения языка и т.д. Отказ от присутствия многоязычности, обоснованный стремлением к “гладкости” передачи транслируемых значений, может в таком случае привести к гротескным результатам. В фильме Яна Троэлла “Переселенцы” (по крайней мере в версии, находящейся в чешском прокате) эмигранты из Швеции, говорящие с самого начала фильма по-английски, этот язык изучают; после прибытия в США молодой эмигрант на ломаном английском языке спрашивает дорогу, после чего его товарищ, отлично говорящий по-английски, интересуется у него, о чем тот говорил.

3.5. Было бы достаточно сложно дать полный обзор функций многоязычности в кинофильме; спектр функций формируется конкретно в каждом отдельном фильме. Первично отдельные языки без сомнения выступают как компонент характеристики национальной и культурной принадлежности персонажей, resp. выполняют атмосферообразующую функцию, конкретизируют характер среды, в котором разворачивается действие фильма. Далее, следует напомнить, что на использование языков часто налагаются ценностные контрасты (ср., например, негативные коннотации, связанные с громкой, лаконичной, “лающей” немецкой речью в ряде военных кинофильмов). Повторно многоязычность также используется для создания комических эффектов, основанных на коверкании иностранного языка или на взаимных языковых недоразумениях; в качестве презентанта этой линии использования многоязычности могут служить речевые отступления популярного

чешского комика Власти Буриана (например, в фильме “Три яйца всмятку”) или – если взять пример, удаленный по времени и расстоянию, – кинофильмы Джима Джармуша (“Загадочный поезд”)¹¹.

4. Обратим теперь более пристальное внимание на то, как проблематика многоязычности отображается в нескольких послевоенных чешских кинофильмах. Исходным пунктом будет служить преобладающее использование таких форм многоязычности как элиминация, эвокация или присутствие.

4.1. Яркий пример элиминации многоязычности мы находим в фильме Отакара Вавры (по роману Милоша В. Кратохвила) “Европа танцевала вальс”. В фильме, широкая панорама которого показывает ситуацию в Европе непосредственно перед началом первой мировой войны и раскрывает процессы, приведшие к этой войне, в действие вводятся представители разных народов, однако, в диалогах полностью доминирует чешский язык. Очевидно это обусловлено, с одной стороны, определенным акцентом на содержании выступлений исторических личностей, с другой стороны, общей направленностью фильма: стремлением дать своего рода концентрированную и наглядную панораму исторических событий (с чередованием документальных и иллюстративно-фiktивных сцен), стать прежде всего предметным поучением. В этом плане уважительное отношение к языковым различиям в фильме стало бы замедляющим моментом.

Иностранный язык в фильме О. Вавры не появляется даже тогда, когда речь идет о конфронтации, основанной именно на языковом различии. Вместо верbalной в этом случае используется косвенная характеристика, находящая опору в широком контексте кинофильма: когда немцы в кафе выражают свое возмущение тем, что за соседним столиком говорят по-чешски, их национальная принадлежность подчеркнута только выбором типажа исполнителя. Одного из наиболее активно протестующих воплощает Йиндржих Нарента, образ которого в сознании чешских зрителей ассоциируется с наиболее негативными чертами персонажей-немцев, прежде всего нацистов.

Трудно в этом случае понять неоднократно проявленное уважение к языковым различиям в диалогах заключительных сцен, происходящих в Белграде (речь идет, прежде всего, о произнесенных по-сербски фразах вежливости). Разве что оно дает возможность поразмышлять о том, что именно это исключение обращает внимание зрителей на специфику заключительных сцен кинофильма, которые должны быть – после скорее холодной реферативности, присущей большей части кинофильма, – его эмоционально апеллятивной кульминацией.

Для полноты картины необходимо добавить, что на втором плане время от времени “мелькают” элементы других языков, которые напоминают об изменениях в локализации действия и различиях этнических пространств. Вместе с тем они дают конкретную ссылку на исторический колорит: православная литургия и пение русской песни, газетные

заголовки, заметки, написанные готическим шрифтом, манифест *An meine Völker* или, наконец, краткие, используемые в качестве цитат, изречения как, например, название *Vidov dan*¹² в речи сербки или скандирование буршей *Serben tuß sterbien*.

С элиминацией многоязычности мы многократно встречаемся в кинокомедиях, работающих с гиперболой, основанных на быстрой смешне нестандартных ситуаций. Так, в кинофильме Юрайя Херца “Бульдоги и черешня” сицилийские мафиози, чешские мошенники и другие личности (национальность которых не вполне отчетлива) говорят и объясняются друг с другом по-чешски. Языковой аспект межчеловеческой интеракции таким образом подвергаетсянейтрализации и не затрудняет развития действия.

Так же, как и в кинофильме “Европа танцевала вальс”, в комедии “Бульдоги и черешня” на втором плане появляются отдельные иноязычные элементы, которые производят впечатление неярко выраженной эвокации. Итальянские выражения, временами появляющиеся в речи членов сицилийского преступного клана, с одной стороны, напоминают об их закрепленности в итальянской языковой и культурной сфере (это именно те выражения, которые представляют данную сферу в сознании обычного реципиента, – *grazie, prego, subito; amore alla Praghese*), с другой стороны, более конкретно указывают на их принадлежность речевой практике мафии (опять-таки на основе обиходного, литературой и кинофильмами воспитанного представления о мафии – *caro di tutti capi; inclementiamolo*). Следует упомянуть, что к данным выражениям прибегают и чехи в разговоре с итальянцами, якобы для более легкого достижения взаимопонимания и подтверждения того, что все члены коммуникации говорят об одном и том же предмете. Должно ли это служить намеком на существования языкового барьера, от которого на протяжении большей части сцен кинофильма авторы, не вдаваясь в детали, абстрагировались?

Строго выборочный и функциональный подход к работе с многоязычностью используется в комедии “Яра Цимрман, лежащий, спящий”. Чешский язык здесь выступает в качестве универсального для всех персонажей, невзирая на их национальную принадлежность. И только один раз в фильме неожиданно появляется ссылка на языковые различия для того, чтобы в краткой комедийной ситуации могла быть подчеркнута осознанная приверженность главного героя своей чешской природе: Яра Цимрман упорно игнорирует произнесенные по-немецки приглашения войти в помещение (*Herein!*) и реагирует только после того, как звучит чешское *Tak tedy vstupte!*

4.2. Примером фильма, в котором основным (но не единственным) методом представления многоязычности является эвокация, может быть “Кукушка в темном лесу” Антонина Москалика. Фильм, действие которого разворачивается во время второй мировой войны, рассказывает о чешской девочке Эмилке, которая подвергается попытке герма-

низации. Мера употребительности и функциональная сила отдельных языков здесь отчетливым образом изменяется и развивается в связи с неоднократной переменой места действия, в соответствии с которой кинофильм членится на несколько частей. Постоянной заботой является создание приемлемого соотношения между строительством иноязычного контекста (и языковая аутентичность там, где она способствует повышению драматической и эмоциональной силы воздействия) и доступности транслируемых значений для незнакомого (или недостаточно знакомого) с языком зрителя (титры, в качестве вторичного средства повышения доступности иноязычных пассажей, в кинофильме не используются).

В начале фильма основным методом является скорее присутствие многоязычности. Она выразительно входит в ткань кинофильма в сцене отбора девушки, годных к германизации. Ничего не понимающей Эмилке противопоставлены немецкие команды (*комм!*!), о дальнейшей судьбе девочки свидетельствуют данные, которые диктует нацистский врач. В целом, хотя и без отдельных подробностей, сцена безусловно понятна зрителю, обладающему определенными знаниями исторических фактов; более того, создатели фильма ввели в нее фигуру нацистского начальника, владеющего чешским языком и говорящего с Эмилкой по-чешски.

В части фильма, посвященной процессу “перевоспитания” в детском доме, устанавливается резкий контраст между немецким и другими языками. Немецкий язык функционирует в качестве доминирующего языка, который беспощадно подчиняет себе детей, проникая в их сознание. Использование других языков (чешский Эмилки, польский мальчика Сташека) становится жестом протesta и проявлением стремления сохранить свою идентичность (дети подвергаются наказанию за использование ненемецких слов). Так воспринимаются чешско-польские разговоры Эмилки со Сташеком или сцена, в которой Эмилка в ответ на насилию внушаемую немецкую считалку, повторяет про себя считалочку чешскую.

Немецкий язык используется в детском доме весьма громко и агрессивно, речь идет, правда, об очень коротких, простых и, можно сказать, стандартных выражениях (распоряжения и команды, повторяемые лозунги и считалки), значение которых определяется для зрителя тем, что они являются документальным свидетельством отупляющей муштры, как метода воздействия на детей.

Еще перед окончанием данной части кинофильма действующий принцип аутентичного присутствия многоязычности нарушается в тот момент, когда процесс “перевоспитания” детей заканчивается, и когда вместо звучащих до сих пор стандартизованных формул появляются сообщения, транслирующие более сложные значения. Сама начальница детского дома, являющаяся главной исполнительницей в деле по онемечиванию детей, обращается к своим питомцам следующим обра-

зом: *Liebe Kinder, dnes bude korunováno vaše úsilí, mravenčí práce celého roku. Nebudete hrát pouze starou německou pohádku o Sněžurce, ale o svůj příští osud (...).*

Этот внезапный переход от представления многоязычности к ее эвокации знаменует перемену в характере следующих частей фильма. В спектакле про Снегурочку (*Schneewittchen*) акцент еще ставится на присутствии немецкого языка (на первом плане находится несовершенное, ненемецкое произношение маленьких актеров: *Frau Kénigin* и т.п.), однако последующий разговор начальницы детского дома с начальником концентрационного лагеря Кукуком, пришедшим “купить” Эмилку, полностью проходит под знаком эвокации. Персонажи постоянно переходят с немецкого языка на чешский и наоборот, при этом в немецкой форме употребляются главным образом обращения и титулы, устойчивые наименования лица или учреждения, а также сильно эмоционально окрашенные выражения, произносимые в аффекте. Ср., например: *Ich nehme das Kind. Kolik stojí? – Tohleto je pro vás Kinderheim. – Schneewittchen, pojď sem. – Promínte, Herr Lagerkommandant. – Běž s panem komandantem, so ein Glück!* – После сопротивления Эмилки: *Geh zur Hölle, du schmutziges Schwein, Dirne. Co to znamená, Frau Kramer?*

Наиболее продолжительная часть кинофильма, повествующая о жизни Эмилки в компактной немецкой среде (вместе с ней здесь появляется только один носитель другого языка, польская служанка Ванда), полностью базируется на эвокации немецкого языка. Персонажи, в основном, говорят по-чешски и с определенными интервалами включают в свою речь отдельные немецкие выражения. Их репертуар в значительной мере подобен тому, который уже встречался в предыдущей части кинофильма: по-немецки произносятся, главным образом, приветствия и обращения, особенно те, которые характеризуют период времени (*guten Abend, gnädige Frau; Herr Oberlehrer; Heil Hitler; Herr Lagerkommandant*), приказы и команды (*halt!; schnell!*), экспрессивные выражения и оскорбительное осуждение (*böhmisches Gesindel*), а также обозначения реалий (*Böhmen und Mähren*) или устойчивые обороты (*empor zum Licht*). Создатели кинофильма работают также со ссылками второго плана, соединяющими в себе языковой и исторический аспекты: немецкое радио объявляет, что в воздушном пространстве над территорией империи не летают вражеские самолеты. Можно заметить и то, что частота немецких выражений постепенно (по мере того, как языковая условность укрепляется в сознании зрителей), но заметно снижается (перед завершением данной части кинофильма даже в речи, полной аффекта, появляется только чешский язык).

Особого внимания заслуживает способ, которым в фильме представлены особенности языка Эмилки, сложности, возникающие у нее с немецким языком, которые особенно должны быть заметны в школьном обучении. Речь Эмилки, собственно говоря, почти не отличается от речи тех, кто характеризуются как выходцы из северной Германии, – это

^{1/}, 9. Язык как средство...

более точное определение не лишено значения, однако, лишь на уровне рефлексии о речи. Именно посредством рефлексии о речи констатируется различие между Эмилкой и остальными персонажами, указывается ее отличность, ее проблемы с немецким языком и совершенствование ее языковых знаний – только один раз Эмилка отвечает (неудовлетворительно) по-немецки на (поставленный по-чешски) вопрос и один раз читает немецкий текст из хрестоматии. Положение Эмилки и ее прогресс в изучении языка первично выражается постепенно вводимыми комментариями и оценками ее учителя: *Za pár let bude mluvit německy líp než vy. – Jez deinen Paradeisapfel¹³, jak ty říkáš. – Tak tohle je němčina, miláčkové. Tohle dokázala za jediný rok.*

Чешский язык в этой части кинофильма почти всегда выступает “представителем” немецкого языка. Несколько раз, правда, он представляет самого себя (чешские высказывания Эмилки, речь чешских заключенных). Распознать его употребление в данной функции помогают общие характеристики и реакции участников диалога. Например, о том, что Эмилка, будучи в отчаянии от того, что у нее забрали серьги, “действительно” произнесла фразу по-чешски (*Tu byly od maminky*), свидетельствует тот факт, что служанка Ванда сразу же определяет в ней чешку. Кстати, речь Ванды также является одним из видов языковой условности: если Ванда говорит по-польски, то это означает, что она “действительно” говорит на этом языке (чешско-польские разговоры с Эмилкой). Если же она говорит по-чешски, с польским акцентом, то это указывает на тот факт, что она, собственно, в данном случае использует немецкий язык.

В конце войны Эмилка попадает на сборный пункт, который, безусловно, должен быть охарактеризован как место, где царит хаос, и где говорят на множестве разных языков. Любопытно, что создатели кинофильма, длительное время отдававшие предпочтение эвокации многоязычности, “не отважились” восстановить ее присутствие и удовлетворились использованием раздробленных, кратких разноязычных высказываний (создающих впечатление эвокаций), оставляя между тем в качестве основного средства коммуникации чешский язык.

4.3. С высокой степенью присутствия многоязычности (доступность которой для зрителей не была к тому же обеспечена титрами) мы встречаемся в фильме Альфреда Радока “Дедушка автомобиль” (по мотивам прозы Альфреда Браналда). В кинофильме Радока, незамысловатый сюжет которого повествует о зарождении производства мотоциклов и автомобилей в Чехии, действие разворачивается на двух основных площадках – чешской (Млада Болеслав, где находится завод пана Лаурина и пана Клемента) и французской (там, где происходят соревнования автомобилей и мотоциклов). Демонстрация языковых различий (чешский язык versus французский язык) подчеркивает несходство двух жизненных пространств, двух культур. С одной стороны стоит развитая в техническом отношении Франция – страна изобретений,

страна заводов, выпускающих продукцию высокого уровня, – с другой стороны – чехи, работающие в несравненно худших условиях. Различие двух языков создает в то же время фон, на котором происходит процесс преодоления названного несходства, – как в технической области (успехи чешских гонщиков), так и, параллельно, в области личных взаимоотношений (эмоциональное сближение молодого чеха и француженки, которое несет с собой и преодоление языкового барьера¹⁴).

В кинофильме “Дедушка автомобиль” постепенно появляется все больше высказываний на французском языке, иногда даже достаточно обширных. Столь высокий уровень использования французского языка (не переводящегося в титрах) может вызвать вопрос о том, насколько фильм идет навстречу зрителям, не владеющим данным языком, в какой степени им предоставляется возможность понимания. В принципиальном плане фильм делают приемлемым в данном аспекте несколько присущих ему основополагающих черт.

Прежде всего речь идет об общей структуре фильма. Кинофильм “Дедушка автомобиль” не является нарративным фильмом в традиционном понимании, когда первичным является действие и его перипетии. Рассказанная история, разделенная на несколько эпизодов, не превалирует над другими элементами фильма, сосредоточенного, с одной стороны, на фактографической точности и документальности (кадры кинохроники, фотографии эпохи) в стремлении постичь типичное и особенное в жизни начала двадцатого столетия; с другой стороны, стремящегося связать минувшие события с современностью, что придает кинофильму характер ностальгического взгляда в прошлое. В единое целое отдельные линии фильма объединяются при помощи комментария, который пронизывает весь фильм и выполняет очень важную информационную роль и создает определенное настроение.

Вместе с тем комментарий с самого начала фильма подготавливает зрителя к развитию элементов многоязычности, подчеркивает связь развития автомобилизма с Францией, resp. его международный характер: многократно приводятся иноязычные имена спортсменов, конструкторов, фирм и т.п., цитируются французские названия продукции (*la motocyclette, чудо столетия*), указывается французское произношение чешского имени (*monsieur [klemán]*) и используются, наконец, отдельные широко известные или понятные из контекста французские выражения: “*attention, attention, только что приехал мэр Парижа, bon jour, monsieur Leduc, добрый день, madame Leduc*”; *mécanique générale Marcel Frontenac, когда-то простой жестяник, сейчас душа французской команды гоночных автомобилей*”¹⁵.

Следующие черты, поддерживающие доступность фильма, имеют частичную силу и используются только в некоторых случаях:

а) кинофильм, опираясь на традиции гротеска немого кино, использует для создания определенных смыслов движения персонажей, их падения, жесты, игру с разными предметами;

б) особенно в сценах соревнований иноязычные высказывания сливаются в неразборчивую, плохо расчленяемую массу, которой в целом можно приписать значения побуждения, прославления и т.п.;

в) в коммуникации, в которой принимают участие французы и чехи, неоднократно возникает фигура переводчика, который переводит своим не знакомым с французским языком друзьям смысловое ядро иноязычных высказываний. После окончания соревнований: *Что говорил?* Клемент: *Сможем ли мы приехать в будущем году опять.* – В отеле: *Он говорит, что у тебя наверху есть четвертый номер;*

г) выстраивается параллелизм чешских и французских высказываний или в рамках одной и той же сцены, или посредством монтажа, который сближает друг с другом коммуникативные акты, реализованные в разных местах. Французы: *Les Tchèques.* Чехи: *Чехи. – Она красивая?* В другом месте: *Joli, très joli!;*

д) разговоры, полностью включенные во французскую среду, “закрывают” для не знающего этот язык зрителя конкретно транслируемые значения. Несмотря на это они, однако, предоставляют ему возможность понимания на определенном элементарном уровне, хотя бы в том смысле, что эти сцены поставлены режиссером так, чтобы они в целом воспринимались как картинки “тиปично французской” жизни, как проявления “тиปично французского” темперамента. Появляются и другие намеки: если речь идет о готовящейся свадьбе, то одна из женщин напевает мелодию свадебного марша.

Необычайно широкая демонстрация многоязычности в кинофильме Радока входит как составная часть в общую нетрадиционную конструкцию фильма: зрителя побуждают к конфронтации с необычными чертами фильма на его разных уровнях.

5. В следующей части статьи мы остановимся на анализе двух чешских кинофильмов, имеющих ряд сходных черт, как в тематическом плане, так и в плане связанных с ним внешних обстоятельств. Кинофильмы “Карета в Вену” Карла Кахини и “Аделхейд” Франтишка Влачила появились приблизительно в одно и то же время (1966 и 1969 гг.) и оба имеют литературный аналог. Действие обоих фильмов отнесено в 1945 г., ко дням окончания войны (“Карета в Вену”) и первым месяцам мира (“Аделхейд”). Наконец, сюжетное ядро этих фильмов связано с процессом формирования сложных взаимоотношений между мужчиной и женщиной, принадлежащим к разным национальностям и противоположным сторонам военного конфликта, которые с трудом спрятываются с многочисленными преградами, стоящими между ними, в том числе барьера языковым. Способы работы с многоязычностью в кинофильмах “Карета в Вену” и “Аделхейд”, однако, не совпадают, хотя для обоих фильмов характерно стремление к аутентичности и использование присутствия многоязычности.

5.1. Фильм “Карета в Вену” произведение подчеркнуто камерное, целиком сосредоточенное (за исключением трагического финала) на

взаимодействии нескольких персонажей – двух солдат нацистской армии и деревенской женщины, вынужденной вести их к австрийской границе. Выстраиваются два основных направления коммуникации, основательно представленные в фильме: в то время как немецкий солдат Ганс и его тяжело раненный друг “гладко” разговаривают по-немецки, взаимопонимание между Гансом и женщиной реализуется очень тяжело. Ганс говорит только по-немецки, женщина только по-чешски; вербальные высказывания таким образом постоянно наталкиваются на неспособность (а в случае женщины – также нежелание) понимания. Попытки коммуникации реализуются и в невербальной сфере, однако, до взаимодействия дело доходит только лишь на абсолютно элементарном уровне (остановка телеги, дальнейшее направление дороги). Добавим, что признаком развития отношений между этими антагонистическими фигурами является тот факт, что женщина, наконец, хотя бы намеком, прибегает к языку своего партнера: *Auf, jdi, jdi prýč (...). Tam je tvůj Esterajch.*

Иноязычные высказывания в течение всего кинофильма (за исключением двух небольших моментов, таких, как бормотание во сне) сопровождаются чешскими титрами¹⁶. Зрителю, таким образом, предлагается точка зрения человека знающего и понимающего, как в случае однородной и недефектной коммуникации, так и в том случае, когда на коммуникацию оказывают влияние тяжело преодолимые барьеры. Для зрителя выбор полного и легкого понимания несет с собой и образование дистанции между ним и усилиями персонажей, позицию “над предметом”, которая допускает размышление над обсуждаемыми в коммуникации проблемами, но исключает их сопереживание¹⁷.

5.2. В фильме “Аделхейд” иноязычные высказывания появляются в меньшей степени, они не выполняют в кинофильме такой несущей роли, и, вероятно, вследствие этого не сопровождаются титрами. И хотя основной сюжетной линии снова являются сложные взаимоотношения между далекими в языковом и прочих отношениях персонажами, этот мотив включается в более широкий контекст характерных процессов и событий своего времени.

Неоднократно немецкие высказывания в фильме служат указанием того, что действие происходит на территории прежнего проживания немцев, и что возникает конфронтация, как в языке, так и в действиях между (пораженными) немцами и вновь прибывшими (ср. например, неразборчивую немецкую речь группы находящихся под стражей женщин). Вновь прибывшие с самого начала кинофильма характеризуются как достаточно пестрое сообщество (смесь голосов в поезде, среди которых слышны словацкий язык и диалектно окрашенный чешский), как сила, полная решимости искоренить на этой территории немецкий язык (вахмистр: *předně žádny Schwarzbach, ale Černý Potok*).

В коммуникации между лейтенантом Виктором Хотовицким и немкой Аделхейд немецкий язык приобретает амбивалентную значи-

мость. С одной стороны, неспособность этих двух людей говорить на одном языке подчеркивает существующие между ними преграды, с другой стороны, и в этой ситуации проглядывает огонек надежды. Несмотря на то, что коммуникация затруднена, она вдруг становится успешной, хотя и за счет комбинации заученных наизусть немецких высказываний и выражений, жестов и оstenсивных сообщений, то есть указаний на конкретные предметы. Смыслообразующим для зрителя является именно изображение затраченных на коммуникацию усилий и отдельных успехов, достигаемых на этом пути.

Известный положительный аспект содержат в себе и высказывания, произнесенные “в пустоту”, без предпосылки понимания со стороны партнера: они являются проявлением воли к слову, подкрепленной сознанием присутствия собеседника (Виктор: *Я рад, что ты меня не понимаешь. Как будто бы я говорю с собакой*). При этом, однако, постоянно действует фактор, ставящий под сомнение возможность позитивной коммуникации между Виктором и Аделхайд. Усилия, затрачиваемые на осуществление коммуникации, являются асимметричными, их движущей силой является Виктор, который вступает на почву языка партнерши. У Аделхайд мы подобного встречного движения не находим, хотя на мгновение и появляется предположение о том, что она понимает по-чешски. Подтверждением того, что старания Виктора окончились неудачей, становится его заключительный разговор с Аделхайд. У Виктора здесь впервые появляется возможность полностью выразить свое отношение к Аделхайд, вместе с тем он обречен на то, что его интимная исповедь становится понятной Аделхайд благодаря посредничеству третьего, чужого лица, стоящей вне личности переводчицы.

Необходимо добавить, что наряду с прямой включенностью в вербальную интеракцию персонажей, немецкий язык выступает в фильме “Аделхайд” и в иных ипостасях.

а) Более всего бросаются в глаза немецкие надписи на разных предметах (например, названия на книжных переплетах), опять-таки и прежде всего выступающие носителями общего указания на то, что “здесь были немцы”, но также являющиеся и конкретным указанием недавнего поражения нацизма.

б) Немецкое пение (сочинения И.С. Баха и Иоганна Штрауса), первичной функцией которого является создание определенной атмосферы, служит завершающим штрихом в создании общего настроения соответствующих сцен. При этом в них мы, конечно, можем увидеть и презентацию двух полярных проявлений немецкоязычной культуры, по отношению к которым нацизм, в свою очередь, выступает как совершенно извращенное проявление этой культуры (ее представляет в этой связи также музыкальное произведение – марш Гитлерюгенд).

в) Во время своей первой поездки к небольшому замку, который он должен восстанавливать, Виктор Хотовицкий останавливается перед надписью *Es ist vollbracht*. Между тем как в литературном тексте Вла-

димира Кёрнера справедливость этой формулы для героя устанавливается конкретно¹⁸, в фильме мы слышим только чешский эквивалент этого оборота (*Dokonáno jest*): фильм, таким образом, в отличие от новеллы, предоставляет зрителю возможность различных интерпретаций данного высказывания, в большей или меньшей степени связанных с его библейским источником¹⁹ (слова могут ассоциироваться, например, с предопределенностью жизни, смертью, но, прежде всего, со спасением и искуплением).

г) Описанному эпизоду предшествует менее выразительная сцена, но более открытая в смысловом отношении. В тот момент, когда Виктор собирается в дорогу, появляется образ стоящей у окна старой женщины с повязанным на голове платком, и раздается женский голос: *Eines Tages erblickte Ulrich unter einer alten Kiefer am Waldesrand ein riesiges Ungeheuer mit zwanzig Köpfen*²⁰. Голос звучит на втором плане и не обращает на себя внимания, но безусловно является, прежде всего, одним из повторяющихся указаний на присутствие немцев. Этот элементарный уровень понимания полностью достаточен для данной интерпретации сцены. Для зрителя, владеющего немецким языком, данное высказывание, однако, становится тем дополнительным семантическим комплексом, который может обогатить понимание. Высказывание, очевидно, является отрывком из текста сказки, что может ассоциироваться с традицией, долгим временем, в течение которого немцы жили в этом месте. С другой стороны, это высказывание можно также понимать как предостережение, как указание на небезопасность (до недавнего времени немецкой) территории, на которую вступает Виктор, как предзнаменование того, что Виктор идет навстречу многочисленным угрозам. Вскоре после этого Виктор действительно встречается с одной из форм этой угрозы: он оказывается в центре минного поля.

Бесспорно можно констатировать, что и эти вторичные и иногда как бы случайные употребления немецких выражений и высказываний, способствуют смысловому строительству кинофильма.

6. На этом месте мы должны завершить наше исследование, посвященное функционированию многоязычности в конкретных кинофильмах. Понятно, что остается еще ряд достойных внимания вопросов. Вспомним хотя бы случаи, когда смыслообразующую функцию приобретает билингвизм персонажей. Их постоянный переход с одного языка на другой в зависимости от характера коммуникативной ситуации и партнера по коммуникации, является вместе с тем проявлением того, что данные персонажи “обжились” в нескольких культурах. В чешской кинопродукции мы, вероятно, с трудом найдем подходящий пример, поэтому укажем хотя бы на один из кинофильмов французского режиссера Бертрана Тавернье, в котором важность интеракции между языками подчеркивается уже в самом двуязычном названии: *Daddy nostalgie* (чешское название “Час ностальгии” этого аспекта, к сожалению, не отражает).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ср., например, характеристики текста в необычайно содержательной статье Ю.М. Лотмана [Лотман 1970, 67–69].

² Например, Павел Трост [Trost 1995, 56] говорит о “ярко выраженной тенденции к одноязычности в литературном произведении”. Ср. также формулировку В.Т. Элверта [Elwert 1960, 409]: “для любого литературного произведения является естественным, что оно написано на одном языке”.

³ Обзор основных вопросов, связанных с функционированием многоязычности в вербальных текстах, см. в статье [Macurová, Mareš 1996].

⁴ “Кинофильм в большей степени, чем роман, спектакль или картина художника-реалиста, дает нам ощущение того, что мы являемся непосредственными свидетелями якобы реального зрелища” [Metz 1968, 14].

⁵ “Прежде всего признали, что голливудские рисованные задники и декорации за окном невыносимы, затем начали протестовать против эсэсовцев, говорящих по-французски или по-русски и, наконец, возникло недоверие к фильмам, в которых редко появляется натурная съемка, аутентичная улица и другие наивысшие свидетельства действительного существования мира” [Płażewski 1967, 388].

⁶ Речь идет о remake одноименной комедии Эрнста Любича 1942 г. О языковой проблематике в фильме Любича см. [Hendrykowski 1982, 128–129].

⁷ Уместно подчеркнуть, что предвестием названного перехода являются надписи, появляющиеся в самом начале кинофильма: после уведомления о том, что мы находимся в Варшаве 1939 г., следуют кадры плакатов с надписями *Theatre Bronski* и *The New Bronski Follies*.

⁸ С указанным ниже различием мы, в принципе, уже работали (однако, без использования вводимой здесь терминологии) в нашей опубликованной ранее статье. Проблематика многоязычности в кинофильме в ней рассмотрена достаточно бегло [Mareš 1993, 63–163].

⁹ Элла Шохат и Роберт Штам рассматривают такой способ проникновения английского языка в кинофильмы, посвященные иным культурам, как языковую просекцию американской великороджавной и экономической гегемонии [Shochat, Stam 1985].

¹⁰ Примечательно, что в сценах, где для роли переводчика нет подходящих условий, все персонажи пользуются английским языком, в который в значительной степени включены элементы испанского (*amigo*).

¹¹ Подробнее о многоязычности и языковом комизме в кинофильмах Джармуша см. [Mareš 1993, 130–131].

¹² “День святого Вита” – день годовщины разгрома сербов турками на Косовом поле (15. 6. 1389).

¹³ Выражение der Paradeisapfel “райское яблоко” – австрацизм, известный и в чешской языковой среде.

¹⁴ Сюжетная линия любовных взаимоотношений между чехом и француженкой, введенная в кинофильм, в литературном источнике Адольфа Браналда, впервые опубликованного в 1955 г., отсутствует. Добавим также, что в прозе Браналда многоязычность используется значительно более умеренно и не выходит за рамки сферы эвокации.

¹⁵ Другим средством, при помощи которого зрителя “приучают” к французскому языку, являются (явно акцентированные камерой) надписи, связанные с заводами (*Départ, Arrivée*), рекламные щиты, вывески и т.п.

¹⁶ Титры при этом не всегда являются точным, “дословным” переводом высказывания. Мы встречаемся, например, со стремлением создать впечатление разговорности текста при помощи использования специфически чешской фонетической нелитературности: *Aus mir wird noch mal ein guter Bauer. – Myslím, že bych byl dobrý sedlák.* Определенным ослаблением пейоративности высказывания является титр *svině*, как противоположность изречению *verdammte Hure*.

¹⁷ Оба упомянутых аспекта (доступность для реципиента, недоступность для персонажа) своеобразным способом объединил Ян Прохазка в литературной обработке сюже-

та (1967). Он часто приводит немецкие высказывания параллельно с их чешской версией. Однако немецкие слова приводятся в деформированном виде в соответствии с чешскими обычаями правописания, посредством чего показывается, что для женщины эти высказывания являются "чужими" и непонятными.

¹⁸ Она символизирует для него окончание войны и убийств, наступление покоя. Во время новой встречи с этой надписью, после травмировавшей его неудачной попытки создать спокойную жизнь, Виктор понимает, что он поддался иллюзии. (В кинофильме мы видим только мимолетный намек на повторную встречу с надписью). Более подробно об этом мотиве и новелле в целом см. [Mravcová 1992].

¹⁹ "После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду" (Иоанн, 19, 28).

"Когда же Иисус вкусила уксуса, сказал: совершилось! И, наклонив главу, вверил дух Господу" (Иоанн 19, 30).

²⁰ В переводе: "Однажды Ульрих увидел под старой сосной огромное чудовище с двадцатью головами".

Л и т е р а т у р а

Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.

Elwert W.T. L'emploi de langues étrangères comme procédé stylistique // Revue de littérature comparée. 34. 1960.

Hendrykowski M. Słowo w filmie. Historia, teoria, interpretacja. Warszawa, 1982.

Macurová A., Mareš P. Soužití s střetem. Ke stylu vícejazyčného textu // Stylistika. 1996.

Mareš P. Film a verbální komunikace. K uplatnění verbálního jazyka ve filmu // Macurová A., Mareš P. Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha, 1993.

Metz Ch. Essais sur la signification au cinéma. Paris, 1968.

Mravcová M. Vladimír Körner: Adelheid (1967) // Česká literatura 1945–1970. Interpretace vybraných děl. Praha, 1992.

Plažewski J. Filmová řeč. Praha, 1967.

Shochat E., Stam R. The cinema after Babel: language, difference, power // Screen 26, 1985. N 3–4 (May–August).

Trost P. K dvojjazyčnosti Vojny a míru // Trost P. Studie o jazycích a literatuře. Praha, 1995.

ЦИТИРОВАННЫЕ КИНОФИЛЬМЫ

"Аделхейд" ("Adelheid"; Франтишек Влачил, 1969); "Бульдоги и черешня" ("Buldogi a třešně"; Юрай Херц, 1980); "Быть или не быть" ("To Be or Not to Be"; Эрнст Любич, 1942); "Быть или не быть" ("To Be or Not to Be"; Алан Джонсон, 1983); "Цезарь и Клеопатра" ("Caesar and Cleopatra"; Габриэль Паскаль, 1945); "Час ностальгии" ("Daddy nostalgie"; Берtrand Тавернье, 1990); "48 часов в Париже" ("Frantic"; Роман Поланский, 1988); "Дедушка автомобиль" ("Dědečekautomobil"; Альфред Радок, 1956); "Алмазы ночи" ("Démanty noci"; Ян Немец, 1964); "Европа танцевала вальс" ("Evropa tančila valčík"; ОТАКАР Вавра, 1989); "Яра Цимрман, лежащий, спящий" ("Jára Cimrman ležící, spící"; Ладислав Смоляк, 1983); "Карета в Вену" ("Kočár do Vídně"; Карел Кахиня, 1966); "Кукушка в темном лесу" ("Kukáčka v temném lese"; Антонин Москалик, 1984); "Господин Верду" ("Monsieur Verdoux"; Чарльз Спенсер Чаплин, 1947); "Клад на Сьерра Мадре" ("The Treasure of Sierra Madre"; Джон Хьюстон, 1947); "Stroszek" (Вернер Херцог, 1977); "Таинственный поезд" ("Mystery Train"; Джим Джармуш, 1989); "Три яйца всмятку" ("Tři vejce do skla"; Мартин Фрич, 1937); "Переселенцы" ("Utvandrarna"; Ян Троелл, 1970).

Перевод Ю. Е. Стемковской

М.Л. Соснова

(Россия)

ТЕАТР КАК ТРАНСЛЯТОР КУЛЬТУРЫ

Анализ роли театра как транслятора культуры требует непременного указания на методологические схемы, которые позволяют формировать рамки для такого анализа.

В качестве общеметодологической (философской) схемы может быть использовано представление о культуре как об аналоге генетической программы животных. Способности животных к осуществлению целесообразных для них способов поведения передаются генетически и формируются у каждой особи как инстинкты. Культура как в филогенезе, так и в онтогенезе человека играет роль генетической программы, позволяя ему формировать способности, которыми обладали люди предыдущих поколений, создавшие культуру и передавшие ее потомкам в качестве аналога генетической программы.

Самым существенным звеном в этой внегенетической трансляции человеческих способностей являются культурные предметы – объективированная предметная форма человеческих способностей. Кроме этой предметной существуют ее альтернативные формы, деятельность, в которой изготовлены эти культурные предметы, а также ментальные (психические) образы культурных предметов.

Наличие этих форм передаваемых другим поколениям человеческих способностей (культурного предмета, деятельности, ментального образа предмета) дает возможность формировать и быстро – по сравнению с генетическим способом – транслировать эти способности.

Человек, рождаясь биологическим существом, с помощью другого человека (взрослого) вступает в контакт с культурными предметами и распредмечивает их, овладевая деятельностями, которые “застыли” в форме этих предметов. Таким образом происходит присвоение человеком тех человеческих способностей, которые должны передаваться в данном обществе. Приобретаемые при распредмечивании культурных предметов человеческие способности превращают человека из существа биологического в существо культурное.

В качестве частнонаучной методологии мы используем театрovedческие схемы анализа функций театра.

Театр как социальный институт выполняет функцию формирования сознания, т.е. функцию создания представлений о мире, естественно, не о всем мире, а только о некоторых его фрагментах. Театр формирует представления исключительно об общении людей: в театре не демонстрируют производственные процессы для того, чтобы затем зрители овладели этой производственной деятельностью, но в театре показывают со сцены образцы поведения, которые общество санкционирует.

нирует (поведение положительных героев) или не санкционирует (поведение отрицательных персонажей).

Театр является транслятором от одних поколений к другим образов сознания об общении, доведенных до высокой степени абстракции и в то же время обладающих качествами чувственной образности, всегда сопряженных с некоторой оценкой. Театральная классификация персонажей пьесы ("герой–любовник", "лирическая героиня", "простак", "инженер" и пр.) представляют собой социальные типы людей, данные во взаимосвязи характеров и отношений между собой. Сложилось представление о театре как "модели мира", отображающей человеческое поведение во всем многообразии национальностей, характеров, социальных типов. Театр понимается как "храм искусств", т.е. как другой, особый мир, отличный от действительности, как способ передачи культурных традиций, отношений "мужчины" и "женщины", "героев" и "простых людей" и т.д.

Общество сформировало требования к функционированию театра как социального института трансляции культуры.

Семиотические качества оценического действия (спектакля) позволяют ему быть моделью жизни, но не быть равным жизни, оно отображает не все, а только наиболее существенное с позиции его создателей.

Качества образности и наглядности сценического действия препятствуют тому, чтобы быть только моделью (схемой), подлежащей простой расшифровке, оно должно восприниматься зрителем, хотя и знаво, но и как квазиреальная жизнь, т.е. обладать образной яркостью и полнотой.

Познавательные возможности зрителей и их способности к эмоциональным переживаниям позволяют им понимать не только внешнее поведение героев спектакля, сюжет, фабулу пьесы, но и перерабатывать их в своем сознании, формируя определенные регулятивы для собственного поведения.

Театр использует механизм непосредственного сопереживания, а это предполагает у зрителя способность к эмоциональной восприимчивости, эмпатии. Познавательные возможности зрителя не должны быть преградой для усвоения позиции создателей спектакля по отношению к герою как образцу для подражания или осуждения. Другими словами, определенные в сценических персонажах нравственные, идеальные, эстетические и пр. образцы поведения должны быть адекватно восприняты.

Общество в других своих социальных институтах использует театральные модели и приемы: психотерапия искусством и психодрама – в медицине, теория ролей – в социальной психологии, деловые игры – в педагогике и т.д.

Функции театра как транслятора культуры рассматриваются с позиций:

- государства, власти: распространение идеологии конкретной власти, провоцирование в театре желаемых ею моделей поведения и отношения к ней,

– зрителя: эмоционально-эстетическая оценка театра как релаксатора и “учителя жизни”. Театр осуществляется развитие (духовное, интеллектуальное, нравственное, эстетическое, историко-культурное), приобщает к мировой литературе, культуре, прививает представление о человеке как о “другом”, возвышает, облагораживает, очищает; повышает эмоциональный тонус, помогает переживать трудности, учит способам самовыражения, манерам поведения и общения, знакомит с жизнью разных народов и стран и т.д. Часто именно в театре у детей возникает первое представление о “дobre” и “зле”, закладываются основы нравственности;

– людей театра: осознание ими (драматургом, режиссером, актером, художником и пр.) и критиками (призванными соединять все позиции) роли театра в современной исторической и социокультурной ситуации. Люди театра, как и другие художники, создают знаковую систему эпохи. Конфликт, стержневой центр любого театрального действия, заложен как между позициями, так и внутри их в зависимости от того, как они видят эпоху, а следовательно, и отражают ее в соответствующей знаковой системе.

Театр, сам являясь частью культуры, создает одну из важнейших предпосылок ее бытия – он передает культуру от поколения к поколению, пробивает ей путь во времени и пространстве. Драматизм и не-прямость этого пути очевидны, они полны взлетов и падений, перерывов в движении и важных открытий, изломов и недолгих периодов гармонического развития...

Театр прошел большой исторический путь, возникнув “из религиозной церемонии, в которой участвовала группа людей, совершивших... сельскохозяйственный обряд плодородия” [Пави 1991, 294]. В этих ритуалах активные участники действия и зрители были объединены и только впоследствии произошло их разделение, что повлияло на дифференциацию и углубление процессов сознания древнего человека. Постепенное обособление театрального и религиозного сознания, сложность их взаимосвязей в дальнейшем представляется весьма важной и интересной проблемой. Сакральность сценического слова как явления, связанного с сотворением мира, отражена в “диалогах богов, которые можно считать отрывками своего рода мистерийных сценариев” [Коростовцев 1983, 81].

Если религиозное сознание отображало в первую очередь взаимоотношения человека с Богом, с теми силами, которые были выше, над человеком, то театр был обращен к самому человеку, показывая его поведение, его качества, способности, отношения с другими людьми. “Театр – игра... призванная показать, что справедливо и что несправедливо, что поддерживает жизнь и что ее разрушает. Тем самым театр можно рассматривать как науку о человеческом поведении” [Барро 1979, 180].

Разумеется, очень важно помнить, что театр, сам являясь частью культуры, очень медленно и постепенно видоизменялся, показывая все

особенности, традиции и предрассудки, которые были свойственны предыдущим поколениям, особенно на первых шагах своего развития, см. [Фрейденберг 1997]. “И понадобилось время, чтобы афинский театр стал политической трибуной и истинной школой нравственного воспитания, и высшим таинством сопереживания – через традиционные, всем известные мифологические сюжеты и весьма условные, почти лишенные личностных очертаний образцы...” [Гончарова 1984, 14]. Театр помогал человеку понять самого себя, вырабатывал первоосновы, суть понятий “человек”, “общество”. По выражению Т. Манна, “театр – это возвышенное и детское времяпрепровождение, выполняет свою самую прекрасную задачу, когда он посвящает массу в народ” (цит. по [Пави 1991, 354–355]).

Объединяя одной идеей, одним стремлением, театр обращается к публике как к одному партнеру по общению, выявляя наиболее сущностные, единые потребности и интересы.

Эта мысль была известна уже Эсхилу, монологи героев которого, как отличают его исследователи, содержат проблемы и сомнения, волновавшие его современников (см., например, [Гончарова 1984, 15]).

Однако при анализе воздействия театра на сознание современников и самого механизма этого воздействия важно выделить не только объекты, но и способы, приемы.

Во все времена театр вырабатывал свои формы – в первую очередь – жанры, т.е. трагедию, комедию, моралите, драму и т.д., ориентируя члена общества в окружающей его социальной среде и демонстрируя ему одобряемые и неодобряемые обществом образцы поведения и отношения к различным явлениям.

Важнейшим из открытий театра стало создание античной трагедии, которая позволяла формировать у зрителей способность переживать и разделять чужое горе, приобщаться к чужому страданию, очищая через катарсис собственную душу.

Весь диапазон человеческих чувств от безысходного горя до феерической радости, счастья – все это богатство как плодородное поле обрабатывал театр в течение тысячелетий. Формирование в театре эмоционально-чувственной сферы сознания человека требовало все более и более изощренных и специальных усилий. Уже в позднее средневековье понадобилось не только следовать за человеческими страстиами, но и приучать человека к образу мысли и поведения – так в XIV–XV вв. появляются моралите. К примеру “Всякий человек” (конец XV в.) – дает характеристику “всякого человека” (за которой стоит англичанин XV в.) [Самарин 1985, 307]. Показ доблестей, пороков, чувств в театре приобретает яркую наглядность, живость, что должно было привлекать или отталкивать.

Если трагедия как жанр берет начало из мистерийных представлений, то комедия произошла из древних обычаем высмеивать прилюдно обидчиков, их жадность, корыстолюбие и пр. [Ярхо 1983, 370]. Челове-

ческое сознание с первых своих шагов училось использовать огромный потенциал, который заложен в смехе, юморе, сатире, со временем “смеховая культура” (М.М. Бахтин) приобретала все большее распространение, сопровождая человечество во всех периодах его развития. Деятели театра использовали эту истинно человеческую способность, воздавая “должное искусству комедии. Оно дает людям самородки счастья” [Барро 1979, 217].

Сознание современного человека с трудом постигает тот факт, что основная часть представлений о нравственных категориях, о понятиях гуманности были когда-то осмыслены и показаны впервые в театре. Ярко писал о Софокле, что он знакомил свою публику “с нормативным героем”, он мерил “полной мерой достоинство и величие человека, его соответствие тем высоким нравственным нормам, которые вытекают из осознания индивидом своего места в обществе, своего дома перед ним и перед самым собой” [1983, 361].

Однако и впоследствии каждое общество стремилось заглянуть в свое “зеркало”, каким стал театр; почти во всех странах и во все времена он способствовал выработке новых путей развития общества, отрабатывал представление о новом типе личности, стремился показать изжившие себя стороны жизни и утвердить новые, прогрессивные. Например, выражая в своих пьесах мироощущение передовых людей XVIII в., Мольер видит “противоречивость мира, дисгармоничность человека: он во главу угла ставит недостатки человека, его пороки, для его героя свойственны универсализм отношения к действительности, он описывает атмосферу столкновения противоположных взглядов” [Обломьевский 1987, 147]. Для предыдущего поколения драматургов такой подход был не свойственен, образы и столкновения были более одномерны. Таким образом, создавались новые культурные “прецеденты”, обществу предъявлялись новые подходы, герои, отдельные свойства и качества как общества, так и человека.

Связи театра и общества столь широки и многообразны, что трудно найти какую-то проблему, которой не занимался бы театр. Семиолог П. Пави перечисляет следующие виды театра, отражающие его функции: “театр-агитпропа”, “буржуазный”, “дидактический”, “документальный”, “женский”, “жестокости”, “камерный”, “лаборатория”, “классовый”, “материалистический”, “мира”, “народный”, “окружающей среды”, “пластический”, “повседневности”, “политический”, “программный”, “синтетический”, “театр улицы”, “участия”, “экспериментальный” и др. [1991, 18].

Таким образом, с давних пор и по настоящее время театр занимается своим главным делом – быть “моделью жизни”, но такой моделью, в которой отражено и зафиксировано то состояние культуры, в котором находится общество, членами его являются создатели конкретного театра (драматурги, режиссеры, актеры и др.). Нельзя забывать о специфическом воздействии театра – о чем писал Шиллер как о цели поэтиче-

ской, которая “представляет действие для того, чтобы взволновать и волнением доставить наслаждение” (цит. по: ИВЛ [т. 5, 1988, 243].

Погружение зрителя театра в атмосферу прекрасного, эстетического придает постижению проблем современности особенности, не свойственные другим социальным институтам, предназначенным формировать сознание людей.

Социально-групповая дифференциация общества, организующая общение людей в социуме и вызывающая к жизни новые нормы общения, вовлекает театр в процесс распространения и утверждения этих норм.

В этой функции театр оказался чрезвычайно эффективным инструментом формирования социального поведения людей. Показывая на сцене актеров в роли социальных типов, общество помещает последних в необычную, неестественную, странную ситуацию, нарушающую автоматизм восприятия и поэтому позволяющую подчеркнуть существенные качества социального типа, убрав нетипичные качества и сообщая ему тем самым знаковые свойства.

Например, в дошедших до нас аттических комедиях Плавта (на рубеже III–II вв. до н.э.) упрощаются характеристики действующих лиц, но их главные черты становятся более яркими, выпуклыми, типичными для определенных социальных слоев, при этом заметная роль принадлежит рабу–интригану, любимому герою Плавта. Остальные же персонажи должны вызывать смех: старик – скуп до смешного, юноша – влюблен и беспомощен до смешного и пр. [Гаспаров 1983, 425].

Еще более высокий уровень типизации абстрактности приобретают персонажи в итальянской комедии дель арте, получившей распространение по всей Европе в XVII в. Бродячие труппы актеров даже в границах одной страны сталкивались с проблемой понимания в условиях диалектной раздробленности при отсутствии кодифицированного литературного языка, доступного простолюдину на городской площади, где чаще всего устраивались представления. Поэтому, стремясь увеличить общие знания со зрителями, говорящими на разных диалектах одного языка и даже на языках, отличных от языка актеров, а такая общность есть непременное условие для знакового общения, театр итальянской комедии дель арте, используя способность сцены острожать – делать необычными обычные, обыденные предметы, превращает некоторых персонажей в маски, т.е. в знаки, заранее, еще до представления, известные зрителям.

Канон масок включал в себя маски простолюдинов, слуг, пожилых состоятельных людей, чиновников испанской администрации, лирическую пару влюбленных (без масок) и т.д.

Играя в рамках своего амплуа, актеры широко использовали импровизацию, но часто и драматурги писали пьесы для театра масок. Так в данном типе театрального спектакля сосуществовали два главных начала: типизация социального героя (через маску) и индивидуализация его выражения (через импровизацию).

В знаменитом спектакле театра им. Е. Вахтангова “Принцесса Турандот” по пьесе К. Гоцци российские актеры, играя в 60–90-е годы XX в., в своих импровизационных диалогах через маски Тартальи, Бригеллы и др. затрагивали проблемы советской, а затем российской жизни. Таким образом, происходило, с одной стороны, сближение современных реалий с культурным игровым пространством, а, с другой, – необычайная актуализация их через старый театральный опыт, дающая возможность остроного восприятия собственных, зрителя, проблем. Озорство, юмор, розыгрыш – вечные спутники человека, и театр дарит возможность не забывать об этом, мастерски использует яркую форму для трансляции содержательных идей.

Иногда в театре рождается герой, одно имя которого вызывает большой объем ассоциаций, за которым встает целое явление действительности – и, одновременно, оно есть явление искусства. Такими героями стали Гамлет, Яго, Ромео и Джульетта, леди Макбет, скупой рыцарь, Фигаро, Чацкий, Хлестаков, Лопахин и др. В мир каждого носителя культуры входят эти и многие другие герои, формируя представления и нормы отношения к миру, к самому себе.

Но не только мировая сокровищница культуры дает возможность “общения” с образами, влияющими на наше сознание. Большие преимущества в этом у носителей *родного национального языка*. Так, у русских герои и персонажи Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Достоевского, Островского, Чехова, Горького, Розова и др. – представляют собой целый мир.

В разное время разные герои оказывают на зрителя большее или меньшее воздействие. Так, неожиданно в наши дни стали востребованы герои А.Н. Островского, решающие ежедневно проблему, ставшую актуальной для значительной части нашего общества: каковы пределы компромисса между нравственными устоями и стремлением к наживе, приобретательству. Справедливы слова В. Лакшина об Островском: “В конце концов и ему и его постоянным читателям и слушателям эти герои начинают казаться едва ли не более реальными, чем десятки мелькнувших на жизненных перепутьях лиц” [1982, 467]. Моделируя действительность, люди театра сталкиваются с проблемой, долгое время остающейся острой в определенной национальной культуре. Так, по-прежнему, как и в середине XIX в., остры споры “русофилов” и “либералов-западников”. Тогда “лакмусовой бумажкой для определения литературных симпатий, деления на “наших” и “не наших” (там же, 207) была комедия А.Н. Островского “Бедная невеста”.

Таким образом, театр, превратившись в институт с функцией регуляции социального поведения и используя способность театральной сцены создавать знаки–символы, становится эффективным инструментом трансляции норм общения.

Можно предположить, что двойственность источников зарождения театра (от древних богослужений и народных сатирических песен,

высмеивающих богачей по ночам) заложило двойной подход и к постоянной – на все времена – борьбе реалистического и условного начала. Так уже в XIII в. в западноевропейской драматургии наблюдается, с одной стороны, стремление к детализированному и конкретному изображению быта, и с другой, – “аллегоризм, т.е. выработка условного языка намеков, символов и иносказаний, в терминах которого описывается окружающая действительность” [Виппер 1984, 529].

По-видимому, каждое из начал, и реалистическое, и условное, преследует общую цель: оба стремятся к отражению жизни, к воздействию на нее, но способы эти различаются уровнем абстракции предлагаемого зрелица. Кроме того, имеет значение и тот культурный контекст, в котором театр творит свое произведение: для одних деятелей представляет интерес фиксация и отработка образцов, созданных предшественниками, для других – поиск нового языка в искусстве. С.С. Мокульский отмечает, что, к примеру, Гольдони настаивал на следовании комедии верности “природе”, действительности, искал правдоподобия, а Гоцци, напротив, отвергал реализм и “боролся за право поэзии, фантазии и условности в театре, которых не признавал трезвый rationalист Гольдони” (цит. по [ИВЛ, т. 5, 1988, 181–182]). Еще одна важная причина поиска особого, “другого” языка в искусстве театра – необходимость говорить так, чтобы власти не имели прямого повода обвинить его в выпадах против существующих порядков.

Китайский театр конца XIII – начала XIV в. “был отражением трагического времени, суровые законы новых правителей, грозившие казнью за “клеветнические” сочинения, не позволяли прямо говорить правду о жизни страны. Традиция подсказывала обращение к историческим и фантастическим сюжетам...” [Сорокин 1985, 632]. Примеры, подобные этому, встречаются в течение всей истории театра. Находясь всегда под контролем власти, театр вынужден искать пути и способы выживания, и одним из этих способов стал так называемый “эзопов язык”, которым пользуются в той мере, которая диктуется имеющимися в обществе давлением правителей, властей.

Иногда уровень абстрактности идей, высказываемых в театре, подводит создателей спектакля к необходимости выразить их в “предмете–символе, значимом, обобщающем предмете, выбивающем из произведения плодотворную искру” [Барро 1979, 208]. Таким предметом может быть трон, как у Жана-Луи Барро в “Гамлете” или занавес, как у Ю.П. Любимова в той же пьесе. Предмет–символ зашифровывает наиболее важную для режиссера мысль, которую, как он надеется, сумеет расшифровать зритель, но не сможет “тупая” власть... Однако часто имеет место определенный период размытых форм в театре, когда найденное раньше становится тривиальностью, штампом. Деятели театра в такой ситуации обращаются к самой жизни, действительности, ища в ней недостающие театру жизненные силы. Тогда вся труппа идет в морской поход на военном корабле – у Таирова (перед постановкой

“Оптимистической трагедии” Вс. Вишневского), К.С. Станиславский ищет подлинные вещи на “блошиных” рынках в период создания спектакля “На дне” М. Горького и т.д.

Театр обладает ценностью, которой нет ни в одном другом искусстве: в нем действует живой актер сейчас, в этот миг на сцене. И это обстоятельство создает возможность “чуда”. Таким “чудом” было искусство М.Н. Ермоловой, которая “и не играла, а жила на сцене” [Щепкина-Куперник 1983, 126]. Этой же способностью обладали и некоторые другие актеры (Э. Дузе, М.С. Щепкин, В.Ф. Комиссаржевская и др.), но и менее великие соединяют своим мастерством эти два пространства, которые в театре всегда во взаимной борьбе и взаимообогащении “искусство” и “жизнь”.

В семиотическом плане борьба “искусства” и “жизни” может быть показана как стремление использовать знак, полностью отображающий моделируемый объект, не отличимый от заменяемого предмета, и как стремление демонстрировать со сцены в качестве знака, эстетически деформированный предмет, отличный от реальных объектов. Это специфическая проблема зрелищных видов искусства, тем более использующих живого человека в качестве эстетического знака: восприятие зрителя постоянно находится в дрейфе между стремлением, с одной стороны, видеть реальную жизнь в поведении актера, а, с другой, пытаться воспринимать его как эстетический знак, как условное, знаковое поведение.

Эта оппозиция не всегда достаточно далеко разводит “жизнь” и “искусство”, к примеру, “театр повседневности”, который описывает П. Пави, стремится “показать обычную повседневную жизнь поставленных в неблагоприятные условия слоев населения” [1991, 357]. Натуралистический подход в театральном искусстве так же неизбежен, как и язык условный – символа, знака. Театр подчас дарит такие “встречи” в одном времени, как реформаторскую деятельность Станиславского, ищущего в театре реализм, подлинность, правду, и – Мейерхольда, мечтающего “о преобразовании жизни искусством, мечту ставящего выше действительности” (цит. по [Рыбакова 1971, 135]). В. Брюсов вторит ему: “Дайте нам в театре художественную условность, и очень быстро все наше внимание обратится к тому, что составляет сущность всякого сценического представления: к идее исполняемой драмы” [там же, 137–138].

С появлением театра в обществе появилась возможность видеть себя, свои перемены, новые явления, новые человеческие типы как бы со стороны, что создавало более благоприятные условия для детализированного познания самого себя. Еще театр Древней Греции показывает образцы новых подходов к человеку, к его отношению с богами. Если “Софокл принимал мир таким, как он есть, твердо веря в его изначала заданный смысл”, то Еврипид “пытался коснуться каких-то заветных струн в сердцах окружающих его людей” [Гончарова 1984, 238], т.е.

предъявлял к человеку большие требования, через него стремясь совершенствовать общество. Разумеется, самые главные идеи человечество смогло выработать на заре своего существования – недаром литературоведы выделяют всего около полутора десятков основных сюжетов, в которых выражены эти идеи и отношения людей. Однако время, эпоха накладывали свой отпечаток на эти сюжеты, люди стремились увидеть объемно свое отражение: и на фоне вечных событий и тем, и в более близком, подробном “зеркале”. Все это давал театр. М. Гаспаров пишет о той эволюции, которая происходила с комедией в I в. до н.э. в Риме: она вынуждена была подделяться под вкусы простонародья и знати. После длительного неуспеха происходит “разрыв между литературой и театром: на одном полюсе остается риторическая “драма для чтения”..., на другом – полуимпровизированный фарс...” [1983, 430]. Таким образом, мы видим, что интерпретация, видоизменение целых жанров было не только продуктом деятельности “людей театра”, но и публики, которая принимала или отвергала эти произведения.

Вообще категория “времени” в проблеме театра как транслятора культуры очень важна и может быть использована в нескольких аспектах. Наиболее интересным из них является то, что театр может быть назван “машиной времени и пространства”, переносящей зрителя в ту или иную эпоху. Доказательств это не требует, стоит лишь вспомнить свои собственные ощущения, когда оказываешься то в средневековом замке, то в итальянской таверне, то в деревенской российской глухи начала XX в. Театр своими, только ему присущими средствами передает атмосферу определенного времени – через провоцирование гаммы чувств и ощущений, которые мы должны, по замыслу автора, испытать.

Иногда фиксация времени в пьесе определена и точна для одной страны, но будучи представлена в другой, показывает тот разрыв в историческом времени, который другими, нетеатральными средствами, передать трудно. “Гроза” Островского, поставленная во Франции, в XIX в. произвела там впечатление произведения не современного, а где-то XIV в. [Лакшин 1982, 392].

Некоторые художники театра умеют особенно остро чувствовать время и выражать его в своих спектаклях. К ним можно отнести К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

К.С. Станиславский в своей книге “Моя жизнь в искусстве” описывает многие события и повороты, которые совершал их театр, чутко улавливая “воздух эпохи”. Так, играя доктора Штокмана, он ощущал, насколько отвечал его герой сильному чувству протеста”, царящему в обществе. “Штокман протестует, Штокман говорит смело правду – и этого было достаточно, чтобы сделать из него политического героя” [1972, 287]. Так же и его соратник – Вл.И. Немирович-Данченко принимал “зависимость от времени, этой зависимости не обсуждая”, он “имел дар уловить, что нужно сегодня” [Соловьева 1979, 222–223].

В театре время неразрывно связано с пространством, более того – с его конкретизацией, что имеет прямое отношение к самому художественному образу спектакля. Его “решения”, эстетические ключи в одно время у одного театра, но в разных постановках могут быть различными.

В какой степени МХАТ был разнообразен и щедр в подаче конкретного материала в разных эстетических и художественных подходах, говорит такой пример. Одновременно шли постановки с тремя способами воплощения русской классики: “умиротворенный эстетизм” “Горя от ума”, резкий натурализм “Ревизора”, смутная… символика “Бориса Годунова” [Рудницкий 1990, 19].

Подчас время может сыграть с театром злую шутку. Руководствуясь подобострастным уважением к истории театра, некоторые художники стремятся повторить сценические приемы, а иногда и целые спектакли, пересадив их из “старого” времени в “новое”. Так, Старинный театр (Петербург, сезон 1911–1912 гг.) “открыл всем глаза на те противоречия, которые возникают между методом реставрации (научным) и свободой интуиции (без которой искусства нет), на неизбежные конфликты между тщательной и кропотливой музейностью… и свободой композиции” [там же, 24].

В наше время демонстрируют невозможность оживить и сделать явлением искусства, а не музея, некоторые спектакли МХАТ им. Горького под руководством Т. Дорониной, тщетно пытающейся “воскресить” гениальные постановки К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Время меняет все: исторический и культурный контекст, вкусы публики, манеру игры, стилистику спектакля и т.д.

История театра полна примеров, когда перемены касались широкого спектра средств, предпочитаемых режиссером в угоду именно так понимаемой им современности. Это и выбор между “бытом” и “стилем времени, эпохи”, между исторической достоверностью” и – красотой зрелища; между жизненностью” и “принципом игры, между “настроением” и захватом в эту орбиту публики, между отделением или слиянием пространств сцены и зрительного зала и т.п. [там же, 75–76].

Постановка пьес классического репертуара ставит перед режиссером и актерами 2 главные задачи: во-первых, вписаться в имеющийся у пьесы культурный шлейф, контекст, а, во-вторых, через известный всем текст сказать современникам что-то новое, существенное, при этом масштаб этого нового должен быть соизмерим с произведением автора пьесы. К примеру, А. Эфрос пишет о том, что “искусство начинается с момента, когда тебе кажется, что ты открыл нечто, о чем раньше недостаточно знали, читая, допустим, того же Гамлета”. Барро отмечает, что “Комеди Франсэз всегда отражала Францию данного момента. И у каждого была “некая идея” Дома Мольера. У каждого своя” [1979, 189].

А мхатовский спектакль спустя семьдесят пять лет оставался реальным соперником режиссера, а Смоктуновскийставил себя в ряд с

Москвиным, Добронравовым, Хмелевым” [Горфункель 1990, 132]. Французы, не видевшие Рашель, все же сравнивали с ней А. Коонен, игравшую на гастролях Федру, а некоторые критики писали, что после спектакля Камерного театра невозможно смотреть на мизансцены “Федры” в Комеди Франсэз” [Коонен 1985, 281]. Таким образом, иногда “чужие” интерпретаторы более талантливо осваивают национальные культурные ценности.

Бывает, что время, напротив, ставит все на свои места. Провалившаяся на премьере пьеса входит затем в мировой репертуар (“Чайка” Чехова, “Носорог” Ионеско и др.). Возможно, в этих случаях автор несколько опережает время: либо в постановке проблем, либо в избранном им художественном ключе. Но чаще всего первым постановщикам и актерам не удается найти подходящий для нового произведения подход, старые театральные средства входят в противоречие с новым (автора) мироощущением и миропониманием. Как Шекспир был по заслугам оценен лишь через столетие после смерти, так и слава А.Н. Островского, А.П. Чехова нарастала лишь со временем, осознавался их масштаб – благодаря новым постановщикам, которые использовали многозначность гениальных текстов для собственных художественных высказываний. Известно выражение Г.А. Товstonогова, что решение пьесы всегда рождается в зрительном зале, но проблема – услышать, что говорит зрительный зал. Режиссер, сам являясь членом общества, имеет возможность сначала почувствовать, а потом сформировать свою идею в художественном образе спектакля в соответствующей знаковой системе. В послевоенном Советском Союзе “появилось и на долго застряло слово “доброта”. Товstonогов услышал его одним из первых, уверенный, что ожесточенного страданиями войны и ненавистью человека вылечит вера в добрые начала мира и души” [Горфункель 1990, 28], именно поэтому появился князь Мышкин И. Смоктуновского в спектакле “Идиот” по роману Ф.М. Достоевского. Не последнюю роль в том успехе, который пришелся на долю этого спектакля, сыграл ответ театра на духовную потребность зрителей.

Задача, которая стоит перед людьми театра в отражении времени, предъявляет требования, которым трудно соответствовать. Помимо сугубо профессиональных есть и высокие требования к художественному интеллекту. Г.Л. Ермаш считает, что “способность анализировать и интерпретировать, сравнивать и выбирать главное, адекватное критериям эстетическим, нравственным, философским, способность к со-поставлению и сцеплениям отдельных фрагментарных впечатлений, способность связывать знания и опыт с лично воспринятым, с одной стороны, и воображаемым, с другой, отличает деятельный, энергичный, творческий интеллект художника” (1982, 70).

Поскольку эти способности достаточно редки, то продуктами деятельности многих режиссеров является “мертвый театр” (по выраже-

нию П. Брука). “Когда же во всем сплошная случайность или законы прошлого века или дурного вкуса – тогда хоть караул кричи” [Эфрос 1993, т. 1, 303].

Для уяснения механизма влияния театрального действия на зрителя аналитики исследуют феномен взаимодействия актера и зрителя, это активное взаимодействие, формы которого менялись в истории театра, но всегда существовали.

Функционирование театра как социального института дает основание для построения схемы, в которой театр обладает статусом субъекта, а зритель статусом объекта воздействия, но сама феноменология театра гораздо богаче этой схемы.

Поскольку театр функционирует с давних пор, казалось бы, можно предположить, что практически все человечество является в какой-то мере публикой в зрительном зале. Отчасти это верно, но не всегда: не во всех культурах достаточно развит институт театра, в истории известны периоды, когда театр был запрещен и т.д.

Можно утверждать, что важную роль в формировании сознания театр играл и играет. И “искусство зрителя” (по выражению Б. Брехта) прошло определенный путь в своем развитии.

Театр на первых шагах своего становления часто совмещал действующих лиц и публику, у них не было четких разграничений. Даже при постановках пьес великих авторов Древней Греции многие зрители реагировали еще слишком наивно.

Известно свидетельство Сенеки об одном из представлений пьесы Еврипида, когда зрители, возмущенные богохульством одного из персонажей, потребовали удалить актера со сцены и прекратить спектакль. Сам Еврипид вышел к зрителям и просил их просмотреть спектакль до конца, когда богохульник будет наказан [Гончарова 1984, 163].

На представлении первой русской пьесы, обращенной к царю Алексею Михайловичу, действующие лица объясняли и комментировали свои действия зрителям, стремясь наиболее адекватно донести до них смысл происходящего, свои мысли. [Лихачев ИВЛ, т. 4, 358]. Для создателей спектакля было важно быть понятыми, они еще мало использовали различные коды, которые впоследствии приобретут в театре широкое распространение, будут совершенствоваться и их поиск будет иметь большое значение для развития театральной культуры.

Довольно скоро все большие массы людей (особенно в Европе) видели тот глубокий смысл, ради которого стоит идти в театр. “Войдя в театр, испанский простолюдин, нищий ильярго, затравленный преследованиями... гуманист становились свободными. И не только на время, когда захваченный действием зритель стоял в коррале. Театр помогал сохранять достоинство, жить, бороться. Театр противостоял официальной церкви”, ей “противодействовала гуманистическая мораль: и люди мечтали, любили, согласно ее принципам, стремились жить согласно Лопе и Тирсо, а не по Лойоле, Павлу 4 и Филиппу 2” [Балашов 1985, 372].

Все же самый активный партнер по общению в театре – актер. Его искусство, магия его поведения, его умение создавать ауру нового для обыденной жизни явления “актер-зритель” – об этом написаны самые трепетные и яркие страницы воспоминаний актеров. “Когда тысяча сердец бьются в такт, и мое сердце бьется в такт с ними... когда мы со-ставляем единое целое, я могу сказать, что познаю любовь между людьми... И мне порой хочется продлить это мгновение, я молчу, пе-рестаю дышать, мы все еще не дышим и, замерев, трепещем... Мы сно-ва обретаем ту единственную в своем роде тишину, эту тишину в д и ж е н и и, которая одна может создать физическое ощущение на-стоящего” [Барро 1979, 124].

Об этом же необыкновенном слиянии душ актера и зрителей пи-шет Т. Щепкина-Куперник: “Словно “я” каждого человека временно вытеснялось игрой Марии Николаевны (Ермоловой), словно каждый переставал ощущать себя и испытывал огромную радость от соприкос-новения с творческим вдохновением артистки” [1983, 61].

Широко известен феномен признаний зрителей, когда они поража-лись проницательности создателей спектакля, удивлялись, откуда они знают эту “их правду”, где они это видели [Лакшин 1982, 355]. При этом не имеет значения факт культурно-временной отнесенности: за роль Эммы в “Госпоже Бовари” благодарит А. Коонен простая русская женщина, удивляясь, как точно “про нее” сыграла артистка.

Проблема взаимоотношений со зрителем в театре осознается ост-ро и решается его деятелями по-разному. Так, вслед за Блоком и Хлеб-никовым, Маяковский обращался к фольклору, стремясь “опереться на выработанный народом давний художественный опыт, дабы говорить с публикой на равных, найти общий с ней язык” [Рудницкий 1990, 263]. Но не все художники активно ищут контакта с публикой, идя ей на-встречу. Многие видят свою задачу в другом: “Художник раз и навсег-да подчинялся зову своей мечты, своему поэтическому миру. Он рож-дал свое произведение. А дальше будь что будет” [Барро 1979, 220]. Та-кая позиция очень распространена среди художников театра и вполне естественна. Осознавать свою зависимость от зрителя непросто. И.Н. Соловьева пишет, какими сложными путями шло становление ис-кусства переживания мхатовцами, ведь “зал может все разрушить, да-же не заметив, что разрушает... Унизительно убеждаться, как твое ис-кусство зависимо от потребления: зашевелились... дали почувствовать, что скучно, – и спектакль станет... отnekиваться от самого себя в про-говорах или в форсировке...” [1979, 224]. Часто и актеры “грешат”: “подают” выигрышные места, плохо работают с партнером по сцене и т.д. – и все это для так понимаемого ими успеха у публики, тем самым ее развращая, приучая к плохому вкусу, слишком простым и поверхно-стным кодам восприятия спектакля.

Известны, правда, нечастые случаи, когда совместными усилиями театра и зрителей рождается яркий праздник. Так, на гастролях Камер-

ного театра в Вене, колыбели оперетты на спектакле “Жирофле–Жирофля” были “энтузиазм и волнение”, споры, разговоры о спектаклях переносились из театра на улицу... Пробиться после спектакля через толпу, которая заполняла площадь перед театром, было невозможно” [Коонен 1985, 303]. Интерес был подогрет необычной ситуацией: оперетту играли драматические актеры, а зритель считал себя знатоком этого жанра, что влияло на уровень пристрастных суждений и оценок.

Вообще определенная подготовленность зрителя к восприятию представленного ему зрелища есть необходимое условие высокой эффективности этого процесса. У будущего режиссера молодого А. Эфроса было такое впечатление от нового спектакля театра на Таганке “Добрый человек из Сезуана” Б. Брехта: “Искусство должно воспитывать людей. Так вот, “Добрый человек...” меня воспитывал. Он заставлял меня думать, он заставлял меня умнеть в процессе самого спектакля, он расширял мои знания в искусстве, заражал меня своей любовью к правде и ненавистью ко лжи, он приучал меня к всесторонней оценке сложных фактов, звал меня к добру и справедливости” [кн. 1, 1993, 158].

Разумеется, в данном случае это необычный зритель, здесь имеет место система “театр – будущий театр” а не “театр – зритель”, но и среди будущих инженеров, учителей, домохозяек и т.д. – вполне вероятны подобные реакции на потрясший их спектакль.

Проблема театра как транслятора культуры и зрительская позиция еще требует своей разработки и исследования: очень много еще вопросов. П. Пави считает, что “механизмы, управляющие динамикой группы зрителей на художественном представлении, мало исследованы” [1991, 40]. Но вся история театра полна свидетельств изменения индивидуального сознания зрителя, что неизбежно ведет к изменению группового сознания.

Функционирование театра как общественного института отлично от жизни других общественных институтов и эта специфика в первую очередь обусловлена тем, что театр как вид искусства, во-первых, не поддается тотальной регламентации – творец нуждается в определенной свободе, а, во-вторых, осуществляется людьми, обладающими способностями, развитыми до высшей степени, вплоть до талантливости и гениальности.

Успешность привлечения таких людей в театр напрямую определяет эффективность его функционирования. Более того, театр является достаточно сложным организмом, который требует оптимального сочетания талантливых людей во всех видах театральной деятельности.

Таким образом, театр, хотя и является “функциональным органом” общества, живущим в обществе и для общества, будучи важнейшим транслятором культуры, существует и по своим имманентным, внутренним законам.

Театр является сложной системой, объединяющей достаточно разнородные деятельности драматурга, режиссера, художника, актера, и

поэтому он подвержен сбоям из-за некомпенсируемых дефектов в их действиях.

Вероятно, основной переменной среди детерминант деятельности театра, которая не позволяет обществу жестко его контролировать, является свобода автора пьесы и режиссера в выборе пропагандируемых идей и ценностей.

Премьерный провал некоторых спектаклей, которые позднее становились шедеврами, среди прочих причин вызван часто тем, что общество и сам театр, еще не были готовы к восприятию идей и театральных форм, которые пытались донести авторы пьес. И механизм театральной трансляции культуры давал сбои.

Функции театра как транслятора культуры на разных этапах его развития допускали вариативность и зависели от многих как объективных обстоятельств (социальная ситуация, степень востребованности театра обществом, хотя бы минимальные условия для его функционирования и т.д.), так и от субъективных (способности, талант, умение реализовать себя, организационные возможности людей театра). Портрет “человека театра” может быть составлен, в основном, применительно к определенному историко-культурному периоду, к тем требованиям, которые складывались в данном конкретном обществе. Даже профессиональный диапазон – с современной точки зрения, – различен: если на первых порах “человек театра” совмещал в себе и драматурга, и актера, и режиссера, и художника, и т.д., то в дальнейшем проходила спецификация этих видов деятельности.

Как и другие общественные институты при своем создании театр формировал свое собственное “пространство”, вырабатывал свои законы, правила, свою этику, веру, свои способы существования. Для деятелей театра было свойственно абсолютизировать свое видение мира: под словами Шекспира “Весь мир – театр, и люди в нем – актеры” могли бы подписать многие из них. Но и общество использовало такую модель как объяснительный принцип, для осознания себя, для выработки новых путей, ведущих к лучшей жизни, к совершенствованию человека. Не имея возможности здесь подробно описать портрет “человека театра”, отметим лишь несколько его составляющих, которые имеют непосредственное отношение к проблеме театра как транслятора культуры. Такой обязательной, на наш взгляд, составляющей является осознание деятелями театра ответственности за его становление, развитие, продолжение во времени и т.д.

К примеру, молодая русская культура в лице Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова стремилась к утверждению широко понятых ими национальных интересов, а для этого они использовали пример Петра I, его потомков, они призывали “следовать его образцу”. Несколько иначе видел свою роль Сумароков, воодушевленный “прежде всего задачей интеллектуального, морального и эстетического воспитания русского дворянства” (подробнее см. [Писарев, Фридлендер 1988,

372]). Помимо сказанного следует напомнить, что для этого периода русской культуры первоочередной задачей стало основание и утверждение национальной литературы и театра – в противовес существующим французским, немецким и итальянским труппам, книгам и пр. Культурная эстафета была впоследствии продолжена А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем, Ф.М. Достоевским, А.П. Чеховым. Русская драматургия стала неотъемлемой частью мирового театра.

Русский театр также задал образцы и в актерском творчестве. Имена М.А. Ермоловой, В.Ф. Комиссаржевской стали синонимами высокого мастерства, подлинных духовных ценностей. “Люди шли в театр не для того, чтобы убить вечер, а для того, чтобы впитать в себя впечатления прекрасного, чтобы прикоснуться к идеалам свободы и правды, и уходили из театра… зажженные тем духом справедливости, который она вызывала всегда”, пишет о М.Н. Ермоловой Щепкина-Куперник [1983, 80]. Великие актеры обладают возможностями, недоступными для других, даже талантливых исполнителей. Так, по свидетельству современников, Комиссаржевская “обладала даром воплотить отвлеченность мысли… всегда находила момент, когда мгновение останавливалось. Останавливался… и зритель, и все увиденное вдруг обретало новый смысл” [Рыбакова 1971, 110–111]. Таким образом, в театре происходит соединение идей, мыслей художников театра с идеями близкими для зрителей – но не в абстракции, а в чувственной форме, через образ, в процесс этот включены и сильнейшие эмоции с обеих сторон. Наиболее отчетливо такое явление можно увидеть при объединении талантов драматурга, режиссера и актеров. Эта проблема особенно остро стоит при постановке современной пьесы. Так, отдельные театры работают с авторами, вырабатывая единую точку зрения: МХТ и М. Булгаков, А. Эфрос и Э. Радзинский, Г. Товstonогов и А. Володин, В. Шукшин, О. Ефремов и М. Рощин, М. Шатров и др.). Е. Горфункель пишет о том, как “важно, что новая драматургия по своим признакам без труда совмещалась с той театральной школой, которой принадлежали Товstonогов и его актеры” [1994, 245]. Только в таком объединении сил могут состояться открытия не только эстетические, но и общественные, социальные. “Режиссер окончательно обретает свое лицо, только если ему посчастливится открыть “своего” писателя” – считает Ж.-Л. Барро [1979, 218].

Бывают, напротив, драматические ситуации, когда, по мнению людей театра, – драматург выбирает иной путь: мхатовцы расстаются с А.М. Горьким, соглашаясь “его потерять, лишь бы не принять то, что для них было искушением жизни, лишь бы не принять тенденциозности, которая сначала обесцвечивает, а потом все прокрашивает собой” [Соловьева 1979, 203].

Важную роль играют и другие – через времена, эпохи, культуры – связи людей театра. Так, Ж.-Л. Барро пишет о своем тяготении к театру средневековой Японии. Но и об обогащении современного японско-

го театра, впечатлениями его деятелей от французских спектаклей, нахождением синтетического подхода к традиционным и новым формам.

Алиса Коонен вспоминала, как “театральные люди” Германии не просто выражали свое восхищение Камерным театром. С немецкой основательностью они серьезно и глубоко изучали режиссуру Таирова, актерское исполнение, принципы художественного оформления...” [1985, 287]. Стало уже привычным, что постепенно, начиная с XVI–XVII в. и особенно в XX в. мировой театр не мыслит себя вне обмена, взаимообогащения национальными культурами, театральными открытиями, подчас объединением в общий эксперимент (театр П. Брука).

Невозможно говорить о людях театра без того, чтобы не подчеркнуть такое качество их поведения, как энтузиазм. Действительно, абсолютно все источники свидетельств о жизни и творчестве великих театральных деятелей подчеркивают это свойство. Ж.-Л. Барро приводит слова Тейяра де Шардена: “Для энтузиастов жизнь есть восхождение, открытие. Им интересно не только жить, но и расширить рамки своего бытия... Над энтузиастами можно потешаться, считать их наивными... Но ведь это они сделали нас, они готовят мир завтрашнего дня” [1979, 310].

Очень редко так складываются обстоятельства и совместные усилия людей театра, что он – театр – становится важным явлением жизни для нескольких поколений людей (еще реже – продлевает свою жизнь в веках). К таким редким явлениям можно отнести театр Эсхила, Шекспировский “Глобус”, театр Мольера, Московский Художественный театр.

Далеко не всегда в театре долго длится это ощущение душевного подъема. Скорее, напротив. Еще на рубеже XVI–XVII вв. в Англии разгорелась “война театров”. “Борьба в целом была за пересмотр принципов, на которых до этого строился английский театр и его драматургия” [Самарин ИВЛ, т. 3, 1985, 312]. Среди людей театра есть группа, функция которой формировать “самосознание” театра: определять задачи театра, его место в жизни общества.

Театральная критика, несмотря на внешнюю экзотичность ее задач, есть обязательный элемент института театра в обществе. Эта обязательность вытекает из принципиальной новационности конечного продукта – спектакля – нуждающегося поэтому в интерпретации его критиками.

Появившись, хотя и не сразу, у древних предшественников театра, речь на сцене постепенно завоевывала лидирующие позиции. В театральных кодах язык сам состоит из множества кодов, которые сообщают информацию об эстетической ориентации автора и режиссера, о принадлежности их к одной из художественных систем (реализм, романтизм, абсурд и т.д.), о выборе между “театром представления, или “театром переживания”, о социальном статусе персонажа, о его характерологических свойствах, об индивидуальности артиста и т.д.

Театру во все времена было важно ориентироваться самому и ориентировать зрителя в той речевой норме, которая получала поддержку общества. Отталкивание происходило, разумеется, от предыдущих образцов. Так, Еврипид настаивал на свободе “и в языке, не стесняясь простых, даже простонародных выражений, что казалось приверженцам старинных норм в театральном искусстве вульгарным и недостойным высокой жизни” [Гончарова 1984, 50].

Критерии “высокого” и “низкого” вырабатываются в каждой речевой культуре, литературе применительно для данного, настоящего времени с учетом предыдущего опыта. И здесь большое значение имеет талант творцов, т.к. им важно не только скорректировать подходы к искусству своих предшественников, но и доказать право на положительную оценку своих произведений, а для этого они должны обладать разнообразными достоинствами (быть яркими, своеобразными, гармоничными и т.д.).

Иногда автор не может обойтись без привлечения новых литературных приемов, чтобы достичь собственных целей. Так Плавт, отталкиваясь от произведений Менандра, не включает в свои пьесы философские сентенции, а использует “остроты, каламбуры, пародии, алогизмы, недоразумения, нарушение сценической иллюзии – все, что возбуждает смех... Новоаттическая комедия утрачивает изящество и глубину, но приобретает буйную жизнерадостность и оптимизм” [Гаспаров 1983, 425].

Таким образом, театр вводит новые языковые приемы, провоцируя психологическую реакцию на них.

Разумеется, необходимо было учитывать и адресность театральных “посланий”, от этого очень многое зависело. К примеру, если ранние цаццюй и “южные драмы” (Китай, вторая половина XV в.) были достаточно близки к разговорной речи, т.к. обращались к широкой аудитории, то чуаньцы изменяли свою речевую форму, в ней появлялись велеречивые опусы, “прославлялись официально одобренные добродетели”, т.к. аудитория была более узкой [Сорокин 1985, 638].

Доминирующие идеи в обществе всегда находят в литературе и театре свое выражение и воплощение. Так, игра М.С. Щепкина в пьесах Н.В. Гоголя, А.В. Сухово-Кобылина, И.С. Тургенева взвывала к гуманистическим идеям любви, внимания к “маленькому человеку”, к его праву быть. Немаловажную роль здесь играла и правдивая, узнаваемая “жизненная” манера речи великого артиста.

В русской театральной культуре А.Н. Островский по праву занимает место одного из тех немногих драматургов, кто предъявил, оформил, развил и зафиксировал речь своих современников, поднял ее на высоту настоящей поэзии. Как пишет В. Лакшин, Островский не только подбирает “одно самородное слово к другому. Он одарен высшим даром – слышать живую речь, безошибочно угадывать и сгущать ее характерность” [1982, 95].

Театр способен и во времени передать найденное предыдущими художниками, но для этого последующие творцы должны быть чуткими и способными выявить ценности, оставленные их предшественниками. В большой мере такой чуткостью к авторам обладал А.Я. Таиров. Так, ставя "Грозу" А.Н. Островского, он настолько глубоко и ярко слышал ритмы и мелодику речи персонажей, что, по словам А.Г. Коонен, был почти готов положить ее на музыку ("если бы я был композитором", – говорил он) [1985, 236].

Такому проникновению в речевую ткань драматургического текста иногда не мешает даже постановка пьесы не на языке оригинала. Так, при восприятии русскоязычной аудиторией пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад" в постановке П. Брука было полное ощущение, что актеры играют русских людей, хотя они и говорили по-английски.

Однако все-таки существенное значение имеет отсутствие языкового барьера в театре. Так театральные коды функционируют в наиболее благоприятных условиях. Насколько заинтересованы деятели определенной национальной культуры в распространении своего языка, говорят слова Ж.-Л. Барро: "По-моему, Франция должна предоставлять двойное подданство людям всех стран, выбравших наш язык. Думать на одном языке – не значит ли это разделять чувства? Быть движимыми одной душой?" [1979, 287].

Сценическая речь, которая должна быть образцом, к сожалению, иногда теряет такую функцию в случаях, когда конкретный артист обладает плохой техникой, либо недостаточно внимательно и талантливо создает звуковой образ своего персонажа. Речевые штампы, неблагозвучие, плохое сохранение русской мелодики, недостатки внесении "перспективы" речи и многое другое – относит З.В. Савкова к дефектам современной сценической речи. Вина за это лежит и на актерах, и на режиссерах, которые иногда, в погоне за ложными понятиями "открытиями", сознательно игнорируют тот факт, что сценическая речь – есть речь специальная, художественная, имеющая функцию нормативного образца. Привлекательность театра как эффективного инструмента формирования сознания подталкивает общество к расширению сферы его функционирования. Объектом сценического воздействия могут быть не только зрители. Театральные работники по опыту работы с актерами знают, насколько успешными для формирования сознания могут быть психотехники, используемые актером в работе над ролью.

Получив текст роли, актер знакомится только с письменной фиксацией реплик своего героя, все остальные представления о характере героя, о предполагаемых жизненных обстоятельствах, в которых он будет жить на сцене, о мотивах его поступков актер вместе с режиссером создает сам, используя для этого образы своего сознания и сознания режиссера, которые затем превращаются в игру актера на сцене.

Подчеркнем эту мысль: актер в процессе работы над ролью опирается на собственное сознание для построения новых образов – предста-

влений о своем герое: все новое, что создает актер и что он пытается донести до зрителя со сцены – это рекомбинация его старых образов, но в новом и необычном, по крайней мере для самого актера, сочетании (плюс новые образы, сформированные во время работы над ролью). На это можно возразить, что создание новых образов сознания возможно только в виде рекомбинации старых – это обычный механизм работы сознания. Да, это верно, принцип работы сознания актера такой же, как и у всех людей, но работа эта отличается необыкновенной интенсивностью, рефлексией, глубиной и яркостью эмоциональных переживаний и т.п., а главное – наличием специальных психотехник, которые и составляют специфику профессии лицедея.

Подобная профессиональная интенсивная работа сознания ставит актера в один ряд с такими творцами – создателями новых миров сознания, как писатели, философы и конструкторы новых машин.

Чтобы быть писателем, философом, конструктором, необходим и талант, и специальная подготовка. Профессия актера создает иллюзию возможности для каждого человека быть актером. Эта иллюзия – как мы покажем ниже, очень полезная иллюзия – поддерживается кажущейся простотой и доступностью актерской деятельности: нужно научиться действовать на сцене, хотя и под пристальным и пристрастным вниманием зрителей – а это первое, но фундаментальное отличие сценического поведения от поведения обыденного – как в обычной, привычной для каждого человека жизни.

Иллюзия простоты актерской деятельности с позиции профана снимает объективные препятствия для входления в новую деятельность, обычно существующие у любого неофита и сравнительно легко привлекает в любительский театр новых актеров-любителей.

Дальше наше изложение будет касаться работы актеров-любителей в непрофессиональном театре, который используется в первую очередь не для формирования сознания у будущих зрителей, хотя и такая задача стоит перед этим театром, а для формирования сознания актеров-любителей.

Любительский театр как объект анализа для вскрытия механизма воспитания актера заслуживает предпочтения перед профессиональным театром, т.к. процессы формирования сознания у актера-любителя проходят рельефнее и четче: воспитание профессионального актера проходит вначале вне профессионального театра в учебном заведении и только затем в постановочном процессе непосредственно в театре.

Формирование актера любительского театра сосредоточено все целиком в любительском театре.

Начнем анализ подготовки актера-любителя с рассмотрения некоторых требований к его профессиональным качествам.

Вероятно, на первое место следует поставить формирование развитого мировоззрения, которое предполагает наличие идеалов, убеждений, ценностных ориентаций, достаточно отрефлексированный

взгляд на мир, общество и свое место в нем – все это образует смысловые рамки для взаимодействия актера и режиссера.

Развитое мировоззрение за пределами театра возникает как результат жизнедеятельности, полученного образования и активной жизненной позиции. Поэтому для актеров-любителей, среди которых сравнительно много молодежи, развитое мировоззрение может рассматриваться как одна из целей формирования их личности, как основа для построения специальных профессиональных способностей.

Очевидно, что собственный жизненный опыт актера-любителя, результатом которого является содержание образов его сознания, недостаточен для понимания пьес, поэтому актер использует косвенный опыт, получаемый им при восприятии произведений художественной литературы, живописи, музыки, театральных спектаклей. К получению косвенного опыта можно отнести и специальное знакомство с образцами реального поведения, которое предстоит играть на сцене: известны случаи, когда актеры осваивали незнакомые им ранее виды профессиональной деятельности, знакомились с новыми условиями жизни и т.д.

Приобретение косвенного жизненного опыта создает основу для формирования способностей у актеров создавать видения, в первую очередь зрительные и слуховые ощущения и представления, расширяет возможности для создания “жизни человеческого духа” на сцене, что по К.С. Станиславскому, является целью искусства театра.

Известно, что любой такой объект смыслового восприятия понимается за счет знаний, которые читатель черпает из своей памяти, очевидно, что “простой” читатель, режиссер, театральный критик, актер понимают один и тот же текст по-разному, привлекая для его постижения несовпадающие знания, которые диктуются профессиональной установкой.

Эти установки целесообразно назвать позициями: позиция режиссера, театрального критика, простого читателя, актера. (В частности, при подготовке чтецами литературного произведения к исполнению со сцены используется способ передачи этого произведения с разных позиций, это позволяет не столько уяснить его содержание, сколько понять разные смыслы, которые оно может приобретать у разных людей).

Специфика позиции актера, формирующего совместно с режиссером общую концепцию будущего спектакля на основе определенным образом понятого ими текста пьесы, состоит в том, чтобы роль вписалась в эту концепцию и работала на целостный образ спектакля. Таким образом, актеру должна быть свойственна не только способность рефлексировать над возможными осмыслинениями пьесы, но и способность к интеллектуальному и образному видению своего (по роли) места в коллективном художественном пространстве.

Такими способностями обладают не только актеры, но и другие профессионалы театра, но для актера (и профессионала, и любителя) они обязательны.

Для понимания механизма театральной психотехники следует иметь в виду, что текст пьесы функционирует в двух процессах: в производстве и в восприятии текста. При восприятии текста с позиции, например, автора, режиссера, актера понять смысл – это значит ответить для себя на вопрос, что значит для меня эта пьеса, какое место в моей жизни займет ее содержание, на какие болевые точки в современной жизни может она указать, каким образом воздействовать на зрителя и т.д.

При создании пьесы автор хочет привлечь внимание к некоторой проблеме, а может быть и предложить ее решение, режиссер и актер, соглашаясь, чаще всего, с автором, дополняют его идеи, насыщая их современным для общества содержанием, конкретным образным решением, облекая эти идеи в свою знаковую систему.

Очевидно, что текст пьесы в театре может осмысляться режиссером, актером по-разному в зависимости... от тех целей, которые они преследуют ее постановкой. В этом нет ничего удивительного – участие любого текста быть осмысливаемым несовпадающим образом, но текст пьесы дает наибольшую свободу для неидентичных интерпретаций, т.к. он ничего не содержит кроме реплик героев и немногочисленных ремарок автора.

Очевидно, что зритель обладает гораздо меньшей свободой осмысливания, т.к. он воспринимает уже и игру актеров, имеющих определенные характеры, пластику, грим, прически, носящих костюмы, живущих в интерьере конкретной эпохи, находящихся в некоторых отношениях друг к другу, и это все делает содержание пьесы более однозначным.

Можно полагать, что умение осмысливать текст пьесы с разных позиций и играть роль на сцене, учитывая позицию зрителей, в первую очередь, относится к важнейшему профессиональному оснащению актера.

Вернемся к позиции актера. Особенностью позиции актера можно считать и личную причастность к событиям и фактам, отраженным в пьесе. Путь к овладению способом подготовки роли лежит через сознательное формирование умений и навыков такой подготовки, опирающейся на знания, формируемые актером под руководством режиссера. Результатом пути является перевоплощение актера в образ, где сознательное и подсознательное действуют воедино. При подготовке роли актер-любитель (как и профессионал) использует умения и навыки определенного уровня сформированности, что зависит от его способностей и задатков и от опыта актерской деятельности. Структура этих способностей уже содержит в себе возможности и границы их формирования в виде различных вариантов речевых и пластических навыков, которые в своей совокупности образуют индивидуальность конкретного исполнителя. Актер-любитель при подготовке своей роли под руководством режиссера, владеющего, например, методами "школы К.С. Станиславского", формирует многие психотехнические умения и навыки. Главное и, на наш взгляд, очень ценное состоит в том, что он постигает представление о человеке во всем многообразии его свойств и особенностей. В человеке все

взаимосвязано: его внутренний мир отражается в его манере, внешнем виде, и – напротив, определенные внешние данные коррелируют с некоторыми чертами его характера. Справедливое суждение о том, что человек подобен вселенной, так он бесконечен в своих проявлениях – находит у актера-любителя постоянное и чувственно зримое подтверждение.

Чтобы овладеть азами актерской техники, актер-любитель тренирует и воспитывает внимание, воображение, все виды памяти (в первую очередь, эмоциональную), волю, учится освобождению мышц, осваивает “публичное одиночество” на сцене, подлинное органическое общение (в театре оно подразделяется на прямое общение с партнером, с собой, опосредованное – со зрителями). Такие приемы, как “если бы”, “предлагаемые обстоятельства” помогают актеру, отталкиваясь от своего собственного жизненного опыта, прийти к созданию нового мировидения и мироощущения, которое требуется для данной роли, тем самым проложить путь для перевоплощения в образ (от внутреннего – к внешнему). Представления о “сверхзадаче” и “сквозном действии” развиваются в актере-любителе понимание значимости мотивации поступков героя, структуре его поведения, жизненном пути, который проходит персонаж в пьесе. Все сказанное и многое другое, о чем мы не можем сказать здесь подробно, например, о методах подготовки роли, свидетельствует о том, что любительский театр развивает сознание и физические (пластические, мимические и пр.) способности актера-любителя, формирует рефлексию и эмпатию, служит школой чувств и эмоций, развивает представление о нравственных критериях и т.п.

Если очевидно, что навыки актерской деятельности успешнее всего формируются именно в ходе совершения этой деятельности, т.е. в ходе осмыслиения, воплощения и исполнения роли в репетиционном процессе и спектакле, следовало бы уточнить, что именно является средством трансляции навыков актерской деятельности.

Так как игра актера на сцене относится к той человеческой активности, которая называется общением, то средствами трансляции навыков актерской деятельности являются образцы актерской игры, образцы реального поведения людей, показы режиссера и, естественно, его тексты, т.е. его разъяснения, толкования, видения и т.п., а также тексты театральных педагогов, как устные, так и письменные.

Для того, чтобы актеру суметь сыграть конкретную роль, т.е. осуществить на сцене определенное внешнее поведение персонажа, он должен в своем сознании при помощи автора пьесы, режиссера, своего жизненного опыта, наконец, создать психический образ своей роли и ориентироваться на него в репетиционном процессе, постоянно его корректируя и уточняя.

Резюмируя, можно сказать, что в театре, транслирующем не способность к деятельности, а способность к общению, таким транслятором являются образцы поведения людей конкретного общества и времени, которые воспроизводятся (играются, создаются, творятся и т.п.) на сцене.

Теперь мы подошли к той точке нашего изложения, когда мы можем предельно абстрактно показать механизм обучения актера при постановке конкретного спектакля, который условно разбивается на два этапа: сначала в сознании актера создается психический образ роли, а затем актер воплощает его во внешнем поведении на сцене в соответствии с этим образом. Легко увидеть, что этот механизм овладения актером ролью и воплощения ее на сцене есть механизм трансляции образцов общения, т.к. зрители пройдут аналогичный путь "присвоения" образца общения, который актер прошел ранее в ходе подготовки спектакля: сначала актер совместно с режиссером формирует образ и поведение своего героя, затем в динамике проживает/представляет его на сцене, играя роль в спектакле, потом зритель, увидев героев спектакля, переживает, осмысливает их образы и поведение, берет необходимое для себя (в соответствии с поведением героев или в контрасте), переносит затем переработанные образы на свое поведение, корректируя свое я.

Эта абстрактная схема живет только в сознании аналитика, в театре эта схема спрятана в повседневной профессиональной деятельности актеров и режиссера и укладывается в следующую схему подготовки роли:

- первое знакомство с текстом пьесы, с текстом роли, в результате этого знакомства создается пока интуитивное видение спектакля и себя в роли,
- период анализа, осмысления, познавания, приводящий к внутреннему "сближению" актера с ролью,
- период "переживания", эмоциональных проб, поиск "жизни человеческого тела" (по Станиславскому),
- период воплощения роли на сцене во время репетиций, отбор внешних "приспособлений", красок, черт характера, уточнение мизансцен и т.п.,
- премьерный спектакль (встреча со зрителем, проверка и уточнение рисунка роли при обязательной и необходимой доле импровизации).

Проблема "театр как транслятор культуры" оказалась в процессе ее анализа гораздо сложнее, чем это казалось вначале. Не все аспекты проблемы удалось раскрыть в равной степени: до сих пор эта проблема в теории не только недостаточно изучена, но и не в полной мере отрефлексирована, поэтому пока отсутствуют предварительные аналитические разработки.

Нашу попытку анализа проблемы театра как транслятора культуры следует рассматривать как формирование подхода к решению проблемы.

Л и т е р а т у р а

- Балашов Н.И.* Испанская литература. Лопе де Вега // История Всемирной литературы (далее – ИВЛ). Т. 3. М., 1985.
- Барро Ж.–Л.* Воспоминания для будущего. М., 1979.
- Виннер Ю.Б.* Драматургия // ИВЛ. Т. 2, М., 1984.
- Гаспаров М.Л.* Этапы развития ранней римской литературы // ИВЛ. Т. 1. М., 1983.

- Гончарова Т.В. Европид. М., 1984.
- Горфункель Е.И. Смоктуновский. М., 1990.
- Грандель Фр. Бомарше. М., 1979.
- Ермаш Г.Л. Искусство как мышление. М., 1982.
- Коростовцев М. Л. Литература Древнего Египта. Театр // ИВЛ. Т. 1. М., 1983.
- Коонен А.Г. Страницы жизни. М., 1985.
- Коттрелл Дж. Лоренс Оливье. М., 1985.
- Лакшин В.Я. А.Н. Островский. М., 1982.
- Лихачев Д.С. Русская литература. Становление театра // ИВЛ. Т. 4. М., 1987.
- Обломьевский Д.Д. Французская литература. Мольер // ИВЛ. Т. 4. М., 1987.
- Пави П. Словарь театра. М., 1991.
- Пигарев К.В., Фридлендер Г.М. Русская литература. Сумароков // ИВЛ. Т. 5. М., 1988.
- Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство. 1908–1917. М., 1990.
- Рыбакова Ю.П. В.Ф. Комиссаржевская. М., 1971.
- Савкова З.В. О культуре современной сценической речи // Русское сценическое произношение. М., 1986.
- Самарин Р.М. Английская литература 16 в. Драматургия // ИВЛ. Т. 3. М., 1985.
- Соловьева И.Н. Немирович-Данченко. М., 1979.
- Сорокин В.Ф. Китайская литература. Драма // ИВЛ. Т. 3. М., 1985.
- Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1972.
- Тураев С.В. Немецкая литература. Шиллер в 1788–1800 гг. // ИВЛ. Т. 5. М., 1988.
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
- Хлодовский Р.И. Итальянская литература. Карло Гоцци // ИВЛ. Т. 5. М., 1988.
- Щепкина-Куперник Т.Л. Ермолова. М., 1983.
- Эфрос А.В. Кн. 1–4. М., 1993.
- Ярхо В.Н. Древняя аттическая комедия // ИВЛ. Т. 1. М., 1983.

Л.А. Софронова

(Россия)

ТИП СЛОВА В РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ТЕАТРЕ ЭПОХИ БАРОККО

Между языком и культурой происходит тесное взаимодействие, они “имеют большую зону пересечения в силу того, что язык является одним из важнейших способов объективации, экстерриоризации культуры, выполняет в ней существеннейшую эстетическую функцию”¹. Рассмотрим, как выглядит это пересечение в русском и украинском театре эпохи барокко.

Театр – это искусство синтеза. Он собирает на сцене различные виды искусств в их непосредственном виде, как например, слово или танец. Искусства появляются на сцене и в виде знаков самих себя, как архитектура или живопись. На роль доминанты в различных театрах выдвигается то музыка, то сценическое движение, то другие элементы театрального представления. В русском и украинском театре эпохи барокко такой доминантой было слово. Этот театр свою сверхзадачу доверял не сценическому движению, жесту, или изображению, а слову.

Театральное слово – это особое слово. Оно выступает в отличном от жизни и литературы контексте, это – слово представления, игры. Его коммуникативная и эстетическая функции неразрывны. Оно связывает между собой участников действия, сцепляет звенья сюжета и одновременно является словом эстетическим, не только как слово литературное, но и как слово сыгранное.

Театральное слово раскрывает одну из сторон природы всякого слова, которое А.А. Потебня прозорливо сравнил “с игрою, забавою”². Показав внутреннюю связь поэзии и прозы с природой слова, он не коснулся связи с ним театра, где слово, “игра и забава”, находит свое полное воплощение.

М.М. Бахтин всякое слово называл сценарием некоего события. В нем, как он писал, заложено сложное соотношение говорящего и слушающего как между собой, так и с объектом, о котором идет речь. Слово “возникает из внесловесной жизненной ситуации и сохраняет самую тесную связь с ней”³. Эта внесловесная ситуация, переложенная на язык сцены – органическая часть художественного целого, спектакля, потому слово и внесловесная ситуация (действие) в театре постоянно поддерживают и питают друг друга.

Здесь слово созидает (наравне с действием, изображением, музыкой) тип культуры, самостоятельный культурный феномен, приобретая особые свойства.

Театральное слово неотделимо от действия, оно само есть действие. Оно сходно с ним по функциям, особенно если выступает главным средством создания сценического образа. Соотношение слова и события, взаимодействие участников сообщения в театре разворачивается во времени и пространстве. Театральное слово поддерживает визуальный ряд спектакля, непосредственно связано с ним, и само нацелено на зрелищность. Театральное слово вступает во взаимодействие с музыкой и сценическим движением и другими элементами спектакля, что коренным образом меняет его природу по сравнению со словом литературным. Оно, будучи произнесенным или сыгранным, вступает в немедленные отношения с адресатом, как зрителем, так и участником театрального действия. Слово в театре – «первотолчок сложного художественного процесса, в итоге которого должен состояться перевод на “собственно сценический язык”, создание (или пересоздание) роли на языке сценического действования»⁴.

Слово по-разному соотносится с актером. Актер переживает слово, присваивая его себе. Он играет его, различно интерпретируя, наделяя особой интонацией. “Интонация всегда лежит на границе словесного и несловесного, сказанного и не-сказанного. В интонации слово непосредственно соприкасается с жизнью. И прежде всего именно в интонации говорящий соприкасается со слушателями...”⁵. С помощью интонации актер способен выразить отношение к миру, причем не обязательно непосредственно, но и метафорически. Интонация всегда соседствует с жестом, который может быть и элементарным и очень развитым.

Таким образом, в произнесенном на сцене слове заложено ядро театра. В нем намечено действие, выражено отношение к нему, оно объединяет участников высказывания. Оно свободно взаимодействует с другими видами искусств.

Слово порой подавляет театр, становясь хозяином положения. Тогда оно занимает позицию “саморазвивающегося безличного начала”, действующего помимо человека (Ж.-П. Сартр). Иногда слово утрачивает господствующее положение на сцене, утаивает свои внутренние свойства и соглашается на роль комментария. Оно только объясняет происходящее на сцене, свидетельствует о нем. Актер всего лишь сообщает, что он намерен сделать или рассказывает о том, что произошло за сценой. В этом случае слово выходит из зоны игры и тяготеет к декламации. Может слово на сцене вообще отсутствовать, как в театре, тяготеющем к пантомиме. Оно заменяется приемом безречевого шума, как в авангардном театре. Этот шум невозможно осмыслить или расчленить на смыслообразующие элементы.

На украинской и русской сценах эпохи барокко слово доминировало и не было однородным. Существовало несколько типов слова, несколько способов передачи сообщения. Эти способы в структуре театрального представления значимы так же, как действие и слово. Они все на равных правах входили в динамическую структуру пьесы: слово ораторское, слово сыгранное, написанное и прочитанное слово, спетое и переданное средствами хореографии.

Каждый вид слова адресовался зрителям, а также персонажам, как находящимся на сцене, так и вне ее. Потому ремарки обязательно это подчеркивали, ср. “Съдящим глаголет царь”⁶, “И ко приходящим глаголет старцемъ” (Р II 92), “къ Йроду глаголеть” (Р III 117). Могло слово звучать за сценой, что использовалось в приеме эхо, как например, в “Рождественской драме” Димитрия Ростовского в эпизоде Ирода.

Актеры, создавая театральное слово, активно использовали возможности своего голоса, следя предписаниям риторики, где говорилось: “Якоже зъло воздвигаются гласом какова убо рѣчеточу требует воздвижения сердца от слушателей – такового той страсти приличного долженствует употреблять гласа”⁷. Они меняли тембр, силу звука и темп речи, владели различными интонациями.

Персонажи на сцене шептали, тихо говорили, кричали. В пьесе об униатах и православных С. Стрелецкий не раз отмечает особенности “подачи звука”: “Dziekan przyskoczywszy szepcze” (Р V 206). Этим приемом пользуется и Димитрий Ростовский – Ирод зовет своих слуг “немощным гласом”. В последнем явлении, отвечая эху перед смертью, Ирод “шепчаши говорить” (Р III 141). Мужики же на свадьбе Алексея человека Божия, как подчеркнуто в ремарке, кричат. Могли актеры говорить и медленно и быстро. Так, Иов, “восставши, по малу начат глаголати” (Р II 103).

Персонажи плакали, горько вздыхали, как Душа в “Споре Души и Тела” или Душа и Тело Пиролюбца в “Ужасной измене”. В ремарках

этой пьесы сказано: “Къ нему же Душа из ада узы желѣзными связана приходитъ и рѣдая глаголеть” (Р V 114); “Гѣло Пиролюбца мало ни-что главы поднесши съмеженными очами глубоцѣ стхнувше отвѣщаетъ” (Р V 115). Душа Побожная в “Розмышлянях” И. Волкови-ча начинает свое выступление такими словами: “А, я, малый отрокъ есмъ не могу мовити, Не могу увы мнѣ усть моихъ отворити” (Р I 116). Реальный персонаж, Аспирант, плакал, стараясь вызвать жалость у Декана.

Персонажи смеялись, в первую очередь, черти и другие адовые жи-тели. Смеялись аллегорические персонажи, как Гераклит, “посмѣивай-ся міру сему” (Р II 350) и “реальные”, как Суррогат во время экзамена Аспиранта.

Голосом актер показывал изменение модальности высказываний. Аспирант (“Комедия униатов с православными”) отвечает на вопрос Декана – *сомневаясь*, как сказано в ремарке. Актер, судя по текстам драм, мог придавать слову ироническую интонацию. Император говорят с Философами *удивляясь*. К слугам он обращается в повелительном тоне. *Iubet* – гласит ремака (Р IV 286).

Одним из театральных приемов было искажение звуков речи. В “Интермедии на три персоны” Дед и Баба говорят шамкая, заменяя почти все -с на -ш: “Шавлук ся дід ж бабою до ваш тут жавитав, жебим ша на ждоров’я ваш усі іспитав”⁸. Театральное слово выглядело и как нечленораздельные звуки. Вот Змей “поидет *рыча* і яряся” (Р V 133). Вот несутся отчаянные вопли из ада – “от пропасти же пламень и вопль” (Р V 117). Там томятся “стенящие и воплющие”. Вот грешник Диоктит, “Упавши захарчаль и умре” (Р V 171). Вот “Почнувся Иродъ стогнеть” (Р III 136).

Обратимся к ораторскому слову, принесшему на сцену богатый риторический опыт, не утратившему связей со словом церковной службы. Театральное слово появилось как слово риторическое, которое “оперирует готовым репертуаром смыслов и есть своего рода внешняя форма, по которой идет мысль, чувство, способ восприятия писателя, будь он “анонимен”, индивидуален и даже индивидуалистичен”⁹. Ора-торское слово на сцене, как всякое риторическое слово, монологично, оно утверждает истину в последней инстанции. Говорится оно не кому-то, а перед кем-то. Его адресат безотносителен, он обычно не указывается. Оно не движет действия, оно самодостаточно.

Ораторское слово на сцене в ремарках многих пьес – что знаменательно – называется речами. Таким образом подтверждается его риторическая природа. Так театр определяет его характер. Например: “А царю рещи свою речь”¹⁰ (4, 108); “Тогда как цар проговорит свою реч (....), а отроку говорить сию речь” (4, 108). Не только ремарки, но и выступления персонажей содержат ссылки к этому риторическому определению: “Твоя странна речь пространна мене принудила зде притти” (4, 518). В этой же “Декламации ко дню рождения Елизаветы

Петровны” аллегорическая фигура месяца мая (балет 12 месяцев) имеет себя “ретором”, ср. также: “Мощно сказать ритору подробно с начала” (4, 526).

В том, что участникам действия драматурги предлагают осознать себя риторами, сказывается настороженное отношение к игре, что подтверждается такими ремарками как: “От лица Бога”, “От лица Адамова” (4, 139). Они свидетельствуют не о принятии роли актером, а об отчуждении от нее.

Несмотря на заданную статичность, ораторское слово, как и другие виды слова, также является “сценарием” некоторого события. Оно также несет в себе возможность претворения в действие, также “вплетено в невысказанный контекст жизни”¹¹, во многом благодаря интонации. Ее различия тщательно фиксировали ремарки, ср. “Крию ся, иж мя гласомъ жестокимъ глашаешьъ” (Р II 223). Ремарка -ярится- предшествует выступлению Отмщения. В пьесе о св. Екатерине не раз встречается ремарка – irascitur. О необходимости радостной интонации предупреждали ремарки типа: “Caesar ait gloriando” (Р IV 263). Торжественность, скорбь и умиление речей аллегорий контрастировали с бытовыми интонациями интермедиальных персонажей. Те интонации, с которыми говорили посланцы ада, очевидно, отличались от тех, с которыми говорили Ангелы или Вестники.

На восточнославянской сцене возможность претворения слова в действие сдерживалась воздействием на ораторское слово сакрального круга культуры. Это слово тяготеет к слову сакральному, поддерживаются цитатами из Священного Писания, которые, соответственно, торжественно произносятся, но не играются. Цитата создавала мощные скрепы словесного ряда пьесы и утверждала наличие сакрального ядра всякой школьной драмы. Цитата в драме – это не “чужое” слово, но универсальный ключ к правильному прочтению драмы и спектакля, который иногда давался непосредственно на полях рукописи: так указывалась книга Священного Писания, глава Евангелия и строфа. В “Розмышлянях” И. Волкович каждому выступлению Вестника предшествует цитата. Например: “Связавше, и ведоша его къ Аннѣ первѣ: и единъ от предстоящихъ слугъ, удари в ланиту Иисуса (Ио. 18. 13, 22). Вестник же развивает тему мучений Христа, призывает “присмотреться к смутной трагедии”.

Цитата могла варьироваться, сворачиваться до сравнения. Аллегорическая фигура Мира, утратившего Любовь, т.е. Иисуса Христа, сравнивается с евангельской матроной, потерявшей “дряхму драгу”.

На последнем этапе существования школьного театра сакральное слово стало активным и даже превратилось в слово пародии. Оно стало “непрямым” словом (М.М. Бахтин), утратило торжественный ореол. В “Комедии униатов с православными” евангельские цитаты звучат непрерывно. Они вводятся в бытовой контекст, сопровождают сцены знакомства, получение взяток, жалобы на трудную жизнь бродячего

школьяра. Например, мечтая о приходе, Декан собирается денно и нощно спать, на что Протоиерей говоит ему: “Не люби спать, чтоб тебе не обеднеть; держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб” (Пр. 20.10). Попало сакральное слово и в интермедию, где в традициях рекреативной литературы входило в не свойственный ему контекст. Так, в интермедиах к пьесе М. Довгалевского “Властотворный образ человеколюбия Божия” один Пиворез жалуется словами псалма: “Обійдоша мя пси мноз! Жезл твой і паляця твоя та мя утішиста!”¹²

Риторическое слово не только строилось на цитатах, оно ориентировалось на слово проповеди, как в трагедокомедии Феофана Прокоповича “Владимир”, где Философ повествует о видимом и невидимом, о св. Троице, о бессмертной душе. Его речь обращена к Владимиру, но она будто парит в воздухе, не касаясь театрального пространства пьесы. Подобным образом выстроено выступление Промысла Божия в “Действии об Есфири”.

Если бы ораторское слово осталось неподвижным и испытывало влияние только сакрального круга культуры, драматическая, театральная структура не сформировалась бы. Ораторское слово на сцене испытывало мощное влияние со стороны светского круга культуры. Продолжая оставаться риторическим, оно, благодаря этому влиянию, обрело на сцене новую жизнь, не утратив своих позиций.

Его безотносительность к внесловесному ряду пьесы разрушают многочисленные самопредставления персонажей. Например, князь Иефай, выходя на сцену говорит: “Аз Иефаие, Нещасни на свете, оставляю вся моя утехы в лете” (4, 100). Подобных примеров можно привести очень много. Все они противопоставлены следующими за ними монологами. Слово самопредставления произносится от себя, от первого лица; говорящий имеет личное отношение к сообщению, оно напрямую связано с ним и его характеризует, в то время как в риторическом монологе он выступает посредником, передающим сообщение. В самопредставлениях он уже движется по направлению к театральному персонажу, ведет себя не как оратор, таким образом, ослабляя позиции ораторского слова.

Ораторское слово испытывает также давление со стороны прологов и эпилогов. В них интенсивно налаживается контакт с адресатом, зрителем: “Тако вы сему внемлите, Глагол наш на скрижалех сердц ваших пишите” (4, 236), или: “Зряша на мя во узах суща заключенна, Не разумей мя быти сердцем болезненна” (4, 84). Адресат в этих малых частях драмы называется слушателем; исполнители же – “юными отроками”. Таким образом, указываются оба главных участника всякого театрального представления.

Ораторское слово внутри пьесы окружено выступлениями второстепенных персонажей. Они подхватывают тему, заданную центральным персонажем, и по принципу вариативности утверждают ее и развивают. Их выступления настолько однородны, что их даже можно по-

менять местами, ср., выступления Сенаторов в “Венце Димитрию”. Редко вариации эти уступают место спору, предвещая появление на сцене диспута. Примечательно, что в этих вариациях зарождается диалогическое слово, как в пьесе о царе Кире, где один из вельмож не хочет лгать царю и боится сказать правду, и наконец, произносит зловещие предсказания.

Ораторское слово не всегда выступает изолированно. Оно приближается к слову диалога в диспуте. Слово диспута – это еще не диалогическое слово, а обмен речами противопоставленных персонажей. Диспут происходит между Жрецом и Димитрием (“Венец Димитрию”). Димитрий объясняет Жрецу сущность единой и неделимой Троицы. Жрец, почти не возражая, уступает, правда, обвиняя Димитрия в волшебстве. Диспут между Жрецами и Философом присутствует и в трагедиикомедии “Владимир”. В украинской пьесе о св. Екатерине главная героиня вступает в диспут с языческими Жрецами. Она уверенно их побеждает, за что последних и сжигают на костре.

В диспуте происходит сражение слов, идей, оно не переводится в акциональный план пьесы, хотя может предвещать его, что очень важно. Так намечается срастание действия и слова. После диспута Димитрия и Жреца сражаются между собой юный христианин Нестор и борец императора Лий. Нестор побеждает в поединке, за что его казнят.

Ораторское слово сдавало свои позиции. Его монологичность разрушалась изнутри под воздействием формул обращения, приветствий, благопожеланий, благословений. В них прямо указывался адресат. Персонажи уже не были подобием скульптур, расставленных на сцене, лишенных дара общения. Они не просто “отчитывали” свои монологи, затем покидая сцену. Теперь они обращались к слушателю-партнеру, втягивая его если не в действие, то в беседу, предвещая таким образом слово диалогическое. Слушатель-партнер отвечал им. Например: “Вы честные боляре, здравствуйте, со властми, Не одержимы никогда же злыми напастми” (4, 75), или: “Буди здрав, царю, ныне во веки веков” (4, 114), Бог благословит тя в вере и крепости тот да утвердит тя” (4, 86). Подобного рода формулы повторяются из пьесы в пьесу, налаживая контакт между персонажами, пододвигая их к общению, а затем и к игре. Эти формулы – знаки движения персонажей друг к другу. Благодаря им они начинают явно видеть и слышать друг друга. Так организуется сценическая коммуникация.

Обращения различного типа к сценическому партнеру подкрепляются вопросами: “Откуда еси, брате? … чесо бо требуеш обрести в пустыни?” (4, 203); “Что се есть, госпоже моя Мария, *почто* аще плачешь?” (4, 211). Персонажи не только отвечают на вопросы, но и сами пытаются вступить в разговор: “Рцы ми без боязни” (4, 290); “Рцыте, да познаю” (4, 150); “Что мне вещаешь, камардин приятный” (4, 321).

Персонажи, выступая с речами, ожидают реакции на сообщение, и она фиксируется в слове: “Что се за удивление” (4, 297), “Поистинне,

твоя суть *словеса неложна*" (4, 295). Так персонажи начинают беседовать друг с другом, оценивать сказанное, они вступают в диалог, нащупывая подлинно театральную форму слова.

Этот диалог еще близок к риторическому описанию предметов, состоящему из ответов на постоянный список вопросов. В диалоге такого типа не обсуждаются еще третьи лица и некие явления, не даются их характеристики. Участники диалога сконцентрированы пока только друг на друге, они как бы боятся потеряться в сценическом пространстве и все время подтверждают свои позиции, оглядываясь на рядом стоящих.

Беседа, разговор на сцене оценивается очень высоко. Очевидно, что приглашения к беседе приветствуются персонажам (а следовательно, и драматургам) крайне важными. Они дополняют формулы вежливости: "Прошу тя со мною садитца, и пагаварим, о чём угодитца" (4, 112); "Ныне прошу, сиди со мною, Да побеседуем со мною" (4, 128). Возможность беседовать и влюбленным представляется заветной мечтой. Магилена: "Я всегда ж разговоры желаю имети, и учтивость вашу в тонкость разсмотрети". Петр же будет счастлив "всегда разговаривать в вашем (Магилены – Л.С.) кабинете" (4, 334).

Непринужденно беседуют и аллегории, Купидон и Зависть: "Ха, ха, ха! Ты малчишка, как себя ты славишь?" – "Прочь, прочь, окаянная!" (4, 316).

Так в ораторском слове исподволь идет движение к диалогу. В него вступают персонажи и светских, и сакральных пьес. В "Действии о 10 девах" девы так обращаются к Христу: "Господине, отверзи нам врата, да внидем тамо". – Христос: "Не отверзу вам, не вем, откуду придосте" (4, 150). Перед нами, может быть, уже сыгранное слово, а не произнесенное.

Нащупывание пути к сближению персонажей в диалоге происходит и в "путевых" формулах. Их можно считать попыткой персонажей увидеть пространство сцены как пространство ориентированное. Пьесы пестрят отправлениями в путь, пожеланиями счастливого пути, сообщениями о прибытии и отбытии: "Идем по мужа честна... Идете, тому дая советы нелестно" (4, 62); "...на лапотки приемши, в свояси идете" (4, 74); "Шествуй благополучен, аз тя провождаю" (4, 89). Очевидно, что "путевые" формулы адресуются и зрителю. Так ему легче представить характер сценического движения.

Итак, хотя ораторское слово отводит от игры интонация проповеди, хотя оно и противостоит сыгранному слову, оно, тем не менее, иногда к нему подходит очень близко, правда, сохраняя заданное противопоставление.

Сыгранное слово завоевывало свои права на сцене, прежде всего в диалогах интермедий, в сценах, близких к интермедиальным. Об игре заговорили и ремарки, например: "Они же станут *аки преступати*" (Р V 134), или "Два *бутто* пошли в городъ для покупки, а третій при овцахъ былъ" (Р III 101), "*z gniewem niby*" (Р V 195). Эти ремарки свидетельст-

вуют не только об осознании специфики художественной природы театра, но и о стремлении передать информацию о ней обществу. Они еще раз подтверждают, что школьные пьесы не сводились к простой декламации.

Сыгранное слово диалога находится “на границе своего и чужого слова”¹³. Оно говорится не от себя, т.е. выступающего, оно не безотносительно; выступающий уже не передает некое сообщение. Он играет, говорит слово за кого-то другого, т.е. входит в роль. Если ораторское слово непрекаемо и не требует обсуждения или эмоциональной реакции, то слово интермедиального диалога настойчиво вызывает ответные реакции, таким образом выстраивая словесный ряд пьесы, мощно поддержанный внесловесным рядом. Слово интермедии было тесно связано с внесловесным рядом, потом оно и стало основой будущего театрального диалога. Участники диалога не только призывают друг друга обсудить какую-нибудь тему, как участники диалога риторического. Они выражают к ней, как и друг к другу, личное отношение. Они разыгрывают эпизоды, хотя в их игре доминирует слово.

Сыгранное слово в отличие от ораторского лаконично; оно сжато до вопроса, восклицания, приказа, звучит намеренно обыденно: “Днесъ не полушечки нам всемъ не приходитъ. Чимъ мы будемъ питатися, чимъ себя одеемъ... Я слепъ, до смотрите, аще идутъ люде” (4, 71).

Сыгранное слово отдаляется от слова ораторского за счет имитации бытовой, не ораторской интонации. Зачастую оно черпается из диалектов, или подражает им, как например, в интермедиях к пьесам М. Довгалевского, в которой высокая тема Пасхи передается через бытовую лексику: “Та вже і кочергою, і заступом довбала, та ничего не вражу, дуже до череня пристала. Ох, там же то була вдалася”¹⁴. (Речь идет о куличах); или: “Вот жри щи, покамест еще не простыли” (4, 74).

Сыгранное слово интермедии втянуло в театр мощную стихию комического. Например, между Глухим и Слепым состоится беседа, основанная, как в народном театре, на комическом непонимании. Жолоб велит нищим хлеба вкусить. Глухому кажется, что ему говорят: “Простите”, – и он отвечает: “Бог простит” (4, 72). Или: “Зовет нас Димитрий. – Хто такой хитрый?” (4, 73).

Слово диалога неслучайно поручено комическим персонажам, среди которых выделяются представители низового мира. Это происходит потому, что изначально в культурном сознании игра связана с нечистым миром. Прежде всего на сцене эпохи барокко играет дьявол и его приспешники.

Сыгранное слово, обретя свои права на сцене, выходит за пределы интермедии. Оно играется и в больших частях драмы в том случае, если участник действия не попал в аллегорико-символический ряд отображения, и если он уже – носитель роли.

Между словом ораторским и сыгранным словом нет окончательно проведенной границы. Существует ряд переходных случаев между ни-

ми. Так, диалог не всегда краток. Высказывания персонажей разрастаются, как в “Действе о страдании св. мученице Праскевии”. Параскева, Геммон, Диоклитиан обмениваются настоящими монологами, близкими к слову ораторскому.

Эти переходные случаи от ораторского слова к сыгренному облашают большей свободой, чем ораторское слово, но они еще не играются открыто. Они, например, не введены в стихию комического, не снижают высокие темы, зато они явно эмоционально окрашены. Эти виды слова требуют особого контекста, тесного сближения с акциональным рядом пьесы. Интонация в них играет ведущую роль.

Среди этих вариаций следует выделить слово молитвы, которое знаменует психологический статус персонажа, его эмоциональное состояние. Оно не является словом сыгранным и не способствует развитию сюжета. В этом отношении слово молитвы тяготеет к ораторскому слову, введенному в сакральный круг культуры. Интонация молитвы на сцене не становится условно театральной, она остается интонацией ритуала, правила произнесения молитвы соблюдаются. Молитва переносит также в театральное пространство элементы сакрального ритуала. Она порождает особый сценический эпизод, который соответствует произнесению молитвы в жизни: персонажи молятся перед иконами, выставленными на сцене, следуя предписанному ритуалу молитвы¹⁵. Они совершают приличествующие молитве жесты: кланяются, крестятся, прикладываются к ней, плачут. Так молитва притягивает сценические жесты, а персонаж посредством их выражает соответствующее эмоциональное состояние.

Персонажи молятся в минуту смертельной опасности, в момент прозрения, после обращения в христианство. Молятся язычники (соответственно, своим богам) и христиане, грешники и праведники, отшельники и цари, рабы и господа, а также аллегории. Димитрий, Параскева, Евдокия, Ксенофонт, Иоанн и Аркадий – все они возносят молитвы “взирая на небо” (4, 118), как и библейские персонажи, Давид, Соломон, Вирсавия, Мардукей, Эсфири. Произносятся как сочиненные драматургами молитвы, так и подлинные: Отче наш; Богородице, дево радуйся (“Венец Димитрию”).

Молящиеся персонажи направляют свои слова небесам, а не участникам действия или зрителям, которым остается только взирать на молящихся. Слово на сцене, таким образом, приобретает еще один адресат – силы небесные – и направляется по вертикали. Его (с некоторой натяжкой) можно считать словом диалогическим, так как оно адресовано невидимому и всесильному участнику диалога. Кстати, он иногда отзыается, в какие-то моменты действия раздается глас с небес. В театре представляется, как молитвы бывают услышаны. Например: Глас Божий. – Человек умерщвляет, а Бог оживляет” (4, 301), или: “Престань, Есфир, горки слезы испущати” (4, 261).

Театральное слово не только произносилось; существовали иные пути его донесения до зрителя – особенно часто возникало слово напи-

санное и прочтеннное. Этот тип слова соответствовал поэтике эпохи с ее пристрастием к эмблеме, где слово соперничало с изображением и требовало рассматривания, а не только прочтения. Он отвечал требованию зрелицности, которое доминировало в культуре барокко.

На школьной сцене появлялось собственно эмблематическое слово, неразрывно связанное с изображением (антипролог “Ужасной измены”). Это слово движется, меняет значение, обрастает фразой. Не произнесенное, оно вступает в разноуровневый словесный ряд пьесы, предвещает развитие событий, прогнозируя их по-разному. Аллегории Милости и Смерти “пременяют” эти слова, изменения смысл представленных на сцене “образов”.

С одной стороны, написанное и прочитанное слово тяготело к игре, так как оно вызывало сценические эпизоды – на сцене изображался процесс написания и чтения такого слова, который обставлялся специальными аксессуарами. Персонажи требовали перо, чернил, бумаги. Алексей, человек Божий, услышав глас с небес: “Приайдѣте ко мнѣ всѣ трущающиися и обремененныи, и аз упокою вы” (Р IV 177), просит Слугу принести ему “трость, паперу и трохи чернила”. Слуга исполняет просьбу, о чем свидетельствует ремарка, и Алексей “житие свое описуетъ”, после чего держа в руках свое писание, он умирает. Князь в пьесе о Иефае требует “пера и чернил”. Кралевна в пьесе о графе Фарсоне просит: “Дажь ми чернил и бумаги”.

Это слово оформлялось в соответствии с официальными требованиями, скреплялось печатью, подписывалось. В пьесе о св. Екатерине император приказывает писать манускрипт (или мандат, который затем именуется дипломом). Мандат скрепляется печатью с подписью императора, ставится дата.

Процесс написания слова и чтения его увеличивает число персонажей на сцене. Намереваясь читать, главные персонажи призывают на помощь слуг. Например, Артаксеркс хочет читать меморальные книги. Ему читает их евнух, чтобы царь не утруждал себя “чтением лишним” (4, 270). Обсуждение написанного слова организовывало целые эпизоды, тянуло за собой следующие написанные слова. Мардукей рассказывает Есфири об указе Амана. Есфир же ему отвечает: “Пиши, Мардукей мой, скажи во все люди” (4, 276).

Читают не только “реальные” персонажи, но и аллегории, как Янус, который “смотрит в книгу о четырех монархиях” (4, 509), в “вечности анналы”. Он “берет книгу в зерцало”. Заглядывает в книги “вечны, героичны” Астрея (4, 511). Они и пишут, как Вечность, которая записывает в книгу услышанное о Петре от Фамы (4, 509).

Прочитанное слово адресовалось как зрителям, так и персонажам. Прочитанное слово имитировало официальное слово грамоты, документа, письма и требовало особой интонации. Оно создавало колебание между действием на сцене, условным и реальным миром. Таково приглашение на свадьбу Евфимияна в пьесе об Алексее человеке Бого-

жим. Оно имитирует стандартное приглашение на свадьбу, принятое в кругах польских шляхтичей. В этой же пьесе есть другой вид прочитанного слова. Это Лист Алексея, краткая форма жития по “Анфологиону”. Его читает Канцлер, “абы все слышели”. “Ту хартию чтут всѣмъ вслухъ” (Р IV 182).

Написанное и прочитанное слово отражало, удваивая привычный зрителям, повседневный процесс письма и чтения. Эпизоды чтения и написания слова переводили сюжет в план сообщения, разряжали действие и замедляли его.

Кроме того, написанное и прочитанное слово подключало новые механизмы действия театрального слова. К этому типу слова в культуре существовало особое отношение – оно стояло выше устного слова. Это отношение шло от почитания Книги книг, и вообще сакрального слова. “Представление о божественности писаний распространялось и на творения небиблейские”¹⁶. Следовательно, введение написанного и прочитанного слова в спектакль поднимало ранг театрального слова, подводя его к высокому книжному слову. Театральное слово в те моменты, когда оно писалось или читалось, соответственно, требовало к себе отношения, подобного отношению к слову книжному. Это отношение пародируется в нищенских виршах, где Адам, одев очки, пишет письмо Люциферу, а Ева подсказывает, что и как следует писать. Символическим, обобщенным отображением написанного и прочитанного слова на сцене выступала книга, притом священная. Книгу Мудрости Божией открывает Богородица, ибо она сама – ее ключ: “Книга тая завета может ся читати. На нейже царє тайны полагают” (Р IV 237). “Пречистая Панна стоячи *псалътир читати*” (Р I 179) – гласит ремарка “Отрывков Рождественской мистерии”. Книгу, “Талмутъ”, читают Рабины. Их внимательно слушает Ирод. Читают Писание Три Царя: “О ней же (о звезде. – Л.С.) и написа во книзѣ нетощно – Достовѣрія ради посмотрѣти можно” (Р III 173).

Вместо книги или свитка появлялось на сцене только одно слово, написанное на таблице. Оно изменяло ритм спектакля, на какой-то момент останавливая действие. Так выносили на сцену на всеобщее обозрение имя Богородицы в “Успенской драме” Димитрия Ростовского. Оно оставалось неизменным и неподвижным на протяжении всего действия. К имени, начертанному на таблице, обращались аллегории, Плач, Утешение: “Sie, еже видиши, имя пречестнѣйшио, Приими”, “На то буду очима и сердцем взирати, Тѣмъ всяку пелинну горест услаждати” (Р IV 203).

Театральные персонажи читают различные надписи, как Александр Македонский свое имя на пирамиде (“Опера об Александре Македонском”). Эта надпись для него – “сигнал твердой славы”. Он радуется о “безсмертии имени своего” (4, 534). Вокруг написанного слова разворачивается дискуссия. Меркурий вопрошает: “Что на колюмну смотриши все-пременно?” (4, 545), “И что здесь чудно? Что ты всеприятно? (4, 546).

В некоторых случаях введения написанного и прочитанного слова требовал сюжет: читались и писались указы, документы – властители иначе не могли о себе заявить подчиненным. Здесь написанное слово – знак власти, ср. “Сей перстень тебе даю, печатай указы” (4, 256). В пьесе о царе Давиде Иваний читает епистолию, объясняя, почему должен умереть Иоав (4, 134–135). В “Действии об Есфири” Артаксеркс велит записать заслуги Мардохея в книги (4, 242). Запись эта впоследствии спасает от смерти Мардохея. Писались грамоты царям и послам: князь Иефай велит Послам идти к Писарям: “Речено скажите и царю Аману грамоту напишите” (4, 94). Движение грамоты подробно прослеживается. – князь желает видеть написанную грамоту, принимает ее. Подписав и запечатав грамоту, он отсылает Послов с такими словами: “Примите грамоту царю отадите и поклонение от меня скажите” (4, 95). Послы отдают грамоту Аману: “Сия грамота от князя нашего Иефая тебе прислана (...) ответ от себя ему возвестим” (4, 95). Царь принимает и читает грамоту, комментирует ее: “Великая вещь в сей грамоте написана” (4, 95).

Текст грамоты, указа мог и не произноситься, но чаще всего он читается, разряжая интонацию ораторского и сыгранного слова, как читался указ Артаксеркса: “Дано в Сузех дворе нашем” (4, 257), или: “Объявляем настоящим пунктом: указы Амана “во всем иметь уничтожение” (4, 271). В пьесе о царе Кире ремарка гласит: “Сенатор чтет” (4, 585).

Существовало написанное слово, которое связывало персонажей узами чувств. Писались любовные письма избранникам. Петру письмо от Магилены приносит лакей (Царь Салтан на их свадьбу присыпает грамоту, а презенты потом). Через послания выстраивается любовная интрига Фарсона и Кралевны: “Ко графу Фарсону отнеси сей мой пакет. А мне возвести от него скорой ответ” (4, 373).

Написанное и прочитанное слово связывало персонажей и другими связями. Они даже узнавали друг о друге впервые из писем: “Во всю Европу листы должно написати, чтоб за храбраго могли ковалера знать” (4, 320). В письменном виде персонажи получали вызовы на дуэль, как граф Фарсон. О смерти своего отца он узнает из послания из Парижа. Отсутствие написанного слова – знак нарушения связи между персонажами. Персонажи постоянно желают писать и ожидают писем. В пьесе о Ксенофонте и Марии Ксенофонт печалится, что Аркадий и Иоанн “не посетиша нас своим писанием” (4, 209). Раб их притворяется, что он “изгубих на пути” писание. Мария ложно уверяет Ксенофонта, что писание от сыновей принесли.

Когда действие переводится в реальный план, то и написанное слово теряет свой торжественный ореол. В “Комедии униатов с православными” персонажи пишут и читают письма (“цедульки”) и ожидают их. В ремарках постоянно говорится: открыл, прочитал, задумался.

Написанное и прочитанное слово обладало чудесной силой. Св. Евдокия, получив письмо от царя, переданное через трибуна, пишет ответ

царю, заявляя, что если ее письмо положить на тело мертвого царевича, он воскреснет (4, 189). Так делают, и царевич воскресает. В моралите “Алексей человек Божий” покойный святой сжимает в руках хартию. Ее удается взять императору только после того, как он кланяется телу святого.

Написанное и прочитанное слово было сакральным словом. Гермон, “седя за столом” (4, 187), читает Евангелие над спящей Евдокией. Читая, Гермон предстает и перед Филостратом.

Написанное слово, тяготея к изображению, имело эстетическую функцию. Таковым можно считать слово на колюмне (“Опера об Александре Македонском”). В пьесе “Слава печалная” Вечность спорит с Ляхезой, рассматривают имя Петра, начертанное на “большой хартии златыми словами” (4, 534).

Написанное слово подвергалось воздействию со стороны персонажей. С ним вели игру. Оно, например, уничтожалось, если не соответствовало желаниям персонажей. Ляхеза отдает книгу Вечности и требует, чтобы та “вымазала” имя Петра, т.е. она соглашается оставить его вечности. В “Торжестве Естества Человеческого” Победа Христова “до Ада глаголет”: “Гдѣ рукописание завѣщанна древа?... Отдаждь е!” (Р II 258–259). “Адъ отдает рукописаніе”, Победа разрывает его пополам.

Когда на сцене разыгрывались события, выводящие человека за пределы земного, когда сюжет касался священных событий, слово могло быть и не написано. Его написание (и чтение) только предполагалось. Совесть и Грех несут огромную доску, на которой перечислены грехи Пиролюбца, но ни зритель, ни участники действия слов, написанных на доске, не видят. Нотарий показывает Грешнику книгу со словами: “Се грѣховъ твоих книга исполненна” (Р IV 232), но не читает ее.

Написанное и прочитанное слово, снижаясь, пародировались, как в “Прозбе, або суплике на попа”, в которой контрастируют “проста мова” и церковнославянский. Слово здесь сочиняется на глазах у зрителей. Крестьяне диктуют, а пишет “суплику” про “хищного волка, латинщика, недостоянного пресвитерского сана” дьяк. По окончании писания все идут в кабак.

Так как в эпоху барокко графическая структура слова значила не меньше, чем фонетическая или грамматическая, в театре она выносилась на всеобщее обозрение особым образом, передавалась хореографическими средствами. В этом типе слова сказалось отношение к графической стороне слова, которая в эпоху барокко была чрезвычайно значимой; также проявилась тенденция к синтезу, свойственная как всей эпохе, так и искусству сцены в частности. Слово тогда воспринимали не только лексически или семантически, его рассматривали, и каждая его графема могла стать эстетическим знаком. Человек на сцене в этом случае становился носителем графемы, а зритель превращался в писателя. “Ведь и художественное созерцание поэтического произведения исходит из графемы (т.е. зрительного образа написанного или

напечатанного слова)¹⁷. Станцованное слово было очень распространено в польском иезуитском театре. В одной из пьес, например, (“Primus poetarum virens Martinus” 1713 г.) аллегория Времени раздает часам буквы. Часы с буквами танцуют, складывая анаграммы: “S. Martin”, “Natus miser”. Танцевали на сцене и без букв в руках. Слова изображались танцем, движением.

Таков танец “муринчиков” в пьесе Лаврентия Горки об Иосифе Патриархе. Танец здесь оказался связующим звеном движения и слова, эта связь обозначалась в те моменты, когда “муринчики скакали”, то есть, складывали танцем слова. К тексту пьесы был приложен графический “образ” этого “скакания”, где сказано: “Младенци аравицтіі скачуще (курс наш – Л.С.) въ своем ликовании являютъ, яко скорби и печали не токмо убогихъ и багатихъ, но царей превисокихъ во дни и нощи, во снѣ и на явѣ многовидно смущают и мучат”. Н.И. Петров предполагал, что “аравийские младенцы”, “муринчики”, изображали танцем анаграмму имени и титула И. Мазепы или какое-нибудь другое панегирическое высказывание. Возможно, что таким же был поздравительный балет его императорского величества (“Опера об Александре Македонском”).

Существовало в школьном спектакле и спетое слово. Оно выступало на сцене почти на равных правах со словом произнесенным, чему свидетельством ремарки, которые фиксировали спетое слово на полях наравне со словом произнесенным. Это слово не отрывалось от действия, не было лирической вставкой. Оно несло ту же информативную нагрузку, что произнесенное слово, способствовало развитию сюжета, характеристике персонажей, но только музыкальными средствами. Музыкальные номера могли сопровождать действие, но могли и замещать его, т.е. занимать с ним равноправное положение. Спетое слово не возникает в пьесах неожиданно, к нему готовятся, призывая певцов и музыкантов, персонажи это слово заранее описывают, например, называя “пением сладчайшим”.

Появление спетого слова на сцене знаменательно. Оно происходило в контексте негативного отношения к светской музыке (“Прето лъпше єст спѣвати духовныи пѣсны, анѣжли свѣцкіи сромотныи бѣсовскіи”¹⁸), резкого противопоставления ее музыке духовной, которое исчезло в католическом круге культуры, где инструментальная (светская с православной точки зрения) музыка входила в богослужение, что сурово осуждалось: “Господь не требует пищалей и шума, ище тщеславніи вопіють без ума”¹⁹. Следовательно, оно связывало школьную драму с литургией.

Светская музыка по традиции сближалась с греховным весельем, что отразилось на сцене. Образ дьявола-музыканта из “Интермедии на три персоны” концентрирует это представление. Его музыка влечет персонажей в тенета греха, а затем прямо в ад. Вслед за дьявольскими силами отрицательные персонажи также наделялись музыкальными

номерами. Неслучайно под музыку появлялись такие персонажи, как Ирод в "Рождественской драме", или император и сенаторы в пьесе о св. Екатерине. Они призывают петь "веселые канты", велят певцам веселить себя. Язычники также поют на сцене. Певцы призывают Аполлона и муз, покровителей своего искусства, "восклицать" с ними сладкие песни. Поет Жеривол в пьесе Феофана Прокоповича.

Светская музыка противопоставлялась на сцене сакральным песнопениям, "мелодиям, "кантам, песням" "на триумф" Господа Бога. Ее символизировал "мелиодийный музык", царь Давид, который выходил на сцену с цевницей и радостно играл на ней, "красно припевал". Пели и другие библейские персонажи, как царь Соломон, выходивший из ада. Постоянно пели ангелы. В ремарках отмечалось: слышится ангельское пение, является ангельское пение, "Cantus Angelicus", "Кантъ поютъ ангели". "Воспоите нинѣ всесладко днес, хори. Вводя человѣка въ небеснія двори" (Р II 326), "Воспоите намъ зде, ангельскія лики" (Р II 345) – подобные обращения не редкость. Ангелы пели известные песнопения, а также специально написанные канты. "Вси теще, вси плащѣте, Аггелскія хори" (Р III 179) поют Ангелы в "Комическом действии" М. Довгалевского.

На школьной сцене исполнялась духовная музыка, звучали церковные песнопения. "Христос воскрес из мертвых", "Слава ввышних" пелись почти во всех драмах, рождественских и пасхальных. Пелись стихиры и ирмосы на Успение Богородицы и Благовещение²⁰. Часто на школьной сцене звучало: "Глас слышав в Раме", "Свят, свят, свят, Господь Саваоф", "Тебя Бога хвалим", "Святый Боже, Святый крепкий", "Се жених грядет во полуночи". Пелись пасхальные и рождественские канты (коленды): "Аггель пастырем вѣстиль" (Р III 105), "Весь миръ нынѣ веселится, веселися: Христостъ спаситель родися" (Р III 121). Поют, прославляя святых: "Величаем тя, страстотерпче Христов, Димитрие, и чтем честная страдания твоя" (4, 91). Религиозный восторг также передается пением. Поют мудрые девы, восходя на небо (4, 149).

Церковные песнопения и коленды превращали пьесы в некое предвестие музыкальной драмы. Примерами могут служить "Рождественская" и "Успенская" драмы Димитрия Ростовского. В "Успенской драме" пение встречается равномерно с речью. Почти после каждого монолога в первом явлении раздается пение. То же самое – в третьем явлении. В "Действии на Рождество Христово" также очень много вокальных номеров, как и в "Трагедокомедии" С. Ляскоронского, в отдельных эпизодах "Царства Натури людской".

Спетое слово в разобранных выше случаях не было словом индивидуальным, оно не принадлежало еще персонажу. Его функция была сродни функции слова риторического, ораторского. Знаменательно, что в программах излагались основные идеи кантов, как и основное содержание и смысл предстоящего действия. Ср. "протчии же Смерти ей честь воздаютъ, при пинии изобразующемъ преминеннаго Человѣка

суетие" (Р III 149). Иногда указывалась только ведущая интонация пения, но содержание музыкального номера не излагалось – "пры смутном пънии, "со радостным ангелским пънием".

Риторическим было спетое слово панегирического характера. На сцене поют, прославляя царей и князей: "Стецыся музы, прочь печалны медузы" (4, 251). Так начинается кант, прославляющий Есфири. Он же рассказывает историю воцарения Есфири. Это пение подменяет панегирические речи, традиционные выступления Сенаторов, как и поздравительные торжественные канты ("Возгремим гласны сей день прекрасны" (4, 512)), победные. Князь Иефай, по случаю победы призываёт: "Восклиknите, органы, гласом попремногу, лики днес воспойте песнь нову согласну" (4, 99), ср.: "Победну песнь красно восклицайте, веселием согласно воспевайте" (4, 149).

Музыкальные номера, таким образом, вызывались требованиями сюжета: выразить всеобщую радость по поводу Рождества или Воскресения, горе и печаль в минуты страстей Господних. Имели они панегирическую функцию, характеризовали отрицательных персонажей. Есть и печальные канты. Такой кант оплакивает сына Тамиры: "Возгреми сердце, плачевная муз" (4, 594). "Умилные" музы поют печальную песнь Тамире. Они поют "плачевно".

Спетое слово индивидуализировалось в ариях, кантах и хорах. Хоры комментировали основные события пьесы, линии поведения отдельных персонажей, как в "Действии на Рождество Христово". Здесь Душу благодатную "обступают" Мертвцы, а Пение оплакивает ее: "Во прахъ лице твое в тотъ час обратися" (Р III 155). Хоры выполняли дидактическую функцию, им доверялось поэтическое "подведение итогов" действия.

В кульмиационные моменты сюжета, моменты эмоционального напряжения персонажи переходят от сказанного слова к спетому: поет Фарсон, оплакивая разлуку с Кралевной. В избытке чувств поет кант Магилена (4, 349).

Спетое слово появляется и в сниженном варианте, в интермедиальных сценах: "Запоемо с тобою, что поемо по три" (4, 72), – призывает нищий Слепец другого в пьесе о св. Димитрии. Это пение нарочито неблагозвучно, что осознают сами певцы. Жолоб: "Омеля, перестань кричать" (4, 72). Певцов просят не трудить себя "предолгим пением" (4, 75). Нищие поют "бездельные" песни. Пение это не всегда было благозвучным. Судя по репликам, Мужики в эпизоде играния свадьбы выли, "як волки".

Итак, спетое слово неоднородно. Оно, как и слово произнесенное, может тяготеть к риторическому и к игровому варианту передачи художественной информации.

Все виды театрального слова создают на сцене многоязычие, и для каждого из языков не существует проблемы переводимости. Важным представляется не только семантическое значение театрального слова,

его коммуникативная и эстетическая функции, но и способы его передачи на сцене, которые, как мы показали, несут богатую информацию о разных кодах культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Нещименко Г.П. Язык и культура в истории этноса // Язык – культура – этнос, М., 1994. С. 82.
- ² Потебня А.А. Мысль и язык. // Слово и миф. М., 1989. С. 156.
- ³ Волошинов В. (Бахтин М.М.) Слово в жизни и слово в поэзии // Риторика 1995, № 2. С. 13.
- ⁴ Калмановский Е. Книга о театральном актере. С. 56.
- ⁵ Волошинов В. (Бахтин М.М.) Слово в жизни и слово в поэзии. С. 16.
- ⁶ Резанов Вол. Драма українська. К., 1925. Т. II. С. 93. Далее том и страницы этого издания указываются в тексте.
- ⁷ Цит. по: Белецкий А.И. Старинный театр в России. С. 81.
- ⁸ Цит. по: Українська література XVII ст. С. 357.
- ⁹ Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л. и др. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 24.
- ¹⁰ Ранняя русская драматургия (XVII – первая половина XVIII в.). М., 1975. Т. 4. С. 108. Далее том и страницы этого издания указываются в тексте.
- ¹¹ Волошинов В. (Бахтин М.М.) Слово в жизни и слово в поэзии. С. 20.
- ¹² Цит. по: Українська література XVII ст. С. 372.
- ¹³ Бахтин М.М. Слово в романе // Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 97.
- ¹⁴ Цит. по: Українська література XVII ст. С. 382.
- ¹⁵ Тарасов О.Ю. Икона и благочестие, иконное дело в императорской России. М., 1996. С. 31–53.
- ¹⁶ Наумов А.Е. Кирилл Туровский и Священное Писание // Philologica Slavica. М., 1993. С. 116.
- ¹⁷ Волошинов В. (Бахтин М.М.) Слово в жизни и слово в поэзии. С. 22.
- ¹⁸ Транквиліон-Ставровецький Кирило. Предмова до чителника // Українська поезія. Кінець XVI – початок XVII ст. С. 232.
- ¹⁹ Скарба нищих до Бога // Українська поезія. Кінець XVI – початок XVII ст. С. 76.
- ²⁰ См. об этом подробно: Корній Л. Українська шкільна драма і духовна музика XVII – першої половини XVIII ст. Київ, 1993. С. 20.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакторов	3
I. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА	
<i>Дыбо В.А.</i> (Россия) Язык – этнос – археологическая культура. Несколько мыслей по поводу индоевропейской проблемы	6
<i>Нешименко Г.П.</i> (Россия) К постановке проблемы "Язык как средство трансляции культуры"	30
<i>Тарасов Е.Ф.</i> (Россия) Язык как средство трансляции культуры	45
II. ЯЗЫК И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ	
<i>Гак В.Г.</i> (Россия) Язык как форма самовыражения народа	54
<i>Журавлев А.Ф.</i> (Россия) Наивная этимология и "кабинетная мифология" (Из наблюдений на мифологизмом А.Н. Афанасьева)	68
<i>Стемковская Ю.Е.</i> (Россия) Образ человека в чешской культуре	85
<i>Толстая С.М.</i> (Россия) Слово в контексте народной культуры	101
III. ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ	
<i>Николаева Т.М.</i> (Россия) Речевые, коммуникативные и ментальные стереотипы: социолингвистическая дистрибуция	112
<i>Гоффманнова Я.</i> (Чехия) "Подсказывание", "поддакивание" и другие виды стратегии преодоления коммуникативных барьеров	132
<i>Камиш К.</i> (Чехия) Коммуникативные барьеры мультикультурного пространства Чешской Республики	154
<i>Корженек Я.</i> (Чехия) Развитие языкового права в современной Чешской Республике (период последних десятилетий)	165
<i>Мацюрова А.</i> (Чехия) Коммуникация, письменный чешский язык и неслышащие чехи (Проблемы интеркультурного взаимопонимания)	170
<i>Шледровова Я.</i> (Чехия) Об эффективности педагогической коммуникации	182
IV. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКА ВНУТРИ ЭТНОСА	
<i>Никольский Л.Б.</i> (Россия) Трансмиссия культуры и ее лингвистические последствия в афро-азиатских странах	191
<i>Давидова Д.</i> (Чехия) Языковая интерференция в этнически смешанной области чешско- словацко-польского пограничья	203

<i>Крчмова М.</i> (Чехия) Отражение чешско-немецкого билингвизма в довоенной речи жителей города Брно	213
<i>Хлоупек Я.</i> (Чехия) Вариантность устного чешского языка, особенно в Моравии и в Силезии	220

V. ЯЗЫК ВНЕ МЕТРОПОЛИИ

<i>Домашинев А.И.</i> (Россия) Славянские (чешские) влияния на немецкий язык Австрии	229
<i>Кучера К.</i> (Чехия) Эмиграция в XIX и XX в. и дифференциация языка	237

VI. ЯЗЫК И ИСКУССТВО

<i>Мареш П.</i> (Чехия) Многоязычная коммуникация и кинофильм	248
<i>Соснова М.Л.</i> (Россия) Театр как транслятор культуры	266
<i>Софронова Л.А.</i> (Россия) Тип слова в русском и украинском театре эпохи барокко	291

Научное издание

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ТРАНСЛЯЦИИ
КУЛЬТУРЫ

*Утверждено к печати Научным советом
по истории мировой культуры РАН*

Зав. редакцией *А.И. Кучинская*

Редактор *Т.М. Скрипова*

Художник *Л.Л. Михалевский*

Художественный редактор *Г.М. Коровина*

Технический редактор *А.Л. Шелудченко*

Корректор *З.Д. Алексеева*

**Набор и верстка выполнены в издательстве
на компьютерной технике**

ЛР № 020297 от 23.06.1997

Подписано к печати 07.06.2000 г.

Формат 60 × 90¹/₁₆. Гарнитура Таймс

Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,5

Усл. кр.-отт. 19,5. Уч.-изд. л. 23,4.

Тираж 600 экз. Тип. зак. 3338.

Издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90

Санкт-Петербургская типография "Наука"
199034, Санкт-Петербург В-34, 9-я линия, 12

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ТРАНСМИССИИ КУЛЬТУРЫ